КАК В ЮЖНОЙ АФРИКЕ УЗНАЛИ О ЛЕНИНЕ

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

АКРОПОЛЬ В АНДАХ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ДРЕВНЕЙ МЕКСИКИ

СОКРОВИЩА СВАНЕТИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ ИБН-ФАДЛАНА, ПОСЛА ХАЛИФА БАГДАДСКОГО, В СТРАНЫ ТЮРОК, БУЛГАР И РУСОВ

БРИГАНТИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1970

Сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях

Бригантина

Составитель
ВЛ. СТЕЦЕНКО

Художник
А. ГАНГАЛЮКА

P2
687

А. ДАВИДСОН

●

КАК НА ЮГЕ АФРИКИ УЗНАЛИ О ЛЕНИНЕ

Из Петербурга — в Питермарицбург. — Эхо революции пятого года. — Как в Южной Африке узнали о Ленине. — Ленин о борьбе южноафриканцев. — Судьба редактора трансваальской газеты.

Иоганнесбург — Кейптаун — Москва

Когда-то, несколько десятков лет назад, на юге Африки издавалась коммунистическая газета «Умсебензи». На языке зулусов это значит — «Рабочий».

Она печаталась в двух городах, на первый взгляд не очень подходящих для такой газеты.

Один из них — Кейптаун (Город на мысе). Город, омываемый водами двух океанов. Кейптаун в течение веков был «морской таверной» на полпути между Европой и «сказочным Востоком». И самые прожженные шкиперы крестились, удачно миновав грозное место, которое португальские мореплаватели справедливо называли мысом Бурь, но потом в суеверном страхе переименовали в мыс Доброй Надежды.

Другой город — Иоганнесбург. Его называют еще Золотым городом, потому что он расположен в центре района, который дает три четверти добычи золота во всем капиталистическом мире.

Иоганнесбург появился в 80-е годы прошлого века как поселок старателей, ринувшихся со всего света на золотые россыпи, открытые здесь, в Трансваале. Сейчас на том месте, где когда-то были сколочены из ящиков и рифленого железа лачуги первых старателей, стоят гигантские здания города с населением почти в полтора миллиона человек. Его называют «маленькой Америкой» — здесь появились первые в Африке небоскребы.

Об этом городе тоже писали немало. Но и к нему чаще всего обращались именно авторы авантюрных романов. И написано куда больше о рождении Иоганнесбурга и о первых «старательских» годах, чем о последних десятилетиях его жизни, когда он стал крупнейшим промышленным центром не только в Трансваале и не только в самой Южно-Африканской Республике, куда Трансвааль входит как одна из провинций, но и на всем Африканском материке.

В этих городах и выходила газета под названием «Умсебензи».

Просматривая пожелтевшие листы ее номеров почти сорокалетней давности, наталкиваешься на рисунок, который не может не броситься в глаза.

Это изображение Ленина. Оно выполнено настолько своеобразно, что нам трудно сразу узнать в нем знакомое лицо. Но то, что это Ленин, не вызывает никакого сомнения. Даже если бы под изображением не было подписи на двух языках, зулусском и английском: «Ленин указывает путь к свободе».

Этот рисунок появился в ноябре 1932 года в номере, который был посвящен 15-й годовщине Октября.

Это был не первый портрет Ленина, напечатанный в Южной Африке. О Ленине здесь стало

известно намного раньше, еще в канун Октября. А сразу же после революции стали один за другим появляться переводы его статей и выступлений, отчеты о его деятельности.

Уже в 1920 и 1921 годах в Москву прибыли первые представители с юга Африки. Они встречались с Лениным, работали с ним в Коминтерне, переводили его работы, писали о нем статьи.

В нашем рассказе мы и хотели бы поговорить о том, как на юге Африки узнали о Ленине и его идеях.

Для этого надо представить себе Южную Африку тех времен, когда жил Ленин. И тех людей в этой стране, которые могли воспринять его идеи.

Ведь для того чтобы социалистические и коммунистические идеи могли проникнуть в Южную Африку, необходимо, чтобы там была для этого подготовлена почва, были люди, которых сама жизнь заставила бы задуматься над сложнейшими вопросами развития общества и искать выхода в социализме.

Многие из этих людей оказались в том человеческом потоке, который хлынул на юг Африки после открытия здесь крупнейших в мире месторождений алмазов и золота в конце прошлого века и после англо-бурской войны — в начале нынешнего. Этот поток был очень пестрым. Авантюристы всех мастей. Дельцы самых разных калибров. Юноши, подростки, которые, начитавшись приключенческой литературы и скопив денег, нередко тайком от родителей садились на пароход, отплывавший в «экзотические» страны. И те, кто бросился помогать бурским республикам — Трансваалю и Оранжевой — в их борьбе против британского нападения. И люди, которые бежали от нужды и притеснений в поисках лучшей доли. И наконец, «политические», то есть те, за кем в их родных странах усиленно гонялась охранка.

Именно на рубеже прошлого и нынешнего веков, особенно в связи с англо-бурской войной, Россия и Южная Африка, отстоящие друг от друга на тысячи и тысячи километров, близко познакомились друг с другом.

Англо-бурская война, которую вместе с испано-американской Ленин называл первыми империалистическими войнами в истории человечества, всколыхнула всю тогдашнюю Россию.

Из Петербурга — в Питермарицбург

В течение нескольких лет самой популярной песней наших дедов и прадедов была песня об очень далеких краях —

Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Песня о Трансваале пришла не с юга Африки. Она была сложена у нас, стала народной песней, и это говорит лучше, чем что бы то ни было другое, насколько глубоки тогда были симпатии к бурам и их стране.

Эту песню долго не забывали. Потом, уже в гражданскую войну, в ней заменили слово «Трансвааль» на «Сибирь». Писал об этой песне и Александр Фадеев в «Молодой гвардии» и «Последнем из удэге», и Лев Кассиль в «Дорогих моих мальчишках», и писатель Михаил Слонимский, и многие другие.

Эта песня была совсем не единственной «южноафриканской» песней, которую пели в нашей

стране. Еще раньше появилась «Трансваальская песня». Слова ее были такие же немудреные. Она распространялась в виде отдельного листочка с текстом, нотами и следующими словами: «Лепта раненым бурам. «Трансваальская песня». Составил А. Каптерев. Собственность автора. С.-Петербург. Дозволено цензурой. Спб. 22 ноября 1899 г.».

Такие песни отражали общее отношение к событиям на юге Африки. Журналы «Нива», «Родина», газеты со сводками о боях под Ледисмитом, Кимберли, Мафекингом читали даже в самых отдаленных уездах Российской империи. Повсюду можно было видеть фотографии бородатых буров с ружьями и вместительными патронташами. В губернских городах и обеих столицах лучшие артисты устраивали концерты в пользу раненых буров. А предприимчивый петербургский трактирщик даже назвал свое питейное заведение у Царскосельского вокзала словом, которое было у всех на языке, — «Претория».

Но в тогдашней России не только зачитывались сообщениями из Южной Африки, не только собирали деньги для раненых буров и не только слагали песни. Из Одессы в южноафриканские порты отправились корабли с добровольцами.

Поехали люди из самых разных мест. С Кавказа, например, поехал князь Багратион — потомок героя Бородинской битвы. Не так давно были напечатаны его воспоминания; в Тбилиси появилась и статья о грузинах — участниках бурской войны.

Из Петербурга отправились два медицинских отряда. Врачи и сестры милосердия выхаживали раненных под Питермарицбургом — городом, название которого напоминает об очень популярной в начале века и до сих пор не забытой книге «Питер Мариц — южный бур из Трансвааля».

Люди, приехавшие тогда буквально со всего света на помощь бурам, создали «Европейский легион». Заместителем командира там был полковник Е. Я. Максимов.

Максимов пользовался у буров настолько большим уважением, что они удостоили его высшей воинской чести — избрали фехтгенералом. После гибели командира «Европейского легиона» Максимов занял его место, но продолжалось это недолго — в одном из ближайших боев англичане так изрешетили его пулями, что его в тяжелом состоянии пришлось вывезти из Южной Африки.

У мальчишек тогда высшим геройством считалось подражать таким людям. Бежать из дому, чтобы помогать бурам.

Лучше всего об этом написал, пожалуй, Константин Паустовский в воспоминаниях о своем детстве:

«Англо-бурская война была для мальчиков вроде меня крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам из «Вокруг света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве.

В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновые хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов капала вода. Серые каменные удавы поднимали головы из темных ниш.

Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охот-

ником. Он ездил охотиться в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чудак, но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке.

Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдания и борьба за человеческое право вторглись на огромный Черный материк...

Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах, — расставаться с охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя воспаленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест.

Сколько раз и я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара!

Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось живучим. Поэтому трудно передать то ошеломление, тот немой восторг, которые я испытал, когда в нашей скучной квартире в Киеве появился бородатый, сожженный африканским солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубахе с открытой шеей, с патронташем на поясе — дядя Юзя.

Я ходил за ним следом, я смотрел ему в глаза. Мне не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские краали, английских кавалеристов и бури Тихого океана».

Поначалу европейцы, «белые», увидели в Африке только буров, тоже белых — подобных себе. Их страдания и борьба были понятнее. Отправляясь из Европы на юг Африки, добровольцы думали только о судьбе буров, но, познакомившись с местной жизнью, они постепенно стали проявлять интерес и к африканцам.

Во время бурской войны не только Россия ближе узнала Южную Африку, но и Южная Африка — Россию.

Эхо революции пятого года

В начале XX столетия на юге Африки существовали уже социалистические общества, были и люди, знакомые с учением Карла Маркса. Конечно, это были «белые», выходцы из Европы или те, чьи отцы, деды приехали из европейских стран. Они привозили на юг Африки передовые идеи своей эпохи. Иначе по тем временам и не могло быть.

Благодаря уже пробудившемуся интересу к России и существованию местных, южноафриканских социалистических организаций стало возможно то влияние, которое оказали события 1905 года на умы людей в Трансваале и на мысе Доброй Надежды. В южноафриканских городах действовало общество «Друзья России», собирались деньги в фонд помощи жертвам расстрела 9 января, проходили митинги солидарности с российскими революционерами.

Один из первых таких митингов был организован в начале февра-

ля 1905 года существовавшей тогда в Кейптауне Социал-демократической федерацией.

Сохранилось письмо, которое было зачитано на этом митинге и опубликовано тогда в одной из южноафриканских газет:

«Я глубоко сожалею, что не могу быть с вами на митинге в воскресенье, чтобы выразить мою солидарность с русским стачечным движением. Отсутствуя физически, я буду с вами душой а еще больше — с теми, кто сейчас в далекой России взял на себя бремя извечной войны человечества за большую и высшую справедливость, войны, которая ведется столетиями то одним народом, то другим... Сегодня знамя перешло в руки великого русского народа. Я верю, что, являясь свидетелями этого движения в России, мы присутствуем при начале величайшего события в истории человечества за последние века».

Эти слова принадлежат крупнейшей южноафриканской писательнице Оливии Шрейнер. Они не прошли незамеченными. Оливию Шрейнер считают сейчас, да и при ее жизни считали, основательницей южноафриканской литературы. Все, что говорила или писала эта женщина, оказывало большое влияние на ее соотечественников. Да и не только там.

Эта писательница была очень популярна и в других странах. Ее хорошо знали тогда и в России. Еще в 1893 году перевели ее большой роман «История африканской фермы». А потом на русском языке издавали почти все, что она писала. Ее печатали в «Ниве», «Вестнике иностранной литературы», «Русской мысли», «Русском богатстве», «Литературных вечерах», «Живописном обозрении», «Журнале для всех», «Мире божьем», «Новом веке», «Книжках недели», «Северном сиянии»... Ее книги издавались в нашей стране и до и после революции, а одна из них выдержала десять изданий.

«Аллегории» Оливии Шрейнер печатались даже в газете «Нижегородский листок» еще в 1898 году, с предисловием и комментариями Максима Горького.

О влиянии Оливии Шрейнер можно судить по словам ее современника — английского писателя Джерома К. Джерома. Он говорил об одной из шрейнеровских книг, что «юноши и девушки жадно протягивали к ней руки и хватались за нее как за поводыря в дебрях жизни».

В распространении марксизма на юге Африки Оливии Шрейнер тоже принадлежит немалая роль. В те же годы, во время первой русской революции, на другом митинге — в городском зале Кейптауна — прозвучали ее слова:

«Мне нужно хотя бы упомянуть имя Карла Маркса — великого немецкого социалиста и вождя, который умер лишь 27 лет тому назад. Это был человек со столь необыкновенным даром понимать финансовые проблемы, что, по мнению, которое неоднократно высказывалось компетентными лицами, он мог стать одним из богатейших людей Европы, если бы использовал свое знание финансов для обогащения. Но этот человек решил посвятить всю свою жизнь и свой громадный талант только развитию тех теорий, которые, как он верил, послужат на благо человечеству. Он не отказался от служения своим великим идеалам и предпочел нужду и изгнание — нужду столь горькую, что ему, его жене, высокообразованной женщине, и маленьким детям подчас не хватало даже самого насущного, жизненно необходимого».

О Марксе, его жизни и его идеалах Оливия Шрейнер знала не только из книг. Во время своего долгого пребывания в Европе, в 80-х годах прошлого века, она познакомилась с виднейшими социалистами своего времени, такими, как Вильгельм Либкнехт. Она была близкой подругой дочери Маркса — Элеоноры, знала ее мужа Эдуарда Эвелинга, ее сестру Женни, гостила у Лафаргов, находясь во Франции.

Социалистические организации на юге Африки постепенно усиливались. А опыт российской революции южноафриканские социалисты изучали всерьез.

Как в Южной Африке узнали о Ленине

Уже Февральской революции южноафриканские социалисты дали оценку, изумительно верную для наблюдателей, находившихся так далеко от самого места действия. Оценка была сформулирована так:

«Это буржуазная революция. Но она пришла в пору упадка капитализма. Она не может быть простым повторением предыдущих революций...»

Такие слова появились в газете «Интернационал», которую южноафриканские социалисты начали издавать с конца 1915 года. Это она была впоследствии переименована в «Умсебензи».

Первое упоминание о Ленине появилось в этой газете уже в июле 1917 года. О Ленине говорилось как о руководителе российских социал-демократов. Рассказывалось о его возвращении в Россию.

В августе о Ленине писали уже намного больше.

31 августа на первой странице появилась статья под заголовком «Ленин одерживает верх». Тогда же в передовой статье «Интернационала» было сказано: «Кажется, Ленин снова прав», и «Со всех точек зрения события доказывают правильность принципов, провозглашенных Лениным. Каждая неделя приносит новые свидетельства его правоты».

С этого времени имя Ленина не сходит со страниц газеты. Изложения, пересказы его статей и выступлений, отдельные высказывания публикуются все чаще и чаще. Заголовки: «Кого Ленин ненавидит», «Что Ленин говорит»... Иногда появляются и полные тексты.

Уже 13 июля 1917 года, задолго до того, как большевики взяли власть, в «Интернационале» почти целиком перепечатывается одна из статей «Правды», а вскоре выдержки из этой газеты стали публиковаться чуть ли не в каждом номере. О самой «Правде» говорилось, что это «газета Ленина», рассказывалось подробно, о чем она пишет, кто ее авторы, каким тиражом выходит.

В августе были даны первые перепечатки из «Известий».

Октябрьскую революцию южноафриканские социалисты встретили с восторгом. Уже 18 ноября 1917 года в Иоганнесбурге при большом стечении народа состоялась лекция «Русская революция и война».

Руководитель социалистов Южной Африки Билл Эндрюс, находившийся в то время в Лондоне, попытался связаться там с Максимом Максимовичем Литвиновым — будущим наркомом иностранных дел. Литвинов тоже тогда находился в Лондоне и в начале января 1918 года был назначен дипломатическим представителем РСФСР в Англии. Билл Эндрюс встретился с ним и установил прямые кон-

такты между российскими большевиками и южноафриканскими социалистами.

Но Максим Максимович вскоре уехал из Англии, и постоянного источника информации о положении российских дел опять не стало. А получать такую информацию становилось все труднее.

О буржуазной печати на страницах газеты южноафриканских социалистов писали в кавычках: «наша правдивая пресса». Почти одновременно с сообщением об Октябрьском перевороте в «Интернационале» появились слова: «Теперь ничем не сдерживаемое сквернословие и грязь капиталистической журналистики изливается на Ленина и его партию».

В лекциях, на митингах, в листовках, брошюрах и в своей газете социалисты старались разоблачать все, что они считали клеветой на революционную Россию. Они прибегали при этом и к фельетонам, видя в смехе действенное орудие борьбы против широко распространенных представлений.

Южноафриканские социалисты печатали материал о России и Ленине не только в своей газете, но и отдельными брошюрами. В 1919 году они таким образом выпустили в Иоганнесбурге «Крах II Интеркационала» и еще несколько ленинских работ.

В том же 1919 году, в дополнение к иоганнесбургскому «Интернационалу», начала издаваться газета «Большевик». Печаталась она в Кейптауне.

Оливия Шрейнер, тогда уже большую часть времени прикованная к постели тяжелой болезнью, сообщала своим друзьям, что она «прочла все книги о России», которые «смогла достать в течение последнего года». В конце 1919 года она писала, что считает Маркса и Ленина величайшими людьми последних 100 лет.

Ленин внимательно присматривался к событиям на юге Африки.

Ленин о борьбе южноафриканцев

2 мая 1922 года Ленин писал: «...не забыть еще Южной Африки, которая недавно напомнила о своей претензии быть людьми, а не рабами, и напомнила не совсем «парламентски».

Эти слова появились в статье Ленина «К десятилетнему юбилею «Правды». Они относились к тем классовым боям, которые потрясли Южную Африку в 1918—1922 годах, и особенно к борьбе горняков Трансвааля, которая вошла в историю как «Красное восстание».

Стачка горняков началась в январе 1922 года, а в марте она уже переросла в восстание. Оружие, конечно, было плохонькое — ружья, винтовки да несколько пулеметов. Но большинство мятежников состояло из буров, известных на весь мир стрелков. В руках рабочих оказались все шахтерские города и поселки Трансвааля. Они перегородили улицы баррикадами и траншеями.

Несколько дней рабочие сдерживали натиск двадцати тысяч солдат, оснащенных по тогдашнему времени отлично — с броневиками, с артиллерией. И даже самолетами, с которых на позиции повстанцев сбрасывались бомбы.

Перед решающей схваткой защитники последнего оплота мятежников, шахтерского городка Фордсбурга, на глазах у готовящегося к атаке врага запели песню «Красный флаг» — ее при-

везли когда-то рабочие, иммигранты из Англии, и она стала гимном трансваальских повстанцев. Вот ее перевод — как он был напечатан в Москве тогда же, в 1922 году, в связи с этой новой трансваальской трагедией:

Народный флаг кроваво-красен,
Он не раз служил последним
покровом для павших борцов.
И прежде чем холодели
и коченели их тела,
Каждая складка его орошалась
кровью их сердец.
Каждому рабочему дорого наше
знамя:
И пылкому французу, и отважному
немцу,
Над куполами Москвы несутся
гимны в его честь,
В Чикаго он развевается над
волнующимися толпами.
Он говорит нам о былых
победах,
Он обещает нам исполнение
надежд на вечный мир,
Яркое знамя, пылающий символ
Прав человека и его побед!
С обнаженной головой мы все
клянемся
Высоко держать его до последнего
дыхания.
Нас не страшат ни тюрьма,
ни виселица,
Эта песнь будет последним
нашим гимном.

А затем последовала артподготовка — на 1 час 10 минут — и атака правительственных войск. Улицы колониальных городов широки и потому неудобны для баррикадных боев. И для многих защитников Фордсбурга песня действительно оказалась последней... Многие были брошены в тюрьмы и казнены.

В тот день восстание было окончательно подавлено.

Арестовано было пять тысяч человек. Полторы тысячи из них присудили к различным наказаниям, а нескольких — к повешению. Но когда первые четверо шли на виселицу, вся тюрьма вместе с ними запела «Красный флаг». На могилы повешенных пришли 50 тысяч человек.

И власти сочли для себя благоразумнее «помиловать» остальных приговоренных к виселице — заменить казнь пожизненным заключением.

Правительство Южной Африки объявило это восстание результатом «большевистского заговора», нити которого якобы тянулись к Москве. Репрессии обрушились на Коммунистическую партию Южной Африки, которую за полгода до восстания создали люди, объединившиеся вокруг газет «Интернационал» и «Большевик».

В помещениях партии были устроены обыски, все хранившиеся там материалы отобраны и переданы особой следственной комиссии.

Гнев властей больше всего обратился против человека по имени Дэвид Айвон Джонс — основателя и редактора той газеты, которая сначала именовалась «Интернационал», а впоследствии стала выходить под названием «Умсебензи». Это в его статьях имя Ленина было впервые названо на юге Африки.

В марте 1922 года Айвону Джонсу не миновать бы самой страшной участи, но в это время он был недосягаем для властей своей страны.

Уже несколько месяцев он находился в Москве, жил на Тверской, теперь улица Горького, в доме наискосок от Моссовета, в гостинице, которая сейчас называется «Центральная», а тогда называлась «Люкс». В ней останавливались приезжавшие из-за границы руководители коммунистических партий. Айвон Джонс тоже жил в той гостинице. Он стал первым представителем Африки в Исполкоме Коминтерна.

Вместе с Лениным он участвовал и в заседаниях, и в повседневной работе Коминтерна.

Жизнь этого человека заслуживает того, чтобы о ней рассказать то немногое, что сохранилось до нас.

Судьба редактора трансваальской газеты

Для Джонса, как и для подобных ему людей, революция была смыслом существования. Как герой светловской «Гренады», он мечтал о мировой революции и готов был отдать свои силы и жизнь народам, живущим за тысячи миль от его родины. Будучи англичанином, родившись в Уэльсе, он стал борцом за свободу Южной Африки — страны, порабощенной его соотечественниками.

Мечта о мировой революции, романтика этой борьбы не сделали Джонса фанатиком, совершенно оторвавшимся от действительности. Он всегда стремился сохранить трезвость мысли, умение реально оценивать окружающее и самого себя.

Может показаться парадоксальным, что зачинателем коммунистического движения в Африке, да к тому же еще во времена безраздельного господства колониализма, был белый человек. Что он, британец, распространял антиимпериалистические идеи в «своей» Британской империи. И даже само то, что именно в Южной Африке — стране расизма, раньше чем в любой другой части Африканского континента, появились люди, считавшие «черных» такими же людьми, как и «белые».

Пока болезнь не приковала Джонса к постели, он участвовал в повседневной коминтерновской работе.

Но конкретных фактов о жизни этого человека мы знаем крайне мало. Из больничного «дела» Ялтинского тубинститута, куда Айвон Джонс попал 14 сентября 1923 года с большими кавернами в легких и с диагнозом: «хронический туберкулез», должно быть, можно было бы почерпнуть кое-что, но ялтинская «история болезни», как и вообще многое, что могло бы рассказать о жизни этого человека, погибла во время фашистской оккупации Крыма. А в самой Южной Африке бесчисленные налеты и обыски помещений компартии привели к тому, что большинство документов, связанных с деятельностью Джонса, оказалось в архивах тайной полиции.

Не зная об Айвоне Джонсе и событиях, неразрывно связанных с его именем, трудно понять некоторые действительно важные моменты южноафриканской истории. Но тамошнее правительство следует извечному принципу деспотической власти — вычеркивать из народной памяти противников режима, замалчивать самое их существование до той поры, когда, говоря словами поэта,

И нет уже свидетелей событий
И не с кем плакать,
не с кем вспоминать...

Зная характер режима, существующего на юге Африки, приходится удивляться не скудости сведений об Айвоне Джонсе, а, наоборот, тому, что властям не удалось стереть вообще всякое воспоминание об этом человеке. Таков удел страны, где люди борются и гибнут, зная, что оставшиеся в живых еще долго не смогут ни поставить им памятника, ни рассказать о них полным голосом поколениям, идущим на смену.

И те, кто сейчас продолжает

в Южной Африке дело Айвона Джонса, понимают, конечно, что если они не добьются победы, то и о них потом в их родной стране будут знать так же мало.

В лучшей из книг по истории Компартии ЮАР Айвону Джонсу посвящены такие слова: «Нет оценки достаточно высокой, чтобы определить его заслуги... Его роль в истории южноафриканского рабочего класса еще предстоит должным образом оценить и увековечить».

Это было написано через 20 лет после смерти Айвона Джонса и уже почти четверть века назад. Но до сих пор не только в Южной Африке, но и за ее пределами не появилось ни одной работы об Айвоне Джонсе.

На юг Африки этот человек приехал в 1906 году двадцатилетним юношей. На родине, в Англии, он рано остался сиротой и с детства находился под дамокловым мечом — угрозой смерти от чахотки. Пытаясь ускользнуть от болезни, которая в те годы считалась роковой, он переехал из Великобритании сперва в Новую Зеландию, а оттуда на юг Африки. В отличном южноафриканском климате находили спасение многие туберкулезники.

В Южную Африку Джонс приехал в сложное для этой страны время. Недавно кончилась бурская война, и Англия старалась создать новый доминион — Южно-Африканский Союз — из Капской колонии, Наталя, Трансвааля и Оранжевой республики. Начался экономический бум, потребовались тысячи и тысячи рабочих рук для промышленности. В Кейптаун приплывали отовсюду корабли с эмигрантами из Европы и Америки.

Накануне первой мировой войны Южную Африку сотрясли крупные забастовки белых рабочих. Условия их работы были тогда очень тяжелыми, хотя и лучше, чем те, в которых существовали африканцы.

Джонс с головой окунулся в атмосферу борьбы, хотя на его месте многие, пораженные такой же болезнью, оказывались вообще не способны к активной деятельности.

Ко времени первой мировой войны Айвон Джонс пользовался уже большим авторитетом и в профсоюзах и в Южно-Африканской лейбористской партии, где он был избран генеральным секретарем. Южная Африка стала для него второй родиной. Но по-настоящему крупная роль выпала на долю Айвона Джонса в начале империалистической войны, когда он стал одним из лидеров левых лейбористов, у которых нашлось мужество выступить против этой войны.

В 1915 году эти люди, покинув лейбористскую партию, создали Интернациональную социалистическую лигу, которая, постепенно изменяясь, стала через несколько лет ядром коммунистической партии. Айвон Джонс сделался одним из руководителей лиги и редактором ее газеты «Интернационал».

Конечно, перемены в лиге происходили не сразу. И ее руководители, такие, как Айвон Джонс, не сразу становились марксистами. Первое, с чего они начали, был протест против мировой войны и призыв к международному братству рабочих. Но вскоре они поднялись до понимания того, что не может быть международной солидарности рабочих лишь в рамках «белого» мира, «белой» расы, как это понимали некоторые лидеры II Интернационала.

Со страниц издававшейся

Джонсом газеты впервые в истории Африки прозвучал призыв к подлинному интернационализму — «без различия цвета кожи и национальности». В условиях страны, где сам воздух напоен расизмом, это был неслыханно дерзкий призыв. Айвон Джонс побывал на скамье подсудимых, его газета и сама лига навлекли на себя репрессии.

Важнейшую роль в становлении лиги, в переходе ее на позиции марксизма сыграла Октябрьская революция. Айвон Джонс и его друзья пристально следили за всем, что происходило в далекой северной державе, прислушивались к тому, как

В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.

В редакции на Фокс-стрит — улице Иоганнесбурга, Золотого города, — лихорадочно собирались те крохи информации из Москвы и Петрограда, которые можно было получить на юге Африки. Газета играла в те годы роль и коллективного пропагандиста и коллективного организатора нарождавшегося коммунистического движения. И в конце 1920 года, когда южноафриканцы решили послать своего полномочного представителя в «Мекку революции» — Москву, выбор пал на Айвона Джонса.

Джонс не был первым представителем южноафриканских социалистов, приехавших в Москву. Еще до него приехали Сэм Берлин и Ден Баккер. Ден Баккер, бур по национальности, поехал даже в Ташкент: посмотреть политику Советской власти на окраинах.

Работая в Коминтерне, Джонс встречался не только с Лениным, но и со всеми лидерами мирового коммунистического движения тех лет. Его имя в протоколах заседаний постоянно стоит рядом с именами Коллонтай, Луначарского, Куусинена, Вильгельма Пика, Бела Куна, Билла Хейвуда, Клары Цеткин, Василя Коларова...

Айвон Джонс быстро выучил русский язык. Ему это было не трудно — он уже знал несколько языков, и европейских и африканских. Он переводил статьи Ленина для английских газет, а в гостинице «Люкс» вокруг него по утрам собирались многие зарубежные работники Коминтерна, чтобы послушать последние новости русской печати.

Южноафриканские власти внимательно следили за деятельностью Джонса. Об этом говорит, например, опубликованный в 1922 году большой отчет комиссии по расследованию причин «Красного восстания». Стремясь показать, что причиной мятежа были действия коммунистов, авторы отчета цитировали множество статей Джонса и его писем, захваченных во время обыска в Иоганнесбурге. И даже о тех статьях, которые в действительности принадлежали другим людям, комиссия сообщала:

«Вряд ли можно сомневаться, что автором является мистер Айвон Джонс».

Но здоровье становилось все хуже. Летом 1923 года Джонс еще участвует в заседаниях пленума Исполкома Коминтерна, вместе с другими делегатами поддерживает избрание Ленина почетным председателем этой организации. Он еще может водить по Москве приехавшего из Трансвааля своего старого друга Билла Эндрюса, избранного членом Исполкома Коминтерна, показывать ему Кремль. Но болезнь берет свое. Сперва Джонса отправляют в подмосков-

ную больницу, а затем, уже фактически в безнадежном состоянии, в Ялту, в терапевтическое отделение туберкулезного института. Эндрюс провожает друга в Крым, зная, что больше его уже не увидит.

Последними работами Айвона Джонса были пять больших статей о Ленине. Они появились в 1924 году и в английском журнале «Коммунистическое обозрение» и в газете самого Джонса — южноафриканском «Интернационале».

* * *

Таковы некоторые факты о том, как на юге Африки узнали о Ленине.

Первый выпуск нашего сборника открывался предисловием К. Паустовского под названием «Несколько слов о «Бригантине».

Его рассказы и очерки, появлявшиеся в каждом новом выпуске «Бригантины», стали неотъемлемой частью сборника.

Напутствуя в первый путь «Бригантину» и желая ей счастливого плаванья, Паустовский верил, что она будет нести читателю «описания заманчивых уголков земли». Человек неуемной пытливости, полжизни проведший в поездках и странствиях, Константин Георгиевич меньше всего смотрел на путешествия как на отдых или развлечение. Путешествия были для него действенным средством познания жизни и активного вторжения в нее. Не потому ли львиная доля того, что написал Паустовский, обязана своим появлением на свет многочисленным поездкам, которые довелось — нет, пожалуй, посчастливилось — совершить их автору? Где только не побывал Константин Георгиевич — на Кавказе и в Средней Азии, в Калмыкии и в Литве, на Урале и на Кольском полуострове, на берегах Онежского озера и Балтийского моря, на Алтае и в Крыму, в Болгарии и в Польше, в Греции и в Италии, в Англии и во Франции. Каждая из этих поездок оставила нестираемый след в его памяти, почти о каждой из них он написал взволнованный рассказ.

Попадая в новые места, быстро в них осваиваясь, чувствуя себя там как дома, Константин Георгиевич еще острее ощущал свою сыновнюю привязанность к среднерусской природе, которая так мила была его сердцу. Стойкая привязанность к своему, до боли знакомому, родному удивительно естественно сочеталась у него с живым и доброжелательным интересом ко всему новому и неизведанному, что встречалось на пути. Это составляло одну из самых характерных черт его писательского облика.

Предлагаемые вниманию читателей рассказы и очерки («Первая встреча», «Белая Церковь» и «Бессмертное имя») из архива Константина Георгиевича, хранящегося у Т. А. Паустовской, писались по конкретному поводу, но значение их, понятно, выходит за границы тех частных задач, какие ставил перед собой автор.

Паустовский любил Латвию. Здесь ему хорошо работалось. Здесь он написал «Золотую розу». Свою признательность к Латвии, к ее природе и людям Константин Георгиевич выразил в «Первой встрече», которая была написана в декабре 1960 года.

«Белая Церковь» и очерк о Севастополе «Бессмертное имя» были написаны тогда, когда Советская Армия, развивая наступление, освободила от фашистских оккупантов эти города, так много значившие в жизни Паустовского.

В канун 25-й годовщины победы советского народа над фашистской Германией мы снова вспоминаем те грозные времена и думаем о величии народа, восстановившего из руин разрушенные фашистами города.

В начале двадцатых годов Константин Георгиевич работал в одесской газете «Моряк». В качестве разъездного корреспондента этой газеты он побывал почти во всех более или менее значительных причерноморских городах и о каждом из них написал корреспонденцию или очерк. Одним из таких очерков и является «Керчь» — описание древнего города Крыма, сильно пострадавшего в годы гражданской войны и приобщающегося к мирной жизни. Впоследствии автор переработал этот очерк и включил его в первую свою книгу «Морские наброски», вышедшую крошечным тиражом в 1925 году в Москве. Но думается, что в первоначальном виде этот очерк, написанный по горячему следу поездки в Керчь, представляет особый интерес, как живое и непосредственное свидетельство очевидца.

В первый сборник Паустовского «Морские наброски», помимо очерков, вошли рассказы — в частности, рассказ «Капитан-коммунар», в основу которого легли реальные факты. Под вымышленной фамилией Кравченко Паустовский вывел в этом рассказе капитана дальнего плавания Зузенко, с которым автор познакомился, сотрудничая в редакции газеты «На вахте». Полную превратностей и приключений жизнь Зузенко Константин Георгиевич описал в заключительной части «Повести о жизни» — в «Книге скитаний». Очерк «Керчь» и рассказ «Капитан-коммунар» публикуются по машинописной копии, находящейся у В. К. Паустовского.

Л. ЛЕВИЦКИЙ

Константин
ПАУСТОВСКИЙ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

От первой встречи с незнакомой страной всегда тяжело бьется сердце. От волнения, от неизвестности, от ожидания всяческих неожиданностей, похожих на маленькое чудо, от иного воздуха и иного света, чем тот, к которому ты привык у себя на родине.

Так я волновался, впервые увидев Латвию. Поезд подходил к Риге. Чуть светало. Вокруг простиралась зима — теплая, приморская, присыпанная легким снегом.

Я открыл в вагоне окно, и в купе ворвался острый воздух. Он принес с собой запах подмерзших сосновых иголок, тающих льдинок и горьковатого дыма из домов, где еще горел в окнах свет. Хмурое небо низко простиралось над землей, и под его пологом где-то далеко пели петухи, выкликая рассвет и солнце.

Но солнце так и не показалось из-за густой мглы. Я не жалел об этом. Тогда же, при первой встрече, я понял, что прелесть латвийской земли и заключается в этом как бы старинном, слегка потемневшем снеге, в этой серебряной мгле, в каком-то особенном уюте здешней зимы, когда навстречу ей, как в пушкинском «Пире во время чумы», трещат камины и роятся под шум огня детские сказки и взрослые сны.

С этим ощущением только что распустившейся сказки, с ожиданием мимолетных встреч, едва задевающих сердце, я ехал из Риги на Взморье. Радостное предчувствие не обмануло меня. Там, в снегах, подмытых прибоями, в гуле сосен над дюнами я написал одним дыханием, как бы одним вздохом книгу, названную потом «Золотой розой».

Если можно быть благодарным целой стране, как человеку, то эту благодарность к Латвии я все время ношу у себя в сердце.

Я не буду говорить о расцвете Латвии. Он неизбежен, и тому порукой — ее трудолюбивый народ.

Близится новый год, и я хочу и имею право говорить о поэзии, наполняющей эту страну, удивительной поэзии юга и севера, слившихся здесь воедино.

В чем север?

В затуманенных далях, в чистых красках, в бледных, но великолепных закатах над Рижским заливом. В спокойствии людей, в русых и тяжелых девичьих косах, в улыбке серых глаз, в вереске, в молчаливых лесах и древнем воздухе Старой Риги.

А юг — в звонком неудержимом смехе женщин, во влажных ветрах с Атлантики, в цветах, что не отцветают всю зиму в латышских домах, в ярких разноцветных печах, в самом колорите жизни.

Такие печи поразили меня своей живописностью в загородном крошечном доме старого латвийского писателя Роберта Селиса — доме, построенном до последней доски руками самого писателя.

Я не пишу связный рассказ о Латвии. Я просто свободно вспоминаю и потому прошу простить меня за отрывочность моих слов.

Мы, люди, устроены «очень смешно» (как сказали бы дети), иной раз воспоминания, лишенные даже намека на событие (или, если хотите, намека на сю-

жет), не оставляют нас всю жизнь. Они дают ей какое-то дополнительное звучание, дополнительную легкую краску.

Так на всю жизнь я запомнил утро в Дубултах, когда я один вышел из маленького дома на дюне, на берегу залива, долго слушал шум волн, шорох оседающего снега, тонкий звон в прибое маленьких льдинок, освещенных слабым розовым светом поздней северной зари.

Я пишу эти строки с тайной надеждой, что их прочтут в числе других читателей поэт Имермаанис, прозаик Ванаг, поэтесса Визма Большевиц и другие мои латвийские друзья и знакомые, и моя любовь к их стране вызовет у них ответную дружескую улыбку.

Новый год подходит к полям, лесам и городам Латвии. Пусть он принесет много сказок латвийской детворе, много сердечных счастливых волнений девушкам и юношам, а всем возрастам — от юности до старости — глубокое сознание ценности жизни и ценности своего труда.

1960 г.

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Недавно части Красной Армии штурмом взяли город Белую Церковь на Украине. Мой дед — синеглазый кроткий старик, весь серебряный от седины, и мой отец выросли и долго жили в Белой Церкви. В детстве я там часто бывал. Поэтому мне трудно представить себе жестокий танковый бой на улицах этого города. Вернее, не на улицах, а в аллеях этого города — в тихих и широких аллеях, заросших одуванчиками, теплых от солнца, пахнущих листьями тополя и укропом.

Представьте себе бой на улицах шекспировского Стрэтфорда или в каком-либо другом патриархальном городке Англии, где лондонец может услышать не только ночью, но даже днем шум листьев и протяжные крики петухов.

Белая Церковь — старинный город, бывшая столица украинских гетманов. Вблизи города раскинулись великолепные Александрийские сады, принадлежавшие некогда графине Браницкой — дочери Екатерины Второй. В этих садах бывали Пушкин и Мицкевич. Эти сады производили впечатление сказки. Высокие и пышные, они всегда были затянуты легкой дымкой — то от солнца, то от дождя. Дикие олени выходили из чащи, чтобы нежиться у фонтанов. Фонтаны били прямо из травы, из кустов шиповника, из зарослей настурций. Эти сады подымались перед глазами в несколько ярусов, давали несколько световых и цветных планов, и казалось, что только кисть гениального Коро могла бы передать зрителю их очарование и таинственную глубину.

Через Александрийские сады протекает река Рось с прозрачной глубокой водой. Она вся заросла белыми лилиями. Во времена моего детства река в Александрийских садах была перегорожена заржавленными железными цепями, чтобы лодочники не мяли лилии и не пугали лебедей, гнездившихся на этой реке. Около города Рось прорывается через стертые временем до основания Авратынские горы — отроги Карпат. И вот в сердце степной Украины шумит горная река, переливается водопадами в гранитных красных берегах.

Раннее мое детство прошло в Белой Церкви, в этом городе, окруженном голубыми и золотыми полями Украины. Оно осталось в памяти как теплая роса на ползучих цветах портулака, как сладкий дым соломы — ею топили печи в городе, — как рассказы моего деда — бывшего николаевского солдата — о походах во Фракию.

Дед все лето жил в шалаше на пасеке. Пчелы любили его, как он сам говорил, за его тихий старческий голос и за то, что он никогда не курил табак. Он пел мне, мальчику, дребезжащим голосом старинные песни запорожских казаков. Они дышали то степной меланхолией, то буйным весельем. Дед мой помнил еще то время, когда на Украине не было железных дорог, и он возил с огромными обозами на серых волах соль и сушеную рыбу из Крыма в Киев.

В Белой Церкви было много ремесленников-евреев — часовщиков, шорников, сапожников, извозчиков. Это были добрые и веселые бедняки. Они постоянно дарили мне то конфеты из зерен мака, то глиняные свистульки, то

переводные картинки. Каждый раз, когда моя мать садилась к роялю, и среди вековых тополей на улице возникал торжественный звон струн, под окнами собирались все соседи-ремесленники, садились на траву и слушали, качая головами. Потом осторожно подъезжал старый извозчик Мендель, останавливался и, не слезая с козел, тоже слушал Шопена и Чайковского. Старая его лошадь тут же засыпала. Когда музыка кончалась, Мендель снимал картуз, вытирал им глаза и говорил матери:

— Вы великая артистка! Дай вам бог жить до ста лет.

В июне, в день народного праздника Ивана Купалы, в те душные летние ночи, когда зарницы непрерывно мигают по горизонту и созревают хлеба в полях, по реке мимо города плыли венки из полевых цветов, и в венки эти были вставлены горящие свечи. Так гадали украинские девушки — чья свеча дольше не погаснет, та девушка дольше проживет на свете.

Я бы мог еще много написать о прелести и поэзии этого города, но у меня нет места и времени.

Сейчас Белая Церковь взята.

Украина возродится из пепла и снова зацветет, зашумит богатыми садами, песнями и великолепным трудом.

1943 г.

ПИСЬМА С ПУТИ

Керчь

Керчь веет пыльной тоской, такой же смутной, как и память о древнем царе Митридате. Керчане покажут вам лысую, бесплодную, изрытую раскопками гору, где стоял его трон, гору, с которой видна мутная зелень Азова, глухая синева Черноморья и белесый туман лермонтовской Тамани. Покажут с базара, где старухи продают неизвестно кому букеты простых, но душистых цветов. Здесь, в Керчи, все время ощущаешь внятную оторванность от жизни, одинокую печаль этой окраины Крыма, где жестокие ветры все треплют и треплют жалкие деревца акации на известковом и безлюдном бульваре. Седая волна бьется у низких набережных, перепадают дожди, и над агентством треплется линялый флаг пароходства. В агентстве тишина, пахнет морем и сеном, что навалено на пристанях, гудит ветер, и за окнами качается бело-зеленый пролив в тумане кубанских дождей. Тишина прерывается только бульканьем голубей и тяжелыми, шаркающими шагами пристанского сторожа. И так вся Керчь — в тишине, безлюдье — смотрит на море белыми слепыми глазницами разрушенных гигантских складов, зелеными жалюзи домов, вся каменная, палевая, осколок Греции, квартал Пирея, перенесенный в иссохшие степи Крыма, на его лысые предгорья. Порт разрушен, черный ржавый маяк звенит, отвечая на удары прибоя, мальчишки сидят около изъеденных солью, заросших мхом пароходов и ловят розмаринок, трепещущих сиренево-розовыми плавниками. Ныряя в волне и развевая черный дым, ползет из Тамани «Судак», и, как туши смоленых китов, лежат на берегах корпуса шхун, оскалив сломанные ребра шпангоута.

На базаре около белой церкви, на узких и уютных уличках, в кофейнях, во всех этих «Севастополях», «Босфорах» и «Корфу» пахнет пыльной акацией, цветами, фаршированным перцем и копченой, бурой от золотого жира кефалью и селедкой.

Керчь хороша своей рыбой, арбузами, табаком и пустынностью. Рыба идет осенью, когда штормы густо солят прибрежные улицы рассолом прибоя и пролив не виден в тумане, идет влажными, трепещущими косяками, путаясь в бесчисленных заштопанных сетях.

Зимой оживают коптильные заводы и сырые корпуса табачных фабрик, где горло дерет шершавая и пряная табачная пыль.

А сейчас время арбузов зеленых и белых, монастырских, таманских и таганрогских. Но уже скоро будет нарушена пустынность Керчи, и сотни бронзовых рыбаков, людей из одних сухожилий, скупщиков, засольщиков и прочего торгового люда станут пить кофе по темным «кофенейонам» и торговать кефаль и подсулка, перебирая четки и хрипло перекликаясь на обветренных улицах.

Из Керчи мы вышли в ветреный, синий день. Закат встретил нас в Черном море, когда под ногами упруго ходила палуба «Сергеева» и чайки визжали, кружась около серого плавучего маяка. И берега Керчи пустынные, полные своеобразного очарования киммерийские берега потонули в сизых морских сумерках.

1923 г.

БЕССМЕРТНОЕ ИМЯ

Инкерман. Последний туннель. Все бросаются к окнам вагона. Но, даже не глядя в окна, можно догадаться, что поезд подходит к Севастополю. Отражения воды бегут по потолку вагона, морской ветер вздувает занавески, гремит сигнальная пушка. Полдень! Синевой, блеском прибрежной волны, желтыми скалами, сухим огнем бьет в глаза, слепит Севастополь.

А потом — знакомый половине России севастопольский вокзал. Ильф писал о нем: «Севастопольский вокзал, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах».

В этих словах с необыкновенной сжатостью передан Севастополь. Прочтя эти строки, невольно хочется спросить соседа: «Помните?» — и услышать ответ: «Да, конечно, помню. Тополя у самых вагонов. Какой это замечательный город!»

Таким мы помним Севастополь — город русской славы, боевых кораблей, памятников, фортов, заржавленных круглых ядер, застрявших в стенах домов, город бастионов, адмиралтейских якорей, Малахова кургана, цветущего миндаля и мягких, всегда немного таинственных вечеров.

Город великих адмиралов — Лазарева, Корнилова, Нахимова, город Пирогова, Льва Толстого, Матюшенко, лейтенанта Шмидта, Севастополь был и будет городом славы. Его слава — в великих традициях, в величавой его истории, в том, что Севастополь — гордый город. Он был гордым во времена обороны 1854 года, он был гордым в годы революции, и он остался таким же гордым и непреклонным в дни последней восьмимесячной осады — одной из самых суровых осад на земле.

Последние защитники Севастополя — моряки — погибли на Херсонесском мысу, но не сдались. В последние часы у них хватило силы духа, чтобы, яростно отбиваясь от немцев, передавать из уст в уста с привычным юмором историю, случившуюся со старым пароходом.

Старый пароход одним из последних уходил из осажденного Севастополя. Команда его была уверена, что пароход рассыплется от первой взрывной волны — не то что от прямого попадания бомбы. И вот бомба попала в пароход, прошла через него насквозь, как через бумагу, пробила ветхое днище и взорвалась на морском дне. Команда подвела под пробоину пластырь, и пароход пошел своей дорогой.

Судьба этого парохода, может быть, подлинная, а может быть, выдуманная каким-нибудь шутником-черноморцем, веселила последних защитников Севастополя. Они до конца остались верными флотской традиции отваги и веселья. Даже умирая, они шутили.

Если бы немцы были способны понимать движения человеческой души, то этот смех привел бы их в содрогание. Они бы поняли, что, взяв Севастополь, они его уже потеряли, что бессмысленно думать о порабощении русских и что возмездие будет беспощадным.

Севастополь снова наш. Он расцветет с новым великолепием. Несколько месяцев назад, когда наши части стояли еще под Перекопом и не было наступления, группе московских архитекторов

и скульпторов было уже предложено готовиться к восстановлению Севастополя. Мы знали, что вернемся в Севастополь. Мы знаем, что огромным трудом и вдохновением снова создадим этот порт и город.

Но чтобы воссоздать его, нужно почаще вспоминать о том Севастополе, который мы все любили и знали. Он был живописен. В нем были явственно видны черты морского города, морской крепости, стоянки флота. Даже на улицах, удаленных от моря, все напоминало о нем — якорные цепи вместо перил, ракушки, трещавшие под ногами, мачты с шумящими по ветру флагами, особая приморская архитектура домов из инкерманского выветренного камня и лестницы — «трапы», соединявшие его нагорные улицы.

Морская поэзия здесь становилась жизнью, реальностью, бытом. Улицы, запруженные в сумерки матросами с кораблей, белизна одежды, скромное золото, разлетающиеся по ветру ленточки бескозырок, синие громады крейсеров, дым, визг сирен, сигнальные огни, плеск воды, взмахи прожекторов, крики лодочников, смех, песни — все это, смягченное южным вечером, давало ощущение приподнятости и праздничности.

Новый Севастополь будет еще более радостным и прекрасным, чем был прежний. Пусть все морские традиции и наша морская история найдут себе отражение в этом городе. Пусть к памятникам вождей и старых адмиралов прибавятся новые памятники — защитникам Севастополя, тем, кто его освободил, наконец, памятники великим мореплавателям, путешественникам, флотоводцам. В Севастополе должны быть памятники Ушакову и Лазареву, Миклухо-Маклаю и тем нашим летчикам, что выросли около Севастополя, на Каче. И кроме того, должны быть памятники боевым кораблям.

Можно только завидовать архитекторам, скульпторам, инженерам, садоводам, художникам, плотникам и каменотесам, литейщикам и монтерам, которые будут работать над созданием нового Севастополя.

Слава былых времен находила свое выражение главным образом в бронзе и мраморе. Слава нашего времени найдет себе выражение не только в этом, но и в самом городе, в его зданиях, в его улицах, в его садах, в его заводах и культурных учреждениях, где все должно говорить о великой борьбе нашей страны за счастье, справедливость, за народное богатство, за независимость и культуру.

Из этой борьбы мы выйдем победителями. В память этой борьбы и победы мы должны возродить наши города во сто крат более прекрасными, чем они были, возродить, зная, что в этих городах будет жить счастливое поколение людей.

Бессмертное имя «Севастополь» знает весь мир — от Гренландии до мыса Горн и от Аляски до Сиднея. И это имя будет всегда сиять в веках как символ мужества и любви к своему Отечеству.

1944 г.

КАПИТАН-КОММУНАР

Многие утверждают, что племя моряков измельчало. Говорят, что отчаянные шкиперы с тяжелыми револьверами в карманах давно уже вымерли и оживают только в воображении людей, читающих романы Стивенсона. Принято думать, что буйный нрав моряков переменился с тех пор, как появились теплоходы.

Это глубочайшее заблуждение. Я встречал в своей жизни много морских людей. Мне нет надобности рассказывать обо всех знакомых матросах, боцманах и капитанах, чтобы рассеять этот ошибочный взгляд. Достаточно капитана Кравченко — одного из первых капитанов-коммунаров в России, организатора восстания в городе Брисбене в Австралии, журналиста и ярого поклонника Бабеля. Сейчас Кравченко плавает в полярных морях.

Он высок, неуклюже вежлив и никогда не снимает своего шотландского кепи. Когда он ходит, — по его словам, «мотается», — то половицы в комнате гнутся, как палуба паршивенькой шхуны. Переносица — «мост» — у него разбита ударом бокса, и поэтому нос имеет несколько странный вид. Он любит хронометры и крепчайшие папиросы, ненавидит «затрушенных» интеллигентов, ливерпульских матросов и британский флаг. Но больше всего в мире он ненавидит ложь и трусость.

Я познакомился с ним осенью 1923 года в дачном поезде между Москвой и Пушкином. В Пушкине мы жили в пустующих дачах. Осень в том году стояла ледяная и горькая, полная запаха гари и старого вина.

По любому поводу, взглянув на первую попавшуюся на глаза вещь — на папиросу, пуговицу, семафор или кепку соседа по вагону, Кравченко вытаскивал из невероятного багажа своей памяти какой-нибудь редкостный случай и рассказывал его так, что весь вагон слушал затаив дыхание. Рассказы сыпались из него, как пшено из лопнувшего мешка.

Во время одного из ночных возвращений в Пушкино капитан долго рассматривал работницу в красном платочке, дремавшую в углу вагона, потом спросил ее деревянным голосом:

— Вы рожали?

— Как?

— Детей, говорю, рожали?

— Рожала.

— С болью?

— Да, с болью.

— Напрасно.

Я проснулся от изумления. Свеча отчаянно мигала, умирая в жестяном фонаре. За окнами мчалась назад, ревя гудками, лязгая десятками колес, обезумевшая ночь. Мосты звенели коротко и страшно.

— Вот это шпарит! — Кравченко расставил покрепче ноги. — А с болью вы рожали, выходит, зря. От дикости. В Австралии не так рожают.

Работница недоверчиво улыбнулась.

— Вы не смейтесь. Это верно. Женщине впрыскивают в кровь особый состав, и она рожает во сне. Поняли? Мышцы сокращаются, ребенок выскакивает, все идет гладко. Ни один мускул не сдает. Этот способ практикуется только в Австралии и то в виде опыта над арестантками.

Узнал я об этом в брисбенской тюрьме. Меня упекли за организацию восстания, но об этом мы

поговорим особо. В тюрьме я натворил кучу дел. Надзиратель принес ведро кипятку, чтобы я вымыл пол в камере. Я спрашиваю:

— Будьте добры, скажите, что написано над воротами тюрьмы?

Он удивился.

— Брисбенская тюрьма его величества короля Англии.

— Так пускай король сам моет полы в своей тюрьме, я ему не обязан.

За это меня загнали в карцер. Я схватил дубовую табуретку и с восьми вечера до часу ночи дубасил в дверь изо всей силы. Тюрьмы там гулкие, с чугунными лестницами, — чувствуете, что поднялось. Тарарам, гром, землетрясение. Но терпеливые, черти! Молчали. Когда я сделал передышку, пришел начальник тюрьмы.

— Как дела? — спросил он ласково.

— Благодарю вас, сэр.

— Вы намерены еще продолжать?

— Вот отдохну малость и начну снова.

Он пожал плечами и ушел. Я колотил с двух часов ночи до семи утра. В семь меня вернули в мою камеру — пол был начисто вымыт.

— Это не арестант, а дьявол, — говорили сторожа. — Из-за его джаз-банда арестантка № 18 родила на месяц раньше срока.

— Ребенок жив? — спросил я.

— Жив.

Я написал ей поздравление на клочке конверта и передал в лазарет. «Простите, милая, — писал я, — что из-за меня вам пришлось поторопиться».

Тогда-то вот я и узнал об этом способе — она родила во сне здоровую девочку. Я видел ее во дворе при лазарете. Меня тоже потащили в лазарет — я симулировал падучую. Я испортил им много крови.

Вот! — Капитан вытащил из кармана толстую книжку. — Вот описание этого способа. Книга издана в Сиднее. Я перевожу ее на русский — Наркомздрав издаст, и ваши мученья окончатся.

Капитан начал развивать изумительные перспективы, — новый способ рожать приведет к неслыханному изобилию, республика завоюет весь мир.

— Матери поставят вам памятник на вашей родине в Мариуполе, — сказал я. — Бронзовые пеленки будут обвивать ваш пьедестал лавровым венком. В вашу честь Прокофьев напишет марш грудных детей — торжественный марш под аккомпанемент сосок. Рыбий жир будет переименован в жир капитана Кравченко.

Работница засмеялась. Проревел гудок. Поезд в облаках пара и дыма подходил к Пушкину.

Каждый день я узнавал новые истории — о знакомстве капитана с Джеком Лондоном, о судебных заговорах в Америке, о морских качествах норвежцев, о кораблекрушениях и австралийском способе произносить революционные речи.

Каждый день я приходил к капитану в его комнату, похожую на ящик от сигар. Капитан любил плакаты пароходных компаний и заклеил ими дощатые стены. Плакаты гипнотизировали белок. Они сидели на сосне против капитанского окна и, вытаращив булавочные глазки, рассматривали черные туши кораблей и желтые величественные маяки. Капал дождь, и виденье экзотических стран застилало беличьи глазки синей пленкой слез и восторга.

По вечерам капитан возился

над бесшумным примусом своей конструкции. Все у него было необыкновенно: и примус, и механический пробочник, и самодельный радиоприемник из коробки от папирос, и груды очень толстых книг, казавшихся старинными. Выбор книг говорил об устойчивых склонностях их громоздкого хозяина, — там были лоции, мореходная астрономия, сочинения Ленина, диалектический материализм, Джек Лондон по-английски, много географических карт и библия (он читал библию исключительно с целью уличить во лжи поповскую клику).

История капитанских плаваний, сиденья по тюрьмам и религиозных диспутов с патерами была так сложна, что он сам не мог привести ее в порядок. Его выгоняли из всех мореходных школ за буйство и «анархизм». Его выгоняли с норвежских шхун за то, что он «менял профили» шкиперов, — легендарных шкиперов, кормивших матросов после аврала солониной с червями. Они еще не вымерли, эти дубленые, как кожа, рыжие шкиперы. Его выгоняли с сахарных плантаций в Австралии, где он рубил тростник — «сладкие палки», — за то, что он вызывал на бокс надсмотрщиков и сворачивал им челюсть на третьем ударе. Вызывал же он на бокс за каждый пинок ногой «цветному» рабочему — китайцу или русскому.

И наконец, президент Гьюз — то были годы интервенции — изгнал его из Австралии за организацию «коммунистического восстания» в Брисбене, за протест против формирования отрядов для борьбы с Советской Россией.

Гьюз сказал его жене:

— Вашего мужа, миссис, надлежит повесить. Но Австралия гуманна, и я приказал выслать его в распоряжение представителя истинной русской власти — генерала Деникина.

На деникинскую виселицу его везли через экватор, тропики, океаны душные и синие, как тяжелое африканское небо.

Он переменил двенадцать тюрем. В бомбейской тюрьме он потерял зубы от цинги — его кормили две недели соусом керри — острым, как разбавленная азотная кислота.

В Константинополе за два часа до отправки в Одессу он бежал.

Потом он опять попался, сидел в лондонской тюрьме и изображал из себя норвежского кокаидиота. И если бы не «британская дурость» следователей, не догадавшихся допросить его по-норвежски (на этом языке Кравченко знал всего десяток слов), то он бы неизбежно «понюхал веревку, смазанную марсельским мылом».

Кравченко писал статьи и рассказы в морские газеты. Если вы наделены скудной фантазией и любите точность и деловые выкладки, то вы все же поймете, как и о чем мог писать этот человек, игравший в шахматы со смертью и сплевывавший на лакированные туфли президента Гьюза.

Он редактировал в Австралии морскую газету. Он писал в газетах СССР, и я до сих пор помню его рассказ о зеленом от плесени и дождей Копенгагене, о мрачной жизни парусных шхун, о том, как надлежит поднимать на мачтах красные флаги и брать за горло арматоров-судовладельцев, о революции на морях, о блудливых душах пасторов, о тюрьмах «его величества короля Великобритании»,

где арестантам говорят «мистер», но кормят их тестом, от которого делается заворот кишок.

Единственной слабостью Кравченко была вера в людей, приносящих несчастье. Таких людей моряки зовут «иовами».

Один такой «иов» плавал с ним, и Кравченко отлично помнил два случая. Один раз «иов» зашел к нему в каюту, и со стены без всякого повода сорвался тяжелый барометр и разбил любимую капитанскую трубку, и другой — когда «иов» подымался по трапу в Перте, с лебедки сорвалось в воду десять мешков сахару. Матросы потом купались у борта, набирали полный рот воды и глупо гоготали — вода была сладкая. После этого случая «иов» списался с парохода и занялся разведением кроликов, но кролики у него подохли и заразили кроличьей чумой весь округ.

В последний раз капитан видел его в Сиднее. «Иов» стоял под дождем и продавал воздушные детские шары. Дрянная краска стекала от дождя с шаров и капала красными и синими слезами на его морщинистое лицо. Прохожие останавливались и насмешливо разглядывали «иова».

Веру в «иовов» капитан тщательно скрывал. Она не соответствовала его мужеству.

Один только раз я видел, как у Кравченко дрожали руки. Это было 22 января 1924 года, когда в Москве черный траурный дым костров боролся с дымом жестокой стужи и, расплавленный белым огнем, пылал Колонный зал, где великий капитан принимал последний безмолвный парад.

Только в эти дни задрожали руки у этого человека, который во время страшных штормов сороковых широт небрежно насвистывал на палубе немудрые матросские песенки.

1925 г.

Вадим ПАУСТОВСКИЙ

●

ЛИВНЫ, СОЛОТЧА, ТАРУСА

Всю жизнь отец вел записные книжки, заполняя их очень лаконично. Например: «Радуга над Сосной. «Вечерний мальчик». Синий вечер. Боярышник».

Перечитывая сейчас эти записи, я совсем в новом качестве вспоминал наши с ним прогулки и разговоры того времени. Многое, что мною почти забылось, для отца как раз представляло первостепенный интерес.

Большую часть года мы проводили в Москве. Однако будни в большом городе всегда однообразны, в особенности для ребенка. Вот что сразу отрывочно всплывает в памяти из московской жизни.

Помню отца постоянно склоненным за письменным столом в крошечной комнате, расположенной в глубине квартиры и не имеющей дневного света. В комнатах, выходящих окнами на шумную улицу, он работать избегал. Его раздражал грохот трамваев, от которого дребезжали стекла, вонь автомобилей, достигавшая третьего этажа, и даже солнце, врывавшееся во второй половине дня на письменный стол. «Темная комната» — так называлось убежище — была хороша тишиной и еще тем, что там, по его словам, «не чувствуешь времени». Может, это и помогало отцу просиживать за работой много часов подряд.

Я рос относительно спокойным ребенком и редко мешал ему. Возможно, «в компенсацию» мне прощались некоторые проступки довольно преступного характера, например рисование на обороте географических карт. Отец любил собирать эти карты и относился к ним очень бережно. Я украдкой вытаскивал те, что крупнее, расстилал на полу белой стороной вверх и изображал цветными карандашами какую-нибудь бесконечную историю с продолжением, скажем, собственные воображаемые приключения в тропических странах или путешествие Афанасия Никитина в Индию. Один эпизод «пририсовывался» к другому, пока все огромное полотнище не было заполнено в несколько ярусов до предела. Занятие было настолько захватывающим, что я проводил за ним не меньше времени, чем отец за рабочим столом.

Лишь раз я помню гнев отца. Это случилось, когда мы с приятелем, перейдя от рисования к делу, сняли с полок все книги в доме и построили из них маяк и крепость.

Порой мне разрешалось постоять на пороге и посмотреть за его работой, но «чтобы тихо». С тех пор я люблю хруст плотной писчей бумаги и скрип пера. Писал он мелким прямым почерком без наклона и без нажима. Мне кажется, он сознательно выработал именно такой почерк, подражая какому-то образцу. Пока не стал пользоваться авторучками, всегда писал только перьями, не дающими нажима, например «рондо». В этом отношении отец был даже привередлив. Если дома не оказывалось такого пера, мог прекратить работу вовсе.

Больше всего мне нравилось

смотреть, как он зачеркивает слова, в особенности в рукописях, отпечатанных на машинке. Проведя пером, затем размазывал это место обратным концом ручки, пока не получался длинный прямоугольник с четкими аккуратными краями. Разобрать уничтоженное слово становилось совершенно невозможно. Однажды он сказал мне: «Эту рукопись будет читать Горький, и я не хочу, чтобы он мог прочесть зачеркнутое...»

Во время работы отец очень много курил, иногда прикуривая одну папиросу от другой. И так несколько раз подряд. Уже в больнице, незадолго до смерти, грустно повторял: «Вот, прокурил я тогда свои легкие...»

Возбужденный работой, всегда крайне неохотно покидал свой «пост» и даже, выходя к обеденному столу, ел быстро, как бы выполняя обязательную формальность, нередко при этом что-нибудь читал и спешил уединиться опять.

Более или менее надолго отец в такие дни появлялся в других комнатах, лишь когда прочитывал очередной отрывок или законченную вещь. Он проверял ее звучание на слух, и это для обоих моих родителей являлось почти обязательным ритуалом.

Манера чтения отца очень походила на его почерк — так же четко, спокойно и «без нажима». Читая, он не любил садиться за стол и класть рукопись перед собой. Присаживался как-то «между прочим» на край дивана или кресла, иногда неспешно ходил по комнате. Голос всегда звучал монотонно и глуховато. Места, особо волнующие, читал подчеркнуто размеренно. С точки зрения ортодоксальной учительницы литературы это было типичное чтение «без выражения».

Для меня же это явилось первым исполнением литературных произведений вообще. Я настолько привык к такой манере чтения, что она мне кажется самой лучшей и единственно возможной. Позже, слушая вещи отца по радио или на концертах, я приходил в ужас от неумеренной экзальтации, от выкриков либо лепета, переходящего в шепот, короче говоря, от всей этой нелепой манеры чтения со «сверхвыражением». В особенности этим грешат женщины-чтицы. В таком исполнении не узнаешь знакомых с детства мест. Кажется, будто их написал другой человек, склонный к сентиментальным, а не мужественным порывам. Мужчины-чтецы почему-то ведут себя гораздо сдержанней. Очевидно, они исходят из того же критерия, что и отец. Секрет здесь очень прост. Во всех порядочных музеях стены всегда окрашивают в блеклые нейтральные тона — серый, зеленоватый. Только на таком фоне можно по-настоящему оценить живопись. На стенах же, окрашенных в яркие кричащие цвета да еще испещренных пестрыми узорами, любая картина будет выглядеть дико до неузнаваемости.

Довольно часто мы провожали отца в командировки, порой очень длительные — по нескольку месяцев. Письма домой приходили от него обстоятельные, и в каждом несколько строчек перепадало на мою долю. Обычно это были забавные сообщения о разных звериных проделках. Иногда я получал отдельную открытку с видом корабля или хотя бы рыболовного челна.

Возвращаясь, он снова усидчиво принимался за работу, мое участие в которой заключалось

лишь в репликах по телефону типа «папы нет дома». Любопытно, что обычную детскую демагогию по этому поводу («говоришь, обманывать не хорошо, а просишь...» и т. д.) он очень близко принимал к сердцу. Всерьез начинал доказывать, что это не обман, что иначе он не сможет писать и пр.

Зато в летние месяцы, которые мы нередко проводили вместе, все было иначе. Я чувствовал, что становлюсь участником чего-то более значительного для отца, а тем самым и для себя.

Ведь в городе он главным образом лишь обрабатывал материалы, привезенные из поездок и командировок. Подлинное накопление происходило где-то там, на природе, с которой у него были очень сложные отношения. Во всяком случае, общение с природой являлось не дополнением, а органической частью его творческой работы. Природа становилась и мастерской и главным героем одновременно.

Мои наиболее яркие впечатления детства также были связаны с местами, где мы жили вне Москвы.

Первое такое впечатление — Балаклава. Мне три или четыре года. Поперек узкой бухты, зажатой между крутых бурых гор, вытянулся серый корпус большого военного корабля. На нем школа водолазов. По утрам курсанты спускаются в зеленую искрящуюся воду, сверкая круглыми медными шлемами.

Время от времени в бухту стремительно врываются торпедные катера. Наверное, они тоже были темно-серыми, но мне почему-то казались черными, с большими белыми номерами на бортах. Рыжий весельчак Пашка, перевозчик на ялике, говорит, что торпедный катер стоит очень дорого, и обещает мне взамен смастерить модель рыбацкой шхуны («даже лучше, чем настоящая»). Каждый день он рассказывает о новых интересных подробностях — какой у шхуны бушприт, как будет покрашен киль и т. д. Однако я так и не дождался ее до конца лета. Отец говорит, что Пашка — прекрасный парень, но ленив, как настоящий «листригон». Это слово совершенно непонятно, как непонятны, даже пугающи, все местные рыбаки. Шумные и беспечные, они совершенно не похожи на бледных суетливых москвичей.

В последующие годы все, что было до Балаклавы, станет казаться мне словно погруженным в мутную воду. Балаклава же до сих пор остается в памяти с ее малахитовой бухтой и мшистыми скалами, над которыми четко рисуется силуэт разрушенной генуэзской крепости. Отец, еще молодой, загорелый, в белой рубашке с засученными рукавами и с заправленным внутрь воротником (так тогда носили), карабкается по развалинам, а я реву внизу, так как мне не позволяется лезть следом. Для утешения он берет меня в Севастополь, и мы едем туда на очень странном трамвае. У этого трамвая все, как требуется, и дуга и вожатый, но бежит он не по улицам, а среди пустой желтой степи.

В Севастополе я впервые в жизни потерялся и плача бегал по Приморскому бульвару, пока отец не отыскал меня у будки уличного фотографа. Мы фотографируемся на фоне памятника погибшим морякам, но вид у обоих сердитый и недовольный...

Много позже, когда я подростком читал Грина, его воображаемые города сразу «вписыва-

The Scandal of Murman.

The two letters printed below are from a soldier in the British North Russian Expeditionary Force, and they speak for themselves

How to Make Ai Men.

I.

Here I am very near Russia, after a terrible voyage. I should like to put you in possession of a few facts concerning this Russian business, which I can vouch for on my oath that they are correct.

As you already know, without any previous warning we were told to parade before the medical officer, which turned out to be a farce. You simply walked in front of him and you were fit, the Lord knows what those people get paid for.

We have had a terrible voyage, and if you could only just now see the conditions of these Army invalids, huddle together and sick, it would, I know, make you—as it has made me—regret the men who sent us. We were absolutely torn away from our wives and children, and just when that —— Lloyd George was preparing to have a "good Christmas." I wonder if any of the owners of them men fell on his head? God knows he had enough.

II.

Before the mail leaves here, carrying my previous letter to you written on board ship, I feel I shall have time to let you have a few lines concerning the conditions prevailing for the British soldiers in Russia.

We arrived here (Murmansk) on January 1, 1919, and nobody seemed to know anything about us, which was, in some respects, a good thing, seeing that it enabled us to have another meal on board such as it was; but we were to find out pretty quickly that the food on board was fit for a king compared with what we got on shore.

Soldiers Begging Bread.

However, on coming alongside the landing stage, we met a party of British soldiers, and in all my life I never ran across such miserable objects. The first thing they shouted at us was, "Have you any bread?" That didn't make us feel very comfortable, I can assure you. However, I went below and begged a loaf of hot rye, and handed it up to them. The sight I shall never forget. The man in possession soon found himself surrounded by the hungry boys, who, without standing upon ceremony, simply snatched it away from him in handfuls and ate it just like wild beasts.

The tale they had to tell us was even worse. It is no exaggeration to say that the conditions here for the British soldiers are a disgrace to the British Government, and if there is anybody in England who will take the matter up I am sure he will soon get the undivided gratitude of us all in Russia.

Starvation Rations.

The boys have heard that the people at home are being told that the Force here is the best fed, clothed and equipped army in any theatre of war. Really, it is nothing more or less than a half-starved army. I could have eaten the whole day's issue of breakfast time and then have looked round for my breakfast, and this in a country where the temperature is much below zero.

Accommodation there is none, as we have been put on an old Russian battleship, which, I believe, was sunk in the Russian-Japanese War, and raised again by the Japanese. It has since been used as a convict ship.

An Appeal to YOU.

It is no exaggeration to say that the opinion amongst the boys here I have come in contact with is that they are sent here to be got rid of, seeing they are B2 and B3 category men, and, in the majority of cases, entitled to a pension for previous service.

I have given you correct facts. If anything, the situation is much worse than I have given you in this letter. If you can do anything for us out here, I know that every one of us will thank you from the bottom of our hearts.

("Herald," London, March 1, 1919

LENIN (VLADIMIR ULYANOFF). Born 1870 in Simbirsk. Translated Karl Marx into Russian.

Donations to the Silverton Tannery Lockout Fund.

Already acknowledged	£19	8	9
Pretoria Branch collection	0	18	0
Johannesburg collection at public meeting on Sunday	3	18	7
Collected by Brakpan comrades	3	2	6

We are very grateful to the comrades who have sent in the office the issue of the "International" of September 27, 1918. A few more are needed to make up the volume. Will other readers please look up their files?—Ed.

Rex V. Jones and Greene.

WEDNESDAY'S PROCEEDINGS AT MARITZBURG.

We are indebted mainly to the "Times of Natal" for the following report:—

The accused D. Ivon Jones (formerly Secretary of the I.S.L. and editor of this paper) and L. H. Greene (a well-known Maritzburg Socialist and member of the local I.S.L. branch) were charged with contravening sub-section 2 of section 2 of the Moratorium Act by communicating to other persons a pamphlet calculated to create alarm or excite public feeling, with inciting to public violence by publishing the pamphlet (this charge is made under section 7 of the Riotous Assemblies Act) and with contravening the above section of the Moratorium Act by failing to transmit a copy of the pamphlet to the Chief Censor, Cape Town.

Mr. Fannin prosecuted and Mr. Harold Stuart of Durban appeared for both accused, who pleaded not guilty. The reading of the summons occupied a considerable time, for it included the full text of the pamphlet, viz.:—

THE BOLSHEVIKS ARE COMING.

To the Workers of South Africa —Black as well as White.

A spectre is haunting Europe —the spectre of Bolshevism!

What is this Bolshevism that the ruling class is so much afraid of?

Why do they send British Armies to Russia to fight the Bolsheviks?

Have they not had enough killing? Or is it a thirst for righteousness that makes them pack Tommy Atkins off to freeze in the snows of Archangel, just when he was looking forward to Home and Blighty?

The Czar massacred half a million nomads in Southern Russia in one swoop. They did not send an army against him.

Why then are they so scared of Bolshevism? Why do they turn pale at its shadow as at the ghosts of murdered men? Why?

We will tell you why!

The Great War of Nations is over, and the Class War against Labour has openly begun.

Bolshevism means the rule of the working class! And where the workers rule, the Capitalists cannot carry on their Robber System any more.

A Campaign of Lies.

Workers! Do not be misled when the Capitalist Press reviles the Bolsheviks. They slander the Bolsheviks because they have lost the fat money bags they lent to the Czar to crush the Russian people.

They slander the Bolsheviks because they have lost the rich mines and factories which the Russian workmen are now working for themselves; and the land, which forty million peasants are farming in common under the Soviet Republic.

А. Давидсон. КАК В ЮЖНОЙ АФРИКЕ УЗНАЛИ О ЛЕНИНЕ.

Страница газеты «Интернационал» от 25 апреля 1919 года с текстом листовки «Большевики идут».

Registered at the General Post Office as a Newspaper

The International

THE WORLD'S CO-OPERATIVE COMMONWEALTH

THE ORGAN OF THE INTERNATIONAL SOCIALIST LEAGUE (S.A.)
P.O. Box 4178 — 34 FOX STREET, JOHANNESBURG — Telephone 8658

No. 234. FRIDAY, MAY 7, 1920. Price THREEPENCE Weekly

More Bolshevik Atrocities

By GEORGE LANSBURY

MOSCOW.—All Soviet Russia will become a united All Russian Co-operative Society of Workers—that is our aim, said Lenin the other day addressing the Central Executive Committee of Soviets.

I have gone through several wait-for-ships here, where motors, boats and aeroplanes are being built. There no credit or loss motive has been accomplished during the period of trouble. Before the revolution Russia was considered as the backward world for nearly all her machinery, and parts were brought here from abroad to be assembled. Now, from her own raw material she is building aeroplanes, motors, and engines.

I have seen workshops, formerly worthless, machine minder, engineers, wood-workers, all at work with machinery at full speed and have mentally compared them with those I have seen in the then used in England and France. The only difference that is a real one is that the men here are their own employers. They are working not for a boss or to produce more profit, or interest, but for the Soviet State which is themselves.

They take part in the organisation and direction of their industry. To day before my visit they had cast their votes for their representatives on the Moscow Soviet, and by large majorities had chosen Communists. In England we talk of national workshops, build the railways, and workshops control here national work shops and workers' control are in actual operation.

People in England often talk of socialist government and municipal enterprise. In these national workshops the exact contrary is the case. Every scrap of raw material and stores coming in is carefully registered and accounted for. The stores themselves are a model of administration and even a complete surprise. The products of the factories are all carefully inspected before use and stamped as to factory work is rejected.

No doubt for state factories. As the Moscow watchmaking the workers have practical control and they show extraordinary initiative and enthusiasm. They have helped the Red Army by new methods of building, and which is one of great questions over Moscow and in the reconstruction as their own initiative of a narrow gauge railway which avoids them to get fuel will less labour and in large quantities. It is impossible that the red armies could have been defeated, and the nations kept alive, except by this sort of enthusiasm which not only believes but works.

LENIN
The man of the moment in Europe.

Our London municipal workers could learn a great lesson from these Moscow men and women, who know that their work for the state and feel they are working on behalf of their whole class and must therefore do their very best, stop through whatever conditions are to short. There are some who grumble that owing to all the world is against Russia, but a simple person I have met, that discovers that things would be richer than under any other government than the present.

The position of women in industry here would give complete satisfaction to every leader of the women's movement at home. Women work in industries side by side with men, and are recognised on terms of absolute equality as citizens of the state.

Every post is open to them. Women working on day rates are allowed the same wages as men, even though their production falls 15 per cent. below that of the men. On piece work there is always a minimum wage, which, of course is the same for men and women. Sick pay and unemployment are paid for at full rates, and to the sick extra food and nourishment are also supplied.

Many workers belong to the orthodox church and desire to enjoy the many holidays prescribed by that organisation. In consequence of this workers are given the opportunity of two church holidays each year. In addition, there are eight public holidays during the year, and four days and Saturday afternoons are holidays. Two weeks vacation are given yearly, and where needed these are extended. British workers will note that all these are real holidays as they are paid for.

Overtime is paid for at time and a half rates for the first two hours, and at double rates afterwards. Much overtime is done worked at present, and a great deal of voluntary work is also being done. This latter means that people work extra-time rather than their normal hours in order to assist the nation.

A long wave of enthusiasm is running among the people, who talk more of "the bourgeois front," meaning thereby the industrial field. But on everyone's tongue there is one question when they are told I am from England. "When are you British workers going to make your government let us live?"

* * *

THE MOSCOW INTERNATIONAL

We have received two communications from Comrade S. J. Rutgers, the secretary of the Amsterdam sub bureau of the Third International, which puts South Africa in touch with the left wing movement in Europe and elsewhere.

* * *

ANOTHER OUTRAGE.

Jim Larkin's indeterminate sentence of five to ten years' hard labour for "criminal anarchy" is one of the most brutal atrocities yet committed by the ruling class of America. Jim Larkin was the leader of the great Dublin strike in 1913. The cabinet endeavour to stir up prejudice against him by describing him as the "leader of the Dublin strike riots." The latest outrage should arouse expressed in our throughout the world to demand his immediate release.

Страница газеты «Интернационал» от 7 мая 1920 года.

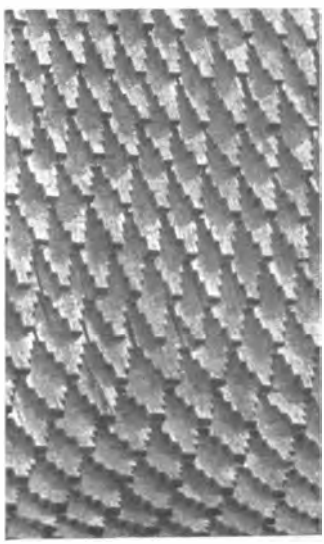
В. Песков. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. (Фото автора.)

Ростов Великий (вид сверху).

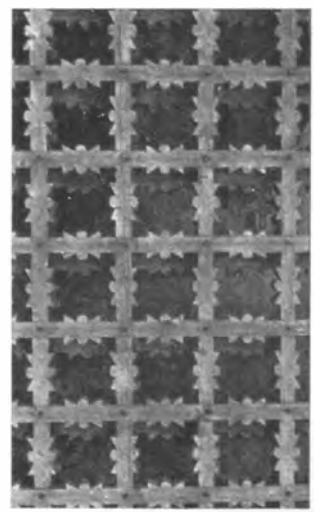
***Таким** выглядит кремль со стороны озера. Лодки, бревенчатые дома с огородами и над ними — белокаменные постройки.*

Вид кремля с городской улицы.

Деревянная кровля напоминает кольчугу, кованную из матового серебра. Таково свойство осины, из которой искусные плотники нарезали эти чешуйки, называемые лемехом.

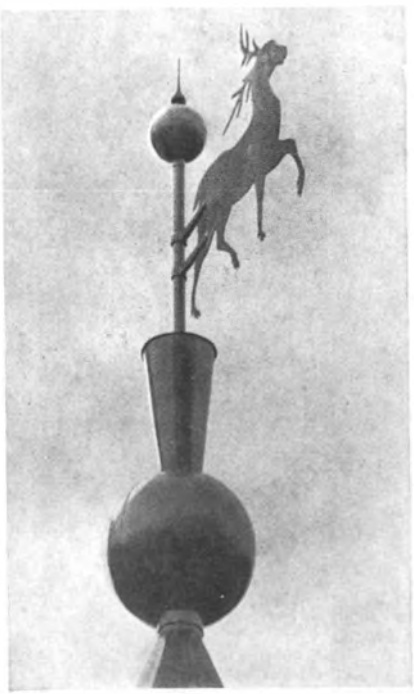


Эти ворота сделаны тоже из дерева.



С любого места видишь живописные шпили, башни, купола, кованые ворота, украшенные золотыми флажками дымники и резные крылечки.

Кто-то поднял старомодный парус... Вдали не Ростовский кремль, а еще один из старинных ансамблей — Яковлевский монастырь.



Золоченый олень — старинный ростовский герб.

Верхушка сторожевой башни.

Ярославль. Вид со стороны Волги.

Вирсавия. Роспись в храме Иоанна Предтечи.

Храм Иоанна Предтечи в Толчковой слободе.

Демидовский музей. Архитекторы П. Панков и П. Козлов.

Лесотундра.

В. Морозов. НАШИ ЧУМЫ СТОЯТ РЯДОМ. (Фото автора.)

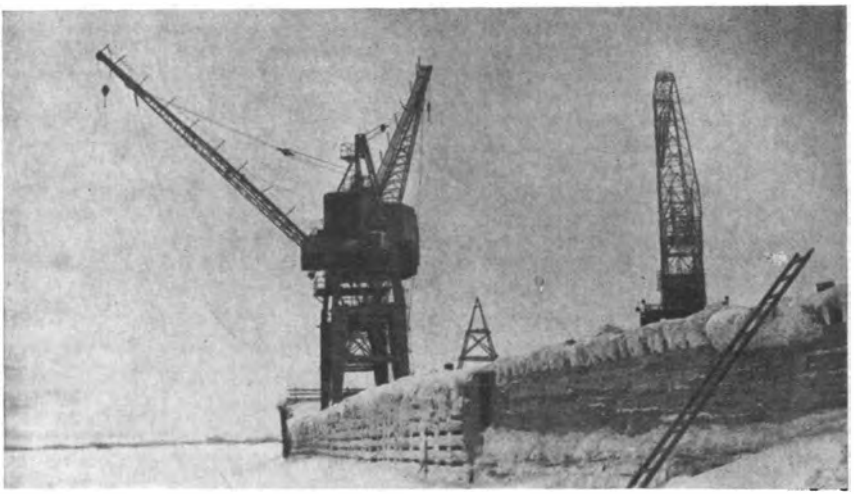
— *Далеко отсюда до базы оседлости?*
— *Да рядом.*
— *Сколько километров?*
— *Шестьдесят, а может, восемьдесят.*

СССР
Народный Комиссариат Обороны
НЕНЕЦКИЙ
ОКРУЖНОЙ
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Часть 2.
16- Сент. 1944 г.
№ —
г. Нарьян Мар, Архангельской обл.

Справка № 63
Извещение
Ваш сын рядовой
(муж, сын, брат, родного (кого))
Артеев Пайе Моргаунович
(фамилия, имя, отчество)
уроженец Коми АССР, Ижемский р-н, с. Мохче
(область, район, деревня и т.д.)
в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявил
геройство и мужество был убит 26 мая 1944 г.
(дата, месяц, год и где)
похоронен бр. могила на высоте 64,4 км. С.-В. окр. Кошелоки
Корпо-Ориех, АССР.
(место похорон)
Настоящее удостоверение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (Приказ НКО
СССР № ...)
М. П.
Ненецкий Окружной Военный Комиссар (Кузнецов).
Начальник (Демьяненко).
Линия отреза

Похоронная. Нашим матерям хорошо знакомы бумаги такого содержания.

50 лет назад здесь помещалась контора завода «Стелла Поларе».



Порт Нарьян-Мар. Одних только иностранных судов за короткую летнюю навигацию здесь побывает более сорока.

лись» для меня в образ довоенного Севастополя с ослепительно белыми зданиями на фоне парусников, стоящих в Южной бухте. Закат зажигал одинаковые огни в окнах домов и в стеклах корабельных иллюминаторов. А ведь в то балаклавское лето Грин еще был жив и смертельно больной лежал в Старом Крыму...

Следующая страница — лето в Ливнах, маленьком городке между Орлом и Липецком. Прошло еще два года. Первое время мы жили у железнодорожного врача Нины Дмитриевны Нацкой, брат которой стал прообразом геолога Шацкого в «Кара-Бугазе».

Мне лишь хочется рассказать о самом доме — старинном, деревянном, с очень высокими потолками и такими же высокими белыми кафельными печами. Было в облике его комнат что-то устоявшееся, кабинетное. Может, это чувство рождалось от сочетания старой дубовой мебели с коричневым цветом стен, от меланхолического боя напольных часов... Обитатели дома относились друг к другу с трогательной предупредительностью, которая давно стала достоянием романов прошлого века.

В последующие годы этот дом связывался в моем представлении с жизнью некоторых чеховских героев. Кусты сирени под окнами были такими густыми, что почти полностью заглушали шум проходящих поездов и гудки маневровых паровозов на запасных путях.

Близость железной дороги стала причиной нашего переезда от Нацких в дальнюю часть города, в самый крайний в Ливнах дом. Он стоял на высоком берегу реки Сосны и был окружен уже не сиренью, а лишь пустыми полями и тишиной. Заросший ромашками двор оказался настолько обширен, что постройки по краям его выглядели приземистыми и незначительными. Так же обширен был и сам дом со множеством переходов, коридоров и клетушек. Потом этот ливенский дом, где мы сняли на лето комнату, встречался в самых различных вещах отца.

Жизнь в Ливнах для меня была связана с приобщением к рыбной ловле (слово «рыбалка» отец не любил). Обычно мы с ним выходили во второй половине дня и отправлялись не на реку, а на дальнюю Адамовскую мельницу. Эти прогулки отпечатались в памяти очень четко. Сначала дорога шла вдоль хозяйского сада, такого же пустынного, как и двор, — участок поля с чахлыми яблоньками. Интересен сад был только своим забором — низким, сложенным из неровных известковых плит. Город лежал на толщах известняка, такие заборы в нем встречались повсеместно, и это роднило Ливны с селениями Крыма и Северного Кавказа.

За садом до самой мельницы тянулась равнина, покрытая кое-где кустарниками. С этой равниной у нас с отцом было связано много разговоров и догадок. Когда-то у восточной окраины Ливен сходились два пути, по которым крымские татары совершали набеги на московские земли. Они назывались Изюмским и Калмиусским шляхами. По расчетам отца получалось, что как раз на большом поле между нашим домом и Адамовской мельницей было стойбище, где татары отдыхали, поили лошадей и откуда отправлялись далее уже одной дорогой — на Тулу и Москву.

Найдя на дороге подкову или гвоздь, я возбуждался и созда-

вал наивные истории, связанные с этими предметами, с татарами и русскими ратниками. Отец не разубеждал меня, по-моему, не только из снисходительности к детской фантазии. Во всяком случае, я замечал, что он тоже зорко поглядывал по сторонам, а когда подбирал какую-нибудь интересную штуковину, то прежде, чем выбросить ее, долго рассматривал, поднося к глазам, потому что был близорук. Иногда украдкой прятал в карман...

Однако любимой темой, как всегда, были корабли и море. Помню, как меня поразили слова отца о том, что причалы настоящего морского порта могут тянуться на два километра и более. Балаклава и Севастополь не могли служить примером. Поэтому я представил себе цепочку речных пристаней-дебаркадеров длиной от дома до Адамовской мельницы. Такое не умещалось в сознании и совершенно подавляло.

Уже тогда в наших разговорах начала появляться одна любопытная тема, которая затем стала занимать все большее и большее место. Правда, то, о чем я хочу рассказать, может быть, поймут не все взрослые.

Дети, часто не умея понятно выразить свои впечатления, в то же время очень точно чувствуют «вкус», присущий различным вещам и явлениям. Какая-нибудь жизненная ситуация или даже пейзаж приобретают в глазах ребенка определенную эмоциональную окраску и особый трудноуловимый смысл. Например, небольшой лесок для него не просто группа деревьев, а нечто большее. Сюда добавляются какие-то свои переживания, быть может, то, что мы называем памятью предыдущих поколений.

Возникает ряд представлений, обладающих большой цельностью. На языке взрослых эта цельность, возможно, и называется чувством истинного художественного образа. Дети, конечно, к таким терминам прибегать не могут. К тому же они еще не умеют ни рассуждать, ни разбираться в своих мыслях. Но ощущение самого события бывает очень ярким и мгновенным.

Вот почему дети так близко принимают к сердцу, казалось бы, такие простые явления, которые у нас вызывают лишь улыбку или пожатие плеч. Допустим, воробей прилетел на окно, посидел, почирикал и исчез. А ребенок целый день переживает событие, рассуждает, плачет и смеется.

Именно поэтому дети подчас бывают проницательными философами и открывателями. К сожалению, к 8—10 годам это свойство, как правило, исчезает. Вместо него часто появляется интерес к футболу или фильмам про шпионов.

Вспоминая прогулки с отцом в Ливнах, я теперь вижу, что он часто вел разговоры не «просто так». Он любил возвращаться к одним и тем же вопросам и даже устраивать своеобразную игру. Мы приходили домой с рыбной ловли в разное время — чаще в сумерках, но иногда и позже. И почти всегда отец рассказывал историю про таинственного «вечернего мальчика». Этот мальчик мог хорошо видеть в темноте и определять время не по часам, а совсем по другим признакам, взрослым совершенно неизвестным, — по цвету костров за рекой, по мерцанию звезд, по лаю собак. Втягиваясь в игру, я дополнял примеры. Сейчас помню только один из них — мошки и комары на фоне догорающего неба казались

мне оторвавшимися кусочками темноты, в которую уже была погружена земля.

Иногда «вечерний мальчик» вдруг нарушал правила и начинал существовать днем. Так случалось во время страшных гроз, которыми славятся те края. Тогда мы вспоминали много неожиданных подробностей, не привлекавших ранее внимания.

Таким образом, в то время отец много занимался вопросом, как установить мост между образным сознанием взрослого и ребенка. Украдкой он все время наблюдал за мной и моими сверстниками, записывал характер реакций, суждения и разговоры. Правда, «поворачивал» он все потом совершенно по-своему. Так, мальчик в рассказе «Морская прививка» испуган огромностью моря. На этом, собственно говоря, в какой-то степени построен даже сюжет. Рассказ навеян балаклавским летом, из которого мне многое запомнилось, но только страха перед морем не было. А может быть, это уже забыто...

Во время прогулок по московским улицам, когда я стал уже постарше, мы любили разбираться, почему одни из них нам нравились, другие — нет. Некоторые места города действовали вовсе угнетающе, как Каляевская улица или Самотека с ее маленькими домишками по краям непропорционально большой площади.

Потом мы приходили к выводу, что лучше всех городских улиц и вообще лучше всего на свете то место в Солотче, где за линией узкоколейки начинается сосновое мелколесье. Там светло и чисто, а под мягкими мшистыми кочками полно маслят.

Воспоминания об этом месте у меня еще связаны с шумом игрушечных пропеллеров, которые отец мастерил из жестяных консервных банок. Пропеллер насаживался на катушку из-под ниток, катушка, в свою очередь, — на карандаш. Стоило дернуть за шнур, намотанный на катушку, как серебристая планка взлетала с рокотом и долго поблескивала на солнце.

За мелколесьем начинался материковый сосновый лес, где было хорошо лежать на спине и смотреть, как верхушки сосен раскачиваются на фоне кучевых облаков. В детстве это место считалось у меня эталоном красоты. Да и сейчас, пожалуй, тоже. Словесный «портрет» его у меня не получился. Он банален. Но образ этого места, «познанный» еще в раннем детстве, прекрасен и волнует меня всегда. Он обладает как раз тем «вкусом» вещей, о котором я говорил. Я вспоминаю его для утешения, когда бываю серьезно огорчен.

Однако я перешел к Солотче, не покончив с Ливнами. Длинное лирическое отступление началось еще по дороге на Адамовскую мельницу. Ее несколько мрачное трехэтажное здание одиноко поднималось над равниной задолго до того, как становились заметными кусты и ветлы на берегах налитого вровень с краями пруда.

Кроме нас, на пруду также регулярно появлялся только один рыболов — высокий старик в старомодной кепке и поношенной офицерской шинели, застегнутой до воротника. Возвращались назад мы нередко вместе с ним, и дорогой я скучал, так как старик и отец толковали о своем не торопясь, но увлеченно. Я неясно помню содержание этих бесед, знаю только, что старик

чем-то очень привлекал отца. Иногда он заходил к нам домой, снимал свою шинель и оставался в такой же старой, но аккуратной гимнастерке с высоким воротником. Слушая старика, отец непрерывно рисовал на спичечной коробке замысловатые узоры, причем выводил их с геометрической правильностью. Такая у него была привычка. По количеству рисунков на коробках из-под спичек или папирос можно было судить, насколько внимательно он слушает собеседника. Рисование прерывалось лишь короткими междометиями: «Ну, да... Ну, да...», которые меня в детстве почему-то озадачивали. Казалось, отец что-то подтверждает, с чем-то хочет согласиться, и он никак не мог мне втолковать, что это «просто так, присказка для продолжения разговора».

В середине пятидесятых годов я безошибочно узнал старика в рассказе, который так и называется «Старик в потертой шинели». Правда, действие перенесено в деревню Богово под Ефремовом и смещено на несколько лет вперед. Я уверен, что рассказ «не исчерпал» всего интереса отца к старику и всех тем их разговоров. В незавершенных отрывках того времени знакомство со стариком тесно переплетается с другими обстоятельствами ливенского лета — грозами, поездками в степь и даже ярмарками, что устраивались за городом в полукилометре от нашего дома. Помню пыль, пестроту одежд, запах антоновских яблок и рогож и даже загорелые, какие-то закопченные лица цыган-лошадников.

Три года отделяют Ливны от Тарловки — деревни на высоком лесистом берегу Камы. Противоположный берег, плоский и песчаный, испещрен множеством маленьких озер, оставшихся от половодья. Нас, мальчишек, взрослые посылали на эти озера за живцами, и мы добывали их самым первобытным способом. К длинной веревке привязывали корзину и закидывали на 10—15 метров от берега. Каждый раз на дне корзины среди зеленого ила и водорослей билось несколько рыбок.

На «большую ловлю» в Тарловке отправлялись в просторной черной лодке, которую арендовали до самой осени. На носу лодки отец вывел четкими белыми буквами «Память Грина». У местных жителей, как ни странно, такое название не вызвало особого удивления. Они решили, что Грин — это иностранный революционер, раз приезжие из столицы назвали в его честь лодку. Подобное объяснение вполне было в духе времени, тем более что на соседней пристани имелся катер «Память Пестеля». Шел 1934 год.

Лишь один раз, когда лодка стояла в густых зарослях и на реку был обращен лишь ее нос, на проходившем мимо пароходе началось смятение. Несколько человек бегали по палубе, что-то кричали и затем долго махали с кормы платками. Действительно, было невероятно увидеть лодку с таким названием на глухих камских берегах, среди неказистых рыбацких баркасов и плоскодонок.

Впрочем, если разобраться, то все скорее было закономерно. Ведь Грин — уроженец Вятки, расположенной неподалеку. Потому так и назвали лодку. Ведь мы жили в родных гриновских местах.

В то лето несколько измени-

лись темы наших обычных бесед, главным образом потому, что я тянул одну нудную ноту: «Хочу стать капитаном дальнего плавания». Отец, вполне по-родительски, сразу «обыгрывал» это в педагогическом плане — нужно прилежно учиться, получать хорошие отметки и т. д. Однако надолго его не хватало. Вскоре мы приступали к обсуждению деталей моей будущей карьеры. При этом ему очень нравилось рисовать такую картину. Маленький приморский город. Отец на склоне лет живет в белом домике, получает пенсию, пишет воспоминания, а я скитаюсь по морям и океанам...

Может, он настраивался на такой лад при виде слободки для престарелых речных капитанов, расположенной недалеко от Тарловки. Слободка отличалась своеобразным неторопливым бытом. На порогах чистеньких крашенных масляной краской домов дремали сытые коты. Двери и уставленные цветами окна были окрашены белым, как на кораблях.

Отец в те годы не любил «оседать». Однако лето в Тарловке стало одним из последних кочевых сезонов. Затем начался довольно продолжительный солотчинский период.

Собственно, с Солотчей он познакомился несколько ранее и до некоторой степени случайно. Просто в Рязани жили родственники, как-то он съездил туда и «открыл» неподалеку места, которые пришлись ему очень по душе. Я нередко думал, что он с таким же успехом остановился бы и на других местах, скажем где-нибудь под Вологдой или на Псковщине. Просто у него был дар «вживания» в природу, умение найти какое-то «свое» звучание, свойственное даже отдельным перелескам или полям.

Солотча действительно была на редкость хороша тем, что в ее окрестностях воедино сошлось все, что он любил, — лесные чащи, открытые дали и обилие вод.

Это особенно хорошо видишь, когда стоишь на обрыве над лугами. За спиной остаются материковые сосновые леса, скрывающие много озер ледникового происхождения Это свой мир со своими птицами, зверями и травами...

А под обрывом на несколько километров до самой Оки тянутся луга с бесчисленными старицами, с зарослями камышей и серебристыми ветлами. Здесь тоже все свое, но совершенно другое. Граница между этими двумя зонами настолько резкая, что в лугах уже не встретишь ни одной сосны. Такой границей служит река Солотча, которую и не назовешь рекой в обычном смысле слова, — просто цепь озер и протоков, соединенных с Окой.

В «Золотой розе» есть очень хорошие слова о Солотче:

«Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось оно и у меня, одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинствующих петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и не пережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов».

Позже, когда отцу пришлось оставить Солотчу, чтобы быть ближе к Москве из-за состояния здоровья, он долго не мог выбрать нового места, хотя раньше, до Солотчи, это обычно особого труда не представляло. Теперь уже обязательно хотелось сочетания большой воды, лесов и далей. В конце концов он нашел это в Тарусе.

Я помню первый период освоения Солотчи, когда травы в лугах казались мне непомерно высокими (просто сам был еще мал), а над лесами поднимались дымки пожаров — как будто несколько паровозов смешно бежали один за другим с равными интервалами.

Со свойственной ему пунктуальностью отец тогда организовывал поездки на лесные озера, стараясь ни одного не пропустить. До некоторых озер приходилось добираться по знаменитой узкоколейке, сходить на станциях, где великолепно пахло свежими сосновыми досками, и затем идти километрами по затерянным лесным дорогам...

Вообще Солотча была замечательным местом...

В Солотче отец не только успешно работал, но также увлеченно, даже фанатично, отдавался рыбной ловле. Эти два процесса в его жизни были совершенно неотделимы, и об этом я и хотел немного поговорить в заключение.

Он знал рыболовное дело до тонкостей, перепробовал множество способов лова, но решительно предпочитал лишь один — простое ужение на удочку. Сам он объяснял это свойством характера и любовью к созерцательности. Но у меня сложилось свое мнение на этот счет, и я окончательно утвердился в нем, когда после войны уже взрослым человеком приехал к отцу погостить в Солотчу.

Хотя в детстве я постоянно сопровождал отца на рыбную ловлю, все же нередко это занятие меня тяготило. Обычно отец закидывал одну удочку мне, потом неподалеку две-три для себя. Самым мучительным было не разговаривать. Он требовал абсолютной тишины и в этом отношении был неумолим. Единственным утешением был хороший клев, но, когда клева не было, я нередко отпрашивался, сматывал удочки и уходил. Отец же мог сидеть часами, и казалось, сам улов не имеет для него никакого значения. Но это, конечно, было не так. Как и все рыболовы, он очень любил похвастаться трофеями.

Позже я пристрастился к иным видам лова — на перемет, на жерлицы, кружки, донки, потом оценил и спиннинг. Отец при этом давал много советов, подчас остроумных и неожиданных, но сам в таком лове участия почти не принимал. Меня же эта дорога привела к занятию охотой.

Собственно, об охотничьем ружье я мечтал с детства, как все мальчишки. Но отец все откладывал его приобретение. Наконец был установлен твердый срок — исполнение шестнадцати лет. Однако получилось так, что эта дата совпала с войной и было не до охоты.

И вот в то лето, уже в пятидесятых годах, когда мне исполнилось много за двадцать, я обзавелся ружьем и начал охотиться в солотчинских лугах.

Когда в поисках дичи набродишься по болотам до изнеможения, обдерешься в кровь о колючки шиповника, тогда уже появляется какая-то первобытная ожесточенность — стреляешь почем зря, лишь бы не возвратиться домой без трофеев.

Тогда-то я и заметил, что отец относится с явным предубеждением к ружейной охоте, хотя решительно этого никогда не высказывает.

Вместе с тем он любил присутствовать при чистке ружья и набивке патронов, ему нравились применявшиеся для этого различные хитрые штучки, поблескивающие металлом и пластмассой. Вообще он всегда имел слабость ко всяким предметам, связанным с каким-нибудь делом или мастерством. Вспоминаю, как он любовался рыболовными блеснами, даже собирал их, хотя не пользовался ими почти никогда.

В те дни изменился тон его застольных разговоров о рыбной ловле. Обычный мажорный настрой сменялся минорным, причем это касалось совсем не срыва с крючка большого окуня или щуки. По его словам получалось, что и рыбная ловля также представляет собой весьма злодейское занятие, когда приходится приканчивать большую рыбину или стремительно насаживать на крючки живцов. Правда, это говорилось с известной долей шутки, но...

Затем мы спокойно доедали жареных окуней и застреленную накануне утку и расходились на свой «ужасный» промысел — он с удочками на берега протоков и озер, я с ружьем в луга. Но вскоре я охладел к охоте. Не буду рассказывать, как это случилось; во всяком случае, я увидел обратную сторону медали и понял отца.

Ведь рыбная ловля, по существу, та же охота. Здесь кипят те же страсти добычи, азарта, погони и риска. Вспомним хотя бы «рыболовные» эпизоды такого «чистого» охотника, как Хемингуэй (кстати, одного из самых любимых отцом писателей).

Конечно, отец был не чужд этих страстей, он пережил их, перепробовал все способы лова, немного занимался охотой, но предпочитал удить рыбу на удочку.

Понимая, что полностью подавить охотничий инстинкт невозможно, отец сознательно свел его к приемлемому минимуму. Из всех способов лова ужение с удочкой дает наиболее равные шансы рыбаку и его жертве. Не хочешь брать приманку, не бери. Тебя никто не заклоняет, не выслеживает, никто не нападает врасплох... Впрочем, опытная рыба иной раз так обглодает крючок, что проведет самого искушенного рыболова. Словом, здесь — кто кого перехитрит, а главное — пересидит...

Большинство движений удильщика — насаживание приманки, закидывание, подсекание и прочее, — все это выполняется машинально. Сознание остается совершенно свободным для наблюдений и размышлений. Когда же у вас в руках более сложная снасть — спиннинг, перемет и прочее, то внимание уже полностью поглощено только ловом.

Человек с удочкой полнее всего может «впитать» все впечатления от дождя, ветра, утра, вечера. При этом он остается участником «игры», а не посторонним болельщиком.

Не будет преувеличением сказать, что рыбная ловля для отца занимала место где-то совсем рядом с литературной работой, может, даже с ней наравне. Он не раз говорил, что если его лишить возможности удить, он не сможет писать.

Значит, рыбная ловля была для него полноценным элементом творческой работы. Говорить же во всеуслышание об интимных сторонах творчества он избегал и даже считал преступлением. Поэтому в рыболовных рассказах он обходил эту тему и сосредоточил внимание на самом лове и на том, что его окружает. Порой в таких рассказах он позволял себе даже «спускать» охотничий инстинкт, подавляемый в жизни. Иногда это приводило к забавным ситуациям.

Так, в то памятное «охотничье» лето он очень любил рассказывать, как однажды, возвращаясь домой с удочками, повстречал в лугах двух москвичей профессорского вида, прикативших на «Победе». Они яростно шлепали по воде спиннингами возле характерного мыса на большой луговой протоке. Отец пожалел их и сказал, что, живя здесь не первый год, может ручаться, что в этом месте ловить на спиннинг совершенно бесполезно.

— Что вы нам втираете очки, гражданин, — ответил один из приезжих. — Ведь у Паустовского написано, что именно здесь он таскал отличных судаков. Могли бы знать, раз давно тут живете...

Они приняли отца за соперника, пожелавшего согнать их с хорошего места.

Много позже, когда отец жил уже в Тарусе, его излюбленным местом рыбной ловли стала не Ока, а маленькая речка Таруска, шумевшая по камням позади сада. Как на всех небольших речках, на Таруске мели перемежались с молчаливыми омутами, отражавшими одинокие ветлы и высокие кучевые облака.

Если идти по Таруске вверх, то сначала нужно пересечь широкую луговую долину, по краям которой поднимаются леса. Река здесь долго петляет среди огородов и лугов, затем у маленькой тихой деревеньки Сутормино круто поворачивает влево и прорезает большое холмище. Здесь, где-нибудь под высоким лесистым берегом, или еще дальше, на Ильинском омуте, я обычно находил отца, когда приезжал в Тарусу летним вечером.

Мы возвращались домой в глубоких сумерках. В кустах по краям тропинки белели валуны. В Тарусе вообще очень много выходов известняка, и этим она напомнила мне далекие Ливны.

Теперь на высоком берегу над Таруской — отцовская могила.

Вот пока все... Задача моя была скромной. Я только хотел рассказать о «географичности» своих детских впечатлений, которые формировались под влиянием отца.

Я имею в виду не узконаучное, а более емкое содержание этого слова. Ведь для отца география прежде всего была общением с природой, и он не делал в этом смысле различий между путешествиями, походами, чтением морских лоций и рыбной ловлей.

Владислав КОВАЛЕВ

●

ТУР ХЕЙЕРДАЛ: «Я ВЕРЮ В ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА»

Прошло уже много месяцев с того дня, когда, отчалив от марокканского берега (местечко Сафи) и отдавшись канарскому течению, папирусная «Ра» взяла курс на Центральную Америку. Кроме Хейердала, на ее борту было шесть участников: мексиканец Сантъяго Геновесе, американец Норман Бейкер, итальянец Карло Маури, африканец Абдулла Джибрин, египтянин Жорж Сориал и русский врач Юрий Сенкевич. На «Ра» стоял парус, выполненный, как и сама лодка, со всеми тонкостями древнего мореходного искусства, радиостанция, являющаяся чуть ли не единственной современной деталью экипировки «Ра». В плавании не было официального повара. Каждый из участников, когда подходил его черед, сам становился искусным кулинаром. И сделано это не только из соображений экономии человеческого труда. Из довольно однообразной провизии: сушеных фруктов, овощей, мяса (никаких консервов, все как у древних), так было легче делать более разнообразное меню. Ведь каждый из участников должен был внести (и внес) в приготовление блюда свой неповторимый национальный колорит.

Давайте теперь подумаем: зачем Хейердал предпринимал это экзотичное и совсем не безопасное плавание? Ведь, как свидетельствовала еще задолго до плавания шведская газета «Афтенбладет», воды Вест-Индии в июне — июле чреваты ураганами, и вероятность того, что «Ра» попадет хотя бы в один из них, была достаточно велика. Кроме того, подобные лодки не использовались людьми более двух тысяч лет, последнее упоминание о них мы встречаем в библии. А современные пророки утверждали, что «Ра» просто сгниет в пути.

И вправду, зачем нужно было Хейердалу это рискованное путешествие? Зачем ему, окруженному славой и уважением, обладающему именем, которое открывает перед ним любые двери, рисковать, когда уже за плечами не один десяток лет напряженной борьбы и забот? Может быть, ему не давали покоя подвиги Бомбара, Чичестера или того смельчака, который задумал весной 1969 года на веслах пересечь Атлантику? Нет, не это. (Хотя в принципе можно утверждать и обратное — честолюбие ведь никогда не было чуждо капитану «Кон-Тики».) Хейердал — ученый, и его новое плавание прежде всего новый эксперимент, необходимый ему для того, чтобы проиллюстрировать собственные идеи, доказать: для древних народов, в частности средиземноморских, океан не был непреодолимым барьером — ни мореходным, ни психологическим. Человек древних эр был более гармонично вписан в природу, хорошо ее чувствовал и знал. Именно в этом точка опоры Хейердала, ключ к его экспериментам, как первому — плаванию на бальсовом плоте «Кон-Тики», так и второму, начавшемуся в мае месяце

прошлого года. Отсюда историческая экипировка «Ра» и исторический маршрут, которым (так считает Хейердал) древние мореплаватели ходили на Американский континент еще задолго до Колумба и Лейва Эйриксона Удачливого.

Конечно, нынешним участникам плавания психологически пришлось сложнее, чем их предшественникам из древности. Для последних океан был естественным местом жизни, а папирус — самым надежным и крепким материалом. Кроме того, в морские течения, приливы и отливы древние люди, очевидно, верили так же, как мы в метро или «Красную стрелу», курсирующую между Москвой и Ленинградом.

Современные люди по-другому строят свои отношения с природой. Океан для них — препятствие, которое нужно преодолевать или на воздушном лайнере, или в крайнем случае на хорошей морской яхте. Отсюда и отношение к «Ра» как к чему-то слишком ненадежному, эфемерному.

В то же время здравый смысл говорил о том, что, пользуясь папирусной лодкой, Хейердал рисковал значительно меньше, чем Бомбар или тот же англичанин, переплывший на веслах океан. Надувная лодка Бомбара могла лопнуть от перегрева, встречи с акулой, которой ничего не стоило пропороть резиновую ткань, наконец, от несчастной случайности, от которой никто и никогда не застрахован. У англичанина могло сломаться весло, прохудиться корпус. Папирус же, даже если бы «Ра» вся прохудилась, все равно не терял своей плавучести.

Правда, здесь имели место возражения и совсем иного толка. Так, норвежская газета «Афтенпостен» рассказывала на своих страницах об опытах специалиста по папирусу, некоего Рагаба, которые он проводил в своей каирской квартире. Продержав несколько дней папирус в ванне и обнаружив, что он все время впитывает воду, Рагаб связался с Хейердалом и испуганно сообщил ему об этом. Хейердал приехал и обнаружил, что папирус, впитывая воду, одновременно очень существенно увеличивался в объеме. При этом плавучесть его практически не изменилась. Но Рагаб не отступал. Через две недели он снова позвонил Хейердалу и с восторгом сообщил, что вода в ванне начала пузыриться, а папирус — гнить. Хейердал посоветовал ему сменить воду, напомнив при этом, что он собирается плыть по океану, а не стоять на месте.

Правда, ради справедливости нужно отметить, что опасения Рагаба в какой-то мере разделил и соратник Тура Хейердала по «Кон-Тики», нынешний директор музея «Кон-Тики» Кнют Хаугланд. Когда до начала плавания мы его в шутку спросили, не собирается ли он приготовить в своем музее место для «Ра», Хаугланд сказал, что при всем желании это не удастся. «Папирус не бальса, к концу плавания морские организмы настолько глубоко проникнут в папирусное тело «Ра», что процесс, очевидно, будет трудно остановить. Разве что удастся сразу же по прибытии на Американский континент предпринять специальные меры по консервации».

Уверенность Хейердала основывалась, конечно, не только на интуиции и здравом смысле. Когда ему говорили, что уже более двух тысяч лет люди не пользовались на море папирусными лодками, он напоминал о многих веках до нашей эры, в течение

которых они верой и правдой служили древнему человеку. Когда ему пророчили, что папирусное тело «Ра» сгниет по пути в Америку, Хейердал рассказывал о плавающих островах, которые он видел на африканских озерах. Они целиком состоят из папируса. И иногда достигают такой величины, что местные жители строят на них свои шалаши и остаются там жить. А на озере Чад Абдулла, который был потом приглашен Хейердалом участвовать в экспедиции, однажды связал из папируса плот, на котором перевезли через озеро 80 коров. И еще — Хейердал вспоминает плавание на «Кон-Тики».

Эксперты тогда тоже пророчили гибель бальсового плота. Но «Кон-Тики» не развалился, не размок, не утонул — Хейердал следовал своему главному принципу: делать все точно так же, как древние. Поэтому он взял для «Кон-Тики» не сухую, как ему советовали, а свежесрезанную бальсу, которая не могла ни размокнуть, ни потонуть, потому что удельный вес ее сока был значительно меньше удельного веса морской воды. И в этот раз Хейердал до тонкости изучал историю камышовых лодок, знакомился с технологией их строительства на африканских озерах и реках Центральной Америки, нанял трех африканских негров из племени будума, в котором навыки вязания папирусных лодок передавались из поколения в поколение. Они и построили «Ра» у великих пирамид под Каиром. Из этих же соображений Хейердал пригласил известного шведского писателя и крупнейшего специалиста по истории кораблестроения Бьёрна Ландстрёма, который сделал рабочие чертежи «Ра» и в конце концов пришел к выводу, что камышовые лодки древних, пожалуй, обладали куда более высокими мореходными качествами, чем он допускал, когда писал свою знаменитую книгу «Корабль».

Не считая радио, была только единственная вполне современная деталь: итальянец Карло Маури и египтянин Жорж Сориал, надев акваланги, ныряли под «Ра», следили за состоянием днища и, если нужно было, делали текущий ремонт. Но это делалось потому, что просто таков современный человек. Еще в большей степени, чем древний, он склонен увеличивать надежность своих предприятий, тем более таких непростых, как плавание через океан.

Мы подробно рассказываем об эволюции создания папирусной лодки для того, чтобы показать, как скрупулезно подходит Хейердал к своим экспериментам по моделированию истории. Не упускается ни одна мелочь. Только в этом случае модель становится достоверной и надежной. Такой получилась модель «Кон-Тики» — время прибытия на острова Полинезии было рассчитано с точностью до нескольких дней; такой стала и модель плавания на «Ра». Тем не менее в предстартовой полемике новое плавание Хейердала иногда называли как угодно, но не научным экспериментом. Например, видный норвежский ученый Хеннинг Сиверт говорил: если Хейердал переживет свою затею, то это будет великолепный спортивный подвиг, который не имеет к науке никакого отношения.

Первая реакция на подобные высказывания — просто удивление. Как будто еще ничего не было — ни экспедиции на остров Пасхи, ни капитальных трудов по полинезийской культуре, ни, наконец, всеобщего признания.

Но потом удивление проходит. Ты начинаешь понимать, что иначе и быть не может. Просто еще очень сильны позиции традиционной науки. Система Хейердала уже принята на вооружение учеными. Археологи и этнографы вольно и невольно моделируют историю — ставят себя мысленно или физически на место древнего человека и таким образом пытаются установить истину. Например, выдалбливают кремневым топором лодку, изготовляют древними способами каменные орудия и смотрят, сколько на это уходит времени. А ученые традиционного толка твердят свое: нет, это не наука.

Ну хорошо, если это не наука, то что же тогда наука? Не рискуя углубиться в дебри этой сложной и запутанной проблемы, зададимся другим, более простым вопросом: можно ли исследователю моделировать на себе, своей психике определенные процессы нашей быстротекущей жизни? Наверное, да. Ведь моделируем же мы их мысленно и на вычислительных машинах. И потом, как иначе начинать исследование далекой истории, о которой почти не сохранилось информации, если не поставить себя в приблизительно такие же природные условия, в которых могли находиться древние?

Но если мы согласимся с этой мыслью, то должны согласиться и с другой: эксперименты Хейердала не что иное, как моделирование истории.

Развивать в себе способность точного моделирования истории или попросту чувство истории норвежский ученый начал давно. По существу, с юности. Даже во время войны он не упустил случая побывать в одной из древнейших обсерваторий мира — знаменитом Стоунхендже. Использовав свои навыки десантника, он пробрался через колючую проволоку и провел ночь на древних камнях этого исполина. Попав в древний пещерный город индейцев Северной Америки — Меса-Верде, он провел ночь и там. И во время пребывания на острове Пасхи Хейердал не изменил своему правилу. Ему очень важно было скоротать ночь на горе, где пасхальцы некогда высекали каменных истуканов. Как он сам признавался, в эти мгновения как-то особенно ясно работает мышление и история предстает особенно ярко.

На первый взгляд все это может показаться довольно наивным — какая-то игра. Но не будем слишком привередливыми и посмотрим на это шире. К примеру, последние исследования Лилли. Он пытается найти каналы общения с дельфином. Что же для этого он делает? Гасит свет, надевает маску, погружается в воду, вводя себя в состояние близкое к невесомости, и старается представить, что он дельфин. Разумеется, Лилли это делает по тщательно разработанной модели. Только представляя себе хорошо среду, в которой живет дельфин, говорит Лилли, и его возможности, мы сможем преодолеть те барьеры, которые стоят между разумом человека и разумом дельфина. Любопытно, что к этим выводам Лилли пришел уже после анатомических и электрофизиологических исследований, когда он препарировал дельфинов и вводил им в голову электроды (перед этим, правда, введя те же электроды себе и убедившись, что это не больно).

Любопытно в этой связи и другое — тот факт, что в одной из последних методик, в синектике, присутствует момент так называемой «личной ассоциации». Участ-

ник такого синектического заседания должен представить себя на месте определенного предмета или образа, к которому пришла коллективная мысль. Например, вообразить себя определенной конструкции стулом, который может взбираться по лесенке, и сообщить, как он себя при этом чувствует. Другими словами, через «личную ассоциацию» дать оценку тому, насколько легко и гармонично выбранная конструкция может справиться с возложенными на нее обязанностями.

Но эти соображения, так сказать, на уровне психологии, может возразить читатель. А психологические доводы, как известно, в умелых руках можно повернуть и в ту и в другую сторону. Конечно, дело не только в психологии. Но чтобы разобраться в существе, нужно сделать небольшое популярное отступление в область истории, археологии и этнографии. К спору, который идет между так называемыми изоляционистами и диффузионистами в современной американистике.

В чем существо этого спора, сказать можно в двух словах: в разных подходах к развитию культур. Изоляционисты, считая, что все культуры формируются в очень большой степени независимо друг от друга и в своем становлении самостоятельно проходят сходные периоды развития, представляли себе Америку до Колумба как бы окруженной непроницаемым барьером. Диффузионисты, наоборот, придерживаются идеи взаимопроникновения культур. И нужно сказать, что разобраться в теоретическом споре, кто из них более прав, а кто менее, практически невозможно. Например, существуют шестьдесят так называемых сходных черт в культурах Средиземноморья и Центральной Америки. Это пирамиды, различающиеся друг от друга буквально мелочами; колонны и балюстрады в виде змей с открытой пастью; камышовые лодки и многое, многое другое. Так вот, диффузионисты утверждают, что сходство, например, пирамид и камышовых лодок говорит не о чем ином, как о взаимовлиянии культур Средиземноморья и Центральной Америки. Помилуйте, возражают им изоляционисты, наоборот, сходство черт культуры символизирует совсем иное, а именно то, что большинство народов в сходных условиях проходят в своем становлении сходные периоды развития. Выходит, что правы и те и другие.

На самом же деле проблема не так однозначна, как кажется. Помимо этих, так сказать, вполне равновесных шестидесяти признаков, существует много других, которые нельзя толковать с одинаковой значимостью в пользу тех и других. Например, на побережье Венесуэлы археологами были обнаружены римские монеты IV века нашей эры. «Монеты, среди которых было много дублетов, — пишет о находке советский исследователь В. Гуляев, — находились в глиняном кувшине, глубоко зарытом на берегу океана, у самой кромки прибоя. Это лишний раз доказывает, что клад спрятал человек, хорошо знавший цену деньгам». Казалось бы, находка говорит в пользу диффузионистов. Ведь цену деньгам в ту пору в Венесуэле не знали. Ничего подобного, возражают их оппоненты. Римский корабль мог быть совершенно случайно прибит к берегу. Ну хорошо, эту находку изоляционисты могут объяснить случайностью. Но намного труднее объяснить тот факт, что на западном побережье Центральной Америки, в очень небла-

гоприятной географической среде могла развиться такая высокоорганизованная цивилизация, как ольмекская. Ведь неблагоприятная среда, казалось бы, не должна способствовать развитию культур и ремесел. Не могут они объяснить со своих позиций и происхождение вивальдской керамики, обнаруженной на побережье Эквадора. Она относится к IV—III векам до нашей эры. В то же время синхронные с Вивальдией культуры американских индейцев были еще докерамическими.

Это не все. Хейердал, который уже давно понял, что, оперируя только культурными признаками, спора между изоляционистами и диффузионистами не разрешишь, обратился к так называемым генетическим признакам, или, попросту говоря, к растениям, которыми пользовались древние. Нельзя сказать, чтобы на этом пути Хейердала сразу ждали успехи. Первые попытки могли только охладить его пыл. «В истории культурных растений, — писал, например, виднейший ботаник мира швейцарский ученый А. Декандоль, — я не нашел ни одного указания на связи между народами Старого и Нового Света». В самом деле, если между доколумбовой Америкой и Старым Светом были регулярные связи, то почему ни одна из зерновых культур Старого Света не проникла в древнюю Мексику или Перу и почему другие континенты не знали американских культурных растений?

И все-таки Хейердала не охладили высказывания виднейших ученых. Интуиция говорила ему обратное, и он начал искать генетические признаки, чтобы их можно было привести своим оппонентам. И он нашел их.

Анализируя работы авторитетнейших ботаников и этноботаников, он показал, что распространение целого ряда культурных растений в Полинезии можно логически объяснить только очень давними контактами с Америкой.

Здесь небезынтересно вспомнить дикорастущий хлопчатник, найденный ботаниками в Полинезии. К удивлению специалистов, полинезийский хлопчатник принадлежал к 52-хромосомовым культурным видам, которые были получены в Мексике и Перу индейскими специалистами. В то же время известно, что все дикие сорта хлопчатника имеют 26 хромосом. «Мы должны признать, — комментировал эту находку американский этноботаник Меррилл (видный последователь Декандоля и самый сильный оппонент Хейердала),—что аборигены Южной Америки могли достичь некоторых тихоокеанских островов».

Тщательные исследования этноботаников показали, что еще задолго до Колумба в Новый Свет попали и некоторые африканские растения.

Только вот каким способом? Может быть, они пересекли океан так же, как и кувшин с римскими монетами, то есть чисто случайно? И хотя сегодня, после стольких подтверждений о связях, изоляционистам стало не очень легко, все-таки козырь случайности еще не выбит из их рук, как, впрочем, из любых других. Вот здесь-то и необходим конкретный эксперимент, который предпринял Хейердал и который, несмотря на все пророчества Сивертса, позволяет сделать вполне конкретные и немаловажные выводы о возможных связях Старого и Нового Света.

Остается ответить на следующий вопрос, который, очевидно, возник у читателя: все-таки какой точки зрения придержи-

вается сам Хейердал? Можно ли назвать его диффузионистом?

Надо сказать, что сам Хейердал высказался по этому поводу достаточно определенно. Он говорил об этом на 37-м конгрессе американистов в Аргентине, а затем появилась его статья «Трансокеанские контакты: диффузионизм, изоляционизм или средний курс», само название которой дает нам ключ к позиции Хейердала. Он против догмы. Он не за диффузионизм, все сводящий к взаимному влиянию, но и уж, конечно, не за изоляционизм. Вероятнее всего, говорит Хейердал, развитие шло по какому-то третьему пути.

Казалось бы, на этом можно было поставить и точку. И все же если не рассказать еще об одном выводе, который следует из экспериментов Хейердала, а точнее, о его отношении к древним людям, наш рассказ будет неполон.

Говорят, чем больше человек знает, тем скромнее и терпимее он становится. Так вот, осознанно или неосознанно, вольно или невольно, но своими экспериментами по моделированию истории Хейердал все больше и больше отучает современного человека от пренебрежительного отношения к древним. Рассказав о жителях острова Пасхи, он заставил нас не только восхититься высоким уровнем их инженерного искусства, но и их мудростью: первые пришельцы на остров Пасхи и, по существу, его первые жители привезли с собой не только орудия труда, но и растения, к которым они привыкли. Приплыв на остров, они огнем свели его леса и засадили освободившуюся почву своими растениями. Ведь неизвестно, как бы встретила пришельцев дикая, незнакомая природа острова. Не исключено, что болезнями и смертью. Потому что природа острова была для них другой средой. И частички почвы, и микроорганизмы, и растения были другими. Растения стали для пришельцев важным фактором преобразования этой среды.

По существу, Хейердал и вся археологическая и этнографическая наука вообще делают с современным человеком то же самое, что уже частично сделала астрономия и продолжает делать наука о живой природе — приучает его ко все большей скромности. До Коперника землянин считал себя жителем центра мироздания и соответственно этому жил и думал о мире. Открытие солнечной системы, Галактики и метагалактики лишило его иллюзии всемогущества. В этой же цепочке стоят и исследования Лилли о дельфинах. Лилли доказывает нам, что, помимо человеческого, на нашей планете, очевидно, присутствует и другой, отличный от нашего разум, который по-другому строит свои отношения с миром. Разумеется, это также способствует воспитанию скромности и терпимости в современном человеке, одержимом научно-технической эволюцией.

Вот, собственно, и все. Остается только добавить, что молодой советский врач, воспитанник комсомола Юрий Сенкевич понравился Туру Хейердалу. «Отличный парень», — сказал он нам еще перед стартом. Так же как сам Хейердал очень понравился Юрию своей простотой — отношение Хейердала к людям одновременно уважительное и дружеское, — обаянием и серьезным подходом к делу. Просто в чем-то они оказались схожи. Об отношении Хейердала к своим путешествиям мы уже знаем, а вот что сказал Юрий:

— В путешествия меня влечет не только романтика, но и научные интересы.

Еще во время своих первых странствий он увлекся проблемой применения функциональных возможностей здорового человека при воздействии неблагоприятной среды. И теперь, на «Ра», он проводил те же исследования.

СУХОПУТНОЕ ПЛАВАНИЕ «Ра»

Пока набиралась и версталась эта статья, семь отважных путешественников, покинув груду папируса, бывшую некогда золотистой ладьей «Ра», завершили плавание у острова Барбадос.

Естественно, читателю не терпится узнать об итогах плавания: удалось оно или нет?

Несмотря на то, что эксперимент был прерван, была решена научная проблема, которую поставил перед собой Тур Хейердал: на «Ра» пройден путь, чуть ли не в два раза превышающий кратчайшее расстояние между Африкой и Америкой. Это является убедительным доказательством того факта, что папирусная лодка, подобная «Ра», способна пересечь океан.

Василий ПЕСКОВ

●

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

Отправляя письма в большой южный город Ростов, на конверте обязательно пишут: «Ростов-на-Дону», смутно догадываясь, что есть и еще где-то какой-то Ростов. Он действительно есть. И не всем известно, что огромный южный Ростов — дитя в сравнении с незаметным, маленьким Ростовом северным.

Ростову на севере было 900 лет, когда в устье Дона рубили первую избу. Москва была деревенькою на холмах, когда Ростов называли не иначе, как Ростовом Великим. Город имел в свое время такую же славу, как Киев и Новгород. Первый раз Ростов летописцами упомянут в 862 году — тысяча сто семь лет назад. Попытаемся представить эту глыбищу времени, отмерим тысячу с лишним лет не назад, а вперед. Каждый год теперь рождаются новые города. Вообразим: нынешние Дубна, Комсомольск-на-Амуре или Ангарск простояли тысячу сто шесть лет. На Земле 3075 год... Какой фантаст решится предсказать, что будет и что не будет на Земле в то далекое время? Вот что такое тысяча лет. Ростов преодолел эту толщу времени. И мы с любопытством и восхищением разглядываем его как некий корабль, приплывший из страны с названием Древняя Русь.

В Ростове я бывал много раз и по делам и просто так, когда надо остепениться от суеты, и всегда Ростов для меня начинался с дороги к нему.

Дорога от Москвы в Ярославль такая же древняя, как два ее конечных пункта и как все маленькие городки, деревушки, монастыри и церкви, посаженные на ней, как драгоценный жемчуг на прочной нитке.

Старинная дорога не поросла и быльем. Это один из самых оживленных трактов страны. Вперемежку со стариной краснеют на дороге бензоколонки, гудят под колесами бетонные мосты, рядом с рублеными домами — стеклянный фонарик кафе, течет половодье машин с грузами и туристами.

На этой дороге задремать невозможно. Вот плывущий перед тобою поток машин, кажется, сейчас с разгона сплющится от удара о розовую церквушку, упрямо стоящую на пути. Но привыкшие к прямым линиям машины тут делают петлю, обтекают церквушку, и она остается гордо стоять, со всех сторон открытая взгляду. Нарисованный на ней бородатый бог вполне уживается с ликом молодого милиционера-орудовца на дорожном щите...

А уже маячит, теряясь в красках вечернего облака, еще одна колокольня. Дорога стелется по задумчивым перелескам, заполненным дымом молодой зелени. В этих местах дороги я почему-то всегда вспоминаю картины Рериха. Лобастые косогоры, полоски полей между пятнами леса. А дальше еще волна косогоров, низин, зеркальца опушенной кустами тихой воды. Белую лошадь на этой земле, даже если трется о телеграфный столб, фантазия легко обращает в ло-

шадь Алеши Поповича, который вполне мог в этих местах проезжать, потому что родился, как утверждает былина, в деревеньке возле Ростова.

Дорога между тем приготовила что-то совсем необычное. Колокольня, смутно темневшая в облаках, обернулась теперь сплошным облаком куполов, золотистых, серебряных, синих в золотых звездах. Все это стремительно выплывает навстречу из-за бугра. И вот уже машина въезжает в ярмарочно пестрый, нарядный и какой-то радостный городок. В центре — крепостного вида стена, может быть, чуть более низкая, чем стена в Московском Кремле. А за стеной каким-то странным, праздничным цветником стоят и строгие и пышно-пестрые церкви, колокольни, часовенки, терема. Тут видишь вдруг сытого, рослого монаха, в темной, до пят одежде, в черном клобуке — деловая походка, в руке какие-то книги, широченный рукав качается в такт скорым шагам. А все пространство между церквами заполнено старухами и туристами. Старухи, по всему видно, пришли из неближних мест. Усталые, сидят на каменных папертях, пьют молоко из бутылок, ломают краюхи деревенского хлеба. Обходя лавру, старухи поминутно крестятся, целуют камень у потемневшей иконы святого Сергия. От поцелуев на камне образовалось изрядное углубление. Пять лет назад я даже не знал, что такое еще можно увидеть...

Два шага из-за ворот — и снова привычный мир: афиши, кино, плакат, призывающий выполнить пятилетку, грузовики из Ярославля, груженные серебристыми двигателями, девчонки в юбках-«мини». Жизнь неумолимо катится мимо Загорской лавры. Похоже, что столица православной церкви, расположившаяся за кремлевской стеной, никаким образом не задевает нынешней жизни старинного городка. Причина же именно тут обосновать резиденцию церкви имелась не малая. В туманно далекие времена Загорск начал расти от избушки пустынника Сергия, одиноко, среди медведей, жившего в здешних лесах. Церковь таких людей охотно избирала в святые. На месте избушки вырос лесной монастырь. Московские цари, направляясь на богомолье в Ростов, заезжали к Сергию грехи замолить, заручиться у бога поддержкой в делах ратных и государственных. Димитрий Донской после победы над татарами приезжал кланяться Сергию. Иван Грозный бывал у отшельника по пути в любимый Ростов. Петр I прискакал сюда по ростовской дороге на лошади спасаться за монастырской стеной от мятежа Софьи.

Цари, понятное дело, не жалели казны, и монастырь стал едва ли не самым богатым в старой России. Тут почти беспрестанно что-нибудь строили, и постепенно за кирпичной стеной вырос цветистый город церквей.

Уютный, нарядный и пестрый, как лоскутное одеяло, Загорск — один из трех старинных посадов на Ярославской дороге. Далее будут: Переславль-Залесский и Ростов. Разделяют их равные промежутки пути — семьдесят верст, в былые времена — один дневной перегон лошадьми. Сегодня после Загорска Переславль покажется как раз через час. Справа от дороги на горке неприступной крепостью проплывает Горинский монастырь, а потом, в низине, покажется кудрявый от зе-

лени городок. Невысокие дома и деревья теснятся у речки Трубеж, текущей в мягких извилистых берегах, не одетых ни в камень, ни в дерево. Летом речка пестреет белым цветом кувшинок, мостками для полосканья белья и лодками, которых тут, кажется, столько же, сколько и жителей в городке.

Переславль моложе Ростова, но и его прошлое как глубокий колодец. И не на самом дне его лежит дата рождения славного гражданина России Александра Невского. Возможно, так же вот, как эти белобрысые ребятишки с пионерскими галстуками, ловил княжич на Трубеже удочкой рыбу, крестился в церкви, которая (великое чудо!) уцелела и стоит почти рядом с дорогой. Единственная глава ее, похожая на древний шлем, не поднимается выше деревьев. Маленькое чудо из белого камня! Четкие линии, плавные дуги, строгая простота, к которой во все времена стремилось искусство. Постройка, простоявшая 800 лет, являет собою одно из бесценных сокровищ России.

Переславль так же, как и Загорск, любознательного человека не тотчас от себя отпускает. Но даже и мимоходом можно увидеть знаменитое Плещеево озеро, на котором молодой Петр играл в морскую войну. Можно увидеть один из уцелевших маленьких кораблей. Хранится он в специальном доме над озером.

В здешних местах жил Михаил Пришвин. Если перелистать одну из прекрасных пришвинских книг — «Календарь природы», то можно найти рассказы о петровском ботике, о Плещеевом озере, о самом Переславле и речке Нерли, текущей по лесам в направлении к Суздалю.

Леса тут и поныне — берендеево царство. Само название городка — Переславль-Залесский — многое объясняет. Для славян киевских земель здешние места, лежавшие за великим окским лесным массивом, были невероятной далью. Леса и теперь сохранили места, почти недоступные, — чащи, болота и мшары. Я езжу сюда с фотографической снастью выслеживать глухарей и тетеревов, на дорогах при быстрой езде тут надо остерегаться столкновения с лосем, надо полагать, водились тут и олени — золотой олень является гербом Ростова.

Сейчас дорога лесами идет, как в ущелье. Земля холмистая, и вследствие этого автомобили то несутся полого вниз, то медленно лезут на гору, чтобы сейчас же снова начать спускаться. Автомобиль обгоняют юркие мотоциклы, и почти на каждом люди с ружьем, с удочками, с корзинами для грибов. И леса всех поглощают...

Под Ростовом дорога устремляется вниз и вниз. Леса редеют и сходят на нет. Остановившись, неожиданно видишь почти степной чернозем. Это ополье, житница севера. Леса росли когда-то и в этой низине. Но хлебопашец свел их. Великий Новгород кормился ростовским хлебом и «зело страдал и мер», когда обозные дороги в годы междоусобиц перерезались. С дороги сейчас видно: плоской равниной трактор тянет две хлебные сеялки. Легко представить на этом месте и пахаря с деревянной сохой. Тысячу лет ополье не устает кормить человека...

Блеснуло впереди обширное озеро, забелелся над озером

город. В былые времена на таком расстоянии уже, наверное, услышал бы колокольный звон. Подъезжаем к Ростову.

«Поехал черт в Ростов, да испугался крестов» — так в поговорке запечатлелся облик старинного города. Сам по себе жилой нынешний город, хоть и возбуждает изрядное любопытство, особой древности не обнаруживает. XIX век. Провинция. Купеческие лабазы, одноэтажные и двухэтажные домики с алебастровыми лепными портиками и колоннами. Таким Ростов остался до наших дней. К недавней славе города надо отнести знаменитые ярмарки и хорошо известное в Средней России мастерство огородников. Ростовские огородники снабжали овощью Петербург и Москву. И видно, не просто давали высокую цифру вала, но поставляли отменную овощь, коль скоро даже и на парижских выставках получали золотые медали и всякого рода отличия. Многие из прежних секретов овощеводства ныне утеряны. Но и теперь ростовский лук — это ростовский лук, нигде в Средней России не умеют так солить огурцы, и только тут я встретил умение сохранить до глубокой зимы свежие помидоры.

Следы древней жизни надо искать около самого озера. Тут поныне мальчишки находят черепки первобытной посуды, кремневые наконечники стрел, костяные крючки. Стало быть, как раз тут, где стоят теперь на приколе вереницы моторных лодок, стояли свайные хижины каменного века. И видно, всегда удобным было житье над озером, если именно в этом месте родился город.

По вечерам, когда нешумная жизнь городка вовсе стихает, тут, на берегу озера Неро, можно услышать, как бьют на пожарной башне часы. Бом! Бом! — несется над озером голос времени. Одиннадцать веков... Не каждый год и даже не каждая сотня лет оставили о себе память. Но одно столетие дошло к нам дивным творением человека. Из-за него-то Ростов и стал сегодня городом знаменитым. Сюда едут историки, архитекторы, художники и туристы. И весь остальной город служит только оправой драгоценному белому камню, возведенному русскими мастерами. Названье этой постройки — Ростовский кремль.

Постройки стоят на берегу озера. И потому самым выигрышным местом, с какого надо увидеть Ростовский кремль, — озеро. Надо, толкаясь шестом в илистое дно, отплыть на лодке. И то, что увидишь, из памяти уже никогда не изветрится. Все, что ты слышал о древних городах в сказках, в одну минуту вдруг обернулось реальностью. И ты понимаешь: сказки о граде Китеже, об острове Буяне потому и родились, что кто-то видел вот эти постройки над озером. И уже потом образ древнего города пошел по былинам, операм, живописным картинам и детским книжкам. Вот он сейчас наяву сверкает белизной на потемневшем вечернем небе и повторяет себя до последней черточки в тихой воде. Башни. Стены с бойницами. Крылечки. Оконца. Ворота. Резные крыши. Несчетные кверху устремленные купола. Все умело сплетено и завязано, все находится в подчинении друг у друга и образует

одно прекрасное целое, именуемое словом «ансамбль». Подобный узел прекрасного мы наблюдаем в Московском Кремле. И не так уж много таких же удач можно еще насчитать на земле.

Очарование кремля не исчезает, но усиливается по мере того, как начинаешь обходить и уже подробно разглядывать могучую трехметровую кладку, золотые флажки на остроконечных зеленых дымниках, каменную вязь над окнами и воротами, кованые двери и голубовато-охристую роспись внутри церквей.

Кремль представляет собой крепостную стену с башнями, стерегущими двор, тесно заселенный церквами, палатами и древними службами. Первое, что остановит взгляд, заставит рассматривать, а новичка непременно расспрашивать, — необычная кровля башен. Резная нарядная кровля — древнерусское изобретение. Ее подобие — чешуйки на скатах кремлевских шпилей в Москве. Но это не дерево. Ростовские же башни покрыты так же, как когда-то в древности, — осиновым лемехом. Осина, обветренная, омытая дождями, обретает вид благородного серебра. Древние это свойство осины хорошо знали. Но секрет лемеха считался утраченным. И только недавно в Карелии отыскался старик плотник, помнивший этот секрет.

Надо благодарить реставраторов. Терпеливо, топором вытесывалась каждая резная чешуйка, ряд за рядом стлалась кровля, похожая на кольчугу. Древние постройки у нас на глазах обрели изначальный вид, неповторимую самобытность.

В Ростовском кремле невозможно постичь всю красоту ни в один, ни в два приезда сюда. Как все подлинно высокие образцы искусства, постройка всегда таит в себе еще неоткрытую новизну. То ты вдруг увидел кремль со стороны, весь сразу на фоне закатного неба, то, тихонько блуждая по закоулкам между стенами, находишь вдруг необычное сочетание башен и куполов, узорных карнизов и золотых шпилей. Проходя по крытой галерее над крепостной стеной, ты видишь кремль то в широкую щель под крышей, то в бойницу, то через металлическую решетку, то через цветные стекла маленького оконца. Стена под тобою толще трех метров. В ней скрыты жилые каморы, тесные переходы и лазы. До сих пор в стене открываются неизвестные ранее тайники.

Трудно что-нибудь выделить в Ростовском кремле, рассмотреть обособленно. Все с отменным вкусом подогнано одно к другому. И все-таки можно представить себе красоту и отдельно стоящей, например, церкви Ионы Богослова. Мне этот храм необычайной стройностью своей, строгостью и чистотой линий почему-то всегда напоминает юношу, решившего заглянуть через стену крепости на синие дали за озером. Державной мощью веет от Успенского собора, стоящего за кремлевской стеной, где некогда собиралось ростовское вече. И хотя эта громада, поражающая благородством линий, спокойствием и совершенством пропорций, строилась для утверждения бога, главное, что она воплотила в себе, — силу духа и безупречный вкус людей, творивших ее.

Ростовский кремль — это послание к ныне живущим из века семнадцатого. По этим построй-

кам мы можем судить сегодня о возможностях техники, о вкусах, идеалах и умении мастеров. Мы можем представить себе муравейник грандиозного по тем временам строительства, можем представить каменщиков и плотников в холщовых рубахах, с волосами, схваченными ремешком. До нас не дошли имена строителей и художников. Правда, в церковном синодике следом за именем митрополита Ионы Сысоевича в числе именитых людей записан род каменщика Петра Досаева. Только за большие заслуги в те времена каменщик мог оказаться в ряду бояр и высшего духовенства. Отсюда можно предположить: каменщик Петр Иванович Досаев был одним из главных мастеров, возводивших Ростовский кремль. Что касается митрополита Ионы Сысоевича, то имя этого человека дошло к нам в известности как раз потому, что его заботами строился кремль. Сын бедного попа в деревенском приходе, Иона из простых монахов вышел к высшей церковной должности, посажен был на московский патриарший престол, но оказался в опале и, удалившись снова в Ростов, всю силу, вкус и талант человека, вышедшего из народа, отдал строительству.

Два десятка лет беспрерывно кипели работы, руководимые Ионой Сысоевичем. Можно предположить, что Иона не сидел только в Ростове, но ездил по другим городам, смотрел, учился. Безупречным вкусом этого человека отобрано лучшее, что уже было накоплено тогда русскими мастерами. Иона жил во время, когда в Россию уже стала проникать чужеземная мода и многие памятники второй половины XVII века подпорчены сторонним влиянием. Ионе чуждо было влечение моды. В выборе образцов он не знал искуса и колебаний. И потому в Ростове мы видим шедевры подлинно русского зодчества. Белокаменные постройки дошли к нам как песня, в которой с необычайной ясностью выражено представление наших пращуров о прекрасном.

Дома у меня хранится несколько памятных вещиц из Ростова: каменный наконечник стрелы, осиновый лемех, очень похожий на валек, каким в деревне бабы колотят белье, маленькая, величиной с ручные часы, икона, исполненная в прошлом веке мастерами финифти, иначе говоря, писанная эмалевыми красками. (Промысел этот и теперь существует в Ростове.) И особенно дорога мне пластинка с записью ростовского колокольного звона. При нынешнем засилье «транзисторной музыки» порою чувствуешь почти потребность услышать простые глубокие звуки, исторгнутые древнейшим из музыкальных снарядов. Огромное расстояние отделяет примитивные, казалось бы, звуки, рожденные на колокольне, от тончайшего совершенства симфонической музыки. Но, честное слово, испытываешь глубокое волнение, слушая мерные удары колокола с подголосками маленьких колоколов и чириканьем воробьев, уловленным микрофонами на колокольне в паузах между ударами. Стены жилья в эти минуты перестают существовать. Чувствуешь большие пространства с плывущим над ними набатом, и воображение без труда рисует людей, идущих на вечевую площадь, или тревожную сумятицу

городского пожара, или приближение к стенам неприятеля.

С древнейших времен колокола на Руси сопровождали весь жизненный путь человека. Колокольный звон объединял людей на праздниках и перед лицом неприятеля. Колокола звали людей на совет, в непогоду указывали дорогу заблудившимся путникам, часобитный колокол отсчитывал время. И видно, велика была мобилизующая сила звуков, коль скоро Герцен назвал свой мятежный журнал «Колоколом», если, покорив город, неприятель первым делом увозил из него вечевой колокол, а русские цари за провинность отправляли колокола, как людей, в ссылку.

Петр Первый переплавлял колокола в пушки. В тридцатых годах, помню, в нашем селе Орлове тоже снимали колокола. Огромная толпа любопытных. Бабы крестились: «Трактора будут лить». И действительно, в том же году по селу, сверкая шпорами, проехал новенький трактор, подтверждая для нас, мальчишек, реальность странного превращения.

Наверняка нынешний репродуктор удобнее колокола. Но согласитесь, интересно ведь услышать и понять звуки минувшего. Помните в «Войне и мире» торжественный колокольный звон? В другом фильме, «Семь нот в тишине», есть прелестный рассказ о звоннице и звонарях. И наконец, эта пластинка, приносящая звоны прямо в твое жилье. Во всей России сохранилось, кажется, одно только место, где можно было записать эти звуки, — Ростовский кремль, звонница Успенского собора.

Звонница построена старанием все того же Ионы Сысоевича и являет собою архитектурный шедевр, прекрасно соединивший Успенский собор с кремлем. Но и своему основному назначению — звонить — она отвечала много веков как нельзя лучше. Главный большой колокол «Сысой» весит две тысячи пудов. Пять других колоколов весом (и стало быть, голосом) слабее «Сысоя», но в силу знатности тоже имеют персональные имена происхождения совсем не божественного: «Полиелейный», «Лебедь», «Баран», «Козел», «Голодарь». Семь маленьких колоколов имен не имеют...

Отлить, поднять на шестиэтажную высоту и надежно подвесить тысячи пудов бронзы дело не шуточное, если учесть, что тягачей и подъемных кранов во времена царя Алексея Михайловича не было. Лить больших размеров колокола чаще всего приходилось тут же, около колокольни. В самом центре кремля есть теперь живописный пруд. Была же тут колокольная яма. В торжественный момент литья собиралось у ямы великое множество ростовского люда. Фейерверк расплавленной бронзы, дымящиеся фартуки масте-

ров, серебряный дождь монет летят в яму — «для голоса». Момент этот уподобить можно нынешним стартам ракет. Час же, когда колокол повисал над землей и исторгал первые звуки, был едва ли менее значительным, чем благополучный выход спутников на орбиту. «На своем дворишке лью колоколишки, дивятся людишки», — писал Иона Сысоевич кому-то из своих современников. Мы чувствуем тут и усмешку и сознание значительности содеянного. Подтрунивать над собой могут только сильные люди. Таким и был отец Ростовского кремля Иона Сысоевич. Самый большой и самый последний колокол он отлил незадолго до смерти. Видимо, размышляя о жизни, он отдал должное своему деревенскому, почти мужицкому происхождению, назвав колокол именем своего отца — «Сысой».

В рассуждении у звонницы уместно сказать: сами по себе колокола не звонят. Вечная бронза молчалива, как молчалив и рояль, которого не коснулась рука. И не думайте, что звонить так же просто, как, скажем, бить в чугунную доску. Приноровившись, можно, конечно, раскачать даже стопудовый язык «Сысоя». Но вести мелодию десятью разноголосыми колоколами — тут нужен мастер, музыкант с хорошим слухом, вкусом и пониманием дела. Громадность музыкального инструмента требует присутствия на колокольне не менее пяти звонарей, и, стало быть, мы имеем дело с необычным оркестром.

За сотни лет Ростов вырастил и схоронил на своем погосте много поколений мастеров-звонарей. Они же сами творили колокольную музыку, шлифовали ее, и до нас дошли подлинные шедевры звонов. Гектор Берлиоз, Шаляпин, Горький специально приезжали в Ростов услышать звоны колоколов.

В Ростове сегодня живут четыре старика звонаря. Это последнее звено в цепи, идущей из XVII века. Умрут — утратится единственная возможность услышать голос былых времен. К этому нельзя относиться спокойно. Умение стариков надо непременно кому-нибудь передать. В былые времена, когда звонили часто, это могло случиться само собой. Теперь же звонят по редкому случаю (записи на пластинку или запись для фильма), к тому же старикам уже и трудно подниматься на колокольню. Значит, надо специально кого-то учить. Возможно, для этого понадобятся деньги (совсем небольшие), чтобы заинтересовать стариков и тех, кто хотел бы учиться. Мы тратим изрядные средства на реставрацию. Надо и это считать реставрацией памятника (единственного!). Скупость тут нельзя будет ни понять, ни простить.

Всегда есть опасность утратить великие ценности. Джоконду, когда привозили в Нью-Йорк показать людям, ставили за бронированными стеклами и охраняли целым нарядом полиции из-за боязни, что украдут. Памятники искусства, подобные Ростовскому кремлю, украсть невозможно. Но они могут быть утрачены по небрежению, по халатности, невежеству и равнодушию. Ростовский кремль на своей судьбе испытал в совокупности все эти беды.

Беды обрушились сразу же после смерти Ионы Сысоевича. Сначала утрата вкуса и мастерства в текущем строительстве,

потом вовсе упадок и запустение. Без присмотра погибли древние книги, летописные свитки, иконы, архивные документы. В палаты въехала уездная канцелярия, купцы заняли постройки под склады вина и соли. У кремлевской стены на том месте, где стоял когда-то «славный ученостью» Георгиевский затвор, устроили скотобойню. Дело дошло до того, что генерал-инженер Бетанкур предложил разобрать кремль и сложить на его месте гостиный двор, иначе говоря, европеизированный караван-сарай для торговцев. Это было за девятнадцать лет до убийства Дантесом Пушкина и может хорошо свидетельствовать тому, что если мы сами не бережем своей славы, то дантесы и бетанкуры поднимают на нее руку. К счастью, в тот раз злодейство не совершилось, хотя уже успели разобрать верхнюю часть часобитной башни и верхний этаж Красной палаты.

Усилием патриотов, среди которых надо назвать достойных нашей памяти ростовчан Титова и Шлякова, в конце прошлого века в кремле начались восстановительные работы. Великая постройка осталась жить.

В 1953 году над Ростовом узкой полосой как раз над кремлем пронесся необычайный для этих мест ураган. «Крыши и покрытия куполов несло над озером, как бумагу». Кремль опять был выведен на крайнюю грань бедствия. Но в этот раз не было вопроса: восстанавливать, не восстанавливать? Правительство отпустило хорошие деньги. И стараниями талантливого архитектора Владимира Сергеевича Баниге кремль не просто восстановлен, но предстает перед нами в своем изначальном образе. Кропотливым исследованием сняты все несообразности поздних пристроек, устранены ошибки торопливых починок. И хотя мастерам-реставраторам работы еще немало, мы уже видим кремль таким, каким зодчие возвели его триста лет назад.

Кажется, благополучно решается теперь и всегдашняя проблема: помещение должно иметь жильца. Опыт учит: постройка охраняется лучше, если она обитаема. В наиболее просторной сводчатой Красной палате решено поместить туристскую базу «Спутник». Палата в древности служила путевым дворцом царя Алексея Михайловича. Позже в ней останавливались приезжавшие на богомолье. Палата обретает теперь свое прежнее назначение, но с иными потребностями будут приезжать гости — много людей со всего света хотят увидеть Ростовский кремль.

Энтузиазмом молодых архитекторов палата уже обрела жилой дух. Удалось тактично совместить нынешние жилые удобства с самобытным обликом древностей. Тяжелые дубовые двери висят на больших кованых петлях. Под белыми сводами повешены светильники-паникадила. В просторной трапезной «обживаются» образцы резных дубовых столов и скамеек. И хотя о деталях стилизованной обстановки можно поспорить, в целом большая работа по возрождению к жизни древней палаты удовлетворяет. Пожившие тут неделю увезут ощущение старины. Правда, теперь уже, перед тем как открыть двери гостям, стали прикидывать: «Дороговата заказная дубовая мебель, давайте поставим финскую стильную». Это уже огорчительно. Хороший замысел сразу нарушится. Затратившись на одежку, не резон экономить на пуговицах, тем

более что палата — первый наш опыт приспособить старину к нуждам туризма.

По Ростовскому кремлю хорошо пройти с другом-единомышленником, когда при каком-нибудь новом открытии или догадке испытываешь радость шевельнуть локтем: смотри... и почувствовать — друг тебя понял.

Но со звездным небом, морем, лесом и полем, а также с искусством, отмеченным принадлежностью к вечности, необходимо побывать иногда совсем одному.

Ростовский кремль я несколько раз видел вечером, не спеша проходя по обтекающим постройки и стены дорожкам. В такое время на озере обязательно тарахтят одна-две моторки, слышно, как говорят у машины, оглядываясь на кремль, шоферы, слышно часы на городской башне. Иногда почти комаром гудит невидимый где-то над остатком зари самолет. И среди этих вечерних, приглушенных, но четко обозначенных звуков стоит молчаливый, смутно белеющий кремль...

Ощущение прошлого в прямой связи с тем, что тебя окружает, с тем, что тебя касается в жизни, всегда давало людям уверенность в будущем, всегда давало человеку необходимое равновесие в размышлениях о смысле жизни и своем месте в ней. Мы говорим: памятники старины и революции воспитывают в нас ощущение Родины, причастность к ее судьбе. Это верно и очень важно. Но это не все. Узнавание всего прекрасного, что оставили жившие до тебя, оставляет у любого человека ощущение и твоей нужности на земле. Это великое необходимое людям чувство. И если Ростовский кремль помогает у кого-нибудь родить это чувство, спасибо судьбе за то, что он есть на нашей земле.

Ефим ДОРОШ

●

ПРОГУЛКА ПО ЯРОСЛАВЛЮ

Летний день в Ярославле... Черные тени на мокром и горячем асфальте набережной, раскидистые старые липы, чуть золотящиеся от обильного цветения, губернский ампир особняков, белеющих между деревьями, жаркое, будто в дымке, почти бесцветное небо, скромная чугунная решетка над зеленым откосом, а внизу, едва приметно колышась, выпукло лежит огромная Волга.

Набережная сейчас пустынна, лишь кое-где на скамейках, поюжному светлых, упершихся в асфальт свои литые ножки, посиживают в безмятежном, я бы сказал, курортном ничегонеделании немолодые мужчины и женщины, да еще пройдет юноша в клетчатой распашонке, закинув за спину фотоаппарат на узком ремешке, или же купальщица с темными от воды волосами, в ярком сарафане, открывающем загорелую спину.

На реке буксир тянет бесконечный плот, бежит белый катерок.

Волга выглядит серой, матовой, местами на ее поверхности протянулись длинные косые полосы, где вода дробится и поблескивает.

Мы идем по набережной с архитектором Борисом Васильевичем Гнедовским. Один из руководителей здешней реставрационной мастерской, он показывает мне древности Ярославля. При этом нельзя не вспомнить «Прогулки Пьера Нозьера по Франции» Анатоля Франса. Там есть такие слова: «Разве города не те же книги? Чудесные книги с картинками, на которых изображены наши предки».

Только что мы побывали в бывшей Толчковской слободе. В старину там жили ремесленники, выделывавшие красную юфть. Для выделки юфти нужны дубильные вещества, и в слободе работали специальные мельницы — толчеи, где толкли дубовое корье. Отсюда будто бы и название пошло — Толчковская.

В 1671 году жители слободы предприняли строительство храма во имя Иоанна Предтечи. Строило церковь все население — иные жертвовали деньги, иные работали на постройке. Строили шестнадцать лет.

Когда я увидел это здание, мне прежде всего представился его строитель — ярославский рабочий человек, живший без малого триста лет тому назад. Речь идет не только о каменщиках, кровельщиках и живописцах, но и о тех, кто по отношению к ним был как бы хозяином, заказчиком, потому что толчковские кожевники и дубильщики были, мне думается, одного круга людьми со здешними строительными рабочими, одних с ними воззрений, вкусов, пристрастий... К слову сказать, в те времена ремесло считалось искусством, и летописец именует занятие слобожан «художеством толчевным».

Все это пришло на мысль не сразу, так как в первое мгновение, что называется, дух заняло от зрелища вставшей перед нами стены — исполинского кир-

пичного прямоугольника. Пять могучих полукружий алтарных, вытянутых в ряд, были вписаны в этот прямоугольник и как бы несли на себе устремленную вверх плоскость. Высоко над нею — «поглядеть заломя голову», как сказал в подобном случае Аввакум, — круглилось множество различной величины маковиц, из которых одни были уже позолочены, а другие темнели за обрешеткой лесов.

Я отошел чуть в сторону, и мне открылась выдумка мастера.

Он поставил вровень с основным кубом храма два боковых придела, похожих на четырехгранные башни, — так образовалась огромная алтарная стена и тем достигнуто было впечатление величественности.

От одного придела к другому, с трех сторон окружая здание, тянулась широкая и несколько приземистая закрытая галерея — паперть. К галерее примыкали три выносных крыльца под крутыми и острыми двускатными кровельками, склоны которых внизу были будто надломаны и ниспадали пологими козырьками. Здание начиналось на земле этими разбежавшимися в стороны крыльцами, массивными галереями, выпуклостями алтарей; оно уходило ввысь, в небеса, собранными в пучки пятиглавиями приделов, кучно поставленными барабанами мощного центрального пятиглавия.

Багровая громада освещена была солнцем. Железное кружево подзоров и коньков сквозило под стрехами кровель и на гребнях крылец. Кирпичный узор тройного ряда кокошников лепился по карнизам приделов. Оконные наличники, глубокие, похожие на квадратные рамы ширинки и расположенные поясами колонки выделялись на плоскости стен пышным рисунком. Голубым, зеленым и синим поблескивали поливные изразцы.

В XVII веке, когда строилась эта церковь, Ярославль славен был мастерами, искушенными в живописном, чеканном и резчицком ремесле, хорошо знавшими искусство делать селитру, изразцы, клей, ковать железо и дубить кожи. Можно только пожалеть, что мы не знаем их так близко, как неунывающего резчика и столяра из Кламси, с которым нас подружил Ромен Роллан, как весельчака Буффальмако, флорентийского живописца из рассказа Анатоля Франса. Два эти характера и еще Уленшпигель, сын угольщика из города Дамме во Фландрии, вспомнились мне потому, что они были людьми почти одного времени, одного сословия и одного духа с хитрыми в своих искусствах ярославцами, которых народное присловье, кстати сказать, называет красавцами, песенниками, чистотельцами и лукавцами.

Рассуждая о старинных ярославских мастерах, мы вошли с Борисом Васильевичем в галерею. Здесь было просторно и пусто. Стены этой обширной паперти, порталы дверей, ведущих внутрь храма, своды и оконные откосы были расписаны фресками или орнаментом. В желтоватом пыльном свете пестрели краски — коричневые, золотисто-охристые, синяя, белая и голубая. С первого взгляда все это казалось сплошным ковром, такой убористой была рука живописца, потом я стал различать отдельные картины, повествовательностью своей напомнившие мне лубок, увидел и орнамент, похожий на те узоры, какими в старину украшали сундуки, ткани, прялки... Сюжеты фресок сродни были сказке, фантастическому приключению, нра-

воучительной истории, и я подумал, что жителям слободы, когда они большими семьями неспешно прогуливались по паперти или же сидели на кирпичных скамьях, устроенных вдоль стен, эти затейливые картинки служили чем-то вроде нашего кинематографа.

Я далек был от наивной мысли считать толчковских ремесленников атеистами, но и мистиками, религиозными фанатиками их едва ли можно назвать, и это прежде всего подтверждает сооруженная ими веселая церковь. Дети своего времени, они, конечно, построили божий дом, однако материалисты по самой сути своей, сработавшие на своем веку множество дивных вещей, к тому же склонные к озорству жизнелюбцы и острословы, сочинившие не одну скабрезную побасенку о слугах божьих, они позаботились тут не только о боге, но и о собственных удобствах. Чтобы убедиться в последнем, достаточно заглянуть на эту паперть с ее большими окнами и расписными скамейками, вернее, сплошной скамьей, кирпичные ножки которой сделаны в виде балясинок, подпирающих фестоны из плоского фигурного кирпича. Да ведь это не столько паперть — преддверие храма, сколько некий общественный центр, своеобразный клуб. В слободе едва ли было другое такое место, где бы можно сообща обсудить мирское дело, потолковать с приятелями, развлечься, высмотреть невесту, попировать всей общиной в праздник.

Мой спутник напомнил мне, что именно в XVII веке, когда толчковские ремесленники построили эту большую церковь, в северных деревнях, слободах и посадах, не столь уж далеких от здешних мест, сложился обычай собирать общественные собрания и совершать публичные акты в так называемых церковных трапезных, где исстари устраивались по праздникам мирские пиры. Могло быть, что и просторная эта паперть служила трапезной. И не так уж далек я был от истины, когда вообразил, что собиравшиеся здесь люди мало чем отличались от тех своих современников и соседей, которым один из епископов того времени предписал, чтобы они в церковных трапезных «для всяких своих земских и мирских дел сходов не чинили и меж собою великие раздоры и мятежи, и неподобные матерные брани и бои не были, и по праздникам молебных пив не носили бы и в трапезе не пили бы».

Когда мы уходили из Толчкова, у меня было ощущение, что я побывал в обществе вольнолюбивых и мастероватых русских горожан семнадцатого столетия, потому что не церковь они построили здесь и не святых написали на ее стенах, а изобразили са-

мих себя, свои души. И мне пришло на мысль, что чадящий смрадным дымом завод, поставленный кем-то рядом с этой сказкой из камня, не только портит произведение искусства, но и оскверняет память наших предков.

По счастью, пренебрежение стариной не характерно для Ярославля. Город этот бесспорно красив, и очарование его прежде всего в той естественности, с какой живут рядом старина и современность. В здешнем архитектурном пейзаже новое не противостоит древнему, но продолжает его, и это говорит о художественном вкусе и нравственных правилах. Приходишь к мысли, что на картинках каменной книги изображены не только предки, но и нынешние обитатели города. Впрочем, если взять новые районы, то они похожи на те издания, какие содержат весьма полезные сведения, однако лишены развлекающих нас простодушных картинок.

Улицы в этих районах широки и прямолинейны, и дома, по всей вероятности, удобны, но это свойственно всем нашим большим городам, и на этих улицах ощущаешь себя столько же в Ярославле, сколько в Запорожье или в Свердловске. Тут можно встретить и коробчатые здания начала тридцатых годов, наивный индустриализм которых способен вызвать снисходительную улыбку, и тот бутафорский, раздражающий своей противоестественностью ампир, который распространен был в недавние годы. На взгляд человека, далекого от специальных вопросов архитектуры, дома эти, помимо того, что в них живут люди, служат еще иллюстрацией к истории художественных поисков и заблуждений многих советских зодчих. Правда, если знаешь, что они сооружены в городе по преимуществу деревянном, проникаешься чувством, должно быть, родственным тому, какое побудило Маяковского написать «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Известное эстетическое удовольствие доставляет и прямизна улиц, их щедрая широта, оранжевые, белые и пунцовые полосы цветничков на обочинах тротуаров, и высокие деревья, достаточно густые, чтобы скрыть погрешности архитектуры, однако же позволяющие видеть сквозь листву светлые пятна фасадов.

Рядом с этими проспектами в бывших слободах и пригородах Ярославля еще теснятся вдоль ухабистых улиц деревянные мещанские домики и ободранные каменные, так называемые доходные дома. Пыль стоит над исполинскими грузовиками, которые, покачиваясь, в иных местах бортами своими возвышаясь над крышами, лавируют в этих извилистых щелях, громыхают торчащими из кузова пучками железных балок или сеют на серую землю красную кирпичную крошку, везут поставленные на ребро бетонные плиты. Людям, живущим здесь, быть может, не совсем точными покажутся мои впечатления от города, однако я думаю, что иногда со стороны виднее и что не улицы с омертвевшей колеистой землей, с пропыленными насквозь домами, у которых, будто им сломали хребет, осели посередине крыши, главенствующая черта современного Ярославля.

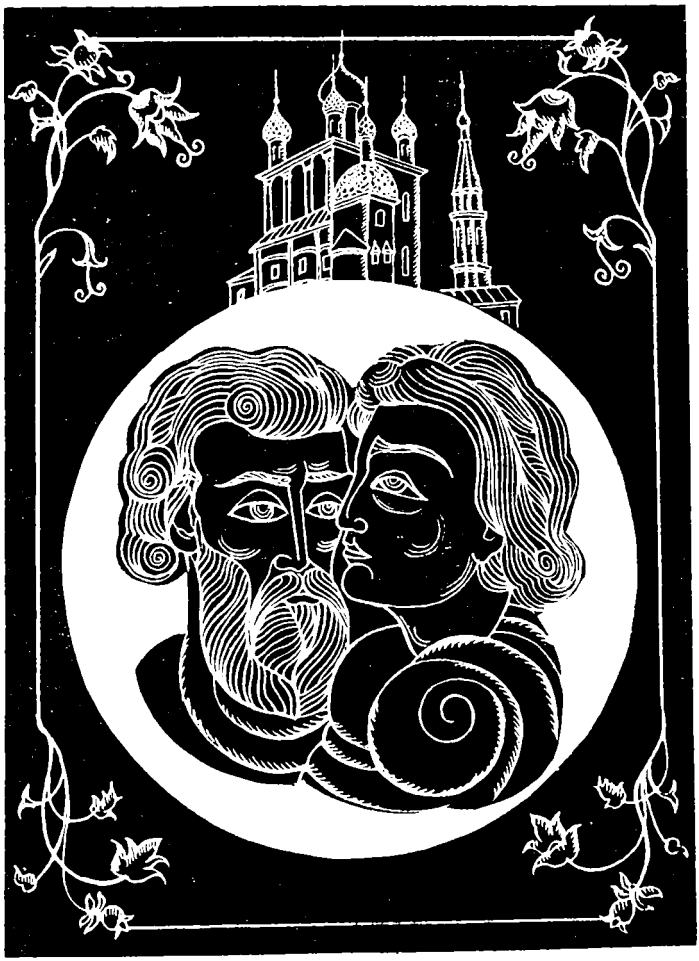
Если новые здешние районы и не своеобразны, то они, я бы сказал, служат вступлением к исторически сложившемуся центру города, заново спланированному во второй половине XVIII века.

Они естественно соединяются с той частью старого города, где всего больше магазинов. Здесь дивишься тому, как напоминает северный Ярославль наши большие южные города, — то ли полосатыми маркизами над зеркальным стеклом витрин; то ли вот этой белой кафельной стеной в арке башенных ворот, где из окошка продают горячие жареные пирожки и тут же рядом, прямо на асфальте, мелко колют дрова; то ли вон теми, хочется сказать вообще — европейскими зданиями, какие строились повсюду на исходе минувшего века, особенно в молодых городах юга. Но здесь любуешься и двухэтажным приземистым домом с аркадой посередине и поставленными на нее как бы чуть припухшими колоннами под широким фронтоном. Неизменное восхищение вызывает ротонда гостиного двора, опоясанная колоннадой с эффектным портиком — «круглая лавка». Начинаешь думать, что сочетание южной непосредственности, даже броскости, с уютностью старомосковского классицизма и строгостью классицизма петербургского, быть может, и есть своего рода ярославский стиль.

Затем входишь в самый центр Ярославля, планировка и застройка которого принадлежат к числу лучших творений русского градостроительного искусства. Едва ли это бывало где-нибудь, чтобы одновременно по крайней мере пятьсот городов получили специально сделанный для каждого так называемый регулярный план строениям и улицам, как это случилось в екатерининские времена в России. Тридцать лет ушло на эту работу, что же до осуществления планов в натуре, то здесь потребовалось еще больше времени, в результате чего были не только перестроены наново губернские и уездные города империи, но и создана блестящая национальная школа градостроительства, значение которой велико и сегодня, сложился тот архитектурный стиль, который принято называть русским классицизмом. И когда мы перестраиваем и строим всю страну, нам особенно понятны размах и сдержанность старых русских зодчих, их проверяемое линейкой воображение. Я имею в виду не одних лишь архитекторов — никто ведь не скажет, что только писателям, для повышения их мастерства, нужна классическая литература!

Каменную книгу города читает весь народ, постоянно прибавляя новые страницы, и в этом последнем пленительная особенность архитектуры. Город не может быть музейным экспонатом, он развивается, как все живое; древнее существует здесь в настоящем, рядом с нами и для нас.

Прогуливаясь по центру Ярославля, я представлял себе, как выглядел он в ту пору, когда державные казенные здания, затейливо-сказочные церкви и широко разместившиеся дома больших бар, построенные в манере барокко или же во вкусе ампир, перемежались деревянной рухлядью обывательских домиков, когда вдоль узких тротуаров криво торчали тумбы, и лишь кое-где, по прихоти домовладельца, зеленело одинокое дерево. Земля площадей и улиц замощена была булыжником, и серые бугристые мостовые, пыльные или лоснящиеся от жидкой грязи, как бы ползли, заполняя перспективу. Конечно, и тогда был красив рисунок знаменитой Ильинской, теперь Советской пло-



щади, смело вычерченной в виде трапеции среди хаоса средневекового города. Красивы были линии улиц, начинавшиеся лучами от оставленной в центре площади церкви, — до генеральной планировки она была окружена домами причта и складами построившей ее купеческой семьи. И так же, как сегодня, хороши были в отдельности спокойные массы зданий, их строгий декор.

Но вот мы прошли здесь только что с моим спутником, направляясь к набережной, и я еще раз увидел, что залитое асфальтом пространство, по краям испещренное тенью деревьев, равноправно входит в архитектурный ансамбль, связывает теснее желтую с белыми колоннами классику бывших присутственных мест с многоглавой древностью церкви Ильи-пророка. Как всегда, мне подумалось, что улицы, разбежавшиеся с площади, из-за асфальта стали будто прямее, отчего еще отчетливее выступил счастливый замысел планировщика, — он проложил их таким образом, что в одном конце каждой улицы рисуются шатры и маковки Ильинской церкви, тогда как в другом — какая-либо из крепостных башен. Новые дома, которые стоят между старинными на всех улицах центра, едва уловимыми чертами своей архитектуры и окраской вторят господствующему классицизму. Даже конструктивистская нагота одного из жилых корпусов, построенного, вероятно, в двадцатых годах, благодаря белым и желтым плоскостям фасада соотносится с торжественным портиком находящегося неподалеку екатерининского здания, занятого облисполкомом.

Все это, и еще деревья вдоль тротуаров и на бульваре, где дорожки покрыты впечатанным в землю мелко искрошенным кирпичом, и сам этот празднично пламенеющий среди газонов кирпич, испятнанный шевелящимися тенями листвы, и старинная ограда усадьбы наискосок от бульвара, арочное основание которой со вкусом и пониманием стиля покрашено мелом и красной охрой, — все это говорит о степени осведомленности и о художественном такте современных ярославцев.

Среди картинок, какие можно встретить, листая чудесную книгу, есть и забавные. С одной из них, например, глядит курносый, чуть вскинувший голову император Павел, приказавший разобрать сооруженный лет за десять до того величественный дворец здешнего наместника и употребить кирпич на постройку казарм. Такие картинки способны развлечь, но они же позволяют ощутить время, распознать горечь, какая часто присутствовала в художественном творчестве. И тем значительнее соседние изображения, где представлены зодчие, сменившие древних мастеров. Русские строители XVI и XVII веков работали почти так же, мне кажется, как скульптор лепит статую; они одержимы были веселой фантазией. А вот эти питомцы петровских преобразований, сдружившие с поэзией математику, запечатлели в камне мысль, ее ясные вершины. Мне привиделся здесь могучий Иван Старов, один из создателей русского архитектурного классицизма, строитель Таврического дворца, — существует предположение, что он имел касательство к плану регулирования застройки Ярославля, возможно, что и дворец наместника выстроен был по его эскизному проекту. Я увидел и самоучку из мещан Ростова Великого, талантливого Петра

Панькова, в многочисленных постройках которого к столичной строгости прибавлена провинциальная мечтательность.

Однако не одни зодчие нарисованы на картинках.

Архитектура русского классицизма создавалась в радищевской и пушкинской России, в России декабристов, она принадлежит той удивительной поре, когда как бы вдруг начались у нас и революционная философия, и великая литература, и зодчество, театр, музыка... Не только губернскую мундирность заставляют вспомнить эти портики и фронтоны, но и вольнолюбивую просвещенность. Быть может, все дело в известной настроенности, и для иного слово «губерния», произнесенное с большой буквы, содержит лишь чиновность и сановитость, — но ведь была же аудитория у профессора ярославского Демидовского лицея Константина Ушинского, удаленного за политическую неблагонадежность!

Культура современного советского города счастливо соединилась в Ярославле с губернской культурой, что сообщило законченность архитектурным ансамблям, придало городскому пейзажу черты особливости.

Поэтому и видишь здесь рядом с предками своих современников.

И если бы потребовалось одним словом сказать о характерной черте современного ярославца, причем основанием для этого служила бы прогулка по городу, то я бы употребил выражение «интеллигентность».

В Ярославле, как и в других наших областных городах, старых и новых, существуют институты, музеи, библиотеки, книжное издательство, филармония, театр... Все это свидетельствует о том, что в городе живет много образованных людей. Но я даже не это имею в виду, а то понимание, с каким ярославцы застраивают и содержат свой город, — интеллигент, если взять прямой смысл этого слова, означает ведь «понимающий».

Вот уже три года выходят в Ярославле «Краеведческие записки», — в первом выпуске, к слову сказать, мне и повстречалась статья о предположительном участии Старова в регулировании застройки Ярославля. С недавнего времени здесь начали издаваться «Материалы по изучению и реставрации памятников архитектуры Ярославской области». Периодически выходит «Сборник студенческих научных работ», вышел в свет двухтомный труд «Природа и хозяйство Ярославской области». Эти скромные на вид издания хороши не одними лишь учеными сведениями, но и тем, что я назвал бы поэзией деятельной мысли.

Поэзией мысли одухотворен и здешний архитектурный пейзаж.

Об этом мы и рассуждаем с моим спутником. Мы остановились с ним у слияния Которосли с Волгой, на Стрелке, на месте основания города. Пахнет горячей водой от только что политого асфальта. Травянисто пахнут кусты и деревья, с листьев которых смыта пыль.

Впереди нас и по бокам, уходя далеко в стороны, чернеется над водой чугунная ограда с веночками из листьев лавра, вставленными в длинные вытянутые овалы, — та часть ограды, что вдоль Волги, была сделана в сороковых годах прошлого столетия, а та ее часть, что вдоль Которосли, точная копия старинной, была отлита в конце минувшей войны, когда граждане Ярослав-

ля, ожидая домой победителей, начали строить здесь набережную.

Между белыми храмами, в овраге, который справа от нас спускается к Которосли, лежит небольшой стадион, изящно вписавшийся округлой своей архитектурой в зеленые склоны. По преданию, из этого оврага вышла на охотившегося Ярослава медведица, и князь, чудесным образом спасшийся от разъяренного зверя, повелел срубить на этом месте город.

Существуют и другие легенды об основании Ярославля.

Ученые же говорят, что на этом мысу было селище, жители которого присоединились к великому крестьянскому мятежу, охватившему в начале нашего тысячелетия Ростово-Суздальскую землю, и что Ярослав, разгромив мятежное гнездо, поставил город, чтобы владеть здесь Волгой.

Отсюда, где мы стоим, как бы просматривается тысячелетие.

Но отсюда же хорошо видно и далеко вперед.

Из-за Волги и Которосли идет грозовая туча. Открытое глазу пространство так велико, что видишь и тучу с полыхающими внутри белесыми молниями, и пыльное, излучающее свет небо вокруг тучи, и дымы чернеющих по берегам обеих рек заводов, и древние церкви между заводами, и крыши домов, плоскости их стен, и далекую землю полей в перемещающихся тенях, словно затянутую дымкой, и матовый металл великой реки, в которую вливается другая река, еще освещенная солнцем...

Пусть простят меня ярославцы, испытывающие серьезные неудобства от дымящих заводов. Я и сам с сердечной болью смотрел сегодня, как ядовитый дым, колеблясь, скользит по глазури изразцов, по кирпичному орнаменту, по свежей позолоте. Дымы эти надо бы незамедлительно убрать, для чего, вероятно, имеются технические возможности. Но вот я стою на высоком мысу между двумя реками и не могу не любоваться дымящимся горизонтом — черные, серые, изжелта-белые клубящиеся дымы.

Обе реки потемнели от нависшей над ними тучи. Среди синеватой воды светлеется плоский песчаный остров, и две исполинские песчаные косы с двух сторон идут к этому острову от нашего берега. На острове зеленеют светлые пятнышки молодых деревьев. На обеих косах шевелятся, переползают с места на место, ходят из стороны в сторону загорелые голые люди — есть в этом зрелище что-то античное.

Мне рассказывали, что здесь были зыбучие отмели и топи и что устье Которосли, круто изгибаясь, входило в Волгу в том самом месте, над которым мы сейчас стоим с Гнедовским. Устье и теперь здесь осталось — узкая тихая излучина. Однако впереди, по ту сторону острова, течет сейчас прямой широкий канал. Канал был прорыт через низменный болотистый мыс, и вынутый из него грунт, намытый на возникший таким образом остров, сделал возможным посадить на острове деревья. И на обе длинные косы, охватывающие остров, прежде тоже низменные, заливавшиеся водой, был намыт песок, взятый из Волги и Которосли. Все это сооружение, свободно простершееся под высоким мысом Стрелки, вместе с находящимся здесь зеркалом воды достигает пятидесяти гектаров.

Я смотрю на белеющие среди

синей воды плоские песчаные пространства, на низкую тучу над ними, в которой по временам вспыхивают молнии. Над широко открытым полукружием горизонта, вдоль которого расставлены заводы, уже висит дождь, оттуда тянет свежестью. Я думаю о том, что все увиденное мною в Ярославле, особенно же этот циклопический гидропарк, являет собою как бы слепок с души современника. Мне припоминается, как в Толчкове, на кружевном железном подзоре церковной крыши я вдруг разобрал сквозящую неуклюжими старинными буквами надпись: «Клыл мiсто Якоф Михайлов», — должно быть, крыл это место Яков Михайлов. Труд неизвестного мастера прошлых времен соединяется в моих мыслях с трудом сегодняшним. Я говорю об этом моему спутнику. Борис Васильевич Гнедовский, согласившись со мной, замечает, что нечто похожее хорошо описано Чеховым в рассказе «Студент». Мне приятна его подсказка, потому что он назвал любимый и мною рассказ.

«И радость вдруг заволновалась в его душе, — говорит о своем герое Чехов, — и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Владимир МОРОЗОВ

НАШИ ЧУМЫ СТОЯТ РЯДОМ

«На восточной стране, за Югорьскою землею, над морем, живут люди самоядь зовомыи Малгонзеи. Яд их мясо оленье да рыба... Сии ж людие не великии возрастом плосковиды, носы малы, но резвы велми и стрельцы скоры и горазды. А ездят на оленях и на собаках, а платье носят соболье и оленье, а товар их соболи» [1].

«Летом здесь нет никаких дорог, все сообщение происходит по реке и на лодках, весь этот край без дорог в нем самом и к нему» [2].

«Оленеводство (в округе) имеет резко выраженное шкурно-мясное направление» [3].

Впервые о ненцах (самоедах) упоминается в летописи Нестора (конец XI века):

«Сказа ми Гюрята Роговичь Новгородец: послах отрок свой в Печору, люди, иже суть дань дающие Новгороду, и пришедшю отроку моему к ним, и оттуда иде в Югру, Югра же людие суть язык нем, соседят с Самоядию на полунощных странах» [4].

Может быть простым совпадением и в то же время весьма показательным тот факт, что о малом народе впервые упомянуто в связи со сбором дани.

Вместо пространного рассказа о преобразованиях в жизни малого народа, происшедших за последние 50 лет, позволю себе привести такой пример.

Если раньше при болезнях ненец-кочевник прибегал к помощи шамана и знахаря, то сейчас в округе один врач приходится на 500 человек (в Англии — на 1150 человек, в США — на 800).

Размышляя о судьбе когда-то отсталой и нищей окраины России, о большой судьбе малых народов нашей страны, трудно удержаться от сравнения с судьбой народностей Крайнего Севера в странах капитализма. Один из примеров — канадские эскимосы.

В начале нашего века их насчитывалось около 2,5 миллиона человек. Сейчас 200 тысяч. Среди этой части населения Канады наиболее часты случаи туберкулеза и трахомы. Продолжительность жизни самая короткая.

---

[1] А. А. Титов, Сибирь в XVII в. М., 1890, стр. 6.
[2] Б. В. Безносов, Поездка по Вологодской губернии в Печорский край к будущим водным путям на Сибирь. С.-Петербург, 1909, стр. 95.
[3] Большая Советская Энциклопедия, т. 29, стр. 417.
[4] «Очерки этнографии народов СССР». М., 1962, стр. 95.

Причем такое положение дел не только не пытаются изменить, его считают неизбежным, более того — закономерным. Политика притеснения малых народов находит своих теоретиков и апологетов. Вот циничное и высокомерное мнение буржуазного ученого:

«...Эскимосы только-только выходят из каменного века, и было бы нелепо, даже опасно немедленно вводить их в атомный век» [1].

Эта «теория» полностью опровергнута практикой нашей страны, когда в результате успешного проведения в жизнь ленинской национальной политики многие ранее отсталые народы перешли к социализму, минуя капиталистическую стадию развития, с помощью братских народов Советского Союза создали современную промышленность, национальные кадры рабочего класса и интеллигенции, национальную по форме и социалистическую по содержанию культуру.

В марте этого года в Ненецком национальном округе работала фольклорная экспедиция Коми филиала Академии наук СССР. Ухтинская студия телевидения, редактором которой я являюсь, направила меня вместе с учеными для подготовки телевизионных передач о работе экспедиции и о жизни округа.

---

[1] Ф. Моуэт, Отчаявшийся народ. М., 1963, стр. 60.

По залам музея

Я прожил в гостинице Нарьян-Мара достаточно. Каждый день волей-неволей приходилось общаться с людьми приезжими, с теми, кто в городе первый или второй раз.

Как эти люди воспринимали Нарьян-Мар? Большинство из них разочаровывались. Тем, что деревянный, тем, что маленький и, честно говоря, неказистый. И в самом деле, трудно найти такой город, городок, городишко, приехав из которого вы были бы особо потрясены размерами и архитектурой Нарьян-Мара.

Те из командированных, кто между работой днем и рестораном вечером успевали побывать в окружном краеведческом музее, в корне меняли свое отношение к городу.

Теперешняя экспозиция называется «Ненецкий национальный округ за 50 лет Советской власти». Разумеется, я вряд ли смогу рассказать даже о десятой доле экспонатов. Постараюсь передать общее впечатление.

В первом зале в плохо освещенном углу висит небольшая репродукция почтовой открытки. Открытка была отпечатана в Гамбурге в 1910 году и, видимо, погуляла по свету, выполняя свое основное назначение. Изображение полустертое: группа ненцев, рядом олени и чум. Подпись после первого прочтения кажется невероятной: самоеды (ненцы), вывезенные неким мезенским купцом в зоопарк Гамбурга. Оказывается, этот дикий случай не был единичным. Впервые подобный вид бизнеса в конце прошлого века освоил король звероторговцев Карл Гогенбек: «Мне первому выпала честь ознакомить цивилизованный мир с выставками подобного рода». Речь идет о так называемых «выставках народностей». В своей книге «О зверях и людях» (стр. 58) Гогенбек вот так рассказывает о подобном же предприятии:

«Перед декорацией из гипса и проволочной сетки, устроенной по типу театральных кулис, на площадке шириной в две тысячи футов был сделан макет настоящей сомалийской деревни. На улицах были высажены растения и пальмы, в хижинах расставлены бытовые предметы. Как и на других моих выставках, здесь не было никакого представления, и зрители имели возможность наблюдать ежедневную жизнь чужестранного племени во всех ее проявлениях».

Нельзя сказать, что «цивилизованный мир» так уж сразу проглотил эту пилюлю — увидеть в зоопарке себе подобных. Протестовали частные лица, всяческие общества, даже целые правительства.

Но в конце концов интересы чистогана взяли верх над сентиментальным гуманизмом буржуа. Выставки народностей, привезенных со всего света — от Арктики до Огненной Земли, победоносно шествовали по Европе, собирая миллионные толпы зрителей и миллионные же барыши.

Подумать только, все это было в конце прошлого и в начале нашего века! Вероятно, еще живы ненцы, которые в детстве или в молодости участвовали в подобных выставках. Было бы величайшей удачей отыскать кого-то из них, узнать о судьбе его семьи: дедов, отцов, детей и внуков. Мне такой удачи не выпало.

Прежде чем рассказать о жизни бывших самоедов (ненцев) за 50 советских лет, несколько слов о самом термине.

Слово «самоед» понимается не всегда правильно. Только очень немногие ученые связывали его происхождение с представлениями первых русских поселенцев о якобы имевшем место людоедстве ненцев. Есть версии, толкующие слово «самоед» как производное от «само» и «една» (земля саамов) или, совсем уже просто, от «сёмгоед» (есть сёмгу). Окончательно по этому вопросу ученые еще не договорились. Во всяком случае, слово это не было обидным, а имело, так сказать, статус официального названия.

В окружном музее есть, к примеру, документы 20-х годов: «Мы, самоеды такой-то волости, обращаемся к правительству со следующим ходатайством...», и так далее.

В Энциклопедическом словаре за 1899 год сказано: «Самоеды — вымирающее племя. Насчитывается 16 тысяч».

Тот же Энциклопедический словарь через 13 лет, в 1912 году, делает небольшую, но существенную поправку: «Самоеды — вымирающее племя. Насчитывается 2 тысячи».

Комментарии излишни. Лучше еще одна цифра. По данным переписи 1959 года, во всех трех округах, где живут ненцы (Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Таймырский, или Долгано-Ненецкий), насчитывалось 23 тысячи ненцев.

50 лет назад на месте нынешнего Нарьян-Мара были непроходимые заросли яры. Невдалеке лесопильный завод. Назывался завод чрезвычайно элегантно: «Стелла Поларе» («Полярная звезда»). Хозяин был англичанин. А рабочие — в основном крестьяне из коми деревень с Печоры и ее притоков. Здание конторы завода сохранилось до сих пор.

Сохранился интересный документ, относящийся к этому заводу.

Исправник доносит архангельскому полицмейстеру о маевке на «Стелла Поларе», «имевшей быть» 1 мая 1907 года. Исправник, видимо, был прилежный малый, старательный. И почерк у него что надо. Словом, я зачитался. Подробно описываются демонстрация и митинг и то, что рабочие работать отказались, но вели себя мирно и никаких бес-

порядков не устраивали. Заканчивается рапорт очень интересно:

«...На предложение управляющему иметь на заводе до 8 человек стражников, он просил не назначать ни одного, так как при количестве рабочих до 1000 и более человек в случае беспорядков это количество стражников их не усмирит, а только раздражит рабочих, и будет тогда еще хуже. На таком заводе, по его предположению, чтобы в случае надобности оказать рабочим сопротивление и успокоить их, должно быть не менее 100 человек стражников, чего завод содержать за свой счет не может».

Что и говорить, тяжело приходилось в этой богом забытой дыре господину управляющему и господину исправнику! То ли дело в городе, там тебе и казаки и полиция. Основной лейтмотив рапорта—«как бы хуже не было».

Революция. Гражданская война. На фото участники установления Советской власти на Севере. Дегтярев, Рочев, Безумов — традиционные местные фамилии. Молодые, очень молодые лица. И подписи: расстрелян, повешен, расстрелян.

Приговор: «Я утверждаю приговор особого суда по отношению к следующим шести. Расстрелять: бывшего офицера Степана Ларионова, комиссара Шаркина, Георгиевского, Комарова, Якубина, Дьячкова. Командующий всеми сухопутными и морскими силами на Севере генерал Айронсайд».

За время владычества интервентов расстреляно не менее 4 тысяч советских граждан, свыше 17 процентов населения Архангельского края было брошено в концлагеря и тюрьмы.

Обращение к населению штаба Красной Армии: «Настал решительный час. С оружием в руках идите в наши ряды, образовывайте партизанские дружины, связывайтесь между собой и с Красной Армией. Ловите и уничтожайте шпионов. Преграждайте всякими средствами путь врагу».

А вот снимок почти сорокалетней давности. Первый съезд Советов в 1930 году. Группа участников съезда. Большинство в малицах.

Я беседовал с одним из делегатов съезда. Ныне персональный пенсионер, Аркадий Дмитриевич Евсюгин в 1937 году был первым секретарем окружкома партии.

Он давно уже на пенсии. Но дома не сидится. Аркадий Дмитриевич активный внештатный инспектор рыбнадзора. О прошлом рассказывает подробно, тщательно как-то.

— Потому что кто же, как не мы, вам, молодым, обо всем расскажет, — он назидательно поднимает указательный палец. — Внимательно слушайте, запоминайте. Пригодится.

А рассказы один диковиннее другого. В 1928—1929 годах Евсюгин был председателем родового суда Большеземельской тундры. Попал на эту должность как один из очень немногих грамотных ненцев.

Родовой суд? Да, был такой! Не сразу и не вдруг научились здесь люди жить по новым, советским законам. Прятали детей, не хотели отдавать их в школу. На стенде фото первого студента-ненца: видимо, это было событием.

Коллективизация проходила на Севере медленнее, чем где-либо еще. Главная трудность — кочевой образ жизни оленеводов. По таблицам видно, что в этом же округе темпы коллективиза-

ции в оседлых хозяйствах намного выше, чем в кочевых.

А вот на стенде удостоверение, выданное участнику Всесоюзной сельскохозяйственной выставки Каневу. В 1940 году он был удостоен Малой серебряной медали № 10829 «за лучшие образцы работы в оленеводческом хозяйстве».

Рядом — война.

Похоронная.

Нашим матерям очень хорошо знакомы бумаги подобного содержания. Я видел такой документ впервые.

«Извещение. Ваш сын рядовой Артеев Павел Мартынович, уроженец Коми АССР Ижемского района, село Мохча, в боях за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество, был убит 26 июля 1944 года.

Похоронен в братской могиле на высоте в 4-х километрах северо-восточнее озера (название неразборчиво), квадрат 30—80, Карело-Финская ССР.

Настоящее удостоверение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии.

Ненецкий окружной военный комиссар К у з н е ц о в».

Кисет и портсигар — подарки фронтовикам. Продовольственная карточка.

Письмо солдата.

«Здравствуй, Тамара».

Дальше разбираю с трудом. Совсем простые слова:

«На праздник 7 ноября получил от тебя первое письмо, за которое спасибо. Я живу хорошо, здоров. Присвоено звание гвардейца, которое нужно будет оправдать...»

Может быть, назавтра или через неделю, через месяц эта Тамара получила вот такую же похоронную.

«...проявив геройство и мужество...

...место похорон...»

Еще одно извещение. Место похорон не указано. Его не было, этого места. Младший сержант Калинин погиб в воздушном бою в экипаже Героя Советского Союза капитана Гастелло.

Славное имя, известное нам с детства. Капитан Гастелло. В школе у меня был приятель. Хлипкий очкастый тихоня. Когда его очень уж донимали в классе, он говорил мне: «Вот вырасту, пойду на войну и погибну, как капитан Гастелло. Пусть знают...» Моего друга убили в Венгрии в 1956 году.

Гастелло, оказывается, не был один. Трое, кроме него. Вот фотография. Члены экипажа. Рядом большой портрет уроженца села Нижняя Пеша Алексея Калинина. Спокойный, немного мешковатый деревенский парень. Вот его письмо матери. Здесь он снят с друзьями. Где они? Живы ли?

Антон Петрович Пырерка — национальная гордость ненцев. Первый ученый-ненец. Он перевел на родной язык сказки Пушкина, составил несколько учебных пособий для школ Дальнего Севера. Перед войной работал в Институте языка и мышления Академии наук СССР.

По личной просьбе направлен рядовым в стрелковый полк.

Погиб под Ленинградом в 1941-м.

Сейчас в городской газете работает сын Пырерки Валерий. Судьба его сложилась довольно любопытно. В 41-м ему было два года. После смерти отца по-ненецки в семье не говорили (мать украинка). Впервые среди ненцев Валерий оказался уже в зрелом возрасте. С азов постигал язык, который считает родным. Изучал жизнь и быт ненцев,

много ездил по тундре. Валерия Пырерку считают способным журналистом, одним из лучших знатоков края. В областном издательстве намечен к печати коллективный сборник нарьян-марских авторов. В нем будет очерк Валерия Пырерки «Улица моего отца». Современная жизнь округа. Вот завод имени Хатанзейского, бывший «Стелла Поларе». Название другое, основной потребитель продукции по-прежнему Англия. Неуклонно растет доля экспорта.

В 1966 году завод произвел 102 тысячи кубометров пиломатериалов, из них на экспорт 49 тысяч; план 1968 года соответственно 109 и 71 тысяча. О заводе нарьянмарцы с гордостью говорят: «Наш валютный цех».

Немолодые, тщательно, по-воскресному одетые женщины окаменели перед стендом пушнины: песец белый, песец голубой, ярко-красная лисья шкурка, выдра, куница.

Это еще один валютный цех.

Не округ, а какой-то монетный двор! Третий по счету валютный цех — рыбокомбинат. Это семга и другие редкие столовые сорта.

Даже глупенькая, безобидная куропатка тоже золото. Основной потребитель — Соединенные Штаты. Куропатка идет за границу десятками тысяч штук.

Основное в хозяйстве округа — оленеводство. В округе 180 тысяч оленей. Населения 60 тысяч. По три оленя на человека.

Сейчас на юге округа успешно ведутся поисковые работы нефти и газа.

В музее много картин, сделанных художниками Архангельска. Среди них выделяется одна. Вернулся, посмотрел внимательно. Похоже на Рокуэлла Кента. Подпись: Тыко Вылка. Кажется, об этом человеке нам говорили еще в школе. К сожалению, в музее всего две работы Тыко Вылки. Остальные в Архангельске, в Музее Арктики в Ленинграде. Несколько репродукций было напечатано в журнале «Художник» (№ 8 за 1966 год). Рассказать словами чистую, наивную прелесть этих работ невозможно. Их надо видеть.

Ни специального, ни даже общего образования этот художник не имел (попросту никогда не сидел за партой). В 1910 году одиннадцать месяцев прожил в Москве — вот и все университеты. Учиться дальше не было возможности. Умер брат, оставив жену и кучу ребятишек. По законам тундры Вылка взял в жены вдову брата.

Живопись — это только часть жизни Тыко Вылки. Притом не главная. С первых дней Советской власти по 1949 год он председатель островного Совета, «президент Новой Земли», как называли его земляки. Организовал первые промысловые артели, построил на острове (опять-таки первую) школу. Учителем, тоже первым, там был Тимофей Петрович Синицын (впоследствии писатель Пэля Пунух). В годы Отечественной войны Вылко активно готовил остров к обороне в случае высадки немцев.

За свою многолетнюю деятельность «президент» был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, четырьмя медалями.

И еще одна романтическая сторона биографии этого замечательного человека. В начале века он был проводником полярного исследователя Владимира Русанова. Вот что писал о своем проводнике и друге сам Русанов:

«Ежегодно продвигался он на собаках все дальше и дальше к северу, терпел лишения, голодал. Во время страшных зимних бурь целыми днями ему приходилось лежать под скалой, крепко прижавшись к камню, не смея встать, не смея повернуться, чтобы буря не оторвала его от земли и не унесла в море. В такие страшные дни погибли одна за другой его собаки. А ненец без собак в ледяной пустыне то же, что араб без верблюда в Сахаре. Бесконечное число раз рисковал Вылка своей жизнью для того только, чтобы узнать, какие заливы, горы и ледники скрыты в таинственной, манящей дали Крайнего Севера. Привязав к саням компас, согревая за пазухой закоченевшие руки, Вылка чертил карты во время самых сильных новоземельских морозов, при которых трескаются большие камни и ртуть становится твердой, как сталь. Тыко Вылка незаменим как помощник. Человек он смелый, отважный, решительный, отличный охотник — бьет гуся пулей на лету. Он читает книгу природы так же, как мы читаем книги и газеты».

Добавлю, что составленная Вылкой карта до сих пор считается одной из самых точных. На ней нанесены мельчайшие извилины побережья и островки.

Тыко Вылка умер в Архангельске в возрасте 74 лет. Рисовал до последних дней. В 1959-м, за год до смерти, прочитав газетное сообщение о запуске нашей ракеты на Луну, он сказал: «Жаль, что нет в живых Русанова. Мы с ним полетели бы на Луну».

Таков был этот человек.

Там же, в музее, я впервые узнал о писателе Иване Меньшикове. Он жил в Нарьян-Маре, работал в городской газете. Погиб на войне совсем еще молодым человеком. Чтобы вы получили хотя бы некоторое представление о Меньшикове как о писателе, приведу очень короткий отрывок из его «Легенды о Таули из рода Пырерко»:

«В большую ночь орлиного месяца, когда скрип нарт слышен от края до края земли — так силен мороз, на берегу студеного моря родился Таули, сын Пырерко».

Какой мощный образ! «Скрип нарт слышен от края до края земли — так силен мороз».

И вот еще один отрывок, написанный в таком же балладном стиле. Здесь очень выразительно описан ушедший в прошлое обычай ненцев.

Шаман, пользующийся правом войти в чум к роженице после того, как он, шепча заклинания, семь раз проползет на животе вокруг этого чума, услышал крик новорожденного.

«Он вошел в чум.

Тяжелый воздух стеснил его легкие.

Ощупью в темноте он нашел ребенка, перевязал пуповину клочком материнских волос и вынес малыша из чума.

Охваченный морозом ребенок помертвел.

Шаман положил его наземь, посыпал снегом, чтобы он никогда не боялся мороза. Собака подползла к малышу и лизнула его в живот.

Завернув ребенка в полу малицы, шаман отнес его к матери и сказал:

— Зови его Таули».

Окружной музей.

У музея обширная переписка. Фотокопии нужных документов идут из Архангельска и Ленинграда. Стоит сотрудникам узнать, что на вечере в молодежном кафе местный журналист Виктор

Толкачев показывал интересный фильм об оленеводах, сразу же звонок в редакцию, переговоры, музею нужен фильм — или продайте, или подарите. Узнают, что охотовед Чипсанов подстрелил особо крупный экземпляр волка, звонят в охотоинспекцию: музею нужно чучело.

Раиса Михайловна — коми, Людмила Федоровна — ненка. Обе много лет учили ребятишек в сельских школах.

— Откуда вы родом?

Раиса Михайловна указывает куда-то в самую середину Малоземельской тундры, где нет ни одного населенного пункта.

— А я родом с Канина, — Людмила Федоровна обводит указкой солидный кусок полуострова, километров, может быть, шестьсот протяженностью. Обе смеются. Оказывается, родились в чумах. Семьи кочевали круглый год. Поэтому сейчас родиной считают всю тундру.

Я родом из тундры! Интересно, что в таких случаях пишут в паспорте в графе «Место рождения»?

Наши чумы стоят рядом

В журнале «Живописная Россия» за 1881 год некто Майнов в очерке о поездке по реке Печоре писал: «Самоед крепко недолюбливает зырянина, и в особенности ижемца, который во всем его прикрутил и обездолил, и в отместку ему губит его стадо безнаказанно».

Так ли было дело? Соответствует ли истине приведенное утверждение?

Действительно, среди зажиточных оленеводов, кулаков и купцов Большеземельской тундры основную массу составляли выходцы из Ижмы. Были, разумеется, среди мироедов и ненцы, которые угнетали батраков — зырян (коми) и самоедов (ненцы) без различия национальности.

Но повторяю, большинство кулаков было из коми-ижемцев.

Известно, что официальная Россия и ее органы пропаганды, как правило, склонны были видеть в классовой вражде национальную, а то и вовсе старались выдать одну за другую. В нашем случае это было сравнительно не трудно.

Но давайте, так сказать, выслушаем стороны.

Ненец-писатель Александр Федорович Канюков родом из Канинской тундры. Вот что он рассказывает:

«У ненцев полуострова Канин был такой обычай. Парни хотят жениться. Они собираются группой в пять-десять человек и отправляются в дальний путь за невестами в Коми, село Ижму. Не каждый мог позволить себе такую поездку, длившуюся иногда полгода. Зато считалось особым шиком привезти себе женуижемку».

Слово другой стороне. Говорит коми. Старший научный сотрудник Коми филиала Академии наук СССР Анатолий Константинович Микушев считает, что само по себе существование многочисленной этнической группы колвинских ненцев — лучшее доказательство дружбы (если это вообще нуждается в доказательстве), дружбы между двумя соседними народами.

Кто такие колвинские ненцы? Это ненцы, говорящие на языке коми. Живут они не только в районе реки Колвы. Их можно встретить и на полуострове Канин, на побережье Баренцева моря (как говорят здесь, моря Баренца), около Амдермы и Усть-Кары. Живут колвинцы в большом поселке на юге округа — Харуте.

Харута — название ненецкое. Адзьва — коми. Поселок стоит там, где речка Харута впадает в Адзьву. И так же, как сливаются воды этих двух рек, слились и перемешались на этой земле ненцы и коми.

В ясную погоду со стойбища шестой бригады ненецкого колхоза «Рассвет Севера» бывает видно соседнее стадо из Коми АССР. И так почти весь год эти стада кочуют рядом.

Дважды в течение суток я пересек здесь символическую административную границу, так и не ощутив при этом подобающих случаю эмоций.

«Заграница» не явила глазам ничего неожиданного. Одинаковые пологие сопки (говоря поздешнему — бугры), чахлые, реденькие перелески, изрытый тысячами оленьих копыт снег.

Случается после ночного дежурства, когда чум соседей окажется ближе, заедет «чужой» пастух погреться чайком. Перекусит, побеседует солидно с хозяевами и в обратный путь. Та и другая сторона частенько «нарушают» границу. Ездят или просто в гости, или разжиться папиросами, занять патронов для мелкашки.

Такой же чум. У коми, правда, посветлее (иокадан шире). Может быть, даже и почище. Зато, скажем, тасма — пояс, надеваемый на малицу, — у коми простая кожаная лента. У ненцев он весь в узорных медных бляхах, рядом с ножом и оселком для его заточки подвешен клык волка или медведя — охотничий трофей, символ мужества. Вообще одежда северных соседей изящней, богата украшениями.

В ненецкой бригаде Энгельс Николаевич Лымин, Иван Федорович Хенерин, Ким Данилович Хатанзейский, Афанасий Абрамович Канев, Иван Александрович Рочев. Уже по фамилиям видно, что первые трое — ненцы, двое последние — коми.

Впрочем, о национальности оленевода не всегда точно можно судить по фамилии: слишком давно живут вместе два эти народа. Мне приходилось встречать ненцев Канева, Рочева, Сметанина и коми с традиционными ненецкими фамилиями: Хатанзейский, Сядейский, Рокин.

В обоих соседних колхозах, да и вообще в Большеземельской тундре, многие оленеводческие бригады смешанного состава.

Я был в тундре с фольклорной экспедицией Коми филиала Академии наук СССР. В ее составе кандидат филологических наук Анатолий Константинович Микушев и кандидат исторических наук Любомир Николаевич Жеребцов. Основная задача моих ученых спутников—изучение быта и культуры колвинских ненцев. А также (что было едва ли не главным) поиски и собирание фольклора.

О конечных результатах похода за песней говорить пока рано. Собранный материал требует тщательной камеральной обработки. Но уже сейчас можно сказать, что экспедиция прошла успешно. Исследователи встретились с интересными формами аккультации, то есть слияния двух культур, собрали очень любопытный фольклорный материал.

Как я уже сказал, колвинцы считают себя ненцами, но говорят на коми языке, на его ижемском диалекте. Приемы и методы оленеводства они переняли у ненцев, так как у ненцев они были лучше развиты, чем у коми. Вся оленеводческая терминология тоже сохранена на ненецком языке... Но, скажем, умение обрабатывать пушнину, оленьи шкуры в

основном от коми, они были в этом искуснее. Жилище, домашняя утварь, одежда такие же, как и у ижемцев. В хозяйстве колвинцев бо́льшую роль, чем у ненцев, играют рыболовство и охота.

Основной итог, основная добыча, что ли, экспедиции — песни.

Удача похода за песнями — это не только удача всей экспедиции, но и большая радость для Анатолия Константиновича Микушева лично. Каждый раз, когда ему удавалось найти хорошего исполнителя, он потом буквально взахлеб рассказывал нам, как колвинский ненец великолепно коверкает коми язык, как он расчудесно обходится с гласными. Далее шли такие тонкости, которые понятны только лингвисту. Однажды мне довелось быть свидетелем беседы Микушева и Анатолия Ивановича Рожина. Рожин — заслуженный учитель Федерации. Добрая половина учителей округа — бывшие питомцы Анатолия Ивановича. С 1932 года он преподает в педучилище. В округе с 1930-го. Обошел, объездил тундру вдоль и попе-

рек. Знает ненецкий досконально, Автор самого первого ненецко-русского словаря. Уже много лет дети ненцев во всех трех округах в начальных классах учатся по его учебникам.

Микушев и Рожин говорили об эпических песнях колвинских ненцев. Переходя от поколения к поколению исключительно в устной форме, эпос отчасти утрачивает сюжетную завершенность. Исследователю приходится потратить немало усилий, чтобы расшифровать неясные места и, так сказать, реставрировать песню в целом. В этой работе знаток быта и языка ненцев Рожин оказал Микушеву большую помощь.

Оба лингвисты, люди, любящие свое дело, видимо, даже одержимые им, они говорили так, будто это старые друзья встретились после долгой разлуки. А между тем несколько часов назад они не были знакомы.

Теперь несколько, может быть, необязательных, но, мне кажется, существенных слов об эпосе вообще. Мысль тут не моя, об этом пишет автор сборника «Эпические песни ненцев» Куприянова. Мне же пришлось столкнуться с этим в жизни.

Дело в том, что как это ни печально, но факт — эпос угасает. Все меньше остается людей, которые помнят старые песни. Молодежь их не знает. Это естественно: в тундре сейчас кино, радио, книги. Новые времена — новые песни. Но от этой исторической девальвации ценность народного творчества не уменьшается.

Песни тундры! О чем же поется в них?

Из глубины веков с нами беседуют справедливые герои, побеждающие злых великанов. Мы узнаем о кровной мести, вражде и борьбе древних родов. Насмерть бьется с судьбой покинутый всеми сирота. А вот целая одиссея приключений и страданий маленькой и очень самостоятельной женщины. Вереницы образов проходят перед нами.

Эти песни звучат несколько странно для непривычного уха. Плач старика над старухой:

Продольный шов ушивавшая,
Круглую заплату латавшая,
Суп да кашу варившая,
Куда ты ушла?
Как я буду без тебя?

Я читал этот плач нескольким знакомым. Люди улыбались както снисходительно и растроганно: так трогательно, наивно, неожиданно звучит перевод. Скупые, однообразные какие-то слова, а за ними картина жизни женщины. Старик, который явно, мне кажется, любил свою спутницу жизни, даже в момент величайшего горя не может вспомнить ее иначе, как за работой по хозяйству.

«Вкусномолочная матушка» — так обращается дочь к своей умершей матери. От этого ошеломляющего эпитета можно прямые параллели провести к Гомеру. Например: звонкокопытные кони, многошумное море. «Вкусномолочная матушка» — это звучит с не меньшей силой.

В стойбище приезжает незваный, нежеланный гость. Хозяина он встречает сидящим на нартах у входа в чум. Их взгляды встречаются. Они молчат. Как в песне передается длительность этого молчания, враждебность сторон? Одной строчкой: «...Можно котел сварить, пока они молчат». Чеканный такой образ. Представьте, у входа в чум суровый хозяин и не менее суровый гость, которого хозяин даже в жилище к себе не приглашает (и это при ненецком гостеприимстве). Видимо, у этих двоих старые счеты, и никто никогда их не примирит. И вот

они меряют друг друга взглядами, и «можно котел сварить, пока они молчат».

А вот к берегу пристает большой корабль. И выходит из него без числа людей. «Сколько людей, будто черный лес», — удивляется героиня. Когда летишь над тундрой, над темными длинными островками леса посреди бескрайней снежной равнины, то смысл этого сравнения становится особенно ясен.

Интересны концовки эпических песен. После долгих приключений, сражений и скитаний герои, наконец, собираются вместе, ставят рядом свои чумы, пируют и вообще живут хорошо. Вот типичная концовка: «Наши чумы стоят рядом. Мы не разъехались. Мы сказали: «Давайте мы, пришедшие из разных земель, жить вместе. Так мы живем».

Снежная блоха

Я не знаю животного, на которого тяжесть неволи и работа наложили бы такой заметный отпечаток, как на северного оленя. Домашний северный олень — печальный раб своего угрюмого господина, дикий северный олень — гордый властелин горных вершин, живущий там наподобие серны и одаренный благородной красотой, свойственной всем оленям.

Брем

Одно из ненецких названий оленя в переводе на русский — снежная блоха. Действительно, бегает он очень несолидно, подбрасывая зад.

Олень покóрен. Ловят его тынзеем (арканом из оленьей же кожи). Один-единственный сильный рывок, когда тынзей наброшен. Петля от этого только затягивается. Потом олень если и упирается, то несильно. И один человек запросто подтягивает его к себе или подходит к нему, перебирая аркан. Олень уже совсем покóрен. Человек может взять его за рога, обхватить за шею. Может запрячь, повалить, спилить рога или просто заколоть.

Когда их сделали домашними, оленей? Может быть, раньше, чем собак?

Дикий олень (илебць) по-ненецки означает «средство к жизни». Действительно, ни одно животное на земле не дает человеку для жизни столько, сколько дает олень.

Мы сидим в чуме, пьем чай. Покрывала чума — нюки — сделаны из оленьих шкур. Мы сидим на шкурах, под шкурой снег, а нам не холодно. Если бы оленеводы не дали мне вчера в дорогу оленьей шубы — совика, в который я влез, как в берлогу, и цельнокроеных оленьих сапог выше колена — тобоков, то в своем полушубке и валенках я окоченел бы на первом десятке километров. Ехали мы сюда на оленях.

Хозяин чума в первую очередь приветствовал меня, чужака:

«Айбурдать будешь, чай пить будешь!»

И вот мы «айбурдаем». Строгаем от большого куска сырой оленины. Мясо тает во рту. «Может, крови оленьей хочешь?» — предлагает хозяин. Вежливо отказываюсь.

Жителю средней полосы да и северянину — жителю города эта трапеза покажется невероятной.

А между тем здесь нет ничего невероятного, просто необходимость и традиция. В кочевых условиях, зимой, когда олений обоз, скажем, часов восемь подряд движется по тундре и когда на нарты укладывают лишь самое необходимое, оставляя ненужные вещи на месте стоянки до возвращения, — в этих условиях нет никакой возможности сохранить от лютого мороза овощи, лук или чеснок. Все замерзает и в пищу уже не пригодно. А витамины нужны. Без них — цинга, другие болезни, без них—смерть. И вот тут-то на помощь человеку приходит сырое мясо, свежая оленья кровь — обычная пища оленевода. Если вы читали «Путь на Грумант» Бадигина, то помните, какая жуткая участь постигла одного из зимовщиков только оттого, что он отказался есть сырое мясо.

Разумеется, в поселках, на базах оседлости, там, где есть хорошие магазины, пища ненцев ничем не отличается от обычной. Кочующие со стадами бригады — совершенно другое дело.

Впрочем, перед тем как лечь спать, мы съели по громадному куску отлично сваренной оленины, запили ее бульоном.

На большом столе с крохотными подпиленными ножками, иначе в чуме он не уместится, гора пряников, конфет, печенья, банки сгущенного молока и кофе.

Первую ночь в чуме забыть невозможно. К воспоминаниям чисто романтического порядка присоединяется незабываемое ощущение насквозь простреливающего тебя холода.

Когда гаснет печурка, температура в чуме мгновенно опускается до наружной.

Чум временный, значит, не очень теплый. Спать нужно в малице.

Я перемерил все, что было, и по росту не нашел. Тогда меня завалили таким количеством шкур и одеял, что тяжело было повернуться. Причем, когда я все-таки рисковал пошевелиться, сразу один или два голоса спрашивали, не холодно ли мне, не затопить ли печь.

Утром по хорошему 30-градусному морозцу нам предстояло на оленях проделать солидный путь. Доехали мы благополучно.

А. ХАЗАНОВ

●

ПУТЕШЕСТВИЕ ИБН-ФАДЛАНА, ПОСЛА ХАЛИФА БАГДАДСКОГО В СТРАНЫ ТЮРОК, БУЛГАР И РУСОВ

Судьбы путешественников не схожи. Одним курят фимиам при жизни и забывают, едва успев похоронить. Другие умирают в безвестности, непонятые и осмеянные, и только потомки отдают им должное, ту дань славы и уважения, которую они так тщетно надеялись получить при жизни. В конце концов история все ставит на свое место, хотя во все века власть имущие стремились к обратному. Но зачастую ждать этого приходится очень долго. Для того чтобы оценить путешествие Ибн-Фадлана, потребовалась без малого тысяча лет.

В 923 году в Омане, в Южной Аравии, была поймана рыба, которая поражала своими размерами. Одного жиру из нее было извлечено 500 кувшинов. Скелет ее доставили в Багдад, напоказ самому халифу. «Право же, — передает очевидец, — челюсть рыбы подняли вверх и внесли через окно, так как она не входила в дверь».

Халиф интересовался рыбой, и поэтому придворные тоже интересовались рыбой, и летописцы писали о ней как о важнейшем событии в жизни государства.

В том же самом году в Багдаде некий Ахмед Ибн-Фадлан ибн-ал-Аббас ибн-Рашид ибн-Хаммад написал книгу о своем путешествии в далекие северные страны. Он проехал через всю Среднюю Азию и Казахстан, добрался до Средней Волги, наблюдал жизнь и нравы многих народов. Ибн-Фадлану было о чем рассказать читателю.

Но его книга никого не заинтересовала. Конкурировать с рыбой ей было не под силу. На книгу не обратили внимания, ее быстро забыли, затем потеряли. Казалось, она навсегда погибла. Лишь в Средней Азии сохранялись отдельные отрывки из нее, да и то в чужих, искаженных пересказах.

Но путешественнику не верили. В средние века в арабских странах любили читать о далеких и неведомых странах. Составление всевозможных географических энциклопедий было в те времена делом почетным и небезвыгодным. Но только один из многочисленных составителей удостоил поместить в свой труд куцые отрывки из его книги, да и то снабдив их специальной оговоркой: «Это ложь с его стороны, и на нем лежит ответственность за то, что он рассказал».

А в прошлом веке и даже в нашем этому мнению стали вторить ученые: археологи, историки, востоковеды, призывая «вывести Ибн-Фадлана на чистую воду». Книга его была названа бесстыдной мистификацией, автор — лгуном, никогда не бывшим ни в одной из перечисляемых им стран. Другие, правда, им возражали, брали автора под защиту. Обвиняемый молчал. Его единственный оправдательный доку-

мент — его книга была утеряна, и, как полагали, навсегда.

И только не так давно произошло то, что, увы, случается гораздо реже, чем хотелось бы. В городе Мешхеде, в Иране, нашли средневековый сборник рассказов о путешествиях. Среди прочих в нем сохранилась большая часть книги Ибн-Фадлана. Вымысел оказался истиной, лгун — мужественным и правдивым путешественником.

О далеком прошлом различных народов нашей Родины пока известно не слишком много, значительно меньше, чем хотелось бы. История цепко хранит свои тайны. На помощь приходит археология. Но остатки жилищ, гробницы и утварь сами по себе еще немы. Чтобы заставить их заговорить, нужно живое слово очевидца. А большая часть летописей и документов погибла в пожарах войн и нашествий. Ибн-Фадлану довелось побывать в тех краях, куда никто другой до него не добирался. Он своими глазами наблюдал жизнь наших предков и описал ее подробно и точно.

* * *

Джафару ал-Муктадиру было всего тринадцать лет, когда в августе 908 года он стал багдадским халифом, повелителем правоверных. Казалось, все шло хорошо. Держава простиралась от Египта до Памира, от Аравии до Кавказа. Всюду славили аллаха и его пророка. Вот только у их земного наместника — халифа — становилось все больше врагов, а недовольные осмелели и подняли головы. Но ал-Муктадира это не беспокоило.

Хмельной с утра до вечера, он предпочитал весело проводить время в гареме. Правда, коран строго-настрого запрещал пить вино, но чем-чем, а благочестием повелитель правоверных не отличался. Кроме женщин и вина, у него была еще одна страсть — редкие животные. Не правда ли, вполне достаточно для правителя? Управление государством он предоставил временщикам. А для того чтобы попасть в фавор, надо было угодить халифу. И каждый старался изо всех сил.

Из Аравии прислали зверинец с морскими чудовищами, из Восточной Азии — обезьян, из Африки — огромного муравья, скованного цепью и посаженного в железную клетку. Муравей по дороге издох, но его законсервировали, положив в «горький сок». «И видели его сам ал-Муктадир и жители Багдада».

Именно в этот момент в Багдад прибыл посол от Алмуша, царя далекой Булгарии, что на реке Итиль, то есть Волге[1]. Посол сообщил, что царь его принял ислам и просит прислать к нему «кого-либо, кто наставил бы его в вере, преподал бы ему законы ислама, построил бы для него мечеть». Он привез и другую приятную весть: огузы — дикие племена, кочевавшие на территории нынешнего Казахстана, также готовы принять ислам. Была еще одна, менее возвышенная просьба — построить крепость для защиты от хазар, лютых врагов Алмуша, которые взимали с него ежегодную дань.

О булгарах сановники халифа знали очень мало. Знали лишь, что именно от них получали среднеазиатские купцы ту самую пушнину, которая ценилась на вес золота на рынках Багдада.

Зато хазар знали слишком хо-

[1] Булгарами в средние века называли предков казанских татар.

рошо. Войны с ними арабы безуспешно вели без малого три века. К тому же хазарская знать обратилась в иудейскую веру, что мешало пропаганде ислама. Если огузы и булгары примут ислам, авторитет халифа сильно возрастет; если они, объединившись, разгромят хазар, падет преграда к распространению учения пророка во всех северных странах. От таких планов кружилась голова. Судьба ответного посольства была решена.

Теперь предстояло найти деньги и подходящих людей. Казна была пуста. Но в далеком Хорезме еще оставалось непромотанным конфискованное поместье опального министра. Постановили его продать и на вырученные средства построить крепость царю булгар. Покупатель нашелся быстро, деньги он обещал вручить послам по дороге.

С людьми было труднее. Путешествие предстояло далекое и опасное, изнеженных вельмож оно не прельщало. Тогда Назир ал-Харами, начальник внутренних покоев халифа и самый близкий к нему человек, кстати, больше других хлопотавший за посольство, предложил кандидатуру своего приближенного Сусана, бывшего раба, который, предав однажды своего опального господина, получил свободу и попал в милость. Особого выбора не было, и Сусана назначили послом.

В состав посольства включили еще несколько человек — выходцев из Средней Азии или стран, населенных тюрками, — они могли пригодиться как советники и переводчики, включили знатоков мусульманского права и учителей веры. Дали слуг и охрану. Не было только образованного и грамотного человека, способного вести переговоры и руководить религиозными делами миссии. На Сусана особых надежд никто не возлагал. Поэтому в качестве секретаря в посольство включили Ибн-Фадлана.

О его жизни нам известно не слишком много. Он был чистокровным арабом, единственным в составе посольства, и притом родовитым — его полное имя включает длинный ряд предков с чисто арабскими именами. Не чета Сусану, имя которого — «лилия», собственно, не имя, а кличка раба. Но Ибн-Фадлан был беден и неполноправен, был клиентом, зависимым человеком, хотя и жил при дворе. И не преуспел в придворных интригах, раз ему предпочли бывшего раба. Однако он согласился на весьма незавидную роль. Почему?

Раб, хоть и бывший, оставался рабом. Раз господин приказал, надо ехать. Но он был неглуп, этот Сусан. Он понимал, что удачный исход миссии поднимет его акции при дворе, а в случае неудачи остается возможность все свалить на Ибн-Фадлана. Законоведы и учителя мечтали о грядущей славе, которую им принесет обращение неверных. А Ибн-Фадлан? Конечно же, и он рассчитывал, что в случае удачи его не забудут, что и ему перепадет милость халифа. Все они были полны надежд, когда 21 июля 921 года покидали Багдад.

Но только ли в этом дело? Быть может, его пьянил ветер путешествий, влекли жажда неизведанного, новые земли, незнакомые народы, странные обычаи? Быть может, в нем заговорила кровь предков, покоривших добрую половину мира? Сам Ибн-Фадлан об этом молчит. Говорит его книга. О неистощимой любознательности, о наблюдательности ее автора. О его интересе ко всему новому и непривычному.

Маршрут путешествия дискуссий

не вызывал — он был единственно возможным. Через Иран, в Среднюю Азию, в Бухару, где надо навестить вассала халифа, оттуда в низовья Амударьи, в Хорезм, и далее, через пустыни, степи и реки на неведомый север — в Булгарию. Ехать через Кавказ нельзя — это оплот врагов халифа, а в низовьях Волги лежала Хазария.

* * *

Иран был близким, родным и знакомым. Хорошие дороги среди тщательно ухоженных полей, проложенные еще тысячу лет назад, богатые, густонаселенные города, правители, оказывавшие внимание посольству. Здесь не нужен был сильный военный эскорт, и посольство походило скорее на обычный купеческий караван. И как ни спешили послы — а Ибн-Фадлан это все время подчеркивает в своей книге, — надо сказать, что поспешали они довольно медленно. В каждом городе останавливались на два-три дня.

Беда чуть не настигла их в Дамгане — городе яблочных садов, таком мирном и спокойном, что мысль об опасности казалась здесь нереальной.

Один из местных феодалов, враждовавших с халифом, заинтересовался подозрительным караваном. Ибн-Фадлан пишет об этом весьма кратко, еще бы: послам самого халифа пришлось прятаться среди верблюдов, выдавать себя за обыкновенных купцов. Отсутствие военной охраны пошло на пользу. «Купцам» поверили.

А дальше был Сарахс. Ныне это советская территория, а в X веке — владения среднеазиатской династии Саманидов — лояльных вассалов халифа. И впереди снова лежала спокойная, хорошо охраняемая дорога, с полицейскими постами, таможенными заставами и караван-сараями. Впереди Бухара — столица Саманидов, и путь до нее был покоен, хотя и не прост, — пришлось пересечь восточные Каракумы. Но и там путники шли дорогой с колодцами и заботливо подготовленными привалами.

В Бухаре послам оказали торжественную встречу. Сам главный министр «прежде всего озаботился достать для нас жилье и назначил для нас человека, который удовлетворял бы наши потребности и удалял бы наши затруднения в отношении всего, чего мы пожелаем». Был прием у самого эмира, были заверения о помощи, ручейком текла изысканная восточная лесть. Не было одного — денег.

Но послы торопились. Надо до наступления холодов успеть в Хорезм. Ибн-Фадлан хотел дождаться денег, он понимал, что без звонкой монеты посольство заранее обречено на неудачу. Но он был всего лишь секретарем. Сусан же спешил вперед, как ему казалось, к славе.

Наняли корабль и на нем спустились вниз по Амударье, быстро катившей свои замутненные песком воды в плоских, унылых берегах, в Хорезм, ко двору хорезмшаха Мухаммеда ибн-Ирака, который «почтил нас, одарил и устроил для нас жилье».

Хорезмшах был опытен и хитер и совсем не обрадовался непрошеному посольству. Он сам торговал с Булгарией и неплохо наживался на этом, и, по его мнению, третий здесь был явно лишним. И ислам булгары приняли все-таки под его, то есть хорезмийским, влиянием. А что до хазар, то Хорезм всегда был с ними в тесной дружбе и имел

много общих интересов — и политических и торговых. Правда, хазары мешали распространению истинной веры. Это, конечно, было очень прискорбно, но, как известно, своя рубашка к телу ближе.

Всего этого хорезмшах послам, разумеется, не сказал, а сказал совсем другое: он задерживает их, заботясь исключительно об их безопасности. «Нет для вас соизволения на это, и непозволительно было бы мне допустить, чтобы вы вслепую рисковали вашей кровью». Но они настаивали, ссылались на халифа. Повелитель правоверных был далеко, реальной власти в Хорезме не имел, но ссориться с ним все же не хотелось. В конце концов Мухаммед уступил, обещал помочь, даже дал охрану и проводников.

Но отправляться на север зимой нечего было и думать. Зимовать остались в Хорезме.

На свете все относительно. Мне довелось бывать в Хорезме не один раз. Зимой там действительно случаются холода — климат резко континентальный. Но для москвича зима там все же мягкая и, главное, короткая. Уроженцу Багдада все представлялось по-иному.

«И мы увидели такую страну, что думали: не иначе как врата Замхарира[1] открылись из нее для нас. Снег в ней падает не иначе как с порывистым сильным ветром».

«Базар и улицы, право же, пустеют до такой степени, что человек обходит большую часть улиц и базаров и не находит никого, и не встречается ему ни один человек. Не раз выходил я из бани и когда входил в дом, то смотрел на свою бороду, а она — сплошной кусок снега, так что я, бывало, оттаивал ее у огня».

[1] Отделение ада, отличающееся страшным холодом.

Может, погода создавала настроение, но хорезмийцы Ибн-Фадлану решительно не понравились. «Они дикие люди и по разговору и по природным качествам. Их разговор похож на то, как кричат скворцы».

В других местностях Хорезма язык населения напомнил арабу «кваканье лягушек». Несколько лет назад археологи раскопали в Хорезме новые города и селения. Неожиданно оказалось, что культура их жителей была совсем иной, чем в центре страны. Да и сами они не походили на настоящих хорезмийцев — об этом говорили их изображения на найденных монетах. Ученые сперва недоумевали. Потом вспомнили Ибн-Фадлана, и оказалось, что эти города расположены именно там, где пребывавший не в духе путешественник столь оргинальными сравнениями отметил различие в языке. Так установили, что в X веке в Хорезме бок о бок жили два различных народа.

В феврале стало заметно, что зима кончается. Пора отправляться в путь. Оно уже далеко не такое бодрое и полное надежд, это посольство, каким оно восемь месяцев назад выехало из Багдада. По дороге сбежали часть свиты и почти все проповедники. Теперь наотрез отказались ехать дальше законовед и учитель, «побоявшись въехать в эту страну». Тяготы и трудности дороги заметно охладили их стремление к просвещению прозелитов. Ибн-Фадлан оказался единственным человеком в посольстве, которому были по плечу миссионерские функции.

Но денег, предназначенных на постройку крепости, по-прежнему не было, и это очень беспокоило секретаря посольства. Почему

послы их так и не получили, мы не знаем. Но Сусан и те, кто его окружал, отнеслись к этому легкомысленно. Царю булгар оказывается такая честь, сам халиф шлет к нему посольство. О каких деньгах тут может идти речь?

Ибн-Фадлан предупреждал: «Вы прибудете к иноязычному царю, и он потребует это от вас». Они же сказали: «Не бойся этого. Право же, он от нас не потребует». Я же предостерег их и сказал: «Я знаю, что он потребует от вас». Но они не приняли моих предостережений».

Решено было ехать без денег. **«Мы купили тюркских верблюдов и велели сделать дорожные мешки из верблюжьих кож для переправы через реки, через которые нам нужно будет переправляться в стране тюрок. Мы запаслись хлебом, просом, сушеным мясом на три месяца. Те из жителей этой страны, с которыми мы дружили, предложили нам воспользоваться их помощью в отношении одежд и постараться умножить их количество. Они представили это предприятие в ужасном виде и изобразили это дело очень трудным, но когда мы все это сами увидели, то это оказалось вдвое большим того, что нам было описано».**

«Итак, на каждом из нас была куртка, поверх нее кафтан, поверх него шуба, поверх нее длинная войлочная одежда, покрытая кожей, и бурнус, из которого видны были только два глаза, шаровары одинарные и другие с подкладкой, гетры, сапоги из шагреневой кожи и поверх другие сапоги, так что каждый из нас, когда ехал верхом на верблюде, не мог двигаться от одежд, которые были на нем».

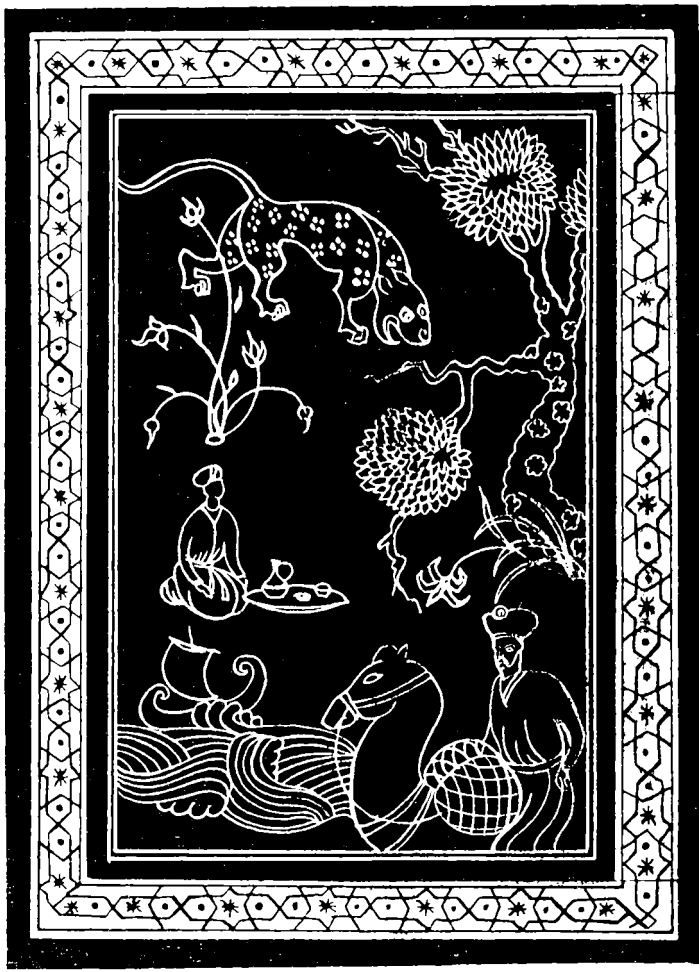
С таким снаряжением в пору отправляться на Крайний Север. Посольство ехало всего лишь в нынешний Казахстан. Впрочем, для них он таковым и был.

* * *

4 марта 922 года они покинули Хорезм. Путешествие вступало в решающую фазу. Как-никак до этого они ехали через страны, знакомые хотя бы понаслышке, к тому же мусульманские, к тому же формально признающие суверенитет повелителя правоверных. Теперь они вплотную подошли к порогу неведомого.

С какими чувствами покидал Хорезм секретарь посольства? Конечно же, он думал о том, что сулит ему в будущем этот загадочный новый мир. И возможно, где-то в глубине души таились страх и тоска по таким уютным, тенистым и родным садам Багдада и ласковому журчанию воды в его арыках. Но одно он знал твердо. Взявшись за миссию, надо сделать все для ее выполнения. Он был человеком долга, этот араб с длинной родословной и низким положением в обществе, с презрением смотревший на выскочек, бывших его товарищами по путешествию. И еще он думал, что полагаться ему придется только на себя. Цену своим спутникам он успел уже узнать.

Переезд через Устьурт не был легким. В апреле в степи становится тепло, днем даже жарко, и все покрывается ковром мелких тюльпанов, мало похожих на те, которые выращиваются в садах и оранжереях. Но и они придают ей красочный, почти обжитой вид. Поэтому человеку, направляющемуся в Казахстан в первый раз, я рекомендую ехать туда в апреле. Посольство же выехало в марте — месяце сильных ветров, когда лицо сечет песок пополам со снегом.



«Мы встретили бедствия, трудности, сильный холод и беспрерывные снежные метели, при которых холод Хорезма был подобен дням лета. Мы позабыли все, что с нами было до этого, и были близки к гибели наших душ».

На шестнадцатый день подъехали к краю плато. На расстилающейся перед ними равнине курились дымки, стада овец казались сплошным колышущимся морем, кое-где стояли кибитки, виднелись люди с непривычными для арабов безбородыми лицами. Это были огузы. **«И вот они, кочевники, — дома́ у них из шерсти, они то останавливаются табором, то отъезжают. То видишь их дома в одном месте, то те же самые в другом месте, в соответствии с образом жизни кочевников и с их передвижением».**

Огузы — основные предки туркмен. Сто лет спустя путешествия Ибн-Фадлана часть их, известная в русских летописях под именем торков, появилась в Северном Причерноморье, но была быстро разбита русскими князьями. Где они жили раньше и как жили, на Руси не знали. Впрочем, мы бы тоже мало что могли сказать об этом народе, если бы не любознательный секретарь посольства. Для истории Туркмении его описание страны огузов поистине бесценно.

Надо было начинать переговоры. Знай в Багдаде истинное положение дел у огузов, наверное, на посольство не возлагали бы несбыточных надежд. Но кто там мог знать, что творится в далеких азиатских степях.

Огузы уже давно отошли от того первобытного состояния, когда каждый равен каждому. Наблюдательный араб видел среди них «таких, которые владели десятью тысячами лошаде́й и ста тысячами голов овец». И других, которые выпрашивали на дорогах лепешки хлеба. «Если заболеет из их числа человек, у которого есть рабыни и рабы, то они служат ему», «если же он был рабом или бедняком, то они бросают его в дикой местности и отъезжают от него».

Но они еще не достигли той высокой ступени цивилизации, когда один решает все за всех. У огузов были и богачи и наследственная знать, которая легко поддавалась на лесть, посулы, подарки. Но **«дела их решаются советом между ними. Однако когда они сойдутся на чем-либо и решаются на это, приходит затем самый ничтожный из них и самый жалкий и отменяет то, на чем они уже сошлись».**

Главные надежды возлагались на Этрэка — начальника огузского войска, зятя царя булгар. Он был самым влиятельным человеком среди огузов и был не прочь еще больше увеличить свое влияние. Этрэку вручили царские подарки: одежду из парчи и шелка, сапоги из красной кожи, а также мускус, изюм, орехи, перец и просо.

Этрэк в долгу не остался. **«Он разбил для нас тюркские юрты и поселил нас в них. И вот у него свита, и челядь, и большие дома. Он пригнал к нам овец и привел лошадей, чтобы мы закалывали овец и ездили бы верхом на лошадях».** Этрэк даже сопровождал послов в поездках по стране, демонстрируя при случае, что недаром возглавляет войско. **«И действительно, однажды, в то время как он сопровождал нас на своем коне, я увидел, что несется летящий гусь. Он натянул лук, погнал под него свою лошадь, потом он выстрелил в него, и вот уже сбил его вниз».**

Но и Этрэк боялся взять ответственность на себя одного.

Он собрал на совет подчиненных ему предводителей. Совет собрался, а гости Этрэка находились поблизости и вскоре узнали, что обсуждается вопрос не о принятии ислама, а о том, как поступить с самими послами. Перспективы оказались не из заманчивых. Самый знатный и выдающийся из советников, «был он хромой, слепой, сухорукий», сказал:

«Это нечто такое, чего мы совершенно не видали и о чем не слыхали, и мимо нас никогда не проходил посол какого-либо государства с тех пор, как существуем мы и отцы наши. И лучше всего разрезать этих послов каждого пополам, а мы заберем то, что с ними имеется».

«И сказал другой из них: «Нет! Но возьмем то, что с ними, и оставим их голыми, чтобы они возвратились туда, откуда прибыли».

«И сказал еще другой: «Нет! Но у царя хазар есть наши пленные. Так пошлем же вот этих, чтобы выкупить ими тех».

Речь шла уже не о вере, а о собственной жизни. Этрэк как мог старался спасти послов, убеждал совет, но его могли ведь и не послушать эти проклятые язычники, ни во что не ставящие самые заслуженные авторитеты. Выяснилось, что Ибн-Фадлан не зря интересовался жизнью огузов, их обычаями и нравами, и тем, кто и что у них в чести, и тем, что «не может ни один мусульманин проехать через их страну, чтобы не сделать кого-либо из них себе другом». В ход были пущены подарки, и, как всегда бывает, больше всего получили те, кто был настроен враждебнее других.

«И они не переставали спорить между собой об этих вещах семь дней, в то время как мы находились в смертельном положении, пока они не сошлись на том мнении, что они отпустят нас в дорогу и мы проследуем дальше».

Радоваться приходилось уже тому, что по крайней мере унесли ноги. Но неудача, полное дипломатическое поражение! Скоро уже год, как покинули Багдад, и на всем этом длинном пути ничего, что можно было бы поставить себе в заслугу. Только впереди еще маячит надежда — Булгария. Там ждет успех, а тогда незаметными станут все неудачи, и откроется широкая дорога к славе и почестям.

А пока другая дорога, через бескрайнюю степь, все более трудная, все более опасная. И невеселые мысли, как их ни отгоняй, лезут в голову. И постепенно накапливается усталость.

Весна была в разгаре, и реки разлились. Переправа через них становилась нелегким делом, и все время приходилось быть начеку и высылать вперед военную охрану, «из боязни башкир, что они нападут врасплох на людей, когда они будут переправляться».

Около озера Челкар встретили печенегов. Они были бедны, но приветливы и гостеприимны, и у них остановились отдохнуть на день. А потом переправлялись через реку Урал, и для послов, еще не видевших Волги, она показалась «самой большой рекой, самой огромной и с самым быстрым течением». Течение перевертывало надувные мешки, на которых плыли люди, верблюды, и лошади, и многие из них погибли. «Мы переправились через нее только с трудом».

«Потом мы ехали много дней», — лаконично сообщает Ибн-Фадлан. Посольство находилось теперь в стране башкир, но наладить отношения с ними, видимо, не удалось, потому что путешественник пишет: «Мы отно-

сились к ним с величайшей осторожностью». Послам халифа в стране башкир делать было нечего, и они поспешно ехали дальше, к своей конечной цели, переправляясь через многочисленные левые притоки Волги.

Но миновать их, выйдя к самой реке, они тоже не решались. Тяжело нагруженный караван едва ли мог пройти по затопленному весенним паводком низкому берегу Волги с его болотами. К тому же там господствовали хазары. В районе Самарской луки, там, где Волга делает изгиб, был их сторожевой пост. Не хватало только попасть им в руки.

* * *

Наконец все это позади. Посольство въехало в Булгарию.

В прошлом веке недалеко от Казани нашли развалины некогда цветущих городов. Один из ученых даже назвал их «Приволжскими Помпеями». Установили, что когда-то здесь находилось богатое государство — Булгария, основанное предками поволжских народов — татар, чувашей и других — и погибшее под ударом монгольских завоевателей. Но о том, когда и как она возникла, о ее ранней истории практически ничего не было известно. Многие думали, что в X веке по дремучим приволжским лесам бродили только полудикие племена охотников и лишь кое-где виднелись поля примитивных земледельцев. Книга Ибн-Фадлана рассеяла все заблуждения.

Весть о посольстве быстро распространилась по стране, а прием превзошел все ожидания порядком порастерявших за время дороги свой оптимизм послов. «Когда же мы были от царя «славян» [1], к которому мы направлялись, на расстоянии дня и ночи пути, он послал для нашей встречи четырех царей, находящихся под его властью, своих братьев и своих сыновей. Они встретили нас, неся с собой хлеб, мясо, просо, и поехали вместе с нами». А затем «он встретил нас сам, и, когда он увидел нас, он сошел с лошади и пал ниц, поклоняясь с благодарением аллаху, великому, могучему». И это несмотря на то, что «был он человек очень толстый и пузатый».

Теперь можно было и отдохнуть. Торжественная встреча, почет, оказанный послам, подчеркнутое преклонение царя Алмуша перед халифом — он назвал ал-Муктадира своим господином, а себя его клиентом, — все предвещало успех миссии. Предстоящие переговоры казались пустяковым делом. Даже Сусан приободрился и вновь вспомнил, что как-никак посол — это он, а не Ибн-Фадлан. Вспомнил в последний, впрочем, до возвращения в Багдад раз.

Наверное, за время дороги не ложились они спать с чувством такого покоя и облегчения, как в эту ночь. Но спать не пришлось. «Я увидел, как перед окончательным исчезновением света солнца, в обычный час молитвы, небесный горизонт сильно покраснел. И я услышал высоко в воздухе громкие звуки и сильный гомон. Тогда я поднял голову, и вот недалеко от меня облако, красное, подобное огню, и вот этот гомон и эти звуки исходят от него. И вот в нем подобия людей и лошадей, и вот в руках отдаленных находящихся в нем фигур, похожих на людей, луки, стрелы, копья и обнажен-

[1] Арабы часто называли славянами различные северные народы, в том числе и булгар.

ные мечи. И они представлялись мне то совершенно ясными, то лишь кажущимися. Мы же испугались этого и начали просить и молить, а они, жители страны, смеются над нами и удивляются тому, что мы делаем». Для них, жителей севера, северное сияние было делом привычным и хорошо знакомым. Арабы видели его впервые.

Следующей ночью, хвала аллаху, никаких чудес на небе не было. Но и сама ночь, какой она должна быть, темная и звездная, приносящая отдых, никак не наступала. Ибн-Фадлану не спалось. **«Я сел вне юрты и наблюдал небо, и я увидел на нем только небольшое число звезд, думаю, что около пятнадцати рассеянных звезд. И вот красная заря ни в коем случае не исчезает окончательно, и вот ночь с настолько малой темнотой, что в ней человек узнает человека на большем расстоянии, чем выстрел стрелы. Я видел, что луна не достигает середины неба, но восходит на его краях на какой-нибудь час, — потом появляется заря и луна скрывается».**

Позднее он узнал, «что день у них очень длинный, а именно, в продолжение некоторой части года он длинен, а ночь коротка, потом ночь длинна, а день короток». А царь рассказал ему, что дальше на севере, на расстоянии трех месяцев пути, ночь летом длится менее часа.

После того как в воскресенье, 12 мая 922 года, посольство прибыло в ставку Алмуша, тот три дня собирал царей, предводителей и знать своего государства. Все это время царь беседовал с Ибн-Фадланом, но исключительно о делах духовных: о мусульманских обрядах, в которых новообращенный не был силен, о нюансах, отличающих багдадскую службу от среднеазиатской.

Торжественный миг наступил в четверг, когда в присутствии народа произошло торжественное облачение Алмуша властью от имени халифа и тем самым придание этой власти законного характера. Развернули два зеленых знамени ислама, оседлали лошадь привезенным из Багдада седлом, надели на царя тюрбан и савад — парадное черное одеяние высших сановников халифата. Руководил всем этим Сусан, изо всех сил пытавшийся выглядеть как можно более импозантно.

Далее состоялось торжественное чтение писем халифа, везира и Назира ал-Харами, причем первые два царь и его свита по предложению Ибн-Фадлана выслушали стоя. Затем секретарь посольства стал вручать подарки. «Я вынул подарки, состоявшие из благовоний, одежд, жемчуга для него и для его жены, и я не переставал представлять ему и ей одну вещь за другой, пока мы не покончили с этим».

«По прошествии какого-нибудь часа» царь дал торжественный обед в честь послов. Вопреки всем местным традициям запрещенных кораном хмельных напитков на нем не пили, разве чуть пригубляли. Где было знать Алмушу, что сам повелитель правоверных давно махнул рукой на этот запрет!

А через три дня Алмуш вызвал к себе Ибн-Фадлана и заговорил совсем по-другому. Он непочтительно бросил перед ним письма халифа и везира, потребовал недостающих денег и устроил бурную сцену. Он заявил, что ему нужны деньги и крепость, которая могла бы защитить его от хазар. Что же касается подарков халифа, то, право же, багдадцам не стоило ут-

руждать себя ради них, ибо их отлично могли захватить на обратном пути послы его, Алмуша.

Было только одно утешенье. Алмуш, видимо неплохо разбиравшийся в людях, прямо сказал, что из всего посольства признает только одного Ибн-Фадлана. Но утешенье весьма двусмысленное — ведь деньги-то он тоже требовал с бедного секретаря. Что оставалось тому делать? «Итак, я вышел от него, собрал своих спутников и сообщил им, что произошло между ним и мною. И я сказал им: «От этого я вас предостерегал».

Все было кончено. Результат посольства сомнений больше не вызывал.

Вопреки всем настояниям Ибн-Фадлана Алмуш принял не багдадскую, а среднеазиатскую обрядность. Тем самым подчеркнув, что торговые и дружеские связи со Средней Азией он ценит гораздо выше благоволения халифа. Даже в чисто религиозном вопросе посольство потерпело неудачу.

К тому же хитрый Алмуш еще свалил все на послов, заявив: «Вы, которые едите его (халифа) хлеб, носите его одежду, во всякое время видите его, вы обманули его в отношении размера той посылки, с которой он отправил вас ко мне, к людям неимущим, вы обманули мусульман. Я не приму от вас руководства в деле своей веры, пока не придет ко мне такой человек, который будет искренен в том, что он говорит. И если придет ко мне такого рода человек, то я приму от него руководство». Так он зажал нам рот, мы не дали никакого ответа и удалились от него».

По существу, посольству в Булгарии делать больше было нечего. Но Алмуш, покончив с делами, вновь стал обходительным и любезным. Он отправлялся в поездку по стране проследить, чтобы все его подданные приняли ислам, и пригласил послов с собой.

Ибн-Фадлан согласился. Он был любознателен, очень любознателен, и заманчивая возможность увидеть то, что никто другой не видел, конечно, соблазняла его. Спешить в Багдад после стольких неудач тоже было ни к чему — ни на что хорошее он рассчитывать там не мог. А может, в глубине души у него еще теплилась надежда, что удастся переубедить Алмуша? Ведь он явно благоволил к Ибн-Фадлану, и не избалованный царским вниманием секретарь посольства с гордостью отмечает: «Он стал оказывать мне особое предпочтение, стал приближать меня к себе, удалять моих спутников».

Он действительно увидел то, что не видели другие, и он имел основание писать: «Я видел в его стране столько удивительных вещей, что я их не перечту из-за их множества». И он смотрел, и слушал, и расспрашивал, и записывал. Здесь было все не так, как в Багдаде. Это одновременно и привлекало, и отталкивало, и вызывало стремление понять.

Земля была необычная — «черная, вонючая» — таким показался ему обыкновенный чернозем. И пища тоже была необычная. **«Пища их — просо и мясо лошади, но и пшеница и ячмень у них в большом количестве».** Уже одни эти слова Ибн-Фадлана сразу же кладут конец всем спорам. Очевидно, что основным занятием жителей Булгарии было земледелие.

Страна тоже не походила ни на одну другую. И путешественник добросовестно отмечает: **«Я не**

видел в их стране чего-либо в большем количестве, чем деревьев». «Я не видал нигде большего количества молний, чем в их стране». «Я видел, что змей у них такое множество, что вот на ветке дерева, право же, иной раз накрутится десяток их и более. Они не убивают их, и змеи им не вредят».

И наконец, сами жители страны. Как не похожи они на задавленное налогами население халифата! **«Каждый, кто что-либо посеял, берет это для самого себя. У царя нет на это никакого права, кроме лишь того, что они платят ему в каждом году от каждого дома шкурку соболя».**

Удивляло, что царю не воздают божеских почестей. **«Все они носят шапки. Когда царь едет верхом, он едет один, без отрока, и с ним нет никого (подумать только!). Итак, когда он проезжает по базару, никто не остается сидящим — каждый снимает с головы свою шапку и кладет ее себе под мышку. Когда же он проедет мимо них, то они опять надевают свои шапки себе на головы».**

Удивляли нравы. **«Мужчины и женщины спускаются к реке и моются голые, не закрываются друг от друга и не совершают прелюбодеяния никоим образом и никоим способом».** Для привыкшего к женскому затворничеству араба это было странно, как и то, что на приемах жена царя сидит с ним рядом.

Особенно интересовало Ибн-Фадлана животное, из рога и черепа которого изготовляли прекрасные миски, которые он видел на приеме у царя. Но в ответ он слышал только рассказы о страшной силе животного и о том, как трудно его убить.

«Рассказывают, что есть животное по величине меньше, чем верблюд, но больше быка. Голова его — голова верблюда, а хвост его — хвост быка, тело его — тело мула, копыта его подобны копытам быка. У него посреди головы один толстый круглый рог. По мере того как он приближается к кончику, он становится все тоньше, пока не сделается подобным наконечнику копья. Из рогов некоторые имеют в длину от пяти локтей до трех локтей, больше или меньше этого. Оно питается листьями березы, имеющими превосходную зелень.

Когда оно увидит всадника, то направляется к нему, и если под ним рысак, то он спасается от него с трудом, а если оно догонит всадника, то оно хватает его своим рогом со спины его лошади, потом подбрасывает его в воздух и вновь подхватывает его своим рогом и не перестает делать таким образом, пока не убьет его».

Ибн-Фадлан видел миски своими глазами и поэтому рассказу поверил. Жители северных стран, где попадалась мамонтова кость, ценившаяся очень высоко, могли рассказывать о выдуманном ими животном и о трудностях охоты на него, просто чтобы набить цену. Кроме костей мамонта, на севере находили черепа когда-то живших там носорогов. Может быть, так родился здесь образ единорога.

Однако жители Среднего Поволжья и Приуралья и сами верили в существование таинственного единорога. И это доказали археологи, когда нашли его изображения в их жертвенных местах. Выходит, Ибн-Фадлан вовсе не был простачком, которого обвели вокруг пальца. Не в пример одному ученому, который, основываясь на его рассказе, стал недавно всерьез уверять, что в

X веке по заволжским лесам еще бродили последние мамонты.

* * *

Они путешествовали по стране уже несколько месяцев. Алмуш насаждал ислам и укреплял свою власть. Ибн-Фадлан широко раскрытыми глазами глядел на окружающий его диковинный мир. Сусан со свитой проклинали тот день и час, когда им пришлось покинуть Багдад. В это время пришла весть, что приплыли русы и расположились у Волги, вблизи базара.

О русах в Багдаде уже слышали. Восемь лет назад они на пятистах ладьях пришли в Каспий из неведомых северных стран и опустошили его южные берега. Войска халифа терпели поражения, и никто не мог противостоять им, пока они сами, захватив богатую добычу, не ушли на родину. Упустить такую редчайшую возможность, увидеть русов своими глазами, Ибн-Фадлан не мог.

Ученым остается только благодарить судьбу, которая свела путешественника с нашими предками. Все, что он узнал и записал, интересно и важно для науки. Ведь мы не знали даже того, что русы уже в начале X века постоянно ездили в Булгарию. А как много нового рассказал араб об их обычаях и нравах, об их языческой вере, которая впоследствии так долго и тщательно искоренялась победившим христианством.

Русы оказались торговцами. Они привезли на продажу меха и рабов, и по всему было видно, что они прибыли не на один день. Они причалили свои корабли к пристани и сошли на землю. И толпа народа на берегу приветствовала их, как давних знакомых. Высокие, румяные, белокурые, с голубыми глазами и окладистыми бородами, непохожими на привычные Ибн-Фадлану острые бородки арабов, египтян, на жидкие, в три волоска, бороденки тюрок, в легкой одежде, несмотря на прохладную погоду, они держались приветливо, но гордо и независимо. Они начали с того, что воткнули в землю длинные бревна и разложили перед ними хлеб и мясо.

Любопытный араб подошел ближе и отпрянул в испуге. Куда-то мимо него глядели невидящие глаза идола на плоском, почти человечьем лице. Как ревностный мусульманин, он хотел сплюнуть, но вовремя спохватился. Любой из русов был на голову выше араба. И у каждого из них был меч, топор и кинжал.

Затем русы построили большие деревянные дома и расположились в них со своим товаром. Двери домов никогда не запирались — замков не было и в помине. Но все знали, **«что если они поймают вора или грабителя, то они поведут его к длинному толстому дереву, привяжут ему на шею крепкую веревку и повесят его на нем навсегда».**

С тех пор как прибыли русы, путешественник не покидал базара. Наблюдал, высматривал, расспрашивал. Они не кичились, охотно рассказывали о себе, о своей стране и обычаях, хотя блистательное посольство халифа не произвело на них в отличие от булгар большого впечатления.

После самих русов больше всего поразили Ибн-Фадлана их деньги. **«Их монета — серая белка без шерсти, хвоста, передних и задних лап и головы, а также соболь. Если чего-либо недостает, то от этого шкурка становится**

бракованной монетой. Ими они совершают меновые сделки, и оттуда их нельзя вывезти, так что их отдают за товар». О том, что на Руси пушнина служила деньгами, упоминали и другие арабские писатели. Им не очень верили. Сообщение Ибн-Фадлана самое раннее и заставляет серьезно задуматься ученых.

Потом произошло самое интересное. **«Мне не раз говорили,— пишет Ибн-Фадлан, — что они делают со своими главарями по их смерти дела, из которых самое меньшее — сожжение, так что мне все время очень хотелось познакомиться с этим, пока не дошла до меня весть о смерти одного выдающегося мужа из их числа».**

Его положили в могиле, покрыли настилом и оставили так на десять дней, пока не закончили кройки его одежд и всех других приготовлений. И поскольку умерший был человеком богатым, деньги его разделили на три части: треть — для семьи, треть — чтобы скроить одежды для покойного, и треть — чтобы приготовить хмельной напиток, который будут пить на похоронах.

«И сказали его девушкам: «Кто умре вместе с ним!» И сказала одна из них: «Я». Итак, ее поручили двум девушкам, чтобы они охраняли ее и были бы с нею, куда бы она ни пошла, настолько, что они иногда даже мыли ей ноги своими руками. А девушка каждый день пила и пела, веселясь, радуясь будущему». Радовалась она потому, что на этом свете была рабыней, на том ей в награду предстояло стать свободной — женой покойника.

«Когда же наступил день, в который должны были сжечь его и девушку, я прибыл к реке, на которой находился его корабль, и вот вижу, что он уже вытащен на берег и для него поставлены четыре подпорки из дерева белого тополя и другого дерева, и поставлено также вокруг корабля нечто вроде больших помостов из дерева. Потом корабль был протащен дальше, пока не был помещен на эти сооружения. И они стали его охранять, ходить взад и вперед и говорить речью для меня непонятной».

Затем наступила очередь покойника. **«Они надели на него шаровары, гетры, и сапоги, и куртку, и парчовый кафтан с пуговицами из золота и надели ему на голову шапку из парчи, отороченную соболем. И они понесли его, пока не внесли его в ту палатку, которая имеется на корабле, и подперли его подушками. И принесли хлеба, и мяса, и луку, и бросили это перед ним, и принесли собаку, рассекли ее пополам и бросили ее в корабль. Потом принесли все его оружие и положили его рядом с ним. Потом взяли двух лошадей и гоняли их до тех пор, пока они не вспотели. Потом рассекли их мечами и бросили их мясо в корабле. Потом привели двух быков, также рассекли их и бросили их в нем. Потом доставили петуха и курицу, убили их и оставили в нем».**

Затем задушили девушку и положили ее рядом с ее господином. Сейчас мы знаем про нее то, чего не знал сам Ибн-Фадлан. Что она была мордовкой. Дело в том, что араб упоминает про ножные браслеты рабыни. Археологи установили, что из всех народов Восточной Европы такие браслеты носила только мордва.

«Потом подошел ближайший родственник мертвеца и зажег сложенное дерево под кораблем. И вот действительно, не прошло и часа, как корабль, и дрова, и девушка, и господин преврати-

лись в золу, потом в мельчайший пепел».

Подул сильный ветер. Ибн-Фадлан задумчиво глядел на огонь, и стоявший рядом с ним рус сказал ему через переводчика: **«Вы, арабы, глупы. Вы берете самого любимого вами из людей и самого уважаемого вами и оставляете его в прахе, и едят его насекомые и черви, а мы сжигаем его в мгновенье ока, так что он немедленно и тотчас входит в рай».** Он не ответил. За все время путешествия впервые не вступил в диспут с язычником. Хотелось бы думать, что в этот миг ему пришла мысль об относительности всех вер. Но если это и так, то мы об этом никогда не узнаем.

«Потом они соорудили нечто вроде круглого холма и водрузили в середине его большую деревяшку белого тополя, написали на ней имя этого мужа и царя русов и удалились».

Тот, кто был в Москве, в Историческом музее, конечно, помнит картину Г. Семирадского «Похороны руса». Художник писал ее, руководствуясь лишь рассказом Ибн-Фадлана, когда еще мало кто ему верил.

А примерно в то же время, когда путешественник глядел на догорающий костер, далеко от Волги, на верхнем Днепре, близ Смоленска, умер знатный русский дружинник. Его обрядили в дорогие одежды и поместили в ладью, в которую положили его оружие и самые ценные вещи. И в нее же кинули туши коня, быка, собаки и петуха. Убили любимую рабыню покойного и положили ее рядом с ним. Затем зажгли костер и насыпали высокий курган.

В полном соответствии с русской летописью, где говорится: **«И аще кто умряше, творяху тризну над ним, и посемь творяху кладу велику, и возложахуть и на кладу мертвеца сожжахуть».**

Об этом Ибн-Фадлан, конечно, ничего знать не мог. Поэтому, когда тысячу лет спустя курган был раскопан археологами, они еще раз убедились в правдивости его рассказа, а сам рассказ помог им восстановить во всех деталях древнерусский погребальный обряд.

* * *

Пока Ибн-Фадлан путешествовал по стране булгар, узнавшие о посольстве халифа хазары не сидели сложа руки. Они решили показать Алмушу, что Багдад далеко, а они, хазары, близко, и для начала принялись за собственных мусульман, которых в их стране было немало. Царь хазар приказал, чтобы минарет в его столице был разрушен, каз-

нил муэдзинов и сказал: **«Если бы, право, я не боялся, что в странах ислама не останется ни одной неразрушенной синагоги, я обязательно разрушил бы и мечеть».**

Алмуш намек понял. На помощь халифа, который даже не выполнил обещанного, полагаться не приходилось. Об этом он прямо и сказал Ибн-Фадлану. Пора было возвращаться. Тем более что «ночи удлинились, а дни сократились».

Подробностей обратного пути посольства мы не знаем — последние главы книги Ибн-Фадлана не сохранились. Известно лишь, что возвращались вновь через страну огузов и Хорезм, а оттуда ехали прямо на юг, через Каракумы в Иран. Грустное это было возвращение, и каждый гадал, что ждет его в Багдаде. Прибыли в него весной 923 года, через год и десять месяцев после начала путешествия.

Веселых вестей не привезли. Ничто из задуманного не удалось. Огузы ислама не приняли. Алмуш, изверившись в надеждах на помощь халифа, предпочел сохранить связи со Средней Азией и по-прежнему платить дань хазарам. Из планируемой коалиции против хазар ничего не получилось. Наоборот, они сами обернули оружие против мусульман.

Нужно было найти виновника неудачи. Без него халифы никогда обойтись не могли, так же как без внешних и внутренних врагов и стихийных бедствий. Иначе на кого свалить свою некомпетентность, бездарность, невежество.

Сусан вывернулся, с помощью покровителей свалив всю вину на Ибн-Фадлана. Во всем виноватым оказался секретарь посольства. Его официальному отчету не поверили.

Оставался последний шанс. Написать книгу, подробно описать все, «что он видел собственными глазами со времени своего выезда из Багдада и до того, как он возвратился в него». Пусть все увидят, кто прав, и кто виноват, и что он, Ахмед Ибн-Фадлан, сделал все, что мог.

Книгу он написал. Но все было напрасно. Придворные интересовались рыбой, а не книгой и ее незадачливым автором. Книгу забыли. На тысячу лет.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ

ТРИ КУКРИ

Передо мной лежат три кукри — три изогнутых непальских кинжала. Их рукояти украшены львиными головами, а клинки так остры, что часто рассекают собственные ножны. Эти кинжалы не сувенирные подделки, а подлинное, нешуточное в умелых руках оружие, символ национальной славы Непала. Три кукри на моем столе не только предмет гордости коллекционера. Это память о трех поездках в удивительную, неповторимую страну, где тысячелетний храм считается не таким уж древним, а горная вершина высотой в семь с половиной километров не такой уж высокой.

* * *

Впервые я приехал в Непал в самом конце 1963 года. Было прохладно, по индийским представлениям даже очень холодно, когда наш самолет — старая американская «дакота» — поднялся с небольшого делийского аэродрома Сафдарджанг и взял курс на восток. Через несколько часов ровная желтоватая равнина сменилась под крылом самолета темными предгорьями Гималаев. Потом впереди открылась панорама огромных снежных гор, а затем самолет нырнул и как-то очень поспешно приземлился посередине внезапно появившейся между гор долины. Через час я уже был в Катманду — столице гималайского государства.

Погружение в глубины экзотики требует такой же постепенности, как и спуск на дно океана. И остановка в Новом Дели с его изрядно модернизированной «восточностью» оказывается очень кстати. Без этой акклиматизации первая прогулка по Катманду оказалась бы слишком впечатляющей даже для человека, привычного к Востоку.

Древность непальская в отличие от европейской — лондонской, пражской, московской — не музейная, а живая. Неисчислимые храмы — буддистские, индуистские — не памятники старины, хотя многие из них, бесспорно, старше Тауэра или собора святого Петра. Для местного жителя они привычная деталь повседневной жизни. Кстати, сам местный житель, появись он на минутку даже в привыкшей ко всему Москве, вызвал бы всеобщее изумление. По Катманду вперемежку со стройными солдатами королевских войск и буддистскими монахами в оранжевых одеяниях разгуливают жители высокогорных районов страны в самых невообразимых костюмах. Чаще всего на них надеты дубленые полушубки из шкур — одежда, нелишняя ночью в непосредственной близости от гималайских снегов. Днем, когда пригревает солнце, они сбрасывают верхнюю часть полушубка, и у пояса образуются живописнейшие складки. В этих складках носят оружие, детей, съестные припасы, всякие бытовые мелочи и прочее.

Тут и там на перекрестках, в закоулках запутанных улиц на пугливого иностранца оскаливаются бесформенные изображения злых богов. Вся сила этих изваяний в их аморфности. Если бы огромный черный Кала Бхаирава — одно из перевоплощений Шивы, — сидящий со связкой отрубленных

голов в сжатом кулаке, был сделан более тщательно, в нем было бы мало устрашающего. Просто комбинация из почти человеческих рук, почти слоновьих ног и почти птичьей головы. Но фигура вырублена грубо, еще более грубо раскрашена и не напоминает ничего живущего. Это и производит угнетающее впечатление. Впрочем, в основном на непривычных иностранцев. Непальские ребятишки смотрят на страшного бога так же равнодушно, как нью-йоркские на рекламный плакат пепси-колы, — он вошел в привычку.

О непальской детворе следует сказать отдельно. Непальцы — народ открытый, дружелюбный и общительный. Эти черты начинают проявляться очень рано. Четырехпятилетний житель Катманду уже весьма приятный собеседник, не уклоняющийся от знакомства, бесстрашно готовый к обмену мнениями с незнакомым дядей. Общение со мной было для малолетних непальцев особенно увлекательным: моя фигура, довольно-таки длинная и по московским масштабам, среди невысоких непальцев выглядела совершеннейшим отклонением от нор-

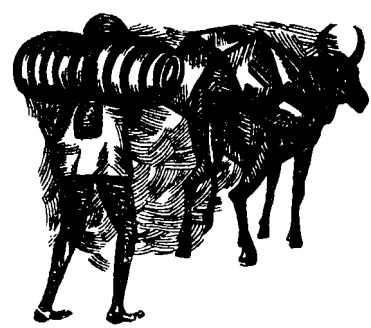
мы. Когда я появлялся на базаре, дети сбегались из соседних кварталов. Наверное, так вели себя наши юные бабушки и дедушки, когда приезжал бродячий цирк.

Забавной была встреча с десятилетним главным жрецом одного из буддийских храмов в пригороде Катманду. Он принял нас — нескольких иностранцев — с солидностью, подобающей человеку, занимающему столь высокий пост. Собственно, внутрь храма мы не вошли из опасения оскорбить религиозные чувства окружающих. Главный жрец смотрел на нас из-за решетки, обрамлявшей некое подобие алтаря. Внезапно на его лице отразилась явная внутренняя борьба. Оборачиваюсь и вижу, что находившийся среди нас американец показывает служителю культа большую конфету с очевидной целью выманить его на улицу. Жрец терзался, но наружу не шел. Тут же нам объяснили причину такой стойкости. Дело в том, что, выйдя за пределы храма, юный священнослужитель должен был прежде, чем вернуться внутрь, совершить очистительное омовение. Утро было прохладное, и подобная перспектива не могла ему улыбаться. Мальчишка мудро решил не поддаваться искушению и в итоге выгадал — конфета была послана ему через решетку.

Гуляющая корова — обычная картина для городов, где многие жители исповедуют индуизм. Но такого количества крупного рогатого скота, как на улицах Катманду, нет, пожалуй, ни в Калькутте, ни в Бенаресе. Вместе с гигантскими непальскими козлами коровы непринужденно разгуливают по базару, искоса поглядывая на лотки торговцев зеленью. Зная, что никакое религиозное почитание не спасет ее от палки в случае кражи, корова ведет себя как осторожный хищник. Она спокойно проходит мимо зеленной лавки, обмахиваясь хвостом и делая вид, что совершает моцион по предписанию врача. Затем неожиданно следует прямо-таки яшинский бросок — корова хватает огромную непальскую редиску и скрывается за углом. В эти мгновения в ее взгляде появляется что-то тигриное.

Между коровами, козлами и немногочисленными автомашинами, разгоняя их киноаппаратами, снуют неизбежные американские туристы. Несмотря на то, что большинство из них, как всегда, почтенные молодящиеся старушки, они с интересом разглядывают знаменитые эротические скульптуры, украшающие большинство храмов города. Эти скульптуры не просто украшение. Это своего рода громоотвод. Дело в том, что бог любви Кама, как известно, находится в дружеских отношениях с Индрой-громовержцем. И конечно, Индра не станет ссориться с другом, посылая молнию в скульптуру, которая посвящена Каме.

Я приехал в Непал для участия в работе молодежного лагеря. Он открывался через несколько



дней. Времени было достаточно, чтобы немного познакомиться со столицей, посмотреть не только храмы. Двадцатый век постепенно и как бы неохотно пробивал себе дорогу в страну. Среди живописных, но не слишком удобных для жилья старых домов встречались, хотя еще и не часто, более современные здания. По вечерам в центре города загоралось несколько фонарей дневного света. А в гостинице мы встретили группу чехословацких инженеров. Они вместе с советскими специалистами помогали Непалу в строительстве промышленных предприятий.

Наша гостиница внешне выглядела почти респектабельно. Днем постояльцу не на что было жаловаться. Зато после захода солнца здание погружалось во мрак, электрические лампочки едва тлели, в комнаты вползал почти российский холод. Печек не было, и жизнерадостные служители бодро бегали по этажам, разнося каменные жаровни с раскаленным углем. Если поставить такую жаровню под стул, а самому сесть на этот стул, завернувшись в одеяло, то можно согреться. Внешне все сооружение напоминает те кукольные изображения дородных матрон, которыми у нас в некоторых семьях накрывают чайники.

В последний день перед отъездом в лагерь я поднялся в храм Сваямбхунатх, стоящий на холме над городом. С огромной башни в течение двух с лишним тысяч лет глядят по сторонам четыре пары чудовищных глаз, символизируя неусыпную бдительность каких-то высших сил. Вместо носов между глазами нечто вроде вопросительных знаков. Я оглянулся в поисках человека, который мог бы разъяснить мне их значение. У подножья башни сидели в нишах каменные и медные боги. Перед ними горсти риса, каких-то сухих плодов — приношения верующих. На небольшой площадке перед храмом стояли трое буддийских монахов. Они выглядели так, как будто именно их описывал Киплинг. Я неуверенно обратился к ним со своим вопросом. Монахи уделили нечестивцу не больше внимания, чем последней из обезьян, шнырявших вокруг. Пришлось пристыженно ретироваться.

Зимний лагерь Молодежной организации Непала располагался в долине реки Рапти. Это довольно далеко от Катманду, поэтому мы выехали из города рано. Пока нас — иностранных гостей — было трое: два представителя Израиля и я. Американец и англичанин должны были присоединиться к нам днем позже.

Нам предстояло перебраться

через горную гряду и спуститься к юго-западу почти до самой индийской границы. Шофер-непалец вел машину артистически. Его нимало не волновало то весьма беспокоившее нас обстоятельство, что на дороге далеко не всегда могут разъехаться две встречные машины. Он не сбавлял скорости на поворотах и, что самое удивительное, почти не сигналил. Потом мне говорили, что многие непальцы подвергают свои машины специальной молитвенной церемонии, с тем чтобы обезопасить себя от превратностей горных дорог. На обработанной таким образом машине ставится соответствующая отметка, помогающая высшим силам отличить освященный транспорт от обычного.

Не знаю, были ли мы столь надежно застрахованы, но путешествие проходило спокойно. Счастливо избежав столкновения с двумя грузовиками, которые обиженно пятились, уступая дорогу, мы к полудню добрались до перевала. Этой минуты мы ждали давно. Еще в Катманду нам сказали, что с перевала видна Джомолунгма. Действительно, картина открылась впечатляющая. Гималайские вершины, почти столь же великолепные, как у Рериха, были видны отлично. Но с нами не было никого, кто бы мог сказать, какая из них — Джомолунгма. Наш водитель и неизвестно откуда появившиеся двое индийцев-сикхов в ответ на наш вопрос авторитетно указали на три совершенно различных снежных пика. Так и не найдя Джомолунгмы, мы вернулись в машину. Скоро я незаметно для себя уснул и проспал до вечера. Сразу же после пробуждения последовал новый натиск восточной экзотики.

Машина стояла на площади маленького городка. Наш шофер расхаживал вдоль ряда лавок в поисках сигарет. Внезапно от толпы аборигенов отделился человек сурового вида и решительным голосом представился как йог и ясновидец. За небольшую плату он взялся рассказать, что сбудется в жизни со мною. Пассажиры нашего «джипа» говорили между собой по-английски. Поэтому любимец богов для начала поведал мне трогательную историю о некой девушке, терпеливо ждущей меня за океаном. Потом он пообещал мне богатое наследство и удачную карьеру на американской правительственной службе. Поняв по физиономии подследственного, что волховство не удалось, он удалился с достоинством и тремя рупиями.

Незаметно мы спустились в долину. Освоение этого района началось сравнительно недавно. Еще семь-восемь лет назад здесь были только джунгли. Они и сейчас вплотную подходят к дороге. К разочарованию романтиков должен сказать, что они выглядят не более зловещими и таинственными, чем Сокольники. Поэтому мы с явным недоверием отнеслись к рассказу водителя о тиграх, носорогах и змеях, населяющих будто бы эти места. Недалеко от цели нашего путешествия на одном из поворотов фары осветили любопытную сцену. Местные жители привязывали к придорожному дереву буйвола. Нам объяснили, что ночью придет тигр, съест половину буйвола и заляжет поблизости. Наутро охотники приедут, поднимут зверя и застрелят его прямо из машины. Мирный вид окружающего леса внушил нам определенный скептицизм. Фаталистическую обреченность, которая была написана на морде буйвола, мы сочли проявлением пессимизма, вооб-

ще свойственного этим животным. Но наутро нам пришлось признать, что джунгли не Малаховка. Оказывается, охота была удачной — убито три тигра. Немедленно после этого сообщения нам предложили совершить прогулку по лесистому берегу реки Нараяни. Мы единодушно отклонили приглашение, сказав, что предпочитаем подробнее познакомиться с территорией лагеря.

Базой для лагеря послужил Рампурский институт. Это не институт в нашем смысле слова, а сельскохозяйственное училище, построенное с американской помощью. В его общежитии разместились участники лагеря. Их оказалось около пятидесяти — много меньше, чем ожидалось. На мой взгляд, место для лагеря было выбрано не очень удачно — в отдаленную долину Рапти участникам трудно было добраться. Тем более что они должны были сделать это за свой счет.

В программу лагеря входили лекции по истории, географии, экономике и государственному строю Непала, семинары по методам работы среди молодежи, работа по строительству дороги, спортивные соревнования и т. д.

Лагерь в торжественной обстановке открыл король Непала Махендра Бир Бикрам Шах Дева. Он приехал в этот район на несколько дней. Великолепный королевский палаточный лагерь располагался в нескольких милях от нашего. Многие организаторы молодежного лагеря, которые были не только руководителями Молодежной организации Непала, но и видными правительственными деятелями, проводили большую часть времени при дворе.

Наступило 31 декабря, и нас, естественно, начала беспокоить проблема встречи Нового года. Изучение этой проблемы едва не привело к международным осложнениям. По какому времени встречать Новый год? Каждому из иностранных делегатов хотелось бы сделать это по времени своей страны. Конечно, можно было бы по очереди встречать Новый год по московскому, тель-авивскому, лондонскому и нью-йоркскому времени. Но такая встреча затянулась бы чуть ли не на сутки. Сошлись на времени страны пребывания. А непальцы в обсуждение вопроса не вмешивались — по их календарю Новый год совсем не в этом месяце.

Конечно, встречать Новый год вдали от Москвы и даже от нашего посольства не очень весело. Но вознаграждает необычность обстановки. Москвичу не часто приходится купаться и загорать в первый день Нового года. А именно этим занимались участники лагеря 1 января. В тот день мы совершили экскурсию в горы к месту слияния двух рек — Нараяни и какой-то другой, такой же быстрой и светлой. Не успели машины приблизиться к берегу, как все мы попрыгали в воду. На берегу осталось лишь несколько человек. Они усе-

лись на песок, завели музейный граммофон и время от времени поглядывали в сторону противоположного берега — не появится ли часом крокодил. Небольшая группа занялась делом особой важности. Накануне король Махендра убил на охоте оленя и кабана. Туши он прислал в подарок участникам лагеря. Теперь мясо предстояло достойным образом приготовить.

Вместе с несколькими непальцами я поднялся на вершину высокого треугольного мыса, образованного слиянием двух рек. Это место священно. Здесь в пещерах живут индуистские отшельники. Недалеко от пещер — маленький храм. У алтаря лежит продолговатый камень. У него своя история. Много лет назад местный князь явился с шумной свитой в это место, требующее торжественной тишины. Кто-то из святых, рассердившись на возмутителя спокойствия, превратил его в камень. И теперь коронованные особы этого места не посещают. На всякий случай.

Перед заходом солнца участники лагеря, уставшие от купания, борьбы, национальных спортивных игр, собрались в кружок. Было воздано должное королевскому оленю. А потом сама собой возникла мушаира — состязание поэтов. Домой возвращались при луне.

Яркой страницей в жизни нашего лагеря были два импровизированных футбольных матча. Встречались команда Рампурского института и сборная непальских и иностранных участников молодежного лагеря. Несмотря на то, что ворота нашей команды героически защищал г-н Вишва Бандху Тхапа, бывший в то время председателем Непальского национального панчаята (парламента), первый матч мы проиграли со счетом 1 : 2. Вторая встреча закончилась нулевой ничьей. Правда, один мяч мы все-таки забили, но судья не засчитал его. Должен отметить, что это решение было абсолютно необоснованным.

Этот несостоявшийся гол, пожалуй, единственное серьезное огорчение, которое мне пришлось испытать в Непале. Организуя пребывание иностранных гостей в стране, наши хозяева проявили большое внимание, чуткость и изобретательность. Достаточно сказать, что, где бы мы ни были, в положенное время нас всегда ждала почти европейская пища.

А это было для гостеприимных хозяев нелегким делом.

После того как программа участия иностранных гостей в работе лагеря была завершена, мне представилась возможность побывать в Покхаре — маленьком городке на севере центральной части страны. Прямо над городком поднимается гора с малопоэтическим названием Мачхапучхре — Рыбий хвост. По гималайским масштабам она невелика — что-то около 6 тысяч метров. Но склоны горы так круты, что на них не держится снег, и Мачхапучхре выделяется черным равносторонним треугольником на снежном фоне знаменитого восьмитысячника Аннапурны.

Окруженная горами Покхара расположена в сравнительно ровной небольшой долине. Долину пересекает река Сети. На первый взгляд это ручей шириной в 4—5 метров. Но за тысячи лет этот ручей пробил в твердой, каменистой почве каньон глубиной до 100 метров. Сверху реку больше слышно, чем видно. Зажатая отвесными стенами вода с шумом тащит большие камни. Можно представить себе, что творится в этой каменной трубе в сезон дождей, когда даже в более широких местах уровень воды поднимается на десятки метров.

Электричества в Покхаре нет. Поэтому вечера наша небольшая группа — два непальских участника рампурского лагеря и я — проводила при свете романтических керосиновых ламп. К счастью, у одного из нас оказался сборник стихов Икбала. Мы по очереди читали и комментировали отдельные стихотворения. Изящная лирика великого индийского поэта с трудом поддавалась толкованию на той далеко не изысканной смеси индийских, непальских и английских слов, которая служила нам средством общения. Тем не менее все были довольны.

Мне пришлось познакомиться со многими видами непальского транспорта — от самолета, все более прочно входящего в жизнь страны, до маленьких мохнатых лошадок. Рысь этих созданий способна довести до самоубийства. Стремясь избавиться от жестокой тряски, я однажды рискнул перевести лошадь в галоп. Развязка не заставила себя ждать. Первое, что я увидел, придя в себя, была огорченная лошадиная

физиономия. Понимая, что виктория над столь жалким всадником не принесет ему лавров, мой конь смотрел на меня со смешанным чувством удивления и раскаяния. Я, со своей стороны, попросил извинения, и мы согласились считать инцидент исчерпанным.

Перед отлетом из Покхары мне представили возможность посетить небольшой недавно созданный госпиталь. Единственный врач с гордостью показал нам свое в общем неплохое хозяйство. На лужайке перед госпиталем сидела группа жителей окрестных деревень. Они пришли сделать прививку оспы. Это большой сдвиг — еще недавно люди отказывались от прививок, опасаясь гнева богов. И сейчас многие прямо из госпиталя идут в храм и просят у богини, ведающей вопросами оспы, извинения за то, что усомнились в ее полномочиях. Все дело именно в этой индуистской богине. Для тех, кто находится вне ее юрисдикции, прививка не проблема. Наоборот, как отмечал знаменитый русский востоковед И. П. Минаев, побывавший в Непале около ста лет назад, непальцы-ламаисты тибетского происхождения уже в то время были «великие охотники прививать себе оспу», были между ними «любители, готовые подвергаться этой операции ежедневно или по крайней мере через день».

Перед отъездом в Москву экзотика нанесла мне последний удар. Друзья показали мне в центре Катманду покрытый золотом храм живой богини. По нашей просьбе богиня — девочка лет шести-восьми в золотом облачении — появилась на несколько мгновений в окне, выходящем на внутренний двор храма. Так завершилась моя первая поездка в Непал.

* * *

Прошло всего полтора года, и я снова отправлялся в Гималайское королевство.

На этот раз вдвоем с Андреем Крушинским, корреспондентом «Комсомольской правды», веселым, покладистым и вообще очень славным человеком. Нам предстояло присутствовать на торжествах, посвященных сорокашестилетию короля Махендры. С собою мы везли подарок — довольно большого орла работы карпатских резчиков по дереву. Этот орел начал доставлять нам неприятности еще по дороге на аэродром. До поры до времени он был разобран на три части — туловище и два крыла, — и каждая была отдельно завернута в бумагу. Из одного пакета торчал острый деревянный клюв. На узком пространстве между задним стеклом и сиденьем «Волги» даже расчлененному царю птиц было, наверное, не по чину тесно, поэтому чуть не при каждом толчке он падал оттуда и неизменно «клевал» Андрея в затылок. Пришлось брать орла на руки. На аэродроме мы в багаж его не сдали — боялись, что в дороге повредится резьба, поцарапается краска. Орел отплатил нам черной неблагодарностью. На этот раз он свалился с самолетной полки, теперь уже на меня. В Дели деревянная птица снова продемонстрировала свою строптивость — не знаю, как это случилось, но об нее сильно ушибся приехавший нас встречать атташе советского посольства. К концу пути злосчастная скульптура стала для нас чем-то вроде знаменитого бунинского чемодана, и мы смотрели на нее как на хитрое и злобное живое существо. Пришлось удвоить бдительность, и на пути из Дели в Катманду, на-

ходясь под неусыпным наблюдением, орел смирил, наконец, свой коварный нрав. Увы, как выяснилось позже, только на время.

По приезде в Катманду нас разместили в доме, принадлежавшем ранее наследственным премьер-министрам из семейства Ранов. Этот клан более ста лет безраздельно правил страной. Короли Непала, как в свое время японские императоры, возглавляли государство чисто номинально. Хотя формально король именовался «Господин пять раз» (этот титул сохранился и по сей день), а премьер-министр всего только «Господин три раза», по существу монархи были лишь почетными пленниками. И только в 1951 году отец нынешнего короля, Трибхувана, сумел, опираясь на широкое антирановское движение, покончить с диктатурой Ранов. Многие из членов этого очень обширного, разветвленного и изрядно нажившегося за время пребывания у власти семейства покинули страну. Некоторые их дворцы сейчас используются как административные здания, гостиницы и т. д.

Дом, в котором мы остановились, находился в Патане. Когда-то Патан (сейчас он официально именуется Лалитпур) был отдельным городом, даже столицей независимого княжества. Потом он слился с Катманду, превратился в один из его пригородов, отделенный от центра города рекой Багмати. И только старинные королевские дворцы и храмы в центре Патана напоминают о былом его величии.

Единственный путь из центра Катманду в Патан — узкий и длинный мост через Багмати. Две встречные машины на нем не разъедутся. У концов моста стоят регулировщики, поочередно пропуская машины и повозки с того или другого берега. При появлении машины с правительственным флажком чины непальского ОРУДа прекращают вообще всякое движение и застывают как изваяния. Непальцы говорили мне еще в 1963 году, что, дескать, давно бы надо построить на этом месте новый мост, пошире. Что-то собирались сделать, даже поставили щит с надписью о том, что мост строится с помощью Индии, привезли какие-то конструкции, но на этом дело замерло. Не знаю, как сейчас, а в 1967 году, во время моей третьей поездки в Непал, картина была все та же — старый мост, регулировщики и щит с надписью.

На торжества по поводу дня рождения короля приехало довольно много иностранных гостей.

Были среди них и пять или шесть волонтеров «Корпуса мира». Вообще же их в Непале много. Время от времени часть «корпсменов» заканчивает срок пребывания в стране и уезжает, на их место приезжают новые, но общая цифра держится где-то на уровне ста пятидесяти — двухсот человек.

В нашей литературе, особенно в прессе, иногда можно встретиться со статьями, описывающими «Корпус» как окончательно саморазоблачившуюся шпионскую организацию, а его персонал — как примитивных детективов с поднятыми воротниками. Будь это действительно так, с «Корпусом» можно было бы не считаться. На деле все, однако, оказывается сложнее.

Конечно, «Корпус» — американская правительственная организация. Наверняка немалая часть «корпсменов» связана с ЦРУ. Но задачи «Корпуса» гораздо шире, чем только политическая разведка. Было бы серьезной ошибкой

недооценивать пропагандистское влияние «Корпуса» на население таких стран, как Непал. Там, где большинство населения еще очень отстало в культурном отношении, где прогрессивные силы немногочисленны и разобщены, «Корпус» может проводить большую работу по расширению американского влияния. Учитывая, что подавляющее большинство населения не подготовлено к восприятию политической пропаганды в полном смысле этого слова, «корпсмены» обращают главное внимание на завоевание авторитета среди непальцев, их симпатий. Большинство сотрудников «Корпуса» владеют непальским языком. Многие из них могут не только сравнительно свободно объясняться на непали, но и преподавать на этом языке, читать лекции. Популярности «корпсменов» способствует и то, что они не пользуются дипломатическими привилегиями, как правило, не располагают крупными средствами. Они живут и питаются почти так же, как местное население. Члены «Корпуса» оказывают в далеких районах медицинскую помощь, прививают элементарные гигиенические навыки, учат детей. Деятельность «Корпуса» имеет дальний прицел. Сущность этой деятельности четко сформулировал один из «корпсменов», работавших в деревне, расположенной на расстоянии нескольких дней пути от Покхары: «Если я дам непальцу правильный совет и вылечу его ребенка, то за первым в его жизни политическим советом он также придет ко мне». Нужно учитывать и то, что в горных районах Непала, практически отрезанных от культурных центров страны и друг от друга, американец из «Корпуса мира», располагающий, как правило, хорошим (иногда армейским) радиоприемником, — первый, если не единственный источник сведений обо всем происходящем в мире.

Было бы ошибочным, однако, думать, что влияние «Корпуса» распространяется только на наиболее отсталые слои населения. «Корпсмены» ведут серьезную идеологическую работу в среде молодой непальской интеллигенции, привлечению которой на свою сторону американцы уделяют большое внимание. Занятые этим «корпсмены», как правило, симпатичные, эрудированные молодые люди, хорошо владеющие искусством человеческого общения. Они неназойливы и терпеливы, публичным выступлениям предпочитают тихую беседу. Они могут в течение многих месяцев ни разу не упомянуть о политике, присматриваясь к людям, изучая их. В беседах на политическую тему, особенно если объект воздействия достаточно подготовлен в этой области, работники «Корпуса» широко используют подчеркнутую беспристрастность, политическую терпимость. Если понадобится, они готовы осудить и политику американского правительства в Азии, и расовую дискриминацию в США. Пропаган-

дистская потеря в таком случае невелика — подавляющее большинство интеллигенции заведомо отрицательно относится и к тому и к другому. Зато есть шанс выиграть симпатии собеседника — важнейший залог дальнейшего идеологического успеха.

День рождения короля отмечался в Катманду очень пышно, как большой национальный праздник. С утра на Тундикхель — большую, покрытую подстриженной травой площадь в самом центре города — начали собираться люди. Многие из них пришли из окрестных сел или даже специально приехали из дальних горных районов. Часам к двум пополудни перед небольшой трибуной с венчающим ее высоким троном стали выстраиваться войска. В июне даже в высокогорном Катманду на солнце долго не выстоишь. Но непальцы не зря славятся по всему миру своей воинской доблестью и стойкостью. Солдаты не обращали внимания на зной. Зато менее тренированному и закаленному дипломатическому корпусу, занявшему места на открытой трибуне, пришлось туго. Наконец появился и сам король — один за рулем открытой спортивной машины. За ним на почти такой же машине меньшего размера ехал наследный принц Бирендра. Король поднялся на трон. Началась церемония поднесения подарков, затем последовали военный парад и демонстрация населения города. В заключение над полем пролетел вертолет, рассыпая лепестки цветов.

После парада мы вернулись в Патан и, наскоро приведя себя в порядок, отправились на королевский прием, который проходил в саду резиденции, представляющей собой нечто вроде городской дачи и носящей характерное для южной страны название «Шиталь нивас» («Прохладный дворец»). Ехать нужно было в другой конец Катманду. И тут случилось непредвиденное. На мосту через Багмати мы попали в пробку. Ситуация складывалась незавидная. На приеме иностранные гости должны были вручать королю свои подарки. Теперь мы рисковали опоздать. Сопровождавший нас офицер нервничал. Не выходя из машины, мы пересекли несколько кордонов полиции и дворцовой стражи, буквально ворвались на обширную лужайку, где происходило торжество, и только тут вспомнили, что в спешке забыли «смонтировать» свой подарок. Времени было в обрез. Прием закончился, и король в

сопровождении наследника и свиты уже двинулся к выходу из сада. Придворные и гости образовали широкий коридор, в одном конце которого оказались король со свитой, а в другом — мы с Андреем, взмокшие, встрепанные, судорожно сколачивающие своего орла. На мгновение мы оцепенели. Казалось, нет силы, которая может заставить наши неумелые пальцы закончить несложную работу в оставшиеся секунды. Но свершилось чудо. Все детали с покорной готовностью встали на свои места, и когда король приблизился, наш орел уже приветствовал его царственным размахом искусно выточенных крыльев. Назревавшая «накладка» оказалась пресеченной. Подарок, по-видимому, понравился. Король даже сфотографировался с ним.

Праздники заняли несколько дней. В городе проводились официальные церемонии, спортивные соревнования, концерты. На этих последних большая часть времени отводилась народным танцам с песнями и декламацией. Исполнителями были, как правило, любители, не всегда отличавшиеся отточенным мастерством, но зато отчаянно импровизировавшие. Аудитория откликалась на удачный экспромт едва ли не благожелательнее, чем на технически сложные па. Видели мы и выступление очень хорошо подготовленной, как нам сказали, полупрофессиональной труппы, которую возглавлял отличный танцор по имени Мригендраман Синх Прадхан. Актеры разыграли небольшую танцевальную пьесу на какой-то мифологический сюжет. В роли главного божества выступал глава труппы. Представление началось с того, что танцовщицы по очереди передавали в танце различные состояния человеческой души — чувственную любовь, отвагу, печаль, изумление, веселье, страх, гнев и, наконец, умиротворенность. Мы, грешным делом, подумали, что эта демонстрация танцевальной и мимической техники пришла на непальскую сцену из «этюдов» современного европейского балета. Оказалось — нет. Такие танцы, олицетворяющие различные душевные состояния и сопровождаемые соответствующим стихотворным текстом, были непременной деталью народных представлений еще во времена правления предыдущей королевской династии Малла, то есть до второй половины XVIII века.

В один из ярких солнечных дней непальские хозяева повезли нас за город. На горе, возвышавшейся над рисовыми полями и покрытой лесом, расположено нечто среднее между заповедником и обычным пригородным парком. В глубине леса — небольшой дом, что-то вроде загородной дачи, как говорят, любимое место пикников непальского вышесреднего начальства. Рядом с домом бродят два-три полуручных оленя, выпрашивая подачку, а если нужно, то и поощряя даятеля рогами и копытами. Меня они не тронули. Но на обратном пути в город со мной приключилась неприятность. Надо сказать, что вообще, куда бы я ни поехал, мне везет на конфузы. Особенно почему-то они связаны с животными. В Казахстане на меня в присутствии двух очаровательных девушек плюнул верблюд. В Гане во дворе гостиницы меня побила какая-то ручная, почти человекообразная обезьяна. В Индии друзья преподнесли мне почетный подарок — змею. Правда, оказалось, что она неядовитая, но я уже перепугался до икоты. А на этот раз на меня напал павлин. Мы

остановились на минутку, чтобы полюбоваться его распущенным хвостом. Вообще-то павлины в Непале и в Индии не редкость. Но этот был особенно красивый. Правда, как выяснилось, и особенно драчливый. Стоило мне присесть на корточки и приспособить киноаппарат, как мерзкий петух захлопал куцыми крыльями, взорлил и клюнул меня в темя, как царя Додона. Попутно он когтистой лапой порвал на мне рубашку. Я никогда раньше не воевал с павлинами и позорно отступил. Мы поспешно скрылись в машине, она сдвинулась с места, но расходившийся нахал еще полсотни метров бежал за нею, норовя клюнуть заднее колесо.

На следующий день мы должны были вылететь в Дели. Но погода внесла в наши планы свои коррективы. На долину Катманду обрушился давно ожидавшийся муссон. Пропитанные десятками и сотнями тонн океанских испарений тучи, как объевшиеся динозавры, переползали через цепи гор, отделяющих долину от Гангской равнины, и, уткнувшись в главный Гималайский хребет, разрешались чудовищным ливнем. Муссонный дождь — это вам не осенний мелкий дождичек и даже не гроза в начале мая. Это сплошной поток воды, в котором отдельные струи неразличимы. Попытавшись в первый и последний раз высунуться на улицу, я, несмотря на комбинированную защиту плаща и зонта, почувствовал себя утопающим. Возник парадокс — на высочайших горах мира мы оказались, как Садко, в плену Царя Морского и Царицы-Водяницы. В такую погоду сесть на аэродром Гочар, воздушные ворота непальской столицы, или взлететь с него — цирковой трюк. Вокруг горы, даже малейшая неточность может обойтись дорого. И вообще полет через горные проходы, заполненные плотной кашей туч, почти равносилен самоубийству. Все самолеты, обслуживавшие линию Дели — Катманду, непальские и индийские, безнадежно завязли на конечных пунктах. Расписание полетов рухнуло. Его стыки с расписанием других авиалиний, в том числе Дели — Москва, расползлись, образуя зияющие пропасти непредвиденных задержек. И поэтому, когда судьба и погода, наконец, улыбнулись нам, стало ясно, что впереди не безмятежный путь домой в Москву, а томительная неделя в Дели, где муссон еще не начинался, где гуляли песчаные бури, и температура в тени доходила до 50 градусов Цельсия. И уже через день, совершенно ошалев от жары, с которой не справлялись даже аэрокондиционеры делийского отеля «Джанпатх», мы и сами не верили, что совсем недавно находились на расстоянии одного дня пешего пути от вечных снегов.

* * *

Еще после первой поездки в Непал я познакомился со многими непальцами — студентами московских вузов. Некоторые из них стали моими хорошими друзьями. Меня обычно не забывали в те торжественные дни, когда на кухне общежития МГУ готовился настоящий непальский кари — кушанье из риса и курицы, удивительно удачно сочетающееся со «Столичной». Студенты-непальцы, в чью среду я попал, оказались отличными ребятами. Все ли непальцы таковы или мне просто повезло — не знаю. Как бы то ни было, они олицетворяют для меня лучшие качества непальской нации — дружелюбие, честность, веселое, лишенное на-

мека на чванство достоинство. Они были благодарны советским людям за гостеприимство, за возможность учиться. Они привыкли к нашей стране, полюбили ее. Но настоящий непалец не станет рекламировать ни своей благодарности, ни своей привязанности. Он не станет выливать на собеседника потоков неумеренного восхищения всем, что увидел в Советском Союзе. О том, что ему понравилось, он скажет со сдержанной гордостью за друзей, о том, что не понравилось, — с прямотой и откровенностью. Ни разу ни один из моих непальских друзей не унизился до льстивой лжи.

Когда настало время уезжать из Москвы, прощаться с городом, который, я знаю, стал им очень дорог, вчерашние студенты, а теперь уже молодые непальские специалисты, не говорили торжественных слов, не клялись в вечной дружбе. Они были, как всегда, сдержанны, и лишь один из них, Мадхав Шарма, выходя из подъезда моего дома, как бы между прочим обронил, что будет тосковать по городу своих студенческих дней. Но тут же прервал себя на полуслове и добавил только: «Приезжай в Непал. Рады будем тебя увидеть».

И вот мы сидим в номере непальской гостиницы. Выпускник геологического факультета МГУ превратился в солидного преподавателя одного из учебных заведений Катманду — колледжа Тричандра, но я на правах старого знакомого называю его по-московски — Мишей. Миша — видный, красивый парень с четко выраженными «арийскими» чертами. Его предки, чистокровные брахманы, наследственные индуистские жрецы, несколько веков назад пришли в Непал из Индии, спасаясь от мусульманских завоевателей, и поселились в Лумбини — на родине Будды. В поведении веселого и общительного Миши вряд ли осталось что-либо от суровой торжественности древних религиозных ритуалов. Сам он о своем происхождении если и вспоминает, то редко. Но я с простительным востоковедческим романтизмом всегда стремился найти в Мишином облике что-нибудь этакое вековое, ведическое.

Миша пришел не один. Рядом с ним сидит другой непальский москвич — Ниламбар Шарма. Нил окончил факультет журналистики МГУ. Он эрудирован, остроумен. Всегда настроен чуть-чуть саркастически. Не любит положительных литературных героев, утверждает, что они всегда скучны. Сам не чужд писательству. Один из его рассказов был опубликован в 1966 году в московском журнале «Ровесник». Написал его Нил по-русски, но даже самые привередливые стилисты в редакции так и не смогли в нем ни к чему придраться. Непальцы вообще в большинстве своем удивительно способны к языкам. Когда в Москве Миша Шарма, проживший к тому времени в нашей стране всего три года, звонил мне по телефо-

ну на работу, то сослуживцы не признавали в нем иностранца. Только однажды кто-то из них сказал, передавая телефонную трубку: «Тебя какой-то грузин спрашивает». К концу своего пяти-шестилетнего пребывания в нашей стране непальцы, как правило, владеют русским языком совершенно свободно. Но и среди них Нил выделяется. Его русский язык безукоризнен. Вдобавок Нил обладает редким даром устного перевода. Иногда думают, что устному переводчику нужно одно — хорошо знать иностранный язык. Это, конечно, неверно. Уверенное владение языком — условие обязательное, но далеко не единственное и не главное. Я знал людей, блестяще говоривших по-английски или по-французски, но совершенно беспомощных в переводе. Устный, а тем более синхронный, перевод требует быстроты реакции, находчивости, знания предмета, о котором идет речь. И еще нужно иметь немного, если хотите, веселого нахальства, которое позволило бы не теряться в сложной ситуации. Нил Шарма — переводчик, как говорится, божьею милостью. Я видел и слышал его переводившим лекции и беседы государственных деятелей, выступления поэтов и дискуссии ученых. Нил переводит просто и элегантно, не поддаваясь искушению дословного копирования, не допуская неточностей, передавая не только смысл, но и интонацию речи. Таких переводчиков немного и в аппарате ООН.

Сейчас Нил — главный переводчик нашей группы, делегации Советского комитета защиты мира, возглавляемой Б. Г. Гафуровым. Наша программа до предела заполнена митингами, встречами, беседами. Нил и Миша все время с нами — внимательные, заботливые, делающие все возможное для того, чтобы помочь нашим хозяевам из непальского Совета мира сделать нашу поездку как можно полезнее, интереснее, приятнее для нас. А по вечерам мы собираемся в моем номере и сидим до поздней ночи, вспоминая Москву и общих друзей. Днем, если выпадает редкий свободный час, мы бродим по уже знакомым мне с прошлых поездок улицам. Я стараюсь уловить, какие изменения произошли в облике города. Их немного. Чуть больше стало автомашин на центральных улицах, кое-где построено еще несколько зданий европейского типа. Но неизменными остались бесчисленные храмы, все та же пестрая толпа заполняет улицы, и по-прежнему к советскому посольству черная «Чайка» пробирается по узкому — двум «Москвичам» не разъехаться — проходу между старыми каменными стенами.

В самом центре города, у ворот старого дворца с прежней важностью восседает на постаменте статуя Ханумана — обезьяньего бога. Лицо его закрыто каменной маской, дабы не устрашать прохожих. Говорят, что заглянувший под маску умрет от ужаса.

Вот отель, где я останавливался в 1963 году. Он тоже не изменился, по крайней мере внешне, по-прежнему, наверное, в нем сыро, неуютно и сумрачно. На этот раз мы остановились не в нем, а в гостинице «Аннапурна» — маленькой, но современной и баснословно дорогой. Она построена для богатых туристов и успешно конкурирует со старым, переделанным из королевского дворца отелем, который принадлежит мистеру Бо́рису — русскому еврею-выкресту, учившемуся в кадетском корпусе и женатому на голландской балерине — одному из

немногих европейцев-недипломатов, постоянно живущих в Непале. Никакой особой роскоши, бассейнов или зимних садов в «Аннапурне» нет. Это нормальная скромная европейская или американская гостиница. Чисто, уютно, необходимый минимум удобств. Но по сравнению с окружающими ее жилищами непальцев — не считая, конечно, расположенного поблизости королевского дворца — этот островок немудрящего современного комфорта кажется сказкой. Для того чтобы условия жизни, нормальные для европейца или американца, перестали бы выглядеть роскошью в Непале, нужно буквально совершить чудо. Пока до этого чуда далеко. Непал — одна из самых бедных стран мира, по существу еще не начавшая экономического развития в современном значении этого слова. Перед ним — сонм проблем, общих для всех развивающихся стран. Национальная производительность труда ничтожна. Для того чтобы поэысить ее, нужны капиталовложения, а средства для этих вложений взять неоткуда. Даже самые скромные накопления невозможно производительно реализовать в стране — простейшие орудия, не говоря уже о машинах и механизмах, приходится ввозить из-за рубежа, а иностранной валюты, конечно, не хватает. Сельское хозяйство чудовищно непродуктивно. Чтобы поднять его, нужно освободить крестьянина от феодальной эксплуатации, дать ему качественный посевной материал, удобрения, научить современным методам ведения хозяйства. Все эти и многие другие проблемы надо решать одновременно и быстро. А тут еще особые, чисто непальские трудности. Например, транспортные. Различные районы страны не связаны друг с другом. Вот и получается, что один район экспортирует рис в Индию, а другой — соседний, но отрезанный от первого непроходимыми горами, — из той же Индии его импортирует. Много забот причиняет географическое расположение страны. Ведь Непал «зажат в сандвич» между Китаем и Индией. В этих условиях самые обычные экономические шаги — например, строительство дороги — могут вызвать сложные политические последствия.

Словом, дел у непальцев много, а трудностей еще больше. Пожалуй, одна из самых больших — нехватка кадров. Нужны люди, способные сдвинуть с места, вытащить из трясины средневековья непальское общество. Нужны знающие социологи, экономисты, геологи, строители, педагоги. В самом Непале квалифицированного специалиста пока подготовить практически невозможно. Сегодняшним непальцам, как русским петровских времен, приходится за наукой ехать за рубеж — в Англию, США, ФРГ, социалистические страны. Пожалуй, только приехав в третий раз в Непал, я окончательно осознал, какое важное дело для своей страны делали в Москве Миша Шарма и его товарищи.

Через день или два после нашего приезда все непальцы — выпускники советских вузов — к тому времени их было в Катманду человек тридцать пять—сорок — собрались в помещении Ассоциации непальско-советской дружбы на встречу с нашей делегацией. Они сказали, что хотели бы отчитаться перед советскими друзьями, показать, что их недаром учили советские преподаватели, что они с пользой применяют полученные знания. Бывшие студенты вставали один за другим и с понятной гордостью говорили

о том, что делают для своей страны, как строят дороги, ищут залежи полезных ископаемых, преподают в учебных заведениях.

В небольшом зале Ассоциации тесно и шумно. От импровизированной «официальной» вступительной части не осталось и следа, все разбились на группки, недавние студенты-непальцы окружили советских делегатов. Разговор идет отрывочный, недоговоренными фразами — так говорят только люди, хорошо понимающие друг друга. В одной из групп замечаю знакомое лицо. Конечно, Мина Ачарья. Этой маленькой, на редкость милой и на редкость ворчливой девушки я всегда немного побаивался. Впрочем, ее побаивались и преподаватели экономического факультета МГУ. Еще будучи студенткой второго курса, Мина отыскала и исправила ошибку в книге молодого, но уже приобретшего известность доцента, который сейчас уже стал доктором наук, но до сих пор помнит об этом конфузе. Мина работает в Национальном банке Непала и стала, пожалуй, еще милее и еще сварливее, чем прежде.

К нам подходит с бокалом вина Субарна Тхапа — бывший председатель непальского землячества в СССР, которого московские девушки звали Сашей. Саша прилетел на том же самолете, что и наша делегация. Спрашиваем: что собираешься делать? Будешь ли отдыхать? Оказывается, Саше не до отдыха. Он получил в Москве дефицитнейшую для Непала профессию инженера-автомеханика и чуть ли не с завтрашнего дня уже выходит на работу.

Вечер закончился пением русских песен. Как это обычно бывает, русские знали один-два куплета из каждой. Непальцы охотно подсказывали нам остальные.

Через несколько дней наша делегация была принята премьер-министром Непала г-ном Сурья Бахадуром Тхапой. Нас пригласили в Синха-Дарбар — «Львиный дворец» — главное административное здание непальского правительства. Синха-Дарбар по непальским масштабам огромен, в нем больше полутора тысяч залов, комнат и других помещений. Это здание было построено сравнительно недавно, в 1930 году, как резиденция премьер-министра Раны и представляет собой образчик того английского колониального стиля, который Раны, бывшие, по существу, ставленниками англичан, считали, по-видимому, верхом вкуса и благородства. Во всяком случае, многие их дворцы построены именно в этой эклектической манере. Фасад Синха-Дарбара массивен, тяжел, основательно, по-английски, увесист. Но за этим фасадом — внутренний двор, обязательный почти для всех непальских жилищ. И во внутреннем убранстве здания европейские и национальные непальские элементы причудливо перемешаны.

Перед Синха-Дарбаром большой декоративный водоем. Его отделяет от здания довольно просторная открытая площадка. Сопровождающие нас непальцы смеются: «Сегодня тут никому ничего не грозит. А во времена нашего детства, когда премьер-министр Рана появлялся на балконе — называлось это пышно — «даровать появление», — все, кто стоял перед дворцом, обязаны были опустить головы. Тем, кто мешкал, солдаты помогали ударами палок». Сейчас площадь перед дворцом пустынна. Изредка проедет правительственная автомашина или пробежит опаздывающий куда-то мелкий чиновник. Мы вошли в здание,

пересекли внутренний двор и поднялись в помещение, занимаемое сейчас премьер-министром королевского правительства. В небольшой, скромно обставленной гостиной нас ждал секретарь. Через минуту появился и сам г-н Тхапа. Началась беседа, сначала немного официальная и суховатая, затем все более и более оживленная. Речь зашла о связях между нашими странами. Прошло всего немногим больше десяти лет со дня установления дипломатических отношений, а уже сложились традиции хорошей дружбы. И появились реальные плоды сотрудничества. С помощью Советского Союза в Непале построены сахарный завод, сигаретная фабрика и гидроэлектростанция, строится завод сельскохозяйственных орудий. Конечно, им далеко до Братской ГЭС или Уралмаша. Но для Непала их важность огромна — ведь основы национальной промышленности приходится закладывать практически на пустом месте.

Время нашего пребывания в Катманду было буквально расписано по минутам, но мы не могли отказать себе в удовольствии хоть ненадолго заехать в Бхадгаон — небольшой город, расположенный неподалеку от непальской столицы. Когда-то Бхадгаон, называвшийся тогда Бхактапуром, как и его собрат Патан, был центром отдельного княжества. Слава Бхактапура в прошлом, и сейчас им интересуются главным образом туристы, приезжающие познакомиться с его архитектурой. Одна из достопримечательностей Бхадгаона — пятиярусная пагода Ниатапола. Говорят, что пагоды впервые появились именно здесь, в Непале. Их широкие, выступающие далеко за пределы здания крыши — хорошая защита от ливневых муссонных дождей. По обеим сторонам лестницы, поднимающейся к верхним этажам храма Ниатапола, стоят парные каменные скульптуры. Внизу два богатыря, над ними слоны, львы, грифоны и, наконец, две богини. Легенда говорит, что богатырь в десять раз сильнее человека, слон в десять раз сильнее богатыря, грифон в десять раз сильнее слона и так далее. Таким образом, богини обладают непостижимым могуществом. Еще недавно вряд ли кому-нибудь из непальцев приходило в голову сравнивать с чем-либо этакую мощь. Во всяком случае, мне вся эта сверхъестественная арифметика внушила должное почтение. И вдруг я услышал, как кто-то из сопровождавших нас непальцев начал бормотать вполголоса: «Десять в пятой степени — сто тысяч, умножим на два — двести тысяч, а нас в Непале десять миллионов, значит...» Конца рассуждения я не расслышал. Но думать, а тем более вслух говорить так решаются, конечно, не многие. Власть религии в Непале еще даже не поколеблена. Живое, не желающее уходить в историю невежество, больше того — мракобесие смотрит здесь из-за каждого угла. Нам пришлось убедиться в этом во время одного из индуистских праздников. С утра по улицам Патана потоки народа стали стекаться в традиционный центр этого праздника, занимающий несколько кварталов. Машина не могла пробиться сквозь толпу людей, заполнивших узкие проходы между храмами, и нам пришлось с полкилометра пробираться до главного храма пешком. Со всех сторон раздавались смех, песни, выкрики витийствующих нищих, бродячих актеров. Многочисленные лоточники, а также, по-видимому, карманники снима-

ли богатую жатву с тысячеголовой человеческой нивы. Мы прижались к полуразвалившейся стенке какой-то часовни и не видели ничего, кроме движущегося потока людей. Потом кому-то из нас пришло, наконец, в голову забраться на эту стенку. Его примеру последовали остальные. И как раз вовремя. Мы смогли увидеть кульминацию праздника — омовение в водах храмового пруда. Люди окружили пруд так плотно, что временами воды не было видно. Такой плотности купающихся не бывает и в разгар лета на ялтинском пляже. Но к их услугам не бескрайнее море, а маленькая, зажатая каменными плитами ванна, в которой пенится желтая жидкость, очень скоро ни цветом, ни густотой уже не напоминающая воду.

От удушливого запаха благовоний, смешанного с человеческими испарениями, шла кругом голова. Мы с трудом выбрались из толпы, а навстречу шли и шли верующие. Шли для того, чтобы с надеждой и трепетом погрузиться в зловонную, кишащую всеми болезнями клоаку.

Я посмотрел на сопровождавших нас молодых непальцев. Им тоже было не по себе. Кто-кто, а они отлично понимали, как страшно то, что прошло перед нашими глазами. Они не могут забыть об этом, как забудет завтра европейский турист, сегодня изводящий на экзотическую сцену метры фотопленки. Здесь их страна, их народ, и кто знает, какой труд, какие лишения и жертвы потребуются от них для того, чтобы такие картины остались бы только в фотоархивах.

Кстати, некоторые комнатные романтики нередко жалуются на неумолимую поступь современной цивилизации. Дескать, гибнет экзотика, умирает живое средневековье! Тем, кто говорит так, я бы советовал почаще читать «Янки при дворе короля Артура», а еще лучше — пожить две-три недели жизнью рядового непальца. Средневековья не надо уничтожать. Но место ему в музеях. Пусть в городах-музеях. Однако в них люди должны быть посетителями, а не обитателями.

* * *

Прошло несколько дней, и мы собрались улетать. На прощанье мы еще раз прошли по улицам Катманду. Затем под колесами автомашины промелькнула знакомая дорога на аэродром, а еще через час-полтора самолет вырвался на простор Гангской равнины, и Непал остался позади.

Общеизвестно, что гость Москвы не может покинуть ее без матрешки. Из Непала нельзя уехать без кукри. Три кукри лежат передо мною, и я бы очень хотел, чтобы к ним прибавился четвертый.

Владимир СТЕЦЕНКО

●

ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ КАПИТАНА УИЛЛИСА

(Репортаж после кораблекрушения)

Если я безумец, то и вы безумцы. Но это не безумие, это мечта, требующая своего воплощения. Мы в этом мире все мечтали, но лишь немногим смельчакам дано осуществить свои мечты или погибнуть при этой попытке.

Уильям Уиллис,
«Возраст не помеха»

Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни — она слишком драгоценна для этого, не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины, хотел жить со спартанской простотой...

Генри Дэвид Торо,
«Уолден, или Жизнь в лесу»

Мореплаватель, испытывающий глубины духовных и физических возможностей человека, он принадлежал к числу тех людей, чей пример будоражит кровь и воображение юношей, стоящих на пороге самостоятельных решений, обостряя в них волю к дерзким свершениям, а зрелых людей заставляет задуматься над итогом прожитой жизни. Чтобы круто повернуть ее, если поймешь, что она ведет в тупик будничного существования, подчиненная удовлетворению примитивных потребностей организма, а не служению мечте, велениям духа, который возвышает человека над миром животных и растений и дает ему истинную свободу.

Уильям Уиллис всем опытом своей жизни, подытоженным в его книгах, убеждает нас, что нет таких препятствий, которые не мог бы преодолеть человек, смело идущий к осуществлению своей мечты. Его не мог остановить даже преклонный возраст, выпускающий на человека свору болезней, пожирающих его плоть и волю.

Дважды — в шестьдесят и семьдесят лет — он пускается на плоту в одиночное плавание через безграничные просторы Тихого океана, а в семьдесят пять — бросает вызов Атлантике.

Вызов возрасту и океанам! Разве это не достойные Человека противники?!

«Далекий путь! Далекий путь! Но какова его цель? Для чего я построил этот плот и плыву все дальше и дальше в глубь Тихого океана, в тех его просторах, где редко проходят корабли?

Это не прихоть и не простое приключение. Я не хочу доказать какую-либо научную теорию или открыть новый путь, чтобы по нему шли другие. Я хочу доказать этим путешествием, что всю свою жизнь шел по правильному пути.

Я пришел в мир с крепкой верой в природу и всегда был убежден, что если стану вести деятельную и простую жизнь сообразно ее законам, то смогу еще больше к ней приблизиться и почерпнуть у нее силы. Для меня это была дорога к счастью; с самого детства я шел по ней, и прожитые мною долгие годы доказали мне, что я избрал вер-

ный путь. И теперь, пока я еще полон духовных и физических сил, мне хочется подвергнуть себя суровому испытанию, какому должен, по-моему, подвергать себя каждый человек. Сейчас я испытываю себя бесконечным трудом, отсутствием сна и простой, скудной пищей; я отдаю себя на волю стихий, которые мне милы; далее я испытываю себя ужасным одиночеством и, как солдат в бою, непрестанной смертельной опасностью. Эта мысль также вдохновляет меня: возможно, мой опыт когда-нибудь пригодится потерпевшим кораблекрушение.

Я всегда стремился вести энергичный образ жизни. С детства я был подготовлен к испытаниям, с какими встретился в плавании на плоту. Много раз я пересекал континент... Мне приходилось трудиться на всех политых потом границах Америки, от Аляски до Мексики, от Калифорнии до Атлантического побережья. Я работал обнаженный до пояса, с лопатой или топором в руках, рубил гигантские деревья в лесах северо-запада, нагружал тысячи кораблей, убирал урожай с бескрайних полей от Канзаса до Дакоты и строил буровые вышки, когда в Техасе разразилась нефтяная лихорадка... Написано: «В поте лица своего». Так было начертано и в моей душе.

Я шел по пути, который сам для себя избрал. Нередко, когда я занимался литературой, живописью или предавался мечтаниям, во мне рождался страх: мне казалось, что, оставив физический труд, я могу утратить телесные и особенно умственные силы и оторваться от общения с природой, в котором состояло мое счастье. Как только этот страх овладевал мною, я снова возвращался к физическому труду...»

Так писал в 1954 году Уиллис, отправляясь на бальсовом плоту «Семь сестричек» в свое первое одиночное плавание [1].

Он прошел 6700 миль от суровых берегов Перу до обожженных солнцем песков Самоа, совершив то, чего не удавалось до него ни одному человеку.

Но мысль о новом, еще более дерзком плавании не покидала его.

«Того, кто хоть раз отправлялся один в плавание по морю, всегда будет одолевать желание еще раз испытать это чувство умиротворения. Но одного желания мало. Это состояние покоя надо выстрадать, каждый день, каждую минуту преодолевая тоску по себе подобным и прежде всего по близким — отцу, матери, жене, ребенку... Узы крови связывают человека во времени и пространстве, разрывая их, он испытывает мучительную боль и чувствует себя совершенно беззащитным. В конце концов, если у него сильная воля, он проникнется торжественностью молчания и взглянет на себя со стороны. Если он при этом испугается своего ничтожества, если позовет на помощь, то будет вопить, пока не сойдет с ума. Значит, испытание оказалось ему не под силу» [1].

И снова с какой-то свирепой, недоступной большинству из нас радостью принимает он вызов морских течений, волн и штормов, никогда не умолкавших в его душе, направляясь в Австралию, лежащую на другом краю Тихого океана, в 12 тысячах морских миль от перуанского порта Кальяо.

И словно отвечая людям, которые считали его сумасшедшим, а его предприятие обреченным на верную гибель, он назвал новый плот — «Возраст не помеха».

Во время этого второго плавания в 1963 году, пройдя за 130 дней от берегов Перу до Западного Самоа 7500 морских миль, Уиллис был вынужден — чтобы поправить рули — пристать к берегу.

---

[1] «На плоту через океан». Детгиз, 1959.

[1] Здесь и далее текст Уиллиса цитируется по книге «Возраст не помеха», которая выпущена в свет ленинградским издательством «Гидрометеоиздат».

Врачи, осмотревшие Уиллиса, нашли у него двустороннюю грыжу, ущемление которой грозило мореплавателю смертью, если приступ застанет его одного в океане.

Ему рекомендовали сделать операцию. Уиллис ответил, что намерен отправиться дальше.

«— Зачем?

— Чтобы довести дело до конца.

— А вам не кажется, что вы уже сделали достаточно?

— Я получил рейсовое задание идти в Австралию, и плот должен туда прийти».

Он никогда не шел на уступки, не отступался от намеченного, потому что изменить мечте значило для него — обесценить всю жизнь.

«Это моя борьба, — убеждал он жену, — один я выстою. Если плот не развалится, я приведу его в Австралию».

И он победил!

О своих плаваниях Уиллис рассказал в книгах «На плоту через океан» и «Возраст не помеха». В них столько энергии, страсти и душевного здоровья, что кажется, будто они написаны тридцатилетним.

Старость, болезни пытались сокрушить его, а он своим непоколебимым упорством в достижении цели возвращал себе молодость.

«Очень часто, стоя у штурвала, — пишет Уиллис, — я вспоминал стариков в южной Калифорнии, на южном берегу Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк или Флорида. Опустив голову, ссутулившись, они бесцельно бредут к своему концу. Я говорил со многими из них, надеясь, что они прислушаются к моим советам... Здесь, в этом беспредельном одиночестве, где мир людей теряет свое значение, человек не может не думать о своем конце. Великая трагедия жизни, по-моему, в том, что человек стареет разумом. Наши предки понимали это. Они рано обнаружили, что не может оставаться молодым разум, если тело преждевременно стареет, и, чтобы помешать этому, создали целые системы оздоровления. Но 70 лет — это 70 лет. Сколько я еще собираюсь прожить на свете? 10, 20, 30 лет? Так мало и вместе так много, ведь в каждой секунде — частица вечности.

Но человек живет, пока он испытывает спокойный экстаз творчества, пока он что-то созидает в меру своего темперамента и способностей. При этом преимущества, конечно, на стороне тех, кто что-то умеет делать руками, ибо руки даны человеку для того, чтобы приносить ему ощущение счастья».

Едва закончив книгу «Возраст не помеха», Уиллис заторопился в новое плавание. «Я еще полон энергии и желания помериться силами с океаном. Теперь это будет Атлантика», — писал он в 1966 году своему советскому корреспонденту океанографу В. Войтову.

Весной 1968 года старый моряк пошел через океан — из Нью-Йорка в Плимут — один на маленькой лодке и погиб вблизи берегов Ирландии, когда лишь сотни миль отделяли его от цели. Сомнений в его гибели не оставалось после того, как латвийские рыбаки выловили в штормовом море его полузатонувшую яхту, а рефрижератор «Янтарный», возвращавшийся с промысла, доставил обломки яхты Уиллиса в Калининград.

Собираясь в дорогу, я испытывал невольное волнение. Ведь встречи с выдающимися людьми, с реликвиями их дел являются также и мерилом емкости твоей души, твоего ума, твоей человеческой значимости. Я знаю, многие избегают таких встреч только из боязни обнаружить — перед собой и перед другими —

свою смутно ощущаемую в обыденной жизни неполноценность.

Смогу ли я по обломкам кораблекрушения разгадать трагедию, разыгравшуюся в океане? Я тороплюсь в порт. Тороплюсь, словно все еще надеюсь встретить там старого моряка, который улыбнется и скажет:

«Ну вот. И на этот раз обошлось. А газеты?.. Газеты не раз уже меня хоронили. Но я живучий старик и мне — возраст не помеха».

Каюта капитана «Янтарного» — точно КП во время боя. С докладами приходят штурманы, механики, снуют снабженцы, капитан-наставник требует сыграть зарал, чтобы проверить готовность экипажа к отходу. И я начинаю сомневаться, что узнаю в этой суете, от этих усталых людей, занятых неотложными делами, больше, чем из вчерашних газет.

Но вот Юрий Семенович Маточкин передал, наконец, дела своему сменщику, капитану Демонину (завтра судно уйдет на промысел в Норвежское море), и мы остаемся на какое-то время одни.

На штурманский стол ложится морская карта северо-восточной части Атлантического океана с отметкой в районе 54°55′ северной широты и 19°15′ западной долготы (здесь в 240 милях от скалы Рокол и в 312 милях от Ирландии СРТ 4486 обнаружил яхту Уиллиса); судовые журналы «Янтарного», радиограммы, фотокопии документов Уиллиса — паспорт, астрономический морской ежегодник, бортовой журнал с его записями.

И постепенно приоткрывается картина последнего плавания капитана Уиллиса.

Радиограмма, принятая 2 августа 1968 года дизель-электроходом «Янтарный». Запись в судовом журнале:

«Уильям Уиллис на борту шлюпа «Малышка» отправился 1 мая из гавани Монтаук (Лонг-Айленд, Нью-Йорк) в Плимут (Англия); судно имеет $11\frac{1}{2}$ футов в длину; одна мачта; главный парус с большим красным сердцем в верхней части и кливер; корпус — белый, с обрезанным носом, верх рубки желтый; желтый верхний свет виден ночью, рации нет, предполагает пробыть в пути 75 дней, со времени отплытия сообщений не поступало, просим усилить наблюдение, если возможно, оказать помощь и обо всем замеченном извещать береговую службу Нью-Йорка».

Прошло три месяца со дня отплытия Уиллиса, прошли все сроки ожидания, и береговая охрана США послала в эфир сигнал, означающий, что судно Уиллиса «считается пропавшим без вести».

Для тех, кто знал одиночные плавания Уиллиса по его книгам, еще не было серьезных оснований для тревоги: от него и во время плаваний на плотах «Семь сестричек» и «Возраст не помеха» месяцами не поступало известий. По странной случайности передатчик Уиллиса неизбежно в первые же дни плавания выходил из строя, и, собираясь в Атлантику, он вообще отказался от передатчика.

Но шли недели, и ни одно из тысячи судов, ежедневно бороздивших трансатлантический перекресток, где, по всем расчетам, должен был находиться Уиллис, ни одно судно не смогло обнаружить яхту, описанную в радиограмме.

17 сентября с наполненными рыбой трюмами рефрижератор

«Янтарный» взял курс на Калининград.

— Погода была свежая, сильно штормило, — рассказывает Юрий Семенович Маточкин, листая бортовой журнал радистов, — а мы к тому же вели на буксире СРТ 4268, у которого в районе промысла — на Джорджес-Банк — вышел из строя дизель. Люди были измучены долгим переходом, дополнительными вахтами — приходилось вести усиленное наблюдение за буксиром.

Траулер метался, как загарпуненный кит. Он то взлетал высоко на гребне волны (и тогда звенел готовый лопнуть, натянутый, как струна, буксирный трос), то надолго проваливался, исчезал в морской пучине.

— Появится — перекрестишься, а лучше не смотреть, — комментирует помполит Слюняев, присаживаясь к нашему столу. И добавляет: — Трижды на переходе рвался буксирный трос... А там, на траулере, двадцать четыре души маются...

Капитан между тем пододвигает ко мне бортовой журнал.

— Читайте. Радиограмма управления пароходства из Риги: «Янтарный», капитану. Лиепайский СРТ 4486 20 сентября 54°55′ сев. 19°15′ зап. поднял борт полузатонувшую яхту. Срочно примите меры организации связи, встречи и доставки Союз яхты и всех необходимых документов. Перегрузке, перевозке содействуйте, примите все необходимые предосторожности сохранения имущества, исполнение подтвердите. Шинкарев».

А вслед за радиограммой из Риги «Янтарный» получил штормовое извещение. В районе, где находится СРТ 4486, шторм 10—11 баллов. «Янтарный» теперь шел в два раза медленнее, чем обычно: ведь за кормой — неуправляемый траулер с двадцатью четырьмя моряками.

24 сентября на «Янтарном» заметили справа по курсу СРТ 4486.

Траулер, зарываясь в волну, шел на сближение. На «Янтарном» выбросили резиновые кранцы, чтобы смягчить удары о корпус, застопорили ход. Едва успел траулер подойти к правому борту рефрижератора, как на его ускользавшую палубу спустился в металлической сетке боцман «Янтарного» Кошуба. Свободные от вахты матросы высыпали на палубу, облепили надстройку — всякая встреча в океане событие для людей, а ведь сейчас предстояло снять яхту, потерпевшую катастрофу!

И каково же было всеобщее удивление — на грузовом люке траулера лежала крохотная закрытая лодка без мачты и без руля, с сорванным с рубки люком, почти вдвое меньшая, чем спасательные шлюпки, висевшие на талях над бортом траулера!

— «И это из-за нее мы рисковали траулером? Стоило ли?» — услышал я чей-то раздраженный и разочарованный голос, — рассказывает капитан Маточкин. — Я и сам был, по правде говоря, обескуражен. Какую ценность может представлять эта разбитая посудина? Тогда еще никто на корабле не догадывался, что лиепайские рыбаки выловили в океане тот самый шлюп, о котором два месяца назад запрашивала в радиограмме береговая служба Нью-Йорка. Это мы поняли, когда боцман принес проржавевший, обросший ракушками ящик с документами. Я срочно связался по радио с затерявшимся уже среди волн СРТ.

В ящике — голубой американский паспорт: Уильям Уиллис, родился в 1893 году; книги; рекомендательные письма, из которых было видно, что мы приняли на борт яхту знаменитого морехода; потрепанный морской астрономический ежегодник, в котором день за днем перечеркнуты листы с мая вплоть до 20 июля.

В «Лоции южных берегов Англии» — пометки, сделанные рукой путешественника. Уиллис прочертил на ней и предполагаемый путь своего судна от Нью-Йорка до Плимута.

Письма! Может, они помогут приоткрыть тайну трагедии? Может, в них Уиллис указывает причины и координаты катастрофы и сообщает, что, оставив «Малышку» добычей волны, он ушел по течению на спасательном плотике... Может, его нужно искать? Быть может, знаменитый капитан еще жив?

Но нет! Они написаны очень давно, эти письма, еще в мае — июне. Письма к капитанам встречных судов, к жене, мистеру Каррену, председателю Национального союза моряков США, и к парусному мастеру Валентину. Пройдя около 800 миль (41° северной широты, 51° западной долготы), Уиллис написал их, надеясь передать капитану первого же встречного судна.

«Я потерял много провизии, когда мое судно встретилось со штормом. Прошу оказать мне помощь продовольствием и водой, а также сообщить жене, что я жив».

Это письмо датировано 6 июня.

Он не просил подобрать его вместе с яхтой. Он хотел, получив продовольствие, продолжить плавание. Он был уверен, что победит океан и, сойдя на берег, напишет новую книгу: «Самый старый человек в самой маленькой лодке».

В бортовом журнале Уиллиса короткие, наспех сделанные шариковой ручкой записи, определения долготы и широты, прокладки курса. А вот и последняя полная запись координат, взятых 17 июля: 26° западной долготы, 53°50′ северной широты. Страницы слиплись, пожелтели от морской воды.

На основании документов и писем Уиллиса, его записей в бортовом журнале, пытаясь вместе с моряками «Янтарного» воссоздать картину этого плавания, капитан В. Шагубатов проложил на карте курс яхты «Малышка».

На прилагаемой во вкладке карте сплошной линией показан маршрут, восстановленный по определениям места яхты, выполненным Уиллисом в указанные им даты. Пунктиром показан предполагаемый путь с 26 июня по 15 июля. Достоверных записей в журнале расчетов за эти дни нет. Волнистой линией показан дрейф с 17.07 по 20.09.

«Зигзагообразный характер пути, — комментирует капитан дальнего плавания В. Шагубатов, — можно объяснить следующим. Особенности парусного вооружения и рулевого устройства не позволяли яхтсмену в условиях океана достаточно точно удерживать движение яхты по намеченному курсу. Этим же можно объяснить и то, что путь фактически располагался в направлении к средней части о-ва Ирландия, а не к Плимуту, куда было намечено плавание. Определения места яхты выполнялись астрономическими способами не ежедневно, так как в это время года в районе плавания часты продолжительные туманы и пасмурное небо. Анализ

расчетов Уиллиса показывает, что определение места делалось по Солнцу путем измерения высот светила до и после полудня, а также меридиональной высоты. Расчет счислимых высоты и азимута проводился по таблицам Н. О. № 214 с использованием перемещенного места. Для этих целей яхтсмен должен был иметь секстант, хронометр, радиоприемник (для приема сигналов точного времени), карту и таблицы. Однако все это на яхте не обнаружено — вероятно, утрачено в последние дни перед гибелью яхтсмена. Это предположение основано на том, что систематические записи и расчеты с использованием указанных приборов и пособий проводились Уиллисом до 17 июля, а в астрономическом ежегоднике последней перечеркнута дата 20 июля. Таким образом, можно сделать вывод, что с 18 июля по 20 июля Уиллис не предпринимал попыток определить место или из-за отсутствия необходимых средств, или из-за болезни.

Хочется сказать, что столь маленькая яхта на океанской волне представляет не лучшую площадку для астрономических наблюдений, этим можно объяснить и некоторое снижение точности обсерваций Уиллиса.

Средняя скорость яхты колебалась около 2 узлов, однако иногда снижалась до 0,7 — 0,8 узла. Таким образом, скорость яхты была соизмерима со скоростью струи Северо-Атлантического течения, достигающей величины 0,2—0,4 узла.

Погодные условия должны были благоприятствовать путешественнику: так, в это время года ветры имеют преимущественно южное, юго-западное и западное направление силой до 5 баллов. Крепкие ветры силой более 7 баллов весьма редки, их вероятность составляет не более 1%, а продолжительность их не более 6 часов. Рассмотрение карт анализа погоды за период плавания яхты показало, что действительно путешественника сопровождали ветры южных направлений силой 4—6 баллов.

Определенный интерес представляет рассмотрение погодных условий в районе плавания яхты в период с 17 по 21 июля, так как в первой половине июля над Северной Атлантикой располагалась область высокого давления со слабыми ветрами.

17 июля ветер юго-восточного направления стал усиливаться и достиг 7 баллов, давление продолжало падать, был обложной дождь. 18, 19 и 20 июля ветер сохранял силу 7 баллов и переходил к юго-западному направлению. 21 июля ветер стих до 5—6 баллов. Особо следует подчеркнуть, что эти данные приводятся по мелкомасштабным картам, дающим обобщенную картину условий на большой акватории, не исключено, что в районе плавания яхты ветер мог достигнуть и большей силы. Однако даже ветер силой 7 баллов в океане может принести немало хлопот такой маленькой яхте, как яхта Уиллиса. Ведь это самая маленькая яхта из тех, на которых кто-либо отваживался пересекать океан.

Состояние рангоута и такелажа яхты после катастрофы говорит о том, что в период плавания яхта попадала в условия, когда ветер достигал штормовой силы — грот разорван, мачта переломилась, вероятно, в двух местах — в районе брюканца (у выхода из палубы) и выше на расстоянии 1 метра. Это предположение основано на том, что передняя шкаторина грота имеет

длину на 1 метр больше длины сохранившейся части мачты. Учитывая, что мачта не могла одновременно переломиться в двух местах, а также обилие обрывков тросов, закрепленных за предметы на верхней палубе яхты, можно с определенной вероятностью допустить, что Уиллис после первой поломки мачты пытался закрепить мачту с помощью растяжек.

Теперь мы с большим сожалением можем сказать, что рулевое устройство, узлы крепления мачты и такелаж не выдержали испытания при встрече со штормом: петли руля обломились и руль был утерян, вантпутенсы также обломились, петли крышки люка сорвались.

Можно себе представить семидесятипятилетнего смельчака в океане на трехметровой яхте без руля, без парусов, без «крыши над головой», без пищи, лишенного возможности сообщить о своем бедствии миру.

Да, ему пришлось хлебнуть лиха, старому капитану, дрейфовавшему на разбитой лодке по воле взбесившихся волн и ветров, уносивших его в сторону от океанских трасс, откуда могла прийти помощь, в пустынные районы Атлантики. После катастрофы — за два месяца — бескрылая и неуправляемая яхта прошла всего около 240 миль, прежде чем ее обнаружили советские рыбаки.

Но этот человек умел находить выход даже из безнадежных положений, которые заставляли других капитулировать. И на этот раз он стоял до конца. Он пытался соорудить из остатков такелажа нечто вроде руля (о чем свидетельствуют зарубки на корме «Малышки»), затянуть подручными средствами (в ход пошли водонепроницаемая одежда, клочки паруса) горловину люка, чтобы хоть немного уберечься от захлестывающих яхту волн, откачивал тонны воды, сшивал паруса, надеясь водрузить их на обломке мачты...

О единоборстве с Атлантическим океаном Уиллис хотел написать книгу. Но так получилось, что на этот раз у него не было времени даже на записи в бортовом журнале — в разгаре сражения никто не станет писать мемуары. Но лодка, его верная истерзанная «Малышка» — Уиллис назвал ее так в честь ждущей на берегу жены Тедди, дошла к людям и рассказала о последнем плавании, о мужестве своего капитана.

Это была третья попытка Уиллиса совершить одиночный переход из Нью-Йорка в Плимут на маленькой яхте.

Помню, когда В. Войтов в статье «Патриарх поднимает перчатку» («Вокруг света» № 12 за 1966 год), посвященной плаванию Уиллиса через Тихий океан на плоту «Возраст не помеха», рассказал о решении знаменитого морехода «померяться силами с Атлантическим океаном», многими это заявление было воспринято с недоверием.

Планы Уиллиса показались бравадой мечтателя, который всю жизнь тщетно пытался заглянуть за убегающий горизонт в стремлении вырваться из пут обыденности, засасывающей человека, желанием, которому не дано осуществиться. Ведь в 1966 году ему уже исполнилось 73 года и предстояла операция двусторонней грыжи, измучившей его во время плавания на плоту к берегам Австралии.

Но у него были свои собственные устоявшиеся представления о возрасте. Он его мерил не десятилетиями, а состоянием своего здоровья.

«Я никогда не ощущал своих лет и, видя, как с годами меняется мир, стареют и начинают болеть люди, никак не мог понять, почему я остаюсь прежним? Может быть, это объясняется моим образом жизни и мыслей? Во всяком случае, я еще ни разу в жизни не испытывал настоящей усталости, которая заставила бы меня подумать, что пора успокоиться, усесться в уютное кресло или ограничиться прогулками вокруг дома. Энергии физической и умственной, жизнелюбия было во мне не меньше, чем в молодые годы», — писал Уиллис, готовясь к первому плаванию через Атлантику.

Уиллис считал, что после 55 лет для мужчины только наступает пора свершений.

Даже жена, участник всех его начинаний, когда Уиллис сказал, что собирается в Атлантику на маленькой яхте, потеряла терпение и спросила: «Когда же жизнь тебя чему-нибудь научит?» — «Чему? — поинтересовался Уиллис. — Быть стариком или вести себя по-стариковски?»

И 22 июня 1966 года он отправился на яхте в Англию из Нью-Йорка. Зная, что сезон, благоприятный для плавания, уже почти прошел, он сказал характерную для него фразу: «Но что поделаешь», означавшую, что никакие препятствия не удержат его на берегу.

Отнюдь не дилетантство забросило его в океан на крошечном деревянном суденышке без современных навигационных приборов и средств радиосвязи. С детских лет приучив себя рассчитывать только на собственные силы, точно взвешивать свои возможности, Уиллис знал, что теперь ему уже не справиться с большим судном.

Мысль о небольшой яхте не раз приходила ему на ум в трудные минуты еще пять лет назад, когда он совершал на плоту беспримерный переход из Перу через Тихий океан к берегам Австралии:

«Куда легче и приятнее плавать на судне с косым парусным вооружением! Там главное — набраться терпения и в кубрике или даже внизу, в каюте, «высидеть» волнение. Поднимать и опускать паруса, брать рифы, рулить, одним словом, почти все, что надо, можно делать, сидя в каюте. Правильно построенное и оснащенное судно нередко идет само по курсу одну, две и даже три тысячи миль».

В соответствии со своими физическими возможностями Уиллис и построил свою яхту.

Его «Малышка» была короче плоскодонной речной лодки, но мощный киль выдавал опытному глазу ее океанскую родословную.

По мнению знатока парусного спорта Вадима Владимировича Чудова, капитана дальнего плавания, длина яхты Уиллиса сделана минимально возможной, так чтобы не снижались основные мореходные качества, необходимые для яхт негоночного класса.

— Уиллис хотел научить людей не бояться одиночества и океана. Девиз его похода на плоту — «Возраст не помеха» — это замечательный призыв к людям вообще и к морякам в особенности.

Мореплавателей часто подстерегают роковые случайности, которые невозможно учесть даже при самой тщательной подготовке на берегу. Мне кажется, Уиллис хотел на своем примере показать, что решающим в схватке разумного человека со слепой стихией являются его духовные, волевые качества, независимо

N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

от того, сколько ему лет и как оснащено судно.

Наибольшая длина яхты Уиллиса — 3 метра 50 сантиметров. Ширина — 162 сантиметра. Форпик и ахтерпик — носовой и кормовой отсеки, где хранилось продовольствие и запасное снаряжение, — отделены переборками от каюты, служившей Уиллису и рубкой, и спальней, и кухней. По длине каюта рассчитана точно для хозяина: 185 сантиметров, но встать во весь рост здесь невозможно: высота от настила до верха рубки — 1 метр 5 сантиметров. Для непотопляемости яхта внутри обшита блоками пенопласта.

«Три тысячи миль». Эта цифра не случайно пришла в голову Уиллиса. Еще не закончив тихоокеанское плавание, он загадывал на годы вперед.

Три тысячи миль — это приблизительное расстояние от Нью-Йорка до Плимута.

Американские моряки времен парусного флота снисходительно называли Атлантику «прудом» за ее сравнительно мирный нрав и «небольшие» расстояния между континентами.

Быть может, это представление об Атлантике, воспринятое Уиллисом еще в детстве (он юнгой обогнул мыс Горн в 15 лет), и помешало ему более основательно подготовить к плаванию яхту. (Так, например, руль «Малышки» не защищен от ударов волны кормовым подзором. Этот конструктивный просчет оказался роковым, когда яхта Уиллиса встретилась со штормами.)

Уиллис придерживался целого ряда правил диеты, которые он сам же выработал для себя за долгие годы морской службы и во время одиночных плаваний, изучив опыт мореплавателей разных времен и народов.

«В плаванье через Атлантику, — пишет американский журналист Кейт Уиллер, — Уиллис взял с собой пшеничную муку, сухое молоко, оливковое масло и мед, а также лимонный сок, который он считал лучшим средством против цинги. Воды он брал минимальное количество, полагая, что, испытывая жажду, человек может обойтись морской водой, а также рассчитывая собрать пресную воду во время дождя». Ничего лишнего Уиллис не взял в дальнее странствие.

Он знал, потерпевшие кораблекрушение гибнут еще и потому, что не верят в возможности, заключенные в человеке, и стараются захватить с собой больше, чем необходимо, чтобы выжить.

Теперь, когда ему перевалило за семьдесят, он живо интересовался состоянием своего здоровья и собирался записывать все показатели своего физического и морального состояния, «чтобы привезти с собой ценные данные не только для людей старшего поколения, но и для тех, кто находился в расцвете сил, прежде всего для молодежи, здоровье которой внушает в последнее время весьма серьезные опасения». Он был врачом и пациентом одновременно. Ежедневно мерил пульс и прослушивал дыхание, записывал кровяное давление и температуру, делал анализы — все результаты были «огорчительно нормальны», кроме проклятой грыжи.

Он испробовал против нее им же изобретенное средство, которое спасло ему жизнь во время плавания на плоту «Возраст не помеха»: вздергивал себя вверх ногами на мачте.

«Время шло, надо было что-нибудь придумать. Но что? Чего я еще не пробовал? Все, что мог, я, по-моему, сделал. И тут меня осенило, — вспоминал Уиллис, как он врачевал себя в Тихом океане. — Я взял канат толщиной полдюйма, пропустил сквозь блок, свисавший со шлюпбалки, вделанной в пол каюты около самой двери, один конец захлестнул вокруг колен, а другой потянул. Постепенно я поднимал нижнюю часть тела, все время прислушиваясь, не усиливается ли боль. В конце концов на палубе остались лежать только мои плечи. Тогда я закрепил канат. Как будто стало немного легче.

Я раскачивался вместе с плотом взад и вперед, пытался повернуться то в одну сторону, то в другую... Я то подтягивал себя, чуть ли не оставаясь стоять на голове, то отпускал, то повисал на одной ноге, стараясь определить, при каком положении боль в животе притупляется

В восемь часов вечера я почувствовал облегчение. Я даже вздремнул в подвешенном состоянии. До живота еще нельзя было дотронуться, но защемленный кусок кишки ушел, по-видимому, внутрь. Только убедившись, что это действительно так, я осторожно опустился на палубу. Долго еще я лежал без движения, не веря, что опасность миновала.

Какой прекрасной мне показалась сразу ночь, каким великолепным море».

Теперь это средство чуть было не привело к беде. «Малышка» была недостаточно остойчива, чтобы выдерживать 138 фунтов его веса, поднятых так высоко от центра тяжести яхты, и едва не опрокинулась.

В 1966 году «Малышка» прошла сквозь шесть штормов и ураган, названный «Цилия». И хотя он не взял на этот раз на лодку ни одного живого существа, Уиллис не был одинок. Два буревестника почему-то решили сопровождать суденышко, очевидно находя, что охотиться рядом с ним лучше, чем в открытом океане.

Но доморощенная терапия оказалась бессильной. Грыжа доконала его, и ему пришлось прекратить плавание в районе 56° западной долготы и 40°50′ северной широты. Он остановил встречное грузовое судно, следовавшее на восток, и попросил сообщить о своем недуге береговой охране Соединенных Штатов. Не прошло и дня, как из-за горизонта появился катер и принял на борт Уиллиса и его лодку.

«Чувствуя себя предателем по отношению к лодке и к морю, — вспоминал Уиллис, — я нежно положил руку на борт «Малышки» и сказал: «Ничего, мы еще вернемся».

Они совершили новую попытку в 1967 году, отправившись по тому же маршруту 2 мая, и снова потерпели неудачу.

Уиллис был приверженцем системы йогов, верил, что человек, научившись правильно регулировать частоту дыхания, сможет продлить свою жизнь настолько, насколько ему потребуется: «На опыте моего путешествия я познал, что море хочет подчиниться человеку. Каждое его движение сопровождается контрдвижением в пользу человека. И точно так же, думал я, земля и все на ней сущее. Природа хочет подчиниться нашей воле. Исходя из этого, философ может добавить, что то же самое относится к смерти и вечности: они тоже хотят подпасть под власть человека...

Человек разрушается и становится немощным стариком, когда допускает сокращение своего дыхания», — часто повторял он.

Беда, однако, была в том, что некоторые ритмы дыхания погружали Уиллиса в транс, и иногда он по два дня не приходил в сознание.

Во время одного из таких каталептических состояний польское рыболовное судно подняло

«Малышку» и Уиллиса к себе на борт.

Уиллис был не из тех, кто опускает голову. И он вновь отчалил весной 1968 года, отправляясь все туда же. В другие сезоны он встречал в море немало судов, но на этот раз ему повстречался всего лишь один ирландский корабль. Встреча произошла две недели спустя после отплытия, в каких-нибудь 360 милях к востоку от Монтаука. Уиллис сказал, что все в порядке и что он ни в чем не нуждается.

Кто-то спросил Уиллиса, не страшно ли ему одному в море. Он ответил: «А разве не страшно быть одному в соборе?»

Корабли разошлись.

«Он никогда не испытывал страха или пессимизма», — говорила жена Уиллиса, ведь страх, парализуя волю, и порождает пессимизм. Казалось, Уиллис чувствует, что «Малышка» и море достигли своего рода договоренности, согласно которой море, сознавая, что оно в состоянии перевернуть и разрушить суденышко, все же терпеливо позволяло крохотному корытцу продолжать плавание.

В предыдущих плаваниях, когда «Малышке» требовалась помощь, она всегда приходила вовремя. На этот раз она запоздала...

Когда латвийские рыбаки заметили «Малышку», она держалась на плаву лишь благодаря воздушной подушке, образовавшейся в носовом отсеке, и блокам из пенопласта, которыми яхта была обшита изнутри для непотопляемости. Рядом с яхтой, обросшей уже водорослями, играла стая дельфинов. Крохотные отсеки были заполнены водой, а волны захлестывали разбитый люк и спокойно проходили над рубкой. Обломок мачты с разодранными парусами, спутанные снасти были втиснуты в каюту. Очевидно, Уиллис надеялся, откачав воду ручной помпой (чуть побольше велосипедного насоса), переждать шторм, поставить запасной руль взамен основного, начисто срезанного ударом волны, и установить в гнездо обломок мачты.

Но, быть может, именно тогда, при попытке втиснуть дюралевый обломок мачты в крохотную каюту, Уиллис и сорвал с петель крышку люка. Налетевший шквал теперь уже без труда мог довершить трагедию. Вода мгновенно заполнила отсеки — и «Малышка» и ее капитан были обречены. Только чудо — быстрая помощь — могло спасти Уиллиса. Но на этот раз помощь запоздала. Слишком далеко от океанских трасс унесли течение и ветры яхту Уиллиса.

Тщетно взывал он о помощи, пуская одну за другой в равнодушное небо шесть бесполезных ракет...

Пока мы разговаривали с капитаном, в каюту без конца приходили и уходили готовящиеся к отходу моряки. И редко кто из них не присаживался к столу. Сравнивали одиночные переходы через океан, совершенные Уиллисом и другими мореходами, придирчиво анализировали достоинства яхты и недостатки ее конструкции, которые могли привести к гибели.

— Осматривая «Малышку» на борту «Янтарного», — говорит главный механик М. В. Москалев, — мы убедились, что она обладает всеми мореходными качествами, очень остойчива и практически непотопляема. Надежный корпус, оригинальный набор шпангоутов, мощный тя-

желый киль, который из любого положения возвращал яхту к нормальному, специальные устройства, позволяющие управлять рулем и парусами, не подымаясь на палубу, — все выдает в хозяине яхты бывалого и дерзкого морехода. Если бы не сорвало люк, в этой яхте можно было бы переждать даже ураган. Наверняка яхта сделана по его собственным расчетам. И в постройке он, видно, принимал самое непосредственное участие. Это вызывает к нему особую симпатию. Ведь любая крупная фирма ради рекламы охотно оснастила бы яхту знаменитого путешественника по последнему слову техники. Нет, Уиллис не думал о рекламе, о славе, — я уверен в этом. Он хотел доказать что-то другое, свое. Но размеры яхты... размеры подавляют воображение даже опытных моряков. Мы восхищались Уиллисом, но у каждого нет-нет да и возникала мысль, что он немножко сумасшедший. Не знаю, кто рискнул бы выйти в океан на его яхте.

— Я бы пошел, — сказал капитан Деменин.

Море сформулировало по своему образу и подобию характер Уиллиса — цельный, мятежный и деятельный. Море жило в нем, бунтуя, когда он задерживался на берегу: «Внезапно мною овладевает тоска, как если бы я чего-то лишился...»

Ему нужны были «трудности и невзгоды. Борьба, что закаляет человека... Минуты, которые решают — жить или не жить». На земле он чувствовал себя кочевником: «Почти все наши вещи хранились на складах в разных концах страны, и Тедди иногда вздыхала: «Неужели у нас никогда не будет своего дома?» Я неизменно отвечал: «Запомни, последний гвоздь, который мужчина вбивает в свой дом, это первый гвоздь в гроб его и жены. А мы ведь еще не собираемся умирать».

Он вышел в океан на работу, которая делала его счастливым. И вещи, которые он взял с собой, были простыми, прочными, предназначенными для долгой службы.

Свежая, цвета хаки рубаха, темно-коричневые, из синтетики, брюки, аккуратно заплатанные ботинки 42-го размера, галстук, замотавшийся в снастях, составляли, видно, «парадный» гардероб Уиллиса, в котором он собрался войти на плимутский рейд.

Шлюпочный компас, деливший с Уиллисом тяготы многих его путешествий, фотоаппарат «Лейка», навеки застывший на десятом кадре, бинокль без окуляра и размокшие картонные трубки использованных сигнальных ракет, быть может, выпущенных в ту минуту, когда сквозь разбитый бинокль он различил или ему показалось, что он видит, над недосягаемым горизонтом дымки пароходов, идущих к земле; полутораметровый обломок дюралевой мачты со спутанными снастями, еще цепко державшими разодранные паруса, которые совсем недавно, послушные воле бесстрашного капитана, несли «Малышку» навстречу его мечте. Якорь. Ящик с документами. Да флаг Нью-йоркского клуба искателей приключений с алыми звездами и алым земным шаром на коричневом поле. Вот что удалось вместе с яхтой спасти во время шторма советским морякам. Не только вещи. Но и память об Уиллисе. «Малышка» еще много сможет рассказать о

завершающем акте драматического поединка между человеком и океаном, о поединке, в котором нет побежденных.

Уже перед самым отъездом из Калининграда я узнал, что найдена еще одна запись капитана Уиллиса. Ее обнаружил капитан Маточкин в самом конце судового журнала Уиллиса. От других заметок ее отделяли десятки чистых, незаполненных страниц.

Вот этот трагический текст, который лишь частично удалось разобрать.

...«МАЛЫШКА» ИМЕЕТ ПРОБОИНУ СВЕРХУ... ВЫКАЧИВАЮ НАСОСОМ ТОННЫ... КРЕН СУДНА... ВЫСОТА... ОСЛАБЛЯТЬ... Я ТРЕПЕЩУ ПРИ МЫСЛИ... ОСТРОВ УАЙТ... КОГДА ОСТРОВ УАЙТ... ЧЕЛОВЕК... СЛЕДУЮЩЕЕ ЧИСЛО... ИСТОЩЕНИЕ МОЖЕТ ДОВЕСТИ ДО БЕЗУМИЯ... ЧАС ЗАВЕРШИТЬ... ОШИБАТЬСЯ... ЗАТОПИТЬ... ГАВАНЬ... ПРЕДЕЛ... И НЕМЕДЛЕННО ПОЙТИ КО ДНУ... ПРОКЛЯТЬЕ... Я ИМЕЮ... ПЕРЕДАЙТЕ Т... ...СОЛНЫШКО».

В самую трудную минуту своей жизни, когда силы уже оставили его, Уиллис думал не о себе. Он трезво понимал всю неотвратимость катастрофы. И все-таки, он хотел дотянуть до какого-нибудь из пустынных островков, что лежат к западу от Ирландии, привести яхту в бухту. В спокойной воде гавани, даже если ему суждено умереть, яхту, он верил, могли бы найти. Он не мог бросить в безвестности посреди океана свое детище — суденышко — последнее, что связывало его с людьми.

Так умирающий солдат из последних сил пытается вынести с поля боя своего товарища.

«Человек часто ищет одиночества, чтобы разрешить тайну бытия, но неизменно возвращается к людям. Смертный не может долго оставаться один и не потерять рассудок. Он создан из мяса и костей и нуждается в обществе себе подобных. Каждую секунду своей жизни он что-то получает от других людей и что-то им отдает. С момента появления человека происходил и происходит непрерывный обмен, который служит целью, связывающей всех людей воедино. Даже отшельник, укрывшийся в пещере, не теряет этой связи; все его помыслы направлены к человеку и богу, похожему на человека, — писал Уиллис. — Чувствуя рядом присутствие другого, человек легче идет на смерть. Осужденному легче стоять перед виселицей, если палач шепнет ему доброе слово или из толпы зрителей раздастся ободряющий возглас. Он способен даже улыбнуться шутке. Если дружеская рука дотронется до его плеча, ему начинает казаться, что в его сердце все человечество, что он не умрет навечно. Может быть, за несколько часов до этого, ожидая в жутком одиночестве своей камеры, когда дверь откроется последний раз, он в ужасе вскрикивал при одной мысли о том, что его ждет, или старался размозжить себе голову о стену. Человек не может без людей, и если даже он когда-нибудь достигнет звезд, то и там скоро окажутся ему подобные. Один человек не может найти спасения. Нирвана — прибежище слабых. Это я понял, находясь в океане, на пороге бесконечности».

Вдумайтесь в эти слова. И вы поймете, что все плавания Уиллиса, его размышления, его книги — это страстный монолог, обращенный к человечеству.

Прислушайтесь к его жизни! Он прикасался к сути вещей, он искал эликсир вечной юности. И все, что он делал, — делал, думая о людях.

Различны цели, которые ставит человек, отправляясь в одиночное плавание, бросая вызов морям и океанам. По-разному — ликуя, а то и с проклятьями —

выходит он на берег, если ему удалось уцелеть. Но тот, кто выдерживает это испытание, выходит из него обновленным.

«Я подумал о том, решился бы я на это путешествие или нет, если бы знал, какие неожиданности подстерегают меня, — писал, побывав за бортом, Джон Колдуэлл, автор «Отчаянного путешествия», совершивший после второй мировой войны дерзкий переход из Панамы до острова Фиджи, где яхта «Язычник» разбилась о скалы. — «Да, решился бы», — таков был мой ответ. То, что я сделал, было увлекательно, несло с собой сильные ощущения, несмотря на опасность, я был в восторге. Я испытывал жажду, знакомую всем мужчинам, — жажду приключений. И вдобавок ко всему я приближался к единственной в мире женщине, о которой мечтал, — к Мэри». (Только что закончилась война, и у него не было иной возможности попасть в Австралию, где его ждала Мэри.)

Жажда приключений обернулась жаждой познания загадок и тайн природы. Без колебаний он направляет яхту в центр смерча, вступает в схватку с гигантским скатом, меряет силы в единоборстве с акулой... Отправляясь в «отчаянное путешествие», он смутно представлял, что значит идти под парусами. Его яхта разбилась. Но он познал душу моря, и море навсегда пленило его. Спустя несколько лет, уже вместе с Мэри и детьми, Колдуэлл снова ушел в океан, к островам Фиджи, чтобы навестить людей, которые спасли ему жизнь.

Ален Бомбар рисковал жизнью во имя гуманизма и науки. Он намеренно поставил себя в те условия, в какие попадает человек, потерпевший кораблекрушение. Такая судьба, как говорит статистика, постигает ежегодно около двухсот тысяч моряков и пассажиров. Многие из них гибнут, хотя и успевают высадиться с тонущего судна в шлюпки. Доктор Бомбар решил научить людей бороться со смертью в море, не поддаваться голоду, жажде, страху.

Уильям Уиллис не задавался научными целями. Но, как и Бомбар, он доказал, что одиночный мореплаватель может вырваться из роковых объятий океана. Снаряжая «Семь сестричек», Уиллис сказал:

«Пусть мое путешествие будет испытанием духа и поможет тем, кто терпит кораблекрушение в открытом море».

«Ныне вряд ли кого удивишь большим морским путешествием на яхте с командой в несколько человек, — сказал польский мореход Леонид Телига, завершающий свое двухгодичное плавание вокруг света. — Это уже не считается большим спортивным достижением. Один — на яхте, один — в длительном переходе. До меня, насколько я помню, такие, быть может, несколько меньшие по длительности опасные переходы совершали на одиночных яхтах 12 человек. Среди них — англичанин Чичестер, французы и другие. И ни одного славянина! Поэтому мне и хотелось доказать, что на равнинах моей родной Польши могут вырасти вполне достойные соперники западным спортсменам. И я рад, что мне это удалось».

«В путешествие меня заставил отправиться страх — страх перед мысом Горн, — не без иронии, с прямотой англичанина признается шестидесятипятилетний Френсис Чичестер. — Я прочел ужасные вещи, написанные людьми, проходившими его, и это подействовало, потому что мне ненавистна мысль, что я чего-то боюсь. Если что-то пугает меня, я должен обязательно попытаться преодолеть причину страха.

Я начал читать все о старинных клиперах, огибавших мыс Горн, и планы моего путешествия оформились на основании прочитанного. Я выбрал маршрут тех замечательных английских парусников, которые плавали из Англии в Австралию, огибая мыс Доброй Надежды, и возвращались обрат-

но, проходя мыс Горн. Я решил не только проверить их путь, но и в одиночку проделать его приблизительно за то же время.

Как позже стало ясно, мне это не удалось. Я наделал ошибок. Я оказался дерзким юнцом, попытавшимся превзойти старых мастеров. Мне не удалось плыть быстрее или с такой же скоростью, как они. Но все же я проплыл вокруг света в одиночку, лишь однажды зайдя в порт, и никто до меня не сделал этого. А сознавать, что ты совершил то, что до тебя не удавалось никому, — большое удовольствие».

Отдавая должное его мужеству, стойкости его духа, его уму, невольно думаешь, что море было для Чичестера только враждебной стихией, которую он ставил себе целью превозмочь, чтобы самоутвердиться, сделав нечто такое, чего до него не смог сделать никто.

Уильям Уиллис, отправляясь в моря, не ставил перед собой понятной всем, поддающейся четкой (с точки зрения «здравого смысла») расшифровке цели. Поэтому одни называли его чудаком, безумцем, другие — самоубийцей, третьи считали, что это он делает из желания прославиться.

А он шел в океан, потому что не мог не идти. Так птицы, повинуясь зову инстинкта, срываются осенью с насиженных гнезд, отправляясь в трудные и далекие перелеты.

Так старый фермер идет в зной, чтобы напоить возделанное им поле, и умирает там, благословляя судьбу, если солнечный удар не пощадит его.

«Почему я предпринял это путешествие? — риторически повторяет Уиллис вопрос, который неизбежно задавали самые разные люди, встречавшиеся с ним. — Поройтесь-ка у себя в душе, — советует он, — и вы обнаружите, что тоже мечтали о таком плавании, даже если ни вы, ни ваши ближайшие предки никогда не выходили в море. Когда-то, может быть, много веков назад, у ваших праотцев была такая мечта, вы унаследовали ее, и она у вас в крови — будь вам 12, 70 или 100 лет, — ибо мечты не умирают!»

Он был человеком, для которого осуществить мечту, ставшую целью, или цель, ставшую мечтой, значило осуществиться, жить, а отступить — не жить, предать самого себя.

В этом духовном, подвижническом самовыражении — главный урок его жизни.

Подобно Генри Дэвиду Торо, философу, стремившемуся найти и указать людям путь к «истинной жизни», Уильям Уиллис мог повторить его гордые слова:

«Мой опыт, во всяком случае, научил меня следующему: если человек смело шагает к своей мечте и пытается жить так, как она ему подсказывает, его ожидает успех, какого не дано будничному существованию. Кое-что он оставит позади, перешагнет какие-то невидимые границы, вокруг него и внутри него установятся новые, всеобщие и более свободные законы, или старые будут истолкованы в его пользу в более широком смысле, и он обретет свободу, подобающую высшему существу».

Рудольф
ВЕРШАДСКИЙ

●

КОЛЛЕКЦИЯ БЕЛЫХ

На тихой коротенькой улочке Клод-Лоррен, невдалеке от не столь давно окраинной площади Сен-Клу, — цены на землю еще лет сорок тому назад позволяли возводить здесь провинциальные домики с палисадничками, и некоторые из них, сохранившись до сих пор, придают Клод-Лоррен вид, резко выделяющий ее из рядовых парижских улиц, по ранжиру застроенных домами непременно в шесть или семь этажей, — так вот, на тихой Клод-Лоррен живет примечательный, по-моему, и очень симпатичный человек — мосье Теодор Белих. Род его занятий? У нас бы это прозвучало странно: коллекционер. Но пойдите к Белиху, не пожалеете.

Когда вы заберетесь к нему на верхотуру вполне современного семиэтажного дома (ему явно недостало в свое время средств возвести себе на Клод-Лоррен собственный домик) и справитесь, позвонив в дверь, у открывшего вам маленького седого старичка с живыми, как у мальчишки, добрыми и веселыми глазами, можете ли видеть Теодора Белиха, старичок радушным жестом пригласит вас в квартиру, но, не удержавшись, скажет:

— Только, батенька, вы ведь русский? То-то! Акцент выдает сразу! Вы уж, пожалуйста, не кличьте меня Белих. Я Белых. И никакой также не Теодор — Федор Семенович! Я ж не парижанин, я нижегородский, или, по-теперешнему, горьковчанин. Да вы входите, входите, какой в дверях разговор.

И любезно и бойко, несмотря на годы, поможет вам снять плащ в передней величиной с коробочку и пригласит в гостиную, распахнутая дверь в которую — рядом и которая, как это совершенно очевидно, служит хозяину и столовой, и кабинетом, а может, вдобавок и спальней.

Но как ни радушно приглашение, вы, ручаюсь, не поторопитесь следовать ему. У вас уже в прихожей глаза разбежались. Вот, по одну сторону зеркала, оригиналы Добужинского, Григорьева, Бенуа. А по другую — Врубель! А напротив, не больше, чем в полушаге от вешалки, на которой только что повис ваш плащ — квартирка теснее тесного, — Валентин Серов, разве спутаешь его с кем-нибудь! И Аполлинарий Васнецов, и — боже мой, да не почудилось ли? Я же знаю этого паренька из суриковского «Взятия снежного городка» столько, сколько себя помню!

Да, тут же и подлинный суриковский этюд!

И вы говорите, запинаясь от волнения, но скорее всего не замечая этого сами:

— Федор Семенович, извините, что не тороплюсь воспользоваться приглашением в гостиную. Но позвольте немного задержаться еще тут, в прихожей.

Белых понимает ваше состояние.

— Что вы, что вы, никуда я не тороплю. Я и сам иной раз войду вот так же с улицы; и хоть знаю, что жена на кухне ждет: я за продуктами ей ходил, и она слышит, что я вернулся, и голос

подает: «Федя, что ты там застрял?» — а я тоже двинуться не могу. Какую красоту человек создавать умеет! Стою как вкопанный, стою и стою, и в тысячу раз виденном вдруг опять что-то новое обнаруживаю...

О Федоре Семеновиче я слышал давно, еще в Москве. Меня убеждали люди, достойные безусловного доверия, что это вполне прилично: прийти к нему «просто так», — не надо ничьей рекомендации, и от своего собственного имени попросить разрешения осмотреть коллекцию. И как только он увидит, что вам действительно дорого искусство, в особенности русское, то он не только не будет раздражен неожиданным вторжением, а, наоборот, отнесется к вам, как к лучшему другу.

Причудлива судьба этого парижанина, человека русского до мозга костей. Русские его возраста, ставшие, однако, по паспорту французами, в Париже обычно белые эмигранты. (Изменники Родины — гитлеровские приспешники, бежавшие на Запад вслед за своими хозяевами, временно оккупировавшими наши территории, как правило, более молоды.) Федор Семенович — эмигрант совсем иного порядка, он и вообще-то не эмигрант из Советской России. Всю жизнь, с самых юных лет, он был влюблен в русскую живопись, со многими выдающимися художниками дореволюционной России был знаком лично; счастью его и гордости, когда ему удавалось оказать им какую-нибудь услугу, не было предела; ну, а уж творчество их он знал в таких деталях, что порою мог, пожалуй, посоревноваться с самими авторами!

Кстати, я не в силах удержаться, чтобы не забежать чуть-чуть вперед. На одном из почетнейших мест у Федора Семеновича — в гостиной, посреди стены — висит небольшой мастерский портрет старухи крестьянки. Федор Семенович сказал мне:

— Прошу вас, обратите на него внимание. Должно быть, не покривлю против истины, если скажу, что это наиболее дорогое лично для меня произведение в моей коллекции. Началась история еще до революции. Как-то зашел я в Москве в один антиквариат, смотрю — висит этот портрет. Подписи автора нет, кто изображен — тоже неизвестно. Соответственно и цена более или менее доступная. Но вглядываюсь я в него, и все мне яснее становится, и кто художник и кого он с такою любовью написал. А владелец антиквариата знал меня. И, в свою очередь, начинает за мною наблюдать пристально: что это я глаз не свожу с картинки?

Наконец не выдержал, обращается ко мне: «Никак, Федор Семенович, вы хотите помочь мне установить принадлежность этой работы? Премного был бы обязан, да и в долгу, конечно б, не остался».

Но он такую ласковую трель спел мне зря, был он лютый выжига, и я цену и ему и его руладам знал точную.

«Нет, многоуважаемый (забыл уже его имя-отчество), нет, — говорю, — даже и догадаться не берусь, кто автор».

И тут же туману напускаю: «Меня заинтересовало другое: какой губернии одежда на старухе? Никак в толк не возьму».

Выжига мой сразу сгас: что ему за прибыток от таких тонкостей? Но я все-таки согласился купить у него эту «Старуху», если он, конечно, сбавит цену — безымянная, сам должен понимать...

Он для приличия поторговался, но недолго.

А я, как только он упаковал мне полотно, сразу — и домой-то не заходя! — бегом к Архипову.

Трезвоню в дверь квартиры как оглашенный.

Увидел меня Архипов — испугался: никогда я к нему не смел так вламываться.

«Что случилось, Федя?»

«Да нет, Абрам Ефимович, ничего. Вы уж извините меня, ради бога! — Я только тут сообразил, что звонил, не отрывая пальца от кнопки! — Это я вам просто подарок принес — не терпелось, чтоб вы его поскорее увидели!»

И с этими словами разворачиваю пакет, протягиваю ему покупку. А он, как увидел старуху, чуть не расплакался.

«Феденька, бесценный вы мой, родной мой, неужто она жива?! Где, откуда вы ее раздобыли?!»

Говорит, говорит и из рук ее выпустить не может: и так ее разглядывает и этак. То подальше отставит, то вовсе к глазам приблизит, гладить даже принялся... Одним пальцем...

Но я позабыл — вам же надо рассказать, что всему этому предшествовало, а то без этого вам не понять, ни почему Абрам Ефимович так обрадовался, ни почему я. А дело заключалось в том, что Архипов за несколько лет до этого провел на этюдах в деревне у своей матери целое лето — мать у него была крестьянка, — и лето, по его словам, оказалось таким обильным — ну что тебе Болдинская осень у Пушкина! Только, к сожалению, итог сложился грустный... На другой день после его отъезда вдруг вспыхнула банька, в которой он оставил все написанное, и в числе других сгорело самое лучшее, как он считал, из того, что он сделал за лето: портрет матери. А мне, едва я увидел эту картину у антиквара, просто в глаза ударило: как же это — неизвестного автора?! Да это ж лицо самого Абрама Ефимовича — такое фамильное сходство!

Вот, значит, как... Ну, стал меня Архипов, понятно, расспрашивать тут, как да где я нашел «Мать», да не видел ли что-нибудь еще из баньки у этого антиквара, да как сама «Мать» уцелела и через чьи руки прошла?.. Однако я ничего больше, кроме того, что сказал ему, рассказать не мог. И тогда мы отправились с ним к моему антиквару уже вдвоем. И чтобы извлечь из него хоть какие-нибудь подробности, Архипов выложил ему всю историю «Матери». Но антиквар первым делом взялся со мною счеты сводить: «Что ж, мол, это вы, молодой человек, свой, как говорится, постоянный покупатель, а так старика провели...»

Ну да после драки кулаками не машут!

А у кого он приобрел «Мать», он так и не смог вспомнить и, как теперь ясно, не соврал: ведь уже больше полувека с тех пор миновало, революция прошла, а из баньки больше ничего не выплыло...

Абрам Ефимович же мой подарок не принял. «Нет, — сказал, — это полотно принадлежит вам уже больше, чем мне. Потому что, когда я его писал, то было его первое рождение, а окончательное состоялось лишь теперь. Воскрешение из мертвых — это всем рождениям рождение!» И тут же подписал картину и проставил на ней год не написания, а год моего отыскания ее...

Федор Семенович, сняв «Мать» со стены, водил по ее поверхности одним пальцем,

должно быть, не замечая того, что делает это так же, как когда-то ласкал ее Архипов.

— Федор Семенович, — спросил я, — вы публиковали где-нибудь эту историю?

— Что вы, батенька, разве я писатель! — Он даже махнул рукой. — Из меня писатель такой же, как художник. Я только очень люблю искусство. И все...

Потому-то, что Белых столь преданно и бескорыстно любил искусство, художники, тоже с радостью, что доставляют наслаждение такому доброму человеку и верному их другу, иной раз дарили ему кто этюд — состоятельностью, чтобы широко приобретать шедевры, Федор Семенович никогда не отличался, — то даже уступали ему законченную картину, причем брали с него полцены или даже четверть, а если кому выпадало стать баловнем фортуны в тот час, то и вовсе лишь символическую трешку или пятерку, только бы попало родное детище в надежные руки. Ведь нет людей, более чуждых расчету, нежели художники, и в то же время более щедрых в ответ на доброе слово об их труде. Художники знали, что человек слова — Белых — ограничил себя железным запретом: не уступать никаким искушениям и, несмотря ни на какие житейские испытания, не расставаться с произведениями, доставшимися ему в подарок. Он считал, что не для улучшения же его материального положения они ему подарены, а значит, он и не волен ими распоряжаться иначе, чем хранить у себя.

Так, еще пятьдесят лет назад, постепенно начала складываться коллекция Белых, сделавшаяся ныне одним из самых ценных частных зарубежных собраний русской живописи.

Сначала Федор Семенович жил на своей родине — в Нижнем Новгороде, потом перебрался в Москву, но тоже еще до революции переехал к родственникам в Ригу. А затем, когда Рига стала столицей отделившейся от Советской России буржуазной Латвии, Федор Белых вдруг оказался гражданином Латвии.

Федор Семенович усмехается:

— Как говорится, без меня меня женили...

И едва в 1936 году ему подвернулся случай вырваться из Риги в Париж, он, не задумываясь, воспользовался неожиданной возможностью.

Чего не нагораживает иной раз выдумщица судьба!

...Мы постепенно перешли с Белых в гостиную. Он перехватил мой взгляд, остановившийся на небольшом итальянском пейзаже. На полотне залитая солнцем, скорее всего, похоже, неаполитанская, круто уходящая вверх от порта узкая улица, улица бедноты и лаццарони. Но как она, несмотря на свою нищету, красочна и ослепительна! До боли режут глаз белизной громадные флаги простынь, свисающих на веревках, протянутых через улицу на высоте четвертых, пятых, шестых этажей; заставляют зажмуриться — такие они ярко-желтые! — отвесные, без единого выступа, плоскости стен зданий; палит синее раскаленное небо. Только считанные часы ликующее солнце Средиземноморья проникает в эту улицу так глубоко, и как же радостно она отвечает ему!

Этюд пустячен по размерам: ну, три-четыре почтовые открытки, поставленные одна на другую. Но словно щедрое окно распахнул он из белыховской гостиной в ослепительный каньон неаполитанской улицы!

Я не смог догадаться, кто автор этюда, и чистосердечно признался в этом Белых.

Он пришел в восторг. Он вообще радуется, как ребенок, когда видит, какое впечатление производят собранные им картины, особенно наиболее близкие ему самому.

— То-то и оно, батенька, что даже представить себе автора не можете! Конечно! Ведь это настолько непохоже на него по выбору сюжета... Просто поразительно непохоже! А это Репин, дорогой мой, редчайший итальянский этюд Ильи Ефимовича! Сколько уж раз у меня на него зарились, каких златых гор не сулили. Но — нет! Пока я жив, ни за какие коврижки он от меня не уйдет. Был, правда, случай, когда я предложил его одному человеку. Сам. В подарок. Но он отказался. «Ни за что! — сказал. — И не просите, мосье Белих». Такой человек...

— Да, человек странный. Я бы даже сказал: чудак! Отказаться от Репина! Но почему, интересно, именно из-за такого человека вы решили нарушить свой зарок?

— Ну, это-то понятно. Потому что заслужил он того. А если хотите, то и всего моего собрания заслужил. А чудаком вы его считаете зря. Он не чудак был, нисколько. Просто святой души человек, что доказал, кстати, самым убедительным способом: делом. И притом ни в малой мере не разбираясь в тонкостях искусства. Свою квартиру, например, украшал — стыдно сказать! — цветными обложками «Пари-матч»!.. Жаль, что вы не пришли ко мне хотя бы год назад: он был жив еще, и я познакомил бы вас с ним. Мы бы спустились с вами по нашей лестнице донизу — и все. Он был нашим домовым слесарем-водопроводчиком. Жак Гренье.

— Простите, Федор Семенович, я все же не понял: а чем вы были ему так обязаны?

— Чем? Всем! Жизнью! Больше, чем жизнью: спасением всей моей коллекции, потому что какая мне без нее жизнь!

— Каким же образом он ее спас? И когда?

— В войну, понятно. Когда боши прорвали фронт и стало ясно, что они вот-вот войдут в Париж... — Речь Белых ни по синтаксису, ни по фразеологии не отличается от речи сегодняшнего старика москвича совершенно ничем. Только вот этот единственный раз я услышал, как сказались в ней тридцать с лишним лет его парижской жизни: он называет немцев бошами, никак иначе, пропитанным лютой ненавистью словом, столь характерным для французов еще с 1871 года — года, когда немцы впервые вошли в Париж. — И вот боши прорвали фронт — помните это страшное время? Как я мог с Эсфирью (это моя жена) оставаться в Париже? Чтоб эти чудища заулюлюкали: жидовское семя! — и уничтожили нас обоих? И что бы стало с моим собранием? Мы и тогда уже не сомневались не только в том, какие они варвары, но и воры, — да, да обыкновенные уголовники! Они же расхитили бы его до последней рамки!

И я сказал Эсфири: «Эсфирь, я не брошу картин на произвол судьбы. Я не прощу себе этого никогда. И ты тоже. Уходи. Уходи одна. А я останусь тут с ними. В конце концов всем людям положена смерть на роду. Будь что будет. Бессмысленно рисковать нам обоим».

Но она, конечно, не согласилась. И даже принялась фантази-

ровать для меня, что так как в Париже, слава богу, не придают значения тому, кто ты: еврей, цыган, зулус или патагонец, — сказано в паспорте: французский гражданин, и этим все, мол, исчерпано, — то боши, может, ни до чего не докопаются. А они ж не будут в Париже вечно. И тогда все обойдется...

В общем сказки для самоуспокоения...

Но тут нас осенило: а что, если обратиться к мосье Гренье — попросить спрятать картины его? Он не просто не терпел немцев — он ненавидел их. Он воевал с ними еще в ту войну — против кайзера Вильгельма II — и, как кролик, попал на Ипре под первую волну их газа. Это ж они придумали — еще до душегубок и газовых камер — приравнять людей к насекомым и травить их химией! Кажется, не было в нашем квартале человека угрюмей мосье Гренье. Наверно, никто и никогда не видел на его лице улыбки. Но, несмотря на это, ребятишки со всей Клод-Лоррен льнули только к нему. Между тем этот ребячий народ не обманешь. У них на людей, которые стоят того, чтобы их называть настоящими людьми, какой-то особый нюх, они идут на таких, не отклоняясь в сторону ни на сантиметр, безошибочно, как пчелы на нектар. И только Гренье выходил на улицу, как их голоса неслись отовсюду: «Мосье Жак, мосье Жак!..»

И я тоже пошел к нему и сказал: «Мосье Жак! Я могу вас кое о чем спросить, как спросил бы родного брата? Мосье Жак, подходят боши. Я забочусь не о том, чтобы сохранить какие-то материальные ценности для себя. Вы знаете, моя коллекция открыта для любого, кому она интересна, в особенности для русских. И вы знаете, как я живу с мадам Эсфирью, и отдаете себе отчет, что ни я, ни она не гонимся за богатой жизнью, хотя могли бы получить за картины сотни тысяч франков или даже миллионы. Но мадам Эсфирь еврейка, она не может оставаться в Париже и вместе с тем не соглашается оставить меня одного. И я хочу попросить вас...» И я рассказал ему, что я хочу просить его. И он ответил мне, не раздумывая ни минуты: «Мосье Теодор, я понимаю: ваша коллекция, конечно, обладает такой ценностью для русского народа, что она не должна пропасть ни под каким видом. И вы правы, что обратились ко мне. Я вам обещаю: пока я жив...»

И мы втроем — он жил один, — я, он и Эсфирь, всю ночь тихонько, чтобы не слышал никто в доме, — нет, я не думал ничего дурного ни о ком из соседей, но береженого бог бережет, — не на лифте, лифт все-таки гремит, только пешком с седьмого этажа на первый, и опять с седьмого на первый, и опять, и опять на самый низ, перенесли к нему все мое собрание. Это была ночь, которая вынула из меня сердце. И из Эсфири тоже. А утром мы с нею взяли по чемоданчику — пижама, кусок мыла и полотенце — и пошли из Парижа куда глаза глядят...

Как мы жили в эвакуации — не важно. Важно, что когда немцев все-таки захлопнули, как крыс, в Париже и заставили капитулировать, мы в тот же день отправились обратно. Мы добирались на попутных машинах. Вы не поверите, я проехал часть пути на крыле грузовика, как красногвардейцы на фотографиях в Октябрьскую революцию! И мосье Жак не только тут же вер-

нул мне все мое собрание, но и впервые я увидел улыбку на его лице. Он сказал, что первую ночь с начала войны наконец-то уснет спокойно: без картин! Потому что на его-то добро — на обложки «Пари-матч» — он знает — никто не позарится! А Репина так и отказался взять в подарок. Я просто-таки до сих пор помню, что он мне сказал тогда: «Мосье Теодор, ну где у меня будет висеть ваша картина? Честное слово, у вас она куда больше на месте. И кроме того, если я умру раньше вас, а я такой же одинокий человек, как вы с мадам Эсфирью, то эта картина вашего знаменитого мастера — вы ведь знаете законы — останется уже на веки веков во Франции. А зачем? Вы сами говорили, что ваше заветное желание: чтобы после вашей и мадам Эсфири смерти коллекция в полном составе вернулась в Россию, в вашу Третьяковку — я не спутал название вашего Лувра?»

Я не сдержался, перебил Белых:

— А вы все завещали нам?

— Пока я еще не оформил завещания — я все еще не могу приложить к нему полную опись дара, — время от времени приходится кое-что распродавать. Ведь мы с Эсфирью тянем только на мою мизерную пенсию и на ее далеко не всегда определенный, но всегда более чем скромный заработок преподавателя русского языка, дающего частные уроки. Правда, я все-таки стараюсь не разбазаривать коллекцию, а во-вторых, продавать картины исключительно советским музеям, чтобы вещи от меня уходили только обратно, в Россию. Но и у Третьяковки и у Русского музея так мало валюты... Если бы вы знали, как порою трудно удержаться от соблазна отдать какому-нибудь американцу вещь, за которую он тебе предлагает пять тысяч франков, а Третьяковка способна дать только пятьсот франков! Но посоветуюсь я с Эсфирью, и — нет, отказываем мы ему. Если уж судьба мне расстаться с картиной, так пусть уходит только на родину... А самая большая мечта моя: чтобы в Третьяковке или в Русском музее выделили большой зал и наконец-то достойным образом выставили перед нашим народом богатство, которое я собирал всю жизнь... И которому всю жизнь отдал... И чтоб написали перед входом: «Дар Ф. С. Белых». Ничего мне больше не нужно!

Как ни взволновала меня эта трогательная, бескорыстная мечта старого русского патриота, я, однако, тут же вспомнил нелепейшую экспозицию картин в Государственном Французском музее импрессионистов во всемирно известной Оранжерее — филиале Лувра: один зал — дар такого-то завещателя, другой — другого. И никакого тебе цельного представления ни о творческом пути и отдельных этапах развития Ренуара, скажем, или Тулуз-Лотрека, или всего направления в целом... Нет, никто у нас не даст разрешения на такую вздорную экспозицию лишь ради того, чтобы выпятить имя дарителя! И видимо, тень сомнения, что Федору Семеновичу удастся осуществить свою мечту, явственно отразилась на моем лице. Федор Семенович встревожился.

— Вы тоже думаете, что в России на это не согласятся?

— Почему вы говорите: «тоже»? Вы это уже слышали от кого-нибудь?

— Еще бы! Сколько раз! У меня ведь много ваших искусствоведов перебывало. И все в

один голос: и — «Это у нас не принято», и — «Да зачем вам это? Вы же умный человек, Федор Семенович!» Даже Маяковским пытались убеждать: дескать, «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм...» Но ему самому-то памятник воздвигли? И ничего, социализму не мешает! И то, что Третьяковка имена личные — братьев Третьяковых — увековечила, тоже никому не мешает. Наоборот: вечная им благодарность. И правильно... Ну пускай даже не отдельный зал, — я ведь тоже понимаю, что тематическое единство экспозиции — вещь, которая способна дать зрителю больше, — но хоть таблички под каждой вещью, четкие медные таблички с гравировкой: «А. Е. Архипов. Портрет матери», а ниже: «Дар Ф. С. Белых» — это-то можно?! За свой собственный счет я бы их тут сделал — пусть никто, кроме меня, не потратится! Ну скажите по совести: кому это может повредить? А? Разве может кому-нибудь?

Федор Семенович обращался ко мне так требовательно, как будто лично от меня зависело дать ему ответ, который можно было бы расценить как ответ всего нашего государства. Какую, кстати, гордость это всегда вызывает, когда тебя так спрашивают. А к советским людям за границей чаще всего только так и обращаются. И я почувствовал, что только по-государственному я и обязан отвечать Белых, что не вправе ни отмолчаться, ни сослаться на то, что недостаточно компетентен. Какая действительно тут нужна особая компетентность? Разве не растрогала меня до глубины души в Монте-Карло крохотнюсенькая площадь (я даже измерил ее шагами: шесть шагов на шесть!), на которой в нише дома, выходящего на нее, стоял позеленевший бронзовый бюст неизвестного мне Ф. Бозио, чье имя было вычеканено на пьедестале, на беломраморной же уличной доске оно было повторено крупно и золотом.

Не сомневаюсь, то был, наверно, достойный актер, и город, где он родился, пусть кукольною площадью шесть на шесть шагов, но посчитал своим долгом — и радостью! — увековечить его память. Захочется ли юному монтекарлосцу, пришедшему на эту пьяцету сегодня и взглянувшему на Франсуа Бозио, родившегося двести лет назад и игру которого, право, никто уже не в состоянии себе представить, все-таки тоже сделать что-то значительное для своих современников, чтоб они помянули тебя добрым словом? Наверное, захочется. И не одному!

А бесчисленные памятные бюсты: долго и, конечно, славно лечившему своих больных местному доктору в Ментоне или бывшему мэру города в Грасе? Городки махонькие, однако память о людях, сделавших своей родине что-то достойное, большая. Разве это не заслуживает уважения, разве не стоит того, чтобы и нам перенять?

И я сказал Федору Семеновичу, ощущая такую ответственность, как если бы действительно был уполномочен всем нашим народом и всем государством на свой ответ:

— Нет, Федор Семенович, уверен: это не только никому не может повредить, — наоборот: это будет лишь заслуженной памятью о том святом деле, которому вы отдали всю свою жизнь. И каждый советский человек только поклонится вам за него.

Федор Семенович вскинул на

меня светлые, младенчески чистые глаза:

— Вы это говорите, чтобы утешить меня, или правда так и думаете?

— Мне было бы стыдно лицемерить перед вами.

Он порывисто протянул мне руку.

— Тогда спасибо. От всей души!

...Постепенно начало смеркаться. Белых включил свет. Но многие картины решительно проигрывали при электричестве, тем более что освещение в квартире было обычным, а не как в музеях — рассчитанным специально на демонстрацию живописи зрителям.

Федор Семенович произнес сокрушенно:

— Это я виноват. Отвлек вас своими разговорами, а время ушло... Но вы сможете навестить меня еще?

— С удовольствием!

— Ну тогда хорошо. Когда вас ждать?

Мы сговорились, и я пошел одеваться. Однако Федор Семенович не отпустил меня одного, решил проводить до метро, вспомнил:

— Скоро Эсфирь вернется, а я позабыл овощи купить. Обещал ей и позабыл. — Дробно рассмеялся. — Вечно она со мной мучается, как ей только не надоест!

Мы спустились на лифте. У самого выхода из подъезда Федор Семенович ткнул палкой в узкую низковатую дверь какой-то, должно быть, служебной квартиры.

— Тут жил мосье Жак... И странно: никого у него как будто не было, а когда хоронили — вся улица оказалась запружена: ребятишки... И до кладбища провожали...

Он задумчиво отворил мне выходную дверь. До метро нам надо было пройти почти всю Клод-Лоррен. И хоть она не длинна, я, наверно, раз двадцать услышал, как мальчишки, возвращавшиеся из школы, звонко приветствовали Белых:

— Добрый день, мосье Теодор!

Другой голос перебивал смеясь:

— Добрый вечер, мосье Теодор!

Белых с удовольствием отвечал в тон:

— Добрый день, Николя! Добрый вечер, Гастон! А ты, Пьер, не пожелаешь ли мне еще и доброго утра?

Как это он отозвался о покойном Жаке Гренье: «У ребят на людей, которые стоят того, чтобы их называть настоящими людьми, какой-то особый нюх...»

Мы расстались у метро. Федор Семенович церемонно приподнял над головой старомодную шляпу.

— Итак, я вас жду. Я был весьма рад познакомиться с вами.

Конечно, это была просто тривиальная фраза — банальная формула прощания в устах вежливого человека. Но мне почему-то стало очень приятно от этих слов...

Александр КУЗНЕЦОВ

СОКРОВИЩА СВАНЕТИИ

Памяти Михаила Хергиани

Страна под Ушбой

Подъем кончился. Впереди — спуск на ледник Лекзыр, справа — отвесные стены массива Улу-тау, слева — склоны, уходящие к вершине Местиа-тау. За спиной — Балкария, прямо — Сванетия.

Сванетия... Страна тишины и спокойствия, как назвал ее в 253 году до нашей эры грузинский царь Саурмаг, выселивший сюда своих непокорных подданных. Сванетия — символ гордого свободолюбия. Сванетия, крошечная страна, мир ледников, узких долин, бешеных потоков.

Долгое время сваны сохраняли родовой строй. Горцы мужественно защищали свою вольность, и только в XV веке князья Дадешкелиани захватили несколько западных обществ Верхней Сванетии — Чубухев, Лохамул, Пар, Эцер, Цхумар и Бечо. Но за отрогом, в котором стоит красавица Ушба, и в верховьях Ингури Верхняя Сванетия навсегда осталась вольной, она никогда не знала власти князей-феодалов. Верхняя Сванетия стала синонимом Вольной Сванетии. Столицей ее была Местиа.

Совсем недавно здесь еще были живы во всей своей неприкосновенности родовые отношения. В один род входило около тридцати домов, только они назывались не домами, а «дымами» — дым, очаг, кладовая, хозяйство. В роду насчитывалось обычно двести-триста родичей. В Сванетии никогда не существовало название «аул» или «кишлак». Поселение бывшего рода так и называлось «селение».

Маленький отважный народ (в 1931 году в Верхней Сванетии насчитывалось всего 12006 человек) в течение многих веков вел постоянную, изнурительную войну с иностранными пришельцами, с соседними племенами и с княжеской Сванетией. И никогда нога иноземцев не ступала по земле Вольной Сванетии. Волны орд и полчищ, перекатывающиеся через Кавказ, ударялись о неприступные скалы страны, откатывались назад, обтекали ее. В Верхнюю Сванетию можно попасть только так, как пришли мы, через перевалы, или по узкому ущелью реки Ингури. Но воинственный народ с помощью самой природы сделал путь по Ингури непроходимым для врагов. В Верхней Сванетии говорят так: «Плохая дорога — это та, с которой путник обязательно свалится и тела его не найти. Хорошая дорога та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога та,

с которой путник может и не упасть». Так вот, Ингур, Ингурская тропа всегда была для врагов плохой дорогой.

Только в 1937 году, когда по ней была проложена автомобильная магистраль, сваны впервые увидели колесо, до этого весь груз перевозился здесь вьюком или на санях при помощи быков. Сваны и сейчас пользуются этим транспортом, поскольку он оправдывает себя в горах. Разве на телеге можно съездить в горы за сеном? Пустые сани легко тянутся быками прямо вверх по склону и так же легко идут вниз груженые. Появление в Верхней Сванетии автомобиля было событием. Рассказывают, первой автомашине один старик вынес охапку сена и очень обиделся, когда машина переехала сено и покатила дальше.

Бесконечные войны придали своеобразный внешний облик стране. Самый отличительный признак Вольной Сванетии — ее боевые башни. Наиболее многобашенные селения пограничные: Ушгул — на востоке и Летал — на западе. Да и в Местии каждый дом имел свою башню. Издали сванские селения выглядят, как лес башен. Их отвесные стены сложены из камней никому теперь не известным способом. Предполагают, что вокруг возводящейся башни строили деревянные леса, по ним прокладывали по спирали такой же деревянный настил и по настилу завозили на быках камни. О времени этих построек было много споров, но большинство ученых склонно теперь считать, что сванские башни сооружены в XII—XIII веках, во время «золотого столетия» Сванетии, при царствовании в Грузии царицы Тамары.

Стены башен ровные и напоминают поставленную вертикально булыжную мостовую, только камни бывают крупнее. Верх башен венчают крепостные зазубрины, в стенах — узкие бойницы. В башнях несколько этажей, каждый этаж — это трехметровый куб с люком. К люку ведет бревно с зарубками, своеобразная лестница. По ней добираешься до следующего этажа, но так, что можешь просунуть в люк только голову, а затем надо опираться локтями о края люка, подтягиваться, выжиматься на руках и только тогда попадешь на следующий этаж. Бревно это раньше вытягивалось за собой, и тогда подняться в башню было уже невозможно. Люк не приходится над люком, — такая конструкция исключает опасность сквозного падения. Этими башнями сванам приходилось пользоваться совсем недавно, всего каких-ни-

будь несколько десятков лет назад: здесь месяцами скрывались от кровной мести.

Кровная месть, или лицври, изнуряла страну еще больше, чем постоянные войны с внешними врагами. Война шла не только между отдельными селениями, но и между «дымами». Достаточно было сказать обидное слово или пнуть ногой чужую собаку, чтобы получить пулю в лоб. И тогда мужчины поднимались в башни. Они забирали туда женщин и детей, прокопченные мясные туши, боеприпасы, наполняли водой деревянные баклаги в башнях. Башни имеют выход в дом, который тоже представлял собой крепость. Вместо окон в сванских домах узкие бойницы, а сами дома построены из одного только камня — не подожжешь.

Мне рассказывали, бывали случаи, когда мужчины отсиживались в башнях годами. Пока кровная месть не была отомщена, старики гневались, молодые издевались, жены отказывали в общей постели. Земля в это время стояла невозделанной, пропадал скот, гибли люди.

Между родом князей Дадешкелиани и «дымом» свана Бимурзы кровная месть продолжалась более ста лет. Началась она в 1813 году, а закончилась только тогда, когда один из представителей рода Бимурзы поймал и убил самоуправца Тенгиза Дадешкелиани, чем сравнял счет — 14 : 14.

Только с 1917 года по 1924 год, в период до прихода в Верхнюю Сванетию Советской власти, от кровной мести погибло здесь 600 мужчин. За семь лет — 600 мужей Сванетии, 600 пастухов, пахарей, отцов, братьев! Почти по сто человек в год уносила в то время кровная месть. А бывали в истории Сванетии годы, когда эти страшные цифры были еще больше. Ведь недаром когда-то (очень давно) тут убивали родившихся девочек, потому что роду нужны были только воины.

Правда, от кровной мести можно было откупиться, уплатив цор. Плата принималась самым дорогим для свана — землей, быками и оружием. Цор определялся специальным судом, состоявшим из 12 родственников убийцы и 13 родичей убитого. Но все это было непросто... Известны случаи, когда споры в суде приводили к новым убийствам прямо на месте судилища, и тогда дело несколько усложнялось...

Война, распри, кровная месть тяжелым бременем ложились на маленький гордый народ, были для него страшной бедой. И вот теперь башни служат памятниками этим черным временам, они грозно напоминают людям об ужасах междоусобиц, смерти.

История наложила свой отпечаток не только на внешний вид сванских селений, она неизбежно должна была сказаться и на всех обычаях, традициях народа. Очевидно, именно отсюда в Сванетии происходит такой продолжительный траур, отсюда и постоянно черная одежда сванских женщин. Ведь если в год погибало только от лицври около ста мужчин, имеющие очень широкое родство сваны просто никогда не снимали черной одежды, они не успевали окончить один траур, как начинался другой.

...Склоны так круты, что спускаться по ним на лыжах напрямую невозможно. Но и подрезать склон зигзагом поворота нельзя, он еле держится. Все трое берем лыжи на плечи и осторожно, ступая след в след,

идем прямо вниз. Проваливаемся по пояс. Верхний слой снега отделен от нижнего прослойкой глубинного инея. Это как раз то, что надо для лавины, по этой прослойке она и соскользнет, коли наша тяжесть окажется для этого достаточной. Зима. Снега много. Очень плохо, совсем плохо — опасно.

Миновав крутизну, со вздохом облегчения выходим на громоздящийся ледопад. Здесь уже чуть спокойнее. Шалико красивыми поворотами плавно объезжает голубые глыбы льда, боковым соскальзыванием идет по участкам твердого наста. Юра[1] едет по его следу, повторяя движения Шалико. Вдруг он исчезает. Просто вот так: был Юра и — нет его. В это время Шалико останавливается, оборачивается и тут же, отталкиваясь что есть силы палками, быстро возвращается назад. Я подъезжаю чуть позже.

— Провалился! — кричит мне Шалико и смеется.

Смеется — это хорошо.

— Цел? — спрашиваю я.

— Да. Ругается, но там неглубоко.

Я подкатываю к зияющей дыре и вижу в трещине на глубине трех-четырех метров Юру. Он стоит на снежном мосту и обвязывается веревкой, сброшенной ему Шалико. Рядом с Юрой чернеет глубина. Может быть, там тридцать метров, а может быть, и все сто. Юре здорово повезло, что он упал на мост.

Юра Арутюнов — начальник горноспасательной службы Эльбрусского района. Это нас и ве-

[1] Шалико Маргиани, Юрий Арутюнов — мастера спорта по альпинизму.

селит. Но он невозмутим. Когда мы его вытаскиваем, он вновь собирается лезть в трещину за оставшейся там рукавицей. Мы его не пускаем, и он сердится с присущим ему кавказским темпераментом.

Вскоре мы выходим на ровный ледник и быстро летим на лыжах вниз. Позади грохочет. Лавины сошли слева и справа от нашего пути, но мы уже в безопасности и несемся, подгоняемые своими тяжелыми рюкзаками, по наклонному леднику, оставляя на его снегу узкий след.

Ледник, увалы морен под глубоким снегом, первые угнетенные березки и, наконец, лес. У основания кулуаров лес отмечен следами лавин: пригнутые к земле березы, сброшенные в реку стволы елей говорят о том, что здесь склоны всю зиму проутюживались снежными лавинами. Мы держимся подальше от таких мест или стараемся проскочить их побыстрее. Вдали показались башни Местии. На дороге появилась первая свинья.

Ох, уж эти сванские свиньи! Они похожи на кого угодно, только не на свиней. Это дикие кабаны, сплюснутые с боков, как рыбы. Черные или пятнистые, худые, со стоящей на загривке щетиной, они напоминают гиен со свиными пятачками и на антилопьих ножках. Многие сванские свиньи добывают себе пропита-

ние сами, кормятся в лесу и возле селений. А когда надо зарезать такую полуодичавшую свинью, приходится ее скрадывать с ножом, а то и просто стрелять.

Мы останавливаемся, и я переодеваюсь в сванский костюм. Конечно, это выглядит смешно, но это моя слабость. У каждого есть слабость, полагаю, моя не самая худшая.

Юра хохочет. Для него такой карнавал неожиданность, он не знал, что у меня в рюкзаке черкеска из настоящего домотканого материала. А Шалико доволен, улыбается.

— Ну что ты ржешь? — говорю я Юре. — Разве плохо?

— Нет, ты знаешь, хорошо, — отвечает он совершенно искренне, — но ты, наверное, последний сван, который еще носит черкеску.

К сожалению, он прав. Носить национальный костюм уже не принято в Сванетии. Традиция умерла. Об этом можно только пожалеть. Непонятно, как такое случается. Что может сван надеть на себя красивее черкески с газырями, перетянутой в талии тонким с серебряными бляшками ремешком? Совсем еще недавно этот костюм носил весь Кавказ. Только головной убор был различным: у осетин — мохнатая папаха, у балкарцев — расширяющаяся кверху каракулевая шапка, у имеретинцев — свернутый на голове калабахи, а у сванов — круглая войлочная шапочка-сванка («паг» по-свански). Почему шотландцы могут с гордостью носить до сих пор свои клетчатые юбки, а у свана на голове теперь напялена до ушей огромная «грузинская» кепка, вместо черкески — пиджак, вместо капа (рубашка с высоким воротником, застегивающаяся спереди) — галстук и на ногах вместо чаплер и зеткарел (гетры и обувь) — модные остроносые ботинки?!

Дом Мобиля Маргиани, отца Шалико, типичный современный дом сванов. Двухэтажный, просторный, нижний этаж из камня, верхний из дерева. Вдоль всего второго этажа идет веранда, внизу — большое помещение с железной печкой и длинным столом. Встреча весьма сдержанная, ни громких криков и возгласов, ни шумных проявлений восторга, ни слез. Скупые объятия для Шалико, рукопожатия для нас. Садимся к огню, переобуваемся, не спеша обмениваемся новостями и передаем приветы. Женщины неторопливо принимаются за приготовление еды. Иной мог бы подумать, что нам здесь и не рады вовсе, но мы знаем: все, что есть у семьи, будет сейчас на столе, наверху нам уже стелются постели с лучшим бельем и одеялами, где-то в подвале переливается в бутылки арака.

Братья Шалико — Илико, Валико и Датико — выходят к столу в черкесках. Достали из какого-то дальнего сундука черкеску и хозяину дома. Мобиль доволен, я еще больше. Жаль, если все это сделано только из уважения к чудаковатому гостю. Но, видимо, не совсем так. В движениях старика появилась какая-то величавость, в осанке ребят — гордость. Они выпрямили спины, держатся прямо, подтянуто. Перед тем как сесть за стол, мать Шалико обходит всех и просит каждого снять и отдать ей кинжал. Она собирает их и уносит куда-то вместе с поясами. Таков обычай. За столом люди должны быть без оружия.

Как всегда, ставя на стол все лучшее, что у них есть, хозяева извиняются за плохой прием, за плохое угощение, хотя всем яс-

но, что такую еду сами они видят не каждый день. Больше у них действительно ничего нет. Сваны небогатый народ. Что можно получить от скал, лежащих под самым небом? Ячмень, картошка, немного баранов, маленькие коровы да поджарые свиньи — вот и весь доход свана. Внизу же, если спуститься по Ингурской тропе к морю, мингрелы выращивают цитрусы и все, что твоей душе угодно. Недаром одна из сванских легенд утверждает, что Верхнюю Сванетию создал не бог, а дьявол Самаал. Дело было так: Христос как-то пошел в Верхнюю Сванетию, чтобы развести там виноградники, но Самаал опередил его. На обратном пути повстречал около селения Ашара — в десяти километрах от Цагери, на берегу Цхенисцхали. Здесь и ныне лежит плоский камень со следами ног Христа и отпечатком одной из частей тела Самаала. Дьявол уверил Христа, что он уже развел виноградники в Верхней Сванетии и в доказательство показал ему барбарис. «Такого красного винограда и мне не приходилось разводить», — сказал Христос и вернулся вниз. Верхняя Сванетия осталась без винограда и не только без него, бог во многом обделил маленькую страну. Но зато в Верхней Сванетии живут самые гордые и самые гостеприимные люди на земле.

Традиционные тосты, тосты, за которые нельзя не выпить: за удачный переход, за меня, за Юру, за Шалико, хозяина, хозяйку, братьев, за мир, за Сванетию... Много хороших слов и так же много стаканов напитка с резким специфическим запахом — араки. Чокаясь, стараешься из уважения друг к другу держать свой стакан ниже стакана партнера. Для этого наши руки со стаканами опускаются иногда ниже стола. Тогда протягивается ладонь, и мы чокаемся, сдвигая стаканы на ладони, чем уравновешиваем нашу значимость за столом, делаем себя равными.

Юра — художник. При свете керосиновых ламп он без конца делает карандашные наброски. Сейчас он рисует Мобиля. Мне его рисунок нравится, но у окружающих отношение к этому портрету сдержанное, главным образом из-за отсутствия фотографического сходства.

— Пойми, Шалико, — втолковываю я своему другу, — это рисунок. Сходство здесь не самое главное. Главное — образ.

— Какой образ?! — обижается Шалико. — Что, мой отец — образ?! Он нарисовал ему одно плечо и не хочет рисовать второго. Что, у моего отца одно плечо, что ли?!

— Да это не важно! Он может быть совсем без плеч... — продолжаю я.

Но Шалико меня перебивает.

— Это тебе не важно, — сердито говорит он, — а я хочу, чтоб у моего отца было два плеча, а не одно.

— Не болтай о том, чего не понимаешь! — теряю терпение и я.

— Кто здесь болтает?! — Шалико поднимается из-за стола во весь свой громадный рост.

Вскакиваю и я.

— Ты! Ты думаешь, что понимаешь в этом больше, чем художник или я?

— А ты кто такой?!

— А ты кто такой?! — Я ударяю по столу кулаком, звенят стаканы.

Отшвырнув стул, Шалико выходит из-за стола. Мы стоим с ним друг перед другом, словно

два петуха. Нас уже держат за руки.

Голова моя падает на грудь, и я говорю:

— Прости меня, Шалико, я не прав. Не тот разговор.

— Ну что ты... — отвечает он, — это я виноват, прости меня. Я не должен был так говорить, ведь ты гость в доме моего отца, — он заботливо берет меня под руку. — Тебе пора отдыхать. Пойдем, я отведу тебя наверх.

Когда меня раздевают, я бормочу уже что-то совершенно бессвязное. Однако мне хорошо запомнились руки Шалико, расшнуровывающие мои ботинки.

На следующий день мы прежде всего отправляемся посетить дом Илико Габлиани, нашего погибшего при восхождении на пик Победы товарища.

В одной из комнат его дома теперь что-то вроде маленького музея. По стенам развешаны его одежда, альпинистское снаряжение, ружье, бинокль, фотографии, грамоты. На столе стоит бюст погибшего, разложены памятные подарки от друзей. Одетая с ног до головы в черное дочь Илико посылает кого-то за матерью на работу. Появляются вино и горячие хачапури (лепешки с сыром).

...По какому-то непонятному для нас правилу визиты обусловлены заранее. На следующее утро нас ведут к Гварлиани, потом к Чартолани, потом к Кохиани...

Когда я впервые гостил в Верхней Сванетии у Иосифа Кохиани в его родном селении Жабеж, самом верхнем по ущелью Мульхуры, я устал от визитов и решил сбежать с ружьем в лес. На рассвете я оделся и прокрался на веранду. Но перед домом уже дежурили сванские мальчишки, жаждавшие увидеть «скальных тигров». Иосиф и Миша Хергиани[1] совершили несколько серьезных восхождений совместно с альпинистами Великобритании, а после блестящего прохождения сложнейших скальных стен на острове Скэй в Шотландии им было присвоено почетное звание «скальных тигров». Ребятишки были несколько разочарованы, не обнаружив у них когтей и хвоста, но оставались самыми ярыми поклонниками героев. В Сванетии ценят альпинистов. С трудом обманув бдительность юных поклонников моих друзей, я все-таки сбежал тогда и поднялся на лесистый склон.

Была осень, и горы пестрели желтыми кленами, разноцветными кустарниками и зелеными еще кое-где березками. Были здесь и шиповник, и малина, и какие-то неизвестные мне кусты с розовыми листьями. Полыхала огнем рябина, темными силуэтами на фоне всей этой игры красок выделялись ели и пихты. Если не видеть дали, снежных вершин и глубоких ущелий, на минуту может даже показаться, что ты находишься в русском лесу, среди елей, берез, рябин. И птицы вокруг те же — пеночки, синичка-московка, дрозд-деряба. Но стоит взглянуть себе под ноги и увидишь закругленные листья черники и алые ягоды брусники... среди рододендронов. А вслед за дерябой вылетит стремглав из кустов белозобый дрозд, типичный обитатель кавказских высокогорий. Это сразу возвращает тебя в Верхнюю Сванетию. И еще. Под-

[1] Иосиф Кохиани и Михаил Хергиани — заслуженные мастера спорта по альпинизму.

нимешь голову — перед тобой Ушба.

Ушба... Она поднимается в самом центре Верхней Сванетии, над Местией. Вид ее поражает, ошеломляет, пугает и восхищает. Два с лишним километра отвесных недоступных скал из розовых гранитов и гнейсов! Два с лишним километра отвеса над зеленым ковром лугов и над сверкающими ледниками! Попробуйте себе это представить. Нет, не получится, если вы не видели Ушбы. Не получится.

Я много видел разных гор — Кавказ, Тянь-Шань, Памир, Алтай, Саяны, Камчатка... Бывал в Татрах, поднимался на красивейшие вершины Альп Монблан и Маттергорн. Все горы прекрасны. Но Ушба одна. Нет и не может быть второй Ушбы.

Как-то довелось мне смотреть на нее в предрассветный час с ее соседки Шхельды. Пока светало, фантастические краски беспрерывно сменяли друг друга. Синие, розовые, лиловые, фиолетовые тона расплывались, переходили один в другой, издавали в дымке утреннего тумана какое-то своеобразное свечение. Цвета были яркими, насыщенными и совершенно неестественными. Да, да, неестественными. В жизни так не бывает, не видел. Это напоминало искусно подсвечиваемую декорацию, задник огромной, во все небо сцены, созданный художником, ничего общего не имеющим с реализмом. Стены Ушбы обрывались вниз, вглубь, куда-то под землю, в тартарары. Запрокинешь голову и не видишь за повисшим облачком самой вершины, посмотришь вниз и не видать под находящими с ледника облаками подножья Ушбы. Только стена. Страшная и прекрасная, грозная и возвышающая тебя над всеми жизненными невзгодами, над всем преходящим. Будто ты один на один с самой вечностью. Это было настолько грандиозное, настолько захватывающее зрелище, что я совсем забыл, кто я, где я и зачем я здесь. А был я в то утро руководителем спасательных работ, лежал на крохотном уступчике над пропастью и должен был организовывать спуск своего пострадавшего товарища по километровой стене Шхельды.

Не каждому дано вступить в единоборство с Ушбой. Но нет большего счастья для альпиниста, чем покорить ее, победить, стать ее властелином. Тот, кто выиграл этот бой, тот прежде всего победил самого себя, свои слабости, свой страх, все, что было в нем ничтожного, ползучего, мелкого. Тот, кто поднимется на Ушбу, навсегда поверит в себя. И ничем тогда его не сломить, ничем не запугать, ничем не остановить в самых дерзновенных мечтах и делах.

Одними из первых, кто поднялся на Ушбу, были сваны. Ночью на вершине они разожгли костер, чтобы все узнали о том, что нет на свете ничего и никого сильнее людей, что человек, выглядевший рядом с Ушбой ничтожной букашкой, может все... Даже победить Ушбу.

Кто такие сваны?

Коль скоро мы добрались до Сванетии, надо прежде всего рассказать немного о сванах. О сванах, в силу своеобразия их истории и культуры, высказывались порою совершенно фантастические предположения. Одни считали их персами по происхождению, другие утверждали, что это выходцы из Месо-

потамии и Сирии, находились даже такие, которые доказывали непосредственное происхождение сванов от древних римлян.

Основанием для таких гипотез были отдельные сходства в сванском и персидском языках, явно сирийские орнаменты на старинных сванских украшениях, а также некоторые итальянские элементы в древней архитектуре Сванетии.

Теперь можно считать правильным и научно обоснованным мнением, что сваны по своему происхождению картвелы, что они принадлежат к семье собственно кавказских, или яфетических, народов. Яфетидами назывались древнейшие жители Кавказа, его аборигены. Они дали три группы языков — абхазо-адыгейскую, чечено-дагестанскую и картвельскую. В свою очередь, картвелы разделились на кахетинцев, хевсур, тушин, пшанов, картвел-карталинцев и картвел-имеретинцев, гурийцев, аджарцев, мингрелов, лазов и сванов. Вся целиком картвельская группа разошлась на три ветви: первая — это грузинский язык, на картвельском наречии этого языка развилась вся грузинская культура и литература; вторая — мингрело-лазская и третья — сванская, создавшая свой совершенно обособленный язык.

Сванский язык никогда не имел своей письменности. Письменность была принята грузинская. Большинство сванов, таким образом, пользуются теперь тремя совершенно различными языками — сванским, грузинским и русским.

Что же касается Месопотамии и Персии, то теперь доказано — далекие предки картвел заселяли когда-то Малую Азию. В отношении связей с Италией дело обстоит несколько сложнее. Не исключено, что какое-то итальянское влияние проникло в Сванетию и принесло сюда совершенно чуждые другим районам Кавказа архитектурные формы. Зубцы сванских башен напоминают о Московском Кремле, будто вышли они из одних очень далеких, но общих корней. Известно, кремлевские стены строили в XV веке итальянцы. На Кавказе и в других местах есть сторожевые башни, скажем в Осетии, но нигде ничего подобного архитектурным формам сванских башен вы не найдете. Разве что в средневековой Италии...

Картвелы появились в Грузии за 1000 лет до нашей эры, когда же они поселились в Сванетии, доподлинно пока неизвестно. В Местийском музее можно видеть найденные в Сванетии предметы, принадлежавшие людям не только бронзового, но и каменного века.

Документы, книги, иконы, архитектурные памятники, с которыми удалось познакомиться и которые дают более или менее ясное представление об истории и древней культуре Сванетии, не уходят в глубь веков далее чем в X—XII столетия нашей эры. Легенды, предания и исторические песни тоже начинаются со времен царицы Тамары (умерла в 1211—1213 гг.).

Ясно одно — вся история и развитие культуры сванов, уклад их быта, обычаи и нравы связаны в первую очередь с двумя противоречивыми на первый взгляд явлениями. Это изоляция от внешнего мира и в то же время влияние грузинской культуры, главным образом через христианскую религию. Именно изоляция привела к сохранению и укреплению родового строя,

просуществовавшего до XX века, в то время как в Грузии родовой строй заменился царской властью еще за три века до нашей эры. Самоуправление, видимо, и послужило развитию обостренного чувства независимости сванов, непокорности князьям и царям, сложило сванский характер, гордость и отвагу — что же еще, кроме желания быть независимыми, всеми силами и даже ценой жизни сохранить свою свободу, могло создать эти башни, эти дома-крепости, это стремление к сохранению своего и только своего образа жизни?! Ведь Верхняя, или Вольная, Сванетия вела веками беспрестанную и упорную борьбу за свою свободу, с одной стороны, с князьями Дадешкелиани, захватившими западные общества, а с другой стороны — с князьями Дадиани, владевшими Нижней Сванетией.

Своими же историческими памятниками, церквами, книгами, написанными на пергаменте, по-древнегрузински, серебряными, и чеканными иконами, фресками и другими произведениями искусства давно ушедших времен Сванетия, безусловно, обязана влиянию Грузии, в которую христианство проникло из Византии в IV веке.

Сваны — небольшой народ. В настоящее время в Верхней Сванетии насчитывается всего около 20 тысяч жителей. Весьма интересны данные по соотношению полов для 1931 года. До 15-летнего возраста включительно в Верхней Сванетии мужской пол составлял 50,7% всего населения. Зато в возрасте 20—50 лет на каждых 100 женщин приходилось всего 70 мужчин. Это объясняется несчастными случаями в горах, на охоте, в лавинах, при переходе

перевалов, в горных реках, гибелью во время гражданской войны, да и результатом расцветшей в 1917—1924 годах кровной мести. К счастью, эта вспышка лицври была последней. Повзрослевшие ребятишки уравновесили уже это страшное несоответствие.

Чем характерны сваны теперь? Если закрыть глаза на неповторимую красоту природы Верхней Сванетии, на своеобразный, единственный в мире внешний облик ее селений и внимательно посмотреть на стоящих вокруг тебя людей, то увидишь прежде всего людей красивых. Они могут быть брюнетами, но среди них немало и блондинов с рыжеватым оттенком; кроме карих глаз, на тебя будут смотреть глаза серые и голубые; ты увидишь людей стройных, с гордой осанкой; лица, полные доброты, спокойствия и достоинства. А познакомившись с ними поближе, ты сможешь оценить их внутреннюю красоту.

Сейчас по Сванетии ходит много всякого народа, и все пока находят себе кров, приют и пищу в сванских домах. Сваны неторопливы, выдержанны и вежливы. Они никогда не обидят человека. Сванский язык отличается отсутствием бранных слов. Самое сильное ругательство у сванов слово «дурак». (Остальные заимствованы из других языков.) Но и это слово самолюбие свана не могло вынести, часто из-за него возникала вражда и даже кровная месть. Вежливость — в крови у свана. Очень приятно видеть отношение к старшим. Уважение к старшим, почитание стариков возведено в Верхней Сванетии в незыблемый закон.

Понятно, многое зависит от того, какими глазами смотреть, от того, что человек хочет увидеть. Например, доктор Орбели выпустил в 1903 году брошюрку о Сванетии. Он увидел здесь только болезни. А другой доктор, Ольдерочче, написал в 1897 году «Очерк вырождения в Княжеской и Вольной Сванетии». Если верить этому очерку, в Сванетии живут одни пьяницы, трусы и дикари. Этот доктор предсказывал полное вырождение сванов через полвека. Полвека прошло — и ничего... Подвела доктора его дальновидность.

Первым русским человеком, написавшим о Сванетии, был царский полковник Бартоломей [1]. Уж на что спесивый аристократ, а все-таки сумел рассмотреть и понять сванов: «Знакомясь все более с вольными сванетами, я убеждался, как несправедливы и преувеличены слухи о их закостенелой жестокости; я видел перед собой народ в детстве, людей почти первобытных, следовательно, сильно впечатлительных, неумолимых в кровомщении, но помнящих и понимающих добро; я в них заметил добродушие, веселость, признательность...»

С глубокой внутренней культурой, тактом и выдержанностью в характере свана уживаются безумная смелость и отвага.

Сваны — прекрасные альпинисты. Никто и никогда не скажет вам совершенно определенно, для чего люди стремятся к вершинам. С уверенностью можно только сказать одно — никаких материальных выгод это занятие не дает. Тут приобретаются лишь духовные ценности. Вера в

[1] «Поездка в Вольную Сванетию полковника Бартоломея в 1853 году». Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества.

самого себя. Поэтому альпинизм так по душе сванам. Это как раз в их характере.

Мне могут возразить: «Еще бы сванам не быть альпинистами, когда они живут чуть ли не на вершинах!» О, это будет непродуманное возражение! На Кавказе живет много народов, но ни у кого из них нет столько хороших альпинистов, как в Верхней Сванетии. Среди местного населения ни на Памире, ни на Тянь-Шане нет ни одного выдающегося альпиниста, скажем заслуженного мастера спорта. А это ли не горы? Существует, видимо, общая для всего мира закономерность — среди горцев почти не бывает альпинистов. Исключение составляют шерпы в Гималаях, сваны на Кавказе и жители Альп.

На эту черту сванов обратил внимание еще в прошлом веке учитель Кутаисского городского училища В. Я. Тепцов, не всегда лестно отзывавшийся о сванах. В своей книге «Сванетия», изданной в Тифлисе в 1888 году, он писал: «Иному горцу посулите рай Магомета за ледниками, он не пойдет, а сванет лезет прямо в пасть смерти... Говорят, что бродить за горы у сванет обратилось в такую же привычку, как кочевать у цыган».

В Верхней Сванетии более двадцати мастеров спорта и заслуженных мастеров спорта по альпинизму.

Двадцать известных альпинистов на маленькую страну, насчитывающую всего 20 тысяч жителей. Согласитесь, немало. Если же учесть, что половина населения женщины, а среди мужчин определенную и немалую часть составляют дети и старики, довольно долголетние старики, то по самым грубым подсчетам получится, что на 200—300 взрослых мужчин Верхней Сванетии приходится один мастер или заслуженный мастер спорта по альпинизму. Такого вы не встретите ни в одной другой горной стране мира, в том числе и в Непале.

В Верхней Сванетии уважаемыми людьми считаются шоферы и особенно летчики, люди, которые связывают страну с внешним миром, дают ей жизнь. Летчиков-сванов тоже много. Но ни к кому вы не встретите здесь такого теплого, такого любовного отношения, как к альпинистам. Хороший альпинист в представлении сванов — это настоящий мужчина.

Слава альпинистов Верхней Сванетии связана с Ушбой, вершиной, поднимающейся над Местией. Тот же В. Я. Тепцов писал в своей книге: «Пик Ушба у сванов известен, как обиталище нечистых. На его склоны ни один сванет не рискнет взобраться из-за суеверного страха — попасть к чертям».

Так оно и было когда-то. Сваны редко подходили к Ушбе, с ее неприступными стенами связано много суеверий и легенд. Вот одна из них, легенда о богине Дали, сванской Диане — богине охоты.

Жил на свете отважный охотник по имени Беткиль. Беткиль был молод, строен, красив и ничего на свете не боялся. Удача всегда сопутствовала ему, он никогда не возвращался с охоты с пустыми руками. Не испугался он и грозной Ушбы и, как его ни отговаривали, отправился охотиться на ее склоны. Но как только он поднялся к леднику, его встретила сама Дали — царица всех зверей. Она заворожила молодого красавца, и он, забыв про свой дом и род, остался с ней жить на Ушбе.

Долго они наслаждались своим счастьем, но однажды Беткиль глянул вниз, увидел башни своего родного селения и заскучал. Ночью он тайком покинул Дали и спустился вниз. А там его ждала, проливая слезы, вдова его брата, красивейшая женщина Сванетии. Беткиль отдался новой любви и забыл о Дали.

На большом празднике весь народ веселился и пировал, не прекращались песни, танцы и хороводы. И вдруг видят люди: через поляну бежит огромный, как лошадь, тур. Такого большого тура никто и никогда не видел. Не выдержало сердце отважного охотника, схватил он свой лук и погнался за туром. Тур скачет по широкой тропе, бежит за ним Беткиль, а сзади, как только он ступит, исчезает тропа и сразу обрывается в отвесные пропасти.

Но не испугался отважный Беткиль — он не боялся ничего на свете, — продолжает преследовать тура. И вот на склонах Ушбы тур исчезает, а Беткиль остается на отвесных скалах, откуда возврата нет. Тогда он понял, кем был послан этот громадный тур — самой богиней Дали.

Внизу под скалой, на которой остался Беткиль, собрался народ, люди кричали, плакали, протягивали к нему руки, но ничем помочь не могли. Тогда крикнул громко смелый юноша: «Пусть танцует моя невеста!» Расступились сваны, и возлюбленная Беткиля исполнила для него танец «шушкари». Снова крикнул Беткиль: «Хочу видеть, как моя сестра будет оплакивать меня». Вышла его сестра, и он смотрел танец плача и печали. «А теперь хочу видеть пляску народа!» Сваны повели хоровод с припевом о погибающем Беткиле. И тогда смелый красавец крикнул: «Прощайте!», и эхо разнесло его голос по горам. Беткиль бросился со скалы и разбился. Белый снег среди скал Ушбы — это его кости, его кровь окрасила скалы Ушбы в красный цвет.

С тех пор богиня Дали никогда больше не показывалась людям, а охотники не подходили близко к скалам Ушбы, где обитает богиня охоты.

В конце прошлого и начале нынешнего века прославившуюся на весь мир вершину пытаются покорить иностранные альпинисты. В Англии был создан даже «Клуб ушбистов». Членами его были английские альпинисты, побывавшие на Ушбе. Теперь в этом клубе всего один член — очень старый человек, школьный учитель по фамилии Ходчкин. Когда наши альпинисты в последний раз были в Англии, Женя Гиппенрейтер вручил мистеру Ходчкину наградной значок «За восхождение на Ушбу». Восьмидесятилетний старик не мог сдержать при этом слез. Почти все попытки подняться на Ушбу кончались неудачно. С 1888 года по 1936 год на северной вершине Ушбы побывало лишь пять, а на южной только десять иностранных спортсменов, всего 25 процентов альпинистов, штурмовавших Ушбу. На ее склонах за эти полсотни лет разыгралось и немало трагедий.

И вот в 1937 году, в тот самый год, когда Верхняя Сванетия увидела первое колесо, спортивная группа, состоявшая целиком из сванов, поднимается на южную Ушбу. Участники этого восхождения принадлежали к роду Хергиани, это были Виссарион и Максим Хергиани, сыновья одной матери, их родственники Габриэль и Бекно Хергиани и Чичико Чартолани.

Сваны поднимались напрямую, далеко не по самому легкому пути и попали на очень сложный участок скал. Это было первое советское стенное восхождение, первое восхождение, принесшее сванам славу настоящих альпинистов, подвиг, совершенный отцами и подхваченный их детьми.

Джграг

Дом тети Сары и дяди Николаса Хергиани в селении Местиа вполне мог бы служить музеем старого сванского быта.

Этот довольно сложно устроенный дом прежде всего каменный: строился с таким расчетом, чтобы его невозможно было поджечь. Состоит он из трех этажей и башни. Стены дома и башни украшались снаружи рогами туров, их было на стенах великое множество. Пропали рога сравнительно недавно, в Грузии вошли в моду турьи рога, их стали выделывать в большом количестве для вина. И рогов на стенах сванских домов не стало. Зато остались турьи кости. Их никогда не выбрасывали, а складывали в башне. Убить тура из лука и даже из кремневого ружья дело нелегкое, поэтому кости тура говорили о ловкости и охотничьем искусстве хозяина дома и его предков.

Средний этаж — мачуб — служил зимним помещением. Большая комната, скорее даже зал с одной узкой бойницей вместо окна. Тонкий луч света и в самый солнечный день не освещает помещения, тут всегда полумрак. Вдоль трех стен идут помещения для скота. Смотрятся они как театральные ложи, из которых выглядывают не меломаны, а рогатые морды коров и быков. Каждая такая ложа обрамлена закругленным сверху окном с деревянной резьбой. Амбразуры эти соединены сплошной деревянной и тоже резной стеной. Бывает у этих ложи и бельэтаж. Верхние амбразуры тогда поменьше, и из них выглядывают овечьи морды. Весьма декоративно. В сванском доме-крепости скот должен был всегда находиться при людях, чтобы в случае нападения врагов его нельзя было увести со двора. Вдоль четвертой стены идет такая же резная перегородка, где помещены шкафы с полками для посуды и продуктов.

Посередине зала горит костер. Никаких печей у сванов не было. Просто очаг, и над ним повешена во избежание пожара большая каменная, обычно из шифера, плита. Бревна, поддерживающие эту плиту, на концах украшены деревянной скульптурой в виде воловьих голов, реже лошадиных или турьих. Дым от огня выходит через окно-щель и через щели потолка в верхнее помещение, а там через крышу. Возле очага установлена на треноге или иной подставке другая шиферная плита, поменьше. На ней пекли лепешки.

Медные котлы для варки пищи вешались над огнем на очажной цепи. Кованая и всегда очень древняя цепь — предмет священный, символ очага, символ семьи, дома, рода. На ней клялись, на ней проклинали. Унести ее из чужого дома считалось страшным оскорблением, смываемым только кровью. Хороши в доме тети Сары светильники, один для пола, другой подвесной. Оба кованые, круглые, с четырьмя бычьими мордами. Служили они подставками для

лучины, так же как и русский светец.

У очага стоит украшенное деревянной резьбой кресло — место старшего, главы семьи. Удобное, с подлокотниками кресло напоминает трон, эмблему власти. Напротив — место для детей, а по бокам располагаются деревянные диваны, тоже с резьбой, по одну сторону — для мужчин, по другую — для женщин. Поодаль от очага такие же диваны заменяют кровати, но бывали в иных домах широкие и удобные кровати, резные и красивые. В углах могут стоять большие лари для зерна и муки, сундуки для одежды и огромные медные котлы для варки араки. Иногда встречались еще низенькие столики и трехногие табуретки, они чаще стояли наверху, в дарбазе.

Летнее помещение — дарбаз располагался над мачубом. Зимой тут сеновал. Дарбаз соединяется с мачубом небольшим закрывающимся отверстием, в него прямо на пол мачуба сбрасывают сено скотине. С пола сено подбирают и отправляют в резные окна. На лето из мачуба часть мебели переносили в дарбаз и жили там. Мачуб пустовал летом.

В нижнем этаже сванского дома имеется нежилое помещение, оно использовалось как подвал или подземелье. Тут нет окон, стены сложены из огромных, иной раз до двух метров в длину, камней, и выглядит этот этаж мрачно. Здесь так же, как и в башнях, отсиживались при осаде, держали в этом каменном мешке пленных и украденных для выкупа. По словам дяди Николаса, воровать людей из соседних селений или обществ было делом довольно обычным для сванов. Существовала даже определенная такса для выкупа украденных людей, она обычно исчислялась не быками и не землей, а оружием. Например, молодая и красивая девушка была «эквивалентна» позолоченному ружью.

В углу подземелья Хергиани стоит огромный, ведер на тридцать, резервуар для воды. Недавно он раскололся, и теперь можно видеть, что внутри он сделан из обожженной глины, а снаружи обложен мелким камнем, скрепленным известью.

Сводчатый потолок подземелья весь белый от толстого слоя плесени. Она свисает хлопьями в несколько сантиметров длиной. Дядя Николас утверждал, что из этой плесени сваны изготавливали порох, что порох получался в виде черного порошка, наподобие муки. Мне как-то не очень поверилось в это тогда, я взял щепоть плесени и завернул в бумажку. В Москве я отдал ребятам из МГУ это вещество для химического анализа. И точно, они подтвердили, что в состав белого налета, покрывающего потолки в сванских подземельях, входят сера и селитра.

Дядя Николас порадовал нас игрой на чуните. У сванов два музыкальных инструмента: щипковый инструмент чанг, напоминающий лиру или кефару, с которой древние греки изображали предводителя муз Аполлона, и чунир, или чанур, смычковый инструмент, вроде предка скрипки или скорее виолончели. Когда они звучат вместе, на чуните идет мелодия, а на чанге аккомпанемент.

По сванской легенде, чанг — это рука певца и музыканта Ростома, народного сванского героя, напоминающего греческого Орфея. После смерти Ростома на его окостенелой руке сами

натянулись струны. Чанг — инструмент печали. Когда-то на нем играли у постели умирающего, раненого воина или охотника, разбившегося в горах. Звук его успокаивает, как колыбельная песня.

Звучание чунира тоже весьма грустное. Чунир дяди Николаса был круглым, обтянут кожей. Три его струны, изготовленные из конского волоса, натянуты на деревянный гриф и укреплены на колках. Смычок тоже волосяной. Щемящий, скорбящий звук чунира красиво сливался в мелодии с голосом старика. Пел дядя Николас, как и поют всегда под этот инструмент, с закрытым ртом, едва слышно. Музыка интимная, она не годится для большой аудитории. Зато, когда ты сидишь вот так рядом с 78-летним стариком и он, закрыв глаза, неторопливо выводит свою печальную песню, кажется, что это волшебник, остановивший время.

Мы бродили по Местии с моим старым другом Михаилом Хергиани. Потом с ним же отправились верхом в Ушгули. Тем, что и как мне удалось увидеть в этот раз в Сванетии, я обязан только ему.

Михаил Хергиани — национальный герой Сванетии. Нет свана, который бы не знал этого имени. Нет и такого альпиниста во всей нашей стране. Миша носит все звания, какие только есть в советском спорте. Он мастер спорта СССР, почетный мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер... Всего не перечесть. Его замечательные спортивные успехи у нас и за рубежом прославили его как одного из сильнейших альпинистов мира. О Михаиле Хергиани я написал отдельную книгу («Горы и люди»). Сейчас же я хочу только сказать, что, когда мы путешествовали с ним по Сванетии, перед нами открывались все двери. Даже двери с очень старыми, заржавленными замками, которые сваны так не любят открывать.

— Вот это церковь Мацхвар, — говорит Миша, — церковь нашего селения. Тут, под этими могилами, находится большой склеп, в нем хоронили десять веков, — указывает он на небольшую зеленую лужайку с едва заметными холмиками и несколькими надгробными плитами.

Церковь, как и все церкви в Сванетии, небольшая, простой, почти кубической формы, с узкой щелью — бойницей. Она обнесена невысокой полуразвалившейся оградой из камня, в которую ведет низкая дверь.

— Если хочешь, мы можем потом попасть внутрь. Только это не сразу, надо поговорить.

— Обязательно! — обрадованно говорю я. — Мне до сих пор не удавалось еще проникнуть ни в одну сванскую церковь.

Миша заводит меня в продолговатую пристройку перед входом в церковь. В закопченных каменных стенах глубокие ниши, под ними старые, полусгнившие скамейки. Посреди пола видны остатки костра.

— Здесь мы мальчишками собирались на лампроб. Жгли березовые дрова, рассказывали страшные истории. Я очень любил рассказывать про Дэва.

— Что такое лампроб?

И Миша объяснял.

Местиа состояла из четырех отдельных селений — Ланчвал, Лагам, Лахтаг и Сети. Многие селения Верхней Сванетии называют теперь по-грузински, с при-

бавлением буквы «и» к концу слова: Лагам — Лагами, Кал — Кали, Ушгул — Ушгули. Мы будем называть их по-свански. Селения Местии, как и все селения Верхней Сванетии, хоть и не похожи ни на какие другие в мире, зато весьма похожи друг на друга. Те же дома-крепости с узкими бойницами вместо окон, те же башни, похожие друга на друга церкви с такими же бойницами. Названия селений Местии существуют и по сей день, только Джграг уже соединился домами с Ланчвалом, а Ланчвал с Лахтагом. Лишь Лагам стоит еще в стороне. Но и к нему протянулась уже цепочка современных «несванских» домов.

Каждое из селений Местии имеет свои церкви и свои праздники. В Лагаме церковь Мацхвар, в Ланчвале — Тарингзел, в Сети церковь святого Георгия и в Лахтаге — Натанцвель и Ламария. Кроме этого, есть над селением еще общая церковь, Пуст называется.

Праздник в Лагаме бывает в феврале и длится целую неделю. Начинался он с того, что лагамцы возле Мацхвар строили на большом камне высокую снежную башню. В середине этой башни устанавливается бревно с крестом наверху. Мужчины, желающие иметь сына, приходили сюда рано утром и закладывали фундамент башни. Считалось, что это помогает. Отсюда, кстати, и пошел обычай — желающих иметь сыновей много, каждый из них положит несколько комков снега — вот тебе и башня.

Попозже возле башни собирается вся Местиа. Пока башня еще не совсем готова, кто-нибудь пробует подняться по столбу до самого креста. А столб выбирали нарочно гладкий и скользкий, не очень-то и заберешься. Когда башня была готова, начиналась игра. Пришедшие гости стараются повалить башню, лагамцы ее защищают. Гости копают, отбрасывают руками снег, а хозяева оттаскивают их за ноги, кидают в них снежками. Конечно, смех, веселье, возня...

Наконец башню заваливают. Начинается борьба за столб, напоминающая перетягивание каната. Гости тянут бревно вниз по склону, им легче, а лагамцы вверх. Обычно побеждали гости. Эта игра с башней называется «джгвиб», что означает по-свански «бей».

Потом за оградой растаптывают площадку на снегу, и происходит либергел — национальная сванская борьба. Борются, держа противника за ремень. Против победителя выходит новый борец. Победителем — меркленом считается тот, кто сбил противника с ног или поставил его хотя бы на колено, не обязательно класть на лопатки. Происходили и другие спортивные состязания, например, по поднятию тяжестей. До сих пор лежит на площадке около церкви большой камень с двумя «ручками». Еще мальчишкой Миша пробовал поднять его, но оторвать от земли не мог. Потом это, наконец, удалось. Вскоре он начал бросать его уже через голову, а теперь говорит: «Как приеду домой, сразу подойду к этому камню. И с каждым разом все больше удивляюсь — он становится все легче и легче».

Бывало, устраивали на границе владений Лагама общую борьбу, стена выходила на стену. Боролись по правилам, применять кулаки или браться ниже пояса запрещалось. На праздник приходили всегда без оружия, и не было случая, чтобы при этом

возникали драки или ссоры. Эта борьба заканчивалась исполнением общего кругового танца «Лачхаш». Конец игр объявляли старики, и тогда все гости и хозяева исполняли песню-хоровод «Курья», в которой просили у своего защитника Мацхвара[1] помощи в семейных делах, здоровья и хорошего урожая. Тогда уже приглашали гостей, расходились по домам и неделю пировали.

А дети собирались в эти дни в церковной пристройке на лампроб. Каждый приносил с собой обязательно березовые дрова, посередине помещения разжигался костер, и начиналось соревнование на самый лучший рассказ. В сказках и легендах действовали герои, боги, черти и всякая нечистая сила, кони, пастухи, охотники. Самым частым персонажем был лесной человек — Дэв. Он был очень сильным, иногда о двух или о трех головах, всегда причинял людям зло, и справиться с ним не было никакой возможности. Этот самый Дэв любил доставлять неприятности не только людям, но и сванским богам, богине охоты Дали, повелителю гор Али, владыке лесов Ансаду, богу неба Гербету и богу араки Салому. Боги еще кое-как с ним справлялись.

Страшные истории, сказки и легенды рассказывались до поздней ночи, в эти дни детей не ругали за то, что они приходили домой так поздно.

В церковь Мацхвар я попал. И не только в нее, мне удалось побывать во всех церквах Местии. Это произошло, конечно, благодаря авторитету Миши. До сих пор мне не удавалось проникнуть ни в одну из них. В общем-то мне никогда раньше в этом не отказывали, но начинали искать ключи и никогда почему-то не могли их найти. Сваны, как никто, бережно относятся к своим церквам и их содержимому. Не из одних лишь религиозных соображений, а потому, что свято берегут все связанное с их стариной. Об этом много еще будет сказано.

Ключи от Мацхвара оказались у матери Ливана Хаджилани, талантливого сванского художника. Она учительница, и ее не заподозришь в религиозности, общество доверило ей ключи потому, что она лучше других понимает цену сокровищам, хранящимся в Мацхваре. Туристам в сванские церкви путь закрыт, им туда ни за что не проникнуть. И это, наверное, хорошо: туристов тысячи, а знатоков искусства XI—XIII веков среди них не так уж и много. Гораздо меньше, чем любителей оставлять свои имена и фамилии на стенах исторических мест. Кому действительно надо, тот сумеет найти пути в сванские церкви.

Церкви в Сванетии по своей архитектуре резко отличаются от всех остальных сванских строений. В них нет ничего самобытного, сванского. Форма их была перенята из Грузии. Но зато в гражданском зодчестве вы не увидите ни элементов, ни приемов церковной архитектуры. Обычно церкви здесь одноэтажные, состоят из одного помещения, которое заканчивается с восточной стороны полуциркульной апсидой; во внешнем объеме здания она не всегда выражена. Эти церкви скорее напоминают часовни. Иногда к ним пристроены с одной или двух сторон притворы, почти всегда более позднего происхождения.

---

[1] Мацхвар — сванское наименование Иисуса Христа.

Башни и дома-крепости сванов никогда не строились из туфа, а церкви обязательно сложены из этого местного материала. Из туфа же вырубались и капители, венчающие пилястры, и орнаменты, украшающие стены и проемы в них. Внутреннее перекрытие — сводчатое, наиболее часто встречается цилиндрический свод. Они очень малы, эти церкви, вместе с алтарем площадь их не превышает 20—30 квадратных метров. Возле церквей можно видеть родовые кладбища, столы и скамьи из шиферных плит, на которых располагаются сваны во время праздников. Почти у каждой такой церкви растет старое священное дерево. Возле Мацхвара остался от дерева лишь огромный пень с корнями, который никто не решается выкорчевать, хоть он и мешает проходу.

Церкви настолько малы, что молящимся в них просто не разместиться. Да они для этого и не предназначаются, в них заходят только затем, чтобы поставить свечи и принести дары, а все праздники и похоронные обряды происходят вне церкви, под открытым небом. Крохотные полукруглые алтари в виде ниши и с окном-бойницей не отделяются сплошным иконостасом, как в русских православных церквах, а отгорожены каменной аркой с двумя колоннами. Царских врат и боковых дверей в них нет, но по бокам алтаря всегда имеются ниши, в которых сложены старые книги и различные реликвии. Тут могут храниться как чисто церковная утварь, так и различные драгоценные вещи — старинное оружие, одежда, посуда. Многие из этих предметов представляют собой огромную научную и художественную ценность, но часто среди этих вещей попадаются новые и дешевые безделушки в виде медных подстаканников или ширпотребовских рогов для вина из магазина сувениров. Однако все так здесь и будет лежать. Вынести что-либо из церкви никто не имеет права.

В Мацхваре я нашел, например, среди предметов глубокой старины бильярдный шар и примусную головку. Когда я обратил на это внимание своих провожатых, мне строго было заявлено, что это не простой бильярдный шар и не простая примусная головка. Раз они сюда попали, значит так надо. Пришлось прикусить язык.

Наибольшую ценность сванских церквей составляют чеканные серебряные иконы, многие из которых относятся к X—XII вв. Живописных икон тех времен в Верхней Сванетии почти не осталось из-за плохого хранения.

Но не менее ценны и фрески. Кое-где сохранились стенные росписи, представляющие для историка и искусствоведа огромный интерес. Верхняя Сванетия среди других районов Грузии считается одним из первых мест по количеству и разнообразию сохранившихся стенных росписей X—XII веков. Разнообразие их состоит в том, что мы встречаем здесь произведения самых разных достоинств (с точки зрения искусства) — от лубочных фресок церкви Барбар в селении Хе до артистически выполненных произведений монументальной живописи в церквах обществ Пар, Кал, Ушгул. Единственное окно-щель церкви никогда здесь не закрывается, стены бывают в трещинах, кровли иногда текут, двери прикрываются неплотно и держатся на заржавленных старых петлях. Из-за этого внутрь церквей попадает вода, снег. Прибирать внутри не принято. Никто и никогда не об-

метает, не вытирает пыль с икон, не чистит утвари. Поэтому на старых живописных иконах изображений не осталось, а настенная роспись, фрески, представляющие в отдельных случаях весьма ценные памятники сванской культуры, сохранились очень плохо.

В церкви Мацхвар стенная роспись все-таки различима, видимо, она помоложе, несколько моложе самой церкви. Надо полагать, эта грузинская живопись насчитывает семь-восемь веков. Святые изображены здесь в кольчугах и с оружием в руках. Хранятся тут и старинное облачение священника, несколько досок с исчезнувшей живописью, две печатные книги, несколько старинных посохов, оловянная чаша русского производства, два русских же колокола и 12 замечательных, драгоценных серебряных окладов и икон, очень старых и выполненных с большим мастерством.

Позже я узнал, что видел далеко не все, что самые ценные (ценные в номинальном смысле — золотые) вещи спрятаны в одном из тайников, о местонахождении которого знают всего лишь два старика.

В Таринтзел [1], церковь селения Ланчвал, меня свел отец Шалико — Мобиль Маргиани. Эти двери тоже открылись передо мною не сразу. Мы знакомы с Мобилем не один год и всегда были в самых лучших отношениях, но ключа от церкви Таринтзел он не мог найти несколько лет. Наконец Мобиль полез в щель между камнями своего дома и вынул оттуда завернутый в тряпочку ключ. При этом он извинялся и оправдывался, говорил: недавно тут тоже была одна «журналистка» и тоже ходила по церквам, а потом оказалась спекулянткой. «Тебя-то мы достаточно знаем, — говорил Мобиль, — не обидятся люди теперь, если я пущу тебя в церковь!» Мобиль плохо говорит по-русски, но я его понимал, все, что он сказал, не показалось обидным, наоборот, такая преданность долгу только усилила мое и без того большое уважение к старику. После этого я переступил порог Таринтзела с еще большим благоговением.

Мы пришли с ним одни, но поодаль все время стояли несколько стариков и старух и молча наблюдали за всеми нашими действиями.

По словам Мобиля, Таринтзел — вторая после Пуста по древности церковь Местии. Содержимое ее оказалось побогаче всех остальных местийских церквей. Тут было уже около 30 чеканных по тонкому серебряному листу икон грузинской и местной работы XI—XIII веков. Многие из них буквально рассыпаются уже в прах. Кроме них, тут хранятся четыре обитых серебряными пластинками с чеканкой креста и старинный шлем сванского воина. В двух котлах сложены различные мелкие предметы, не имеющие отношения к религии. Среди них я запомнил несколько совершенно заржавленных сабель. Ну конечно, колокол и несколько совсем молодых икон в дешевых безвкусных окладах и киотах, икон даже не живописных, а литографских.

Мобиль молился, держа перед собой в обеих руках бутылку с аракой, а я рассматривал реликвии. Колокол, конечно, был русский, не более чем столетней давности. Со старославянской

[1] Таринтзел — сванское наименование святых архангелов.

надписью и с указанием фамилии владельца завода. В давние времена в Верхней Сванетии не пользовались колоколами. Колокольный звон для Сванетии нововведение XVI века. Раньше, да долго еще потом, сваны пользовались для подачи сигналов прямыми медными трубами, называемыми «санкур». Такие же трубы были у египтян, ассирийцев, ханаийцев и персов. Звуки санкура далеко разносились по горам и были слышны не хуже колокольного звона. Они предупреждали сванов о приближении врага, звали на праздники, извещали о происшедшем несчастье.

Обычно в Сванетию попадали колокола грузинского происхождения, но тоже не раньше XVI века. Один из таких колоколов описал Бартоломей. У полковника была оригинальная страсть — он собирал надписи. Списывал их со стен церквей, с икон, с крестов, с оружия и переводил, объяснял, истолковывал. В общем-то полезное дело. В своей книге он приводит такую надпись, найденную на большом колоколе церкви святого Иоанна: «Мы, Царь Царей, Александр, сын Леона, прислали из Кахетии колокол сей в потребу служения Св. Храма твоего Пророче Иона Латальский. Ныне предстательством твоим защити меня от треволнений в сей и другой жизни, так же невредимо, как невредимо сохранил тебя Бог от моря и кита морского. В год хроникона 286 (1598 от Р. Х.)».

Хотелось сфотографировать древние чеканные иконы, но в сванских церквах всегда царит полумрак. Я спросил у Мобиля, нельзя ли кое-какие иконы вынести наружу, чтобы сфотографировать. Мобиль долго и печально смотрел на меня и сказал: «Не могу. Этого, Саша, не могу». Чтобы окончательно не огорчать старика, пришлось здесь же, в церкви, выпить стакан крепкой араки.

Праздник Тарингзел в селении Ланчвал называется «ликреши» и происходит зимой. Каждая семья селения режет барана, роды Маргиани и Густалиани по очереди жертвуют для этого праздника быка. В первый день праздника лангвальцы пируют сами, а в остальные дни приглашают в гости родственников. По правилам этого праздника никто не должен уйти из Ланчвала на своих ногах, самостоятельно, без провожающих. Если в компании оказывается трезвый, устраивают чаги: ставят человека на колени, независимо от того, мужчина это или женщина, и подносят рог с крепкой аракой. Надо выпить его, не поднимаясь с колен. Если женщина не в силах выполнить этот ритуал, ей может быть сделана уступка, тогда ее выручает мужчина. Какое счастье, что я никогда не попадал на ликреши!

Натанцвель[1] в Лахтаге — церковь, принадлежащая роду Хергиани. Здесь и родовое кладбище. Хергиани — древний род. Он дал несколько ветвей. Сейчас в Сванетии существует 67 семей Хергиани.

Стоящая рядом с домом Сары и Николаса церковь Натанцвель пуста. В ней нет уже ничего, кроме многовековой копоти от свечей и паутины. Последняя ее реликвия — большая серебряная рыба — исчезла лет двадцать назад. Кто-то из стариков так запрятал ее, что после его смерти найти рыбу уже не удалось.

Натанцвель имеет два праздника. Весной на праздник лескери

---

[1] Натанцвель — сванское наименование Иоанна Предтечи.

собирается весь род Хергиани. Режут баранов, на каждый двор хергианцев пекут по три огромные лепешки — хачапури. Пьют араку и просят своего бога-покровителя Натанцвеля о даровании роду всяческого благополучия. На втором, осеннем празднике режут быка и, если нет траура, поют песни, танцуют, устраивают хороводы. Особенно популярен здесь круговой танец «Лачхаш».

Есть еще день поминовения усопших. 4 февраля на родовое кладбище приносят березовые дрова, зажигают костер и поминают мертвых.

Церковь Ламарии[1] в Лахтаге считается женской. Церквей с одинаковыми названиями в Верхней Сванетии немало, в том числе и Ламарий. И везде почему-то я встречал со стороны мужчин-сванов несколько ироническое отношение к Ламарии. Они любят говорить, что женщины собираются в Ламарии, чтоб посплетничать о своих мужьях, одних поругать, другими похвалиться. В местийской церкви Ламарии есть праздник лильшоми, он отмечается в июле. В этот день сюда собираются женщины селения и обращаются к святой каждая со своими нуждами. Потом пекут лепешки и пьют араку. Находится церковь в ведении рода Чартолани. Бывал здесь еще и другой праздник, собиралась молодежь, играла и веселилась, пела и танцевала до утра. Уже без всякой араки. В церквах Ламарии, что довелось мне видеть, внутри ничего нет. Разве что плиты для изготовления лепешек, такие же каменные сиденья да пучок разноцветных тряпочек и лоскутков, привязанных в знак напоминания богу о своих просьбах. Обычай в общем-то не христианский.

Теперь Джграг. Это сердце Сванетии, да простится мне такая затасканная метафора. Но иначе не скажешь. Сердце. Местиа — центр Верхней Сванетии, а Джграг — центр Местии. Но не только. Это понятие, тождественное для сванов понятию «родина», «народ», всему самому дорогому в человеке. По какому бы поводу ни было торжество, сваны поднимают тост за Джграг. «За наш Джграг». «Джграг не раз меня выручал, — говорил Миша. — Как-то на стене Тютю-Баши была полная безнадега, не было выхода, надо было умирать. Все померкло, остался один Джграг. Он дал надежду и силы».

Что такое Джграг? Формально это небольшая территория с краеведческим музеем (расположен в бывшей церкви святого Георгия), с кладбищем, с кинотеатром, универмагом, гостиницей... Здесь посреди площади часами могут стоять подвыпившие бездельники, расхаживать самоуверенные туристы, гулять по асфальту свиньи. Тут стоят оштукатуренные и окрашенные в нелепую розовую краску дома, не несущие в своей архитектуре ничего сванского. Но вместе с тем это мозг Верхней Сванетии, его душа и сердце, символ родины.

Краеведческий музей в Местии интересен, но беден. Располагается он в двух помещениях, в доме, специально для него построенном, и в церкви св. Георгия. Какая-либо литература по истории, этнографии и искусству Верхней Сванетии в музее совершенно отсутствует. Единственное, что удалось нам найти там, это великолепные книги о Кав-

[1] Ламария — сванское наименование богоматери.

казе Дугласа Фрешфильда[1], изданные в прошлом веке в Лондоне. Они, конечно, на английском языке. Эти книги привез из Англии в качестве подарка профессор Ален, побывавший в Сванетии в 1967 году. Фрешфильд был не только блестящим альпинистом, но и замечательным ученым, ученым старой школы. Он дал подробнейшее описание Кавказа и в том числе Сванетии. Тут и география, и этнография, и история, и даже оригинальная, подробнейшая для того времени геологическая карта. Книги снабжены прекрасными фотографиями, в том числе цветными. Умели работать ученые в XIX веке! Кроме книг Фрешфильда, в музее имеется еще каталог литературы о Сванетии. Но самой литературы нет. Ее негде взять молодому музею. Надо несколько лет копаться у московских букинистов, чтобы хоть что-нибудь найти. Книги о Сванетии давно не издавались.

Не будем описывать экспозиции музея, они доступны каждому. Видел я кое-что и из запасников и должен сказать, что в некотором отношении, скажем, в отношении искусства X—XII веков, музей беднее, чем церковь Тарингзел, я уж не говорю о церкви Квирика и Юлиты в верховьях Ингури. У работников музея, больших энтузиастов своего дела, трудное положение. Они не могут, в силу сложившихся сванских традиций, заполучить наиболее интересные в историческом и художественном плане ценности из церквей селений. Пока это совершенно невозможно.

У краеведческого музея большая и чрезвычайно сложная задача — сохранить памятники своеобразной, единственной и неповторимой сванской культуры, памятники, представляющие собой огромный научный и художественный интерес.

Праздник Джграг, «праздник льва», пожалуй, самый красочный в Верхней Сванетии. Проводится он в июле. Его организовывают роды Полиани, Ротияни, Чадлиани и Нигуриани. Начинается праздник со скачек. Все желающие одеваются в национальные костюмы, садятся на коней и соревнуются в искусстве верховой езды, в ловкости и быстроте. Происходят скачки в самом центре Местии. Четыре круга. Финиш у Джграга, у церкви святого Георгия, в честь которого и организовывалось торжество. Победителю скачек вручают знамя «льва», с ним он гарцует по селению под всеобщее ликование.

Знамя это хранится в музее. Старики говорили мне, что оно отнято у татар, хотя не совсем понятно, как это могло произойти: ведь за всю историю Верхней Сванетии на ее территории не было внешнего врага — ни арабов, ни персов, ни турок, ни татар. Один-единственный раз царскому правительству в 1875 году удалось ввести войска в Вольную Сванетию и обстрелять из пушек «непокорных горцев» в селении Халдэ. Знамя сшито из желтого материала мешком и таким образом, что в руках скачущего победителя оно надувается на ветру и приобретает форму ринувшегося в прыжок льва. «Лев» — одна из самых драгоценных реликвий сванов.

Обычай этот очень древний, понятно, «лев» не мог сохраниться в течение многих веков, вре-

[1] Freshfield, The Caucasus. London, 1896, т. т. I и II; Central Caucasus and Bashan, London, 1869.

мя от времени его приходилось обновлять. В последний раз «лев» был сшит заново и точно по образцу старого в 20-х годах нашего столетия. Но наконечник древка знамени и рамка пасти «льва» подлинные, настоящие. Сваны считают пасть «льва» подарком царицы Тамары. Наконечник искусно изготовлен из серебра, на нем изображены чеканкой фигуры воинов или святых и имеются надписи на древнегрузинском языке. Величиной наконечник чуть больше ладони.

На этом празднике можно увидеть сванов в их национальной одежде. Кроме осер — черкески с газырями и надетой под нее рубашки с высоким воротником и самодельными пуговицами из ниток (рубашка называется по-свански «кап»), в национальную одежду свана входят поясок с бляшками и подвесами, кинжал, круглая войлочная шапочка-сванка («паг»), на ногах — зеткарелы и чаплеры. Сваны не носили сапог. Вместо них они надевали на ноги что-то вроде гетр или краг из шерстяной материи — зеткарелы. Зеткарелы схватывались ремешками под коленями, на этих ремешках были такие бляшки, как и на поясах. На ногах же носили туфли из мягкой кожи — чаплеры. Для хождения по горам и для охоты такая обувь удобна — нога не скользит на камнях.

Два дня мы с Мишей потратили на то, чтобы сделать себе настоящие сванские пояса. Для этого нам пришлось посылать младшего брата, Эвереза, по домам собирать остатки старых поясов. Он принес несколько обрывков совершенно сгнивших ремней, выброшенных и никому не нужных. После долгих комбинаций нам удалось составить из них два пояса с одинаковыми бляшками. Бляшки мы извлекали и раскладывали на столе, подбирая рисунок. На моем поясе красуются теперь медные бляшки, повторяющие форму полумесяца. Они, конечно, не сванского и не грузинского происхождения, а мусульманского. Пояса с такими бляшками могли попасть сюда из других мест Кавказа, скорее всего из Кабардино-Балкарии. А вот у Миши получился настоящий сванский пояс с серебряными бляшками и черненными с остатками золочения подвесами. Основным рисунком, вернее — основой рисунка, здесь служит крест, причем крест почему-то мальтийский.

Сванских поясов, газырей для осеров и других предметов одежды почти не осталось. А почему бы не заняться их изготовлением, не создать для этого в Местии небольшую артель? Кстати, в Верхней Сванетии нет никакого промышленного производства. Почему бы не изготавливать эти вещи, хотя бы в качестве сувениров? Думаю, появись они в продаже, туристам сванские пояса, газыри, кинжалы (пусть бутафорские) понравились бы. Да и сами сваны покупали бы их очень охотно. Мы говорили об этом с секретарем райкома комсомола Сванетии. Он сказал, что вопрос об изготовлении сванских сувениров стоял уже неоднократно и стоит до сих пор.

Проезжая на автомобиле с юга на север Францию, я видел в праздничные дни крестьян, одетых в свои национальные костюмы. Даже в будние дни они носят деревянные башмаки — сабо. Надо полагать, не от бедности, а из любви и уважения к традициям своего народа. Что-то похожее приходилось видеть в Италии. Причем, каждая провинция

имеет свой костюм. А польские горцы гуралы? Все извозчики в Закопане одеты в яркие национальные костюмы, они знают, что это красиво, нравится людям и те охотнее сядут в их сани, чем в сани обычно одетого возницы. А голландцы со своими деревянными клумпами?! Они даже за границу в них едут. Когда было первенство мира по конькам в Норвегии, три тысячи голландцев с гордостью стучали по улицам Осло своими деревянными башмаками. Я не был в Шотландии, но там был Миша, и он рассказывал, что на воскресенье и на праздники мужчины-шотландцы надевают клетчатые юбки. Юбка юбкой, это их дело, нам кажется, это не самая лучшая одежда для мужчины, но разве черкеска не одежда для мужчины?!

Тут существует удивительный парадокс — сванской молодежи национальная одежда представляется чем-то отсталым, деревенским, некультурным, в то время как сохранение обычаев и традиций своего народа и есть как раз одно из проявлений его культуры. Нашей, советской культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию. А речь идет об отмирании яркой и своеобразной национальной формы. Уверен, не найдется свана, который бы не разделил со мной такого мнения. Убедил меня в этом один факт. Отправляясь в последний раз в Сванетию, я сшил себе пиджак из домотканого сванского материала — кули. И не видел я свана, которому бы это не понравилось.

Осталось рассказать о последней церкви Местии, церкви Пуст.

У некоторых читателей может возникнуть недоумение: почему в этой книге так много говорится о церквах? Но нельзя не понимать, что с ними тесно и нераз-

рывно связаны история сванского народа и его культура. Искусство живописи, чеканки, ваяния, архитектуры, прикладное искусство, так же как устное народное творчество — легенды, песни, танцы, хороводы, музыка, складывались в народе под влиянием религиозных верований, формировались вокруг церквей. Определенное влияние религия оказала и на живые ныне обычаи и традиции сванов, на их праздники, образ жизни, на сам склад их характера. Мы не можем, не имеем права выбросить все это за борт вместе с религией. Было такое время, но, как мы теперь знаем, оно не дало полезных плодов. Мы ломали и взрывали церкви, уничтожали древнерусские иконы, выкорчевывали все старое, а теперь строим это же заново. В Москве организован музей древней иконописи, музей Андрея Рублева. В Суздале и в других старинных городах церкви реставрируются и даже строятся. На это затрачиваются миллионы рублей.

С. М. Третьяков [1] в 1928 году ратовал за снос всех старых домов, башен и замков Верхней Сванетии для создания новой жизни. Тоже дань времени.

Мы гордимся искусством и культурой своих предков, гордость эта укрепляет в нас патриотизм, любовь к Отчизне, к своему народу. Тот же Суздаль в последние годы сделался своеобразной Меккой, которую только в 1966 году посетило 4147 организованных экскурсий, 171 648 советских людей. Наверное, столько же, если не больше, приезжало сюда в том же году самостоятельно. Люди приходили поклониться великому прошлому своего великого народа.

[1] С. М. Третьяков, Сванетия. М., 1928.

Да что говорить, представьте себе, как бы смотрелась Красная площадь без храма Василия Блаженного. Или новая гостиница «Россия» в центре Москвы без стоящих рядом реставрированных церквушек XVI—XVII веков. Оказывается, в этом, кроме всего прочего, содержится еще и красота. А человек не может жить без красоты.

Религия умирает, у нее нет будущего. Среди сванской молодежи нет уже религиозных людей. Пройдет еще некоторое время, и религия исчезнет как таковая, ее не будет. Поэтому мы должны сейчас отделить от религии и сохранить для наших потомков приносящие людям радость обычаи, традиции, праздники. Похоронить навсегда их религиозную сущность и возродить древние памятники, обычаи на основе социалистического содержания. Что плохого в празднике «льва»? Разве будет хорошо, если он исчезнет? Ведь осталась же нам елка от религиозного праздника рождества Христова. Украшая под Новый год елку, советские люди и не вспоминают о Христе, а сам обычай наряжать елку приносит радость в каждый дом.

А для того чтобы провести это разделение, надо хорошо знать и то и другое — и религию сванов и их народные обычаи и традиции. Сваны считают себя православными христианами уже полторы тысячи лет. Христианство проникло сюда через Грузию из Византии раньше, чем в Древнюю Русь, но, видимо, не ранее IX столетия, хотя в Грузии оно и укоренилось уже с IV века. В сванских богослужебных обрядах и песнопениях, в иконописи, фресках и чеканных иконах, так же как в архитектурных памятниках, сильно заметно византийское влияние. Но, несмотря на такое многовековое господство христианства, сваны сумели сохранить многое от древней языческой религии картвел, в которой все явления природы имели свой культ, поэтому в религии сванов до сих пор существует чисто языческое почитание Солнца, Луны и небесных светил, живут боги неба (Гербет), гор (Ал), охоты (Дали), лесов (Ансад), сладострастия (Квириа. Не путать со святым КвирикомI), араки (Солом) и т. д. Христианские верования в Верхней Сванетии часто переплетаются с языческими. Например, культ святого Георгия сочетается с культом Луны. Еще живы пережитки культа огня и воды, культа домашнего очага. Совсем недавно каждая отрасль хозяйства у сванов связывалась с определенными обрядами и верованиями. Основные моменты жизни, такие, как рождение, брак, болезнь, смерть, сопровождались обрядами.

Особенно живучим оказался культ умерших. Он соблюдается до сих пор. На похороны сходятся не только все родственники, но и сваны из других селений. Поминки справляются на седьмой, сороковой день и через год после смерти. Так как в представлении верующих людей покойники и после смерти сохраняют свои потребности, у постели умершего, где теперь лежат его костюм и личные вещи, оставляют столик с едой. Обязательное погребение в родной земле, на фамильном кладбище — обычай тех же далеких времен. Сохранились и элементы жертвоприношения.

Праздник Пуст по своему происхождению как раз и является полухристианским - полуязыческим. Церковь Пуст стоит над Местией. 12 мая я отправился туда, чтобы увидеть все своими глазами. Мне хотелось пойти вместе с отцом Миши — с Виссарионом.

Но Виссарион не мог пойти со мной на праздник Пуст, в этом году он присутствовал у постели умирающего и не имел права поэтому быть на празднике, посвященном благополучию семьи и счастью в доме.

Церковь Пуст — самая древняя в Местии. Рассказ[illegible] очень давно эту богатую [illegible]зь обокрали. Жители Ме[illegible] пришли сюда проклинать вор[illegible] При этом в жертву был принес[illegible] теленок. Проклятие подействовало таким образом, что воры навсегда исчезли из Сванетии. С тех пор 12 мая все приводят сюда телят или баранов (козы не допускаются), «освящают» их и уводят домой. Там режут и возвращаются в Пуст с насаженными на палку сердцем, легкими и печенью. Самый [illegible]о ни на есть языческий об[illegible]ычай жертвоприношения.

Я немного опоздал, баранов вели обратно. Вокруг Пуста толпилось много народу с бутылками и стаканами в руках. В самой церкви священнодействовал тот же Мобиль Маргиани. Церковь Пуст пуста. Стоит лишь большой деревянный крест перед алтарем.

В тот день была прекрасная погода, в небе гудели самолеты. Ни один из летчиков-сванов не мог отказать себе в удовольствии пройти над Пустом на бреющем полете. Маленькие самолеты, чуть не задевая наши головы, взмывали в небо. Люди поднимали вверх стаканы и пили за счастье и благополучие в доме летчиков.

Немой тетерев

Кош семьи Хергиани стоит под склонами Ушбы, у нижнего края леса. Небольшой деревянный домик. Щели пронизаны кинжалами злого горного солнца. Внизу коровник. В самом доме кое-как[illegible] хозяйственный инвентарь, в том числе деревянная соха, одежда, кровать и, конечно, железная печка. Я не видел дома в Сванетии без железной печки. Видимо, когда сваны распрощались с мачубом и очагом в виде костра посредине, не сохраняющая тепло железная печка сохранилась на время, да так и осталась навсегда. Миша говорил, что в иных домах поставили позднее камины, но мне не доводилось их видеть в действии. Даже зимой семья обычно греется возле железной печки, когда на ней приготовляется пища. Спят же на верхнем этаже, в холоде. Это, может быть, даже типично для горцев; австрийцы, например, тоже спят в неотапливаемых помещениях под перинами. Наверное, это полезно.

Миша возился на маленькой пасеке с пчелами, доил коров, стучал топором, а я старался помочь ему чем мог. Мог я немногое. Когда он доил корову, я ее только пугал. Надо полагать, потому, что шарахался от нее. Миша вскрывал ульи — я отходил подальше от греха.

— С ними надо уметь, — говорил Миша. — Я с ними с детства. Вот раз в Англии гостил у миссис Даншит, ты знаешь, альпинистка такая, на Эльбрусе была. Так у них дом свой, сад убранный и стоят два улья. Они к ним и не подходят, только из-за забора за пчелами наблюдают, боятся. Я говорю: «Хотите, меду достану?» — «Что вы, что вы, пчелы вас закусают!» Я пошел, а муж ее кричит: «Стойте, я за кинокамерой сбегаю!» Сбегал. Я вошел в сад, спокойно открываю, достаю соты, ем мед. А он сни-

мает, а она охает, ахает! Чудной народ! Принес им меду; говорят: в первый раз свой мед едим.

Пили мы на коше одно парное молоко, пекли на железной печке лепешки и не спеша толковали о том, о сем, посматривая на снежные горы. На юге прямо перед нами сверкал нетронутый белизной Сванский хребет с вершинами Лайла, Лакур и Ласиль, впереди него протягивался заснеженный и весь в лесах хребет Загар, отделяющий долину реки Мульхуры от долины Ингури. Вокруг зеленели луга, а внизу, на дне нашей долины Тюй-бри, виднелась белая нитка реки. Ушбы и вершин Главного Кавказского хребта, кроме массива Улутау, отсюда не видно, вершины смотрятся на расстоянии.

Горный пейзаж хорош своим разнообразием. В степи или тайге все кругом степь и тайга, а здесь ты видишь сразу несколько природных зон. Растительные пояса гор позволяют иной раз побывать за один день и в пустыне и в Арктике, ведь нивальный пояс гор, пояс вечных снегов и льдов — та же Арктика. Помню, спускаясь с вершин Заилийского Алатау в Алма-Ату, приходилось пересекать все природные зоны, будто за один день пробежал от полюса к экватору. Сошел со снега и льда, попал на альпийский луг — та же тундра; потом выходишь на субальпийские луга с цветами и стелющейся арчой — лесотундра; затем вбегаешь в горную тайгу, в хвойный лес из тянь-шаньских елей, в нижней части леса начинают попадаться березы и рябины, осины и широколиственные кустарники, смешанный лес, а затем лиственный лес, вроде бы под Москвой; а тут начинаются уже и степные склоны с ковылями и злаками; спустишься в город, а за ним лежит настоящая пустыня. Сам город Алма-Ата стоит в зоне полупустыни, только имеет так называемый культурный ландшафт с орошенными водой ледников фруктовыми садами.

Здесь, в Сванетии, вертикальная зональность, может быть, и не так классически выдержана (вместо пустыни тут море, а вместо степей и полупустынь — чайные поля, плантации и сады Мингрелии), но зато растительность чрезвычайно богата различными видами. Это замечает каждый, кто переваливает Главный Кавказский хребет с севера на юг. По ту сторону, в Балкарии, всего-то и запомнится, что сосновые боры с красноватой корой на стройных стволах да колючие кусты облепихи, тянущиеся вдоль рек серыми, словно запыленными зарослями. Осенью серая скука их колючек оживляется немного оранжево-красными плодами и слетевшимися на них птицами. А как перевалишь в Сванетию, попадаешь вдруг в такое неистовство природы, в такое разнообразие деревьев и кустарников, что подчас не можешь найти рядом двух одинаковых. Не на самом верху, понятно, а пониже.

Сначала-то, после снега, вырвавшись из зарослей рододендронов, попадаешь на субальпийский луг с ковром синих генциан, светло-лиловых скабиоз, розовых астр, желтых примул и ярко-красного шалфея. Среди них, распушив свои верхушки, как кисточки радиоантенн, стоят сухие, прошлогодние зонтичные. Иногда они выше тебя ростом. Стелется корявая мингрельская березка, растущая только здесь и нигде больше. Беловатая кора на этих березках висит лохмотьями, ствол ползет по земле, кожистые листья различны по величине:

ближе к старой части побега они крупные, а к верхушке уже мельче.

Ниже идут елово-пихтовые леса. Здешняя ель, она называется «Восточная», растет только на Западном Кавказе, а пихта (Кавказская, или Нормана) тоже нигде, кроме этих мест, не живет. Оба дерева высоки, до 50—60 метров в высоту, стволы бывают у пихт до 2 метров в диаметре. Как и все кавказское, они весьма долговечны, живут до 500 лет.

Еще пониже ель и пихта уступают место буку. Он поднимается в Сванетии до 2000 метров над уровнем моря. Интересное дерево, ствол прямой, до 40 метров высоты, толщина бывает более полутора метров в диаметре, кора гладкая, светло-серая. Овальные листья с верхней стороны темно-зеленые, блестящие, а снизу — с шелковым опушением. Осенью листья бука делаются коричневыми, с бронзовым отливом. Трава в буковых лесах не растет, подлеска из кустарников тоже нет, и вот склоны под деревьями становятся золотистыми от опавших листьев, создают прекрасный фон для серых, устремленных ввысь стволов. Редко увидишь такое.

Ну, а от тысячи метров и ниже — царство дуба. Здесь самое большое число разновидностей дуба в СССР. Каких дубов тут только нет! И все это переплетается с каштаном, дзельвой, хурмой и сотнями видов кустарников, в том числе и вечнозеленых, всю зиму радующих глаз сочной зеленью, которая так и брызжет из-под снега.

...Я давно мечтал понаблюдать за поведением кавказского тетерева — птицы редкой, своеобразной и малоизученной. Тетерев этот немой, он не издает никаких звуков. Наш обычный тетерев шумлив. Весной поутру и ввечеру его «бормотание» слышно за многие сотни метров. Нашего тетерева называют глухим, можно даже слышать выражение «глухая тетеря». Он, конечно, не глухой, и этот эпитет связан, видимо, с отожествлением тетерева с другой птицей — глухарем. Тот, верно, во время своего весеннего тока, при так называемом «точении», или «пилении», перестает слышать на несколько секунд. Известно, что охотники используют такую слабость глухаря и подкрадываются к нему в то время, когда он «точит», то есть издает звук, похожий на точение ножа о камень. А кавказский тетерев действительно немой. Токует молча. Наши собираются на зорях на поляне, устраивают во время тока целые представления перед своими самками: поднимают свой лирообразный хвост, надуваются, «бормочут», «чуфыркают» на весь лес и устраивают неистовые драки. А этот все молчком.

Кавказский, или немой, тетерев птица настолько редкая, что весеннее ее токование ученые-орнитологи наблюдали всего два раза: один раз токующих кавказских тетеревов видел в 1887 году Лоренц и в 1938 году — Аверин. Не мудрено, — наш обыкновенный тетерев обитает по всей стране, кроме северо-востока и Средней Азии, а у этого область распространения, или, как говорят зоологи, ареал, лежит всего от Эльбруса до Казбека по верхней части Главного Кавказского хребта. Если этот ареал отметить на карте СССР величиной с почтовую открытку, получится просто точка. И больше нигде в мире эта птица не встречается.

Услышав от Миши, что над ко-

шем живет лахве катал (так называется тетерев по-свански — «горная курица»), я не мог усидеть на месте и часу. Мы взяли малокалиберную винтовку и отправились наверх.

У верхнего края леса стоит здесь другой кош в виде маленькой бревенчатой избушки без окон и дверей. Тут мы и заночевали, с тем чтобы еще в темноте подняться под скалы гребня на альпийские луга, где и должно происходить токование немых тетеревов.

Мы прошли через довольно густой елово-пихтовый лес, расположенный на крутом склоне. Внизу сразу начали попадаться пятна нерастаявшего снега, а в верхней части леса снег лежал сплошным покровом. В начале пути к пихте и ели примешивались березки, клены и рябины, над лесом же росли сосны. Еще выше эти сосны становились корявыми, стелились по земле и переходили в заросли, ползущие по земле в мелких камушках, изредка попадаются большие скальные глыбы, серые, заостренные, с налетом коричневого лишайника и ярко-зеленого мха. Из земли кое-где пробивалась редкая травка. Валялись прогнившие стволы деревьев, торчали старые пни, обросшие мхом. На едва намечающейся тропе в неистовой схватке застыли корявые корни елей и пихт. Когда переходишь кулуары, в их углублениях видны свежие следы сбрасываемых сверху бревен и куски свежей коры. Пахнет смолой.

Пляшет пламя костра на земляном полу избушки, мечутся по ее бревенчатым стенам тени, не замолкая, кричит в ночном лесу мохноногий сычик.

— Вот это что: «Ук-ук-ук-ук-ук»? — спрашивает Миша.

— Маленькая сова, мохноногий сыч называется.

— По-нашему — ведидай.

— Как? — стараюсь я запомнить название.

— Ведидай — болтун значит, — поясняет он. — У нас так зовут тех, кто любит много говорить. А правда, что у кукушки одна нога?

— Да нет, ерунда! Откуда ты взял?

— Я тоже думаю, не может быть, — говорит Миша, — но у нас так считают. «Чего» — кукушка — значит «одноногий». Может, она любит на одной ноге сидеть?

— Это просто поверье. Ты лучше расскажи мне про лахве катал.

— Что я тебе расскажу? Завтра сам все увидишь. Я на них охотился тут еще мальчишкой, с луком ходил, ружья не было, — и он начинает объяснять мне устройство сванского лука.

В руках ребятишек лук можно увидеть в Сванетии и сейчас. Собственно, это не лук, а скорее арбалет. С прикладом, канавкой для стрелы на стволе и со спусковым механизмом. Наконечники стрел ковались еще на памяти Миши, он пользовался сам такими стрелами.

— В шкажуар (перепелку) попадал из этого лука. Я поищу тебе, может, где на чердаке или в башне валяется. Один раз убил я из лука кокучал, знаешь, такая рыжая птица есть, чуб распускает? Летит, как тряпка?

— Удод, — догадываюсь я.

— По-нашему, кокучал, чуб значит. Отец меня за него здорово побил. Кокучала нельзя убивать, он у нас считается священной птицей, богини Ламарии птица.

Выходим в два часа ночи, в темноте. Поднимаемся по снегу под скальный гребень. От него вниз уходят травянистые склоны с альпийским лугом, только земля пока под снегом. Чернеет она лишь на выдающихся местах ок-

круглых гребешков — контрфорсов. На них, на этих проталинах, и будет происходить ток.

Я вооружен одним биноклем и прошу Мишу не стрелять, пока все хорошо не рассмотрю и не дам ему знака. Садимся возле большого камня в засаду.

При первом намеке на зарю, когда чуть-чуть белее становится снег и не поймешь еще, начало светать или нет, прокричал совсем рядом улар. Он сидел повыше, там, верно, уже светлее.

— Улю-у-у-у! — разнеслось по горам.

В другое время я бы не смог остаться равнодушным к призыву улара, а теперь даже внимания не обратил, пусть себе кричит. Улар тоже весьма интересная птица. Ее называют также горной индейкой. Птица похожа на огромную куропатку и считается близкой родственницей тетеревам, не имея ничего общего по зоологической систематике с индейками. Добыть улара — редкая удача, не многие охотники могут похвастаться таким трофеем. Птицы живут в скалах самой верхней части гор, на гребнях и скальных стенах. Они очень осторожны и убегают от человека вверх по склону или скалам так быстро, что догнать их невозможно. А добравшись до гребня или до высокой скалы, улары бросаются вниз и с криком «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» перелетают, планируя, не маша почти крыльями, на другую сторону ущелья, то есть становятся недосягаемыми для выстрела. Убить улара можно только скрадыванием, делая долгие подходы по скалам. Однако улар не волновал меня на этот раз. С уларами я уже не раз имел дело и добывал не только кавказских, но и гималайских, тибетских и алтайских. Кавказский немой тетерев — это да! Для орнитолога это настоящее откровение.

— Смотри! — толкнул меня в бок Миша. — В бинокль посмотри.

Но я уже видел и без бинокля. Через два заснеженных коридора на черном бугре взмывала вверх и падала обратно большая черная птица. Еще в темноте прыжки ее были хорошо видны на фоне снега. Тетерев подпрыгивал вверх на метр-полтора, переворачивался в воздухе и, трепеща крыльями, опускался на то же место.

«Пс-пс-пс-пс-пс-взи-и-и-и-и!» — послышалось в воздухе.

Миша прижал меня к земле.

— Слетаются, — шепнул он.

— А что за звук?! Откуда звук у немого тетерева?! — не выдержал я.

— Молчи, молчи! Это крыльями.

Тетерева слетались со всех сторон. То и дело на фоне посветлевшего неба мелькали их длиннохвостые силуэты. Слетались в точно назначенное время, как на работу. Не поднимая головы, я искоса наблюдал за их стремительным полетом. Ну конечно, этот пронзительный свист издается крыльями птиц! «Пс-пс-пс!» — слышится при взмахах крыльев, а тонкое: «Взи-и-и-и-и!» — звучит при планировании.

Когда прекратился свист тетеревиных крыльев, мы начали осторожно выглядывать из своего укрытия. Ближайший тетерев вытянул шею и осматривался на соседнем бугре, метрах в пятидесяти от нас. Чуть повыше еще один, а на следующих оголенных гребешках прыгали уже несколько птиц. Все они держались врозь, каждый демонстрировал самкам свою красоту и лихость в одиночку.

На животах и локтях поползли к ближайшему самцу, но как только выглянули из-за бугра,

увидели садившегося метрах в тридцати от нас другого петуха. Мы прижались к земле и замерли. Через минуту я осторожно достал из чехла бинокль и приложил его к глазам.

Черный петух, прибыв на место тока, сперва огляделся. При этом он вытянул шею палкой и походил вверх-вниз по склону, потоптался на месте. Шея у него начала втягиваться, откинутая назад голова села прямо на плечи. Зоб взъерошился, поднялись перья и на зашейке. Крылья самец немного приопустил, хвост поднял вертикально вверх. Принял позу тока. Я жадно ловил его малейшее движение: ведь этого почти никто не видел, это открытие, прекрасная научная статья для орнитологического журнала!

В позе токования черный и краснобровый петух (в бинокль я мог рассмотреть на нем каждое перышко) сначала опять покрутился, потоптался на одном месте, а потом вдруг присел, с силой оттолкнулся ногами и прыгнул вверх. Подскочив на метр от земли и как-то бесформенно трепеща крыльями, тетерев повернулся в воздухе таким образом, что приземлился с разворотом на 180°. Там, где при начале прыжка у него был хвост, оказалась голова. Еще прыжок и еще поворот. Оказывается, эти однообразные прыжки входили главным номером в программу представления, служили как бы основным «па» брачного танца. Прыжки шли один за другим без остановки с перерывами в несколько секунд, движения были совершенно одинаковыми.

Миша дотронулся до моего плеча, но я, не отрываясь от бинокля, отрицательно покачал головой. И не зря: из-за бугра появилась серая тетерка. Петух растопырился еще пуще, запрыгал чаще и выше, а когда самка приблизилась, стал ее обхаживать, не меняя своей позы. И все это без единого звука. Тетерка тоже молчала. Наконец красавец повел свою пестренькую возлюбленную по склону и они скрылись за перепадом.

Что и говорить, Мише было досадно. Но, внимательно посмотрев на мое счастливое, надо полагать, до глупости, лицо, он все понял и азартно шепнул:

— Чуть повыше еще есть.

Мы поползли вверх и вскоре опустили головы: неподалеку прыгал петух, а метрах в десяти от него — другой.

Повторилась та же картина, только когда первый стал уводить подлетевшую самку, другой тетерев тоже заявил на нее права. Он подскочил к сопернику и клюнул его в красную бровь. Произошла короткая и совсем не ожесточенная драка. Обыкновенные тетерева дерутся на току чуть ли не часами, дерутся до крови, а эти только повернулись друг к другу в позе тока, постояли так, клюнули по разу и разошлись. Счастливчик повел самку, а неудачник был взят Мишей на мушку. От выстрела он встрепенулся и побежал вслед за парой.

— Мимо, — сказал я.

— Не может этого быть. — Миша поднялся во весь рост и пошел к тому месту, где только что сидел тетерев. Раздался свист крыльев, тетерева разлетались в разные стороны. Все было кончено. Я встал и пошел за Мишей.

Петух лежал у края проталины, снег под ним покраснел. Миша поднял его и протянул мне. Впервые в жизни я взял в руки кавказского тетерева. Это была совершенно черная птица, матово-черная. Обыкновенный тетерев иссиня-черный. У обыкновенного белое подхвостье и

большое белое «зеркальце» на крыле. Немой же — совершенно черный, только на сгибе крыла у него чуть заметное белое пятнышко. И еще у обыкновенного тетерева, это всем известно, хвост лирой, концы хвоста расходятся и загибаются в разные стороны, а у этого хвост не расходится, а загибается вниз. Тетерев и вроде не тетерев. Во всяком случае, это совершенно иной, обособленный зоологический вид. Бережно снятую шкурку птицы я передал в Москве своим друзьям в зоологический музей. Была сенсация.

Остается добавить, что кавказский тетерев, как редкая птица, находится под охраной государства. Кроме ученых-орнитологов, имеющих специальное разрешение, никто не имеет права ее убивать.

Ушгул

Верхняя Сванетия не только в целом отделенная от всего мира страна, но и долины ее с селениями отделены друг от друга горными хребтами и сообщаются лишь через перевалы, непроходимые из-за снега девять месяцев в году. На Камчатке и Чукотке, на самом краю света, чукчи и коряки имеют больше возможностей общаться друг с другом и с внешним миром, чем жители Сванетии. Те могут зимой съезжаться на оленях и собаках на праздники, на ярмарки, бывать в культурных центрах. В Сванетии же до появления авиации в зимнее время невозможно было проникнуть в соседнее ущелье без риска погибнуть в снежной лавине. Замкнутый круг Верхней Сванетии в солнечные дни наполняет всю страну сиянием вечных снегов и льдов. Такую белизну, такую чистоту и свечение можно видеть только в горах. Все сверкает и искрится. Весной в Подмосковье снег черен, как душа предателя, а здесь он и весной свеж и нетронут. Ни пыли, ни грязи, ни малейшего пятнышка. Внутренние долины тоже окружены белыми кольцами, но они пониже. В этих отдельных котловинах и устроились многие сотни лет назад роды сванов. Небольшие селения разбросаны по склонам долин в виде за́мков или крепостей и окружены разноцветными прямоугольниками посевов.

К концу мая внутренние перевалы открылись, и мы смогли добраться до общества Кала на вездесущем «газике». Там пересели на лошадей. Я и не подозревал о существовании автомобильной дороги, ведущей из Местии по ущелью Мульхуры через перевал Угыр в верховья Ингури. Недавно открывшаяся дорога доходит пока до Кала. Отсюда до Ушгула можно добраться пешком или верхом.

В прошлом каждое общество (что-то вроде родовой республики) занимало несколько селений в какой-нибудь долине. Кал, например, состоит из семи таких селений, отстоящих друг от друга на расстоянии полутора-двух километров. А Ушгул — это селения Чижат, Муркмел, Чубиан и Жабиан. Они тоже стоят рядом.

Между обществами расстояние побольше, от Пара до Кала километров 13—15, а от Кала до Ушгула надо пробираться по тропе километров семь-восемь. Не все селения расположены на дне узких долин, некоторые из них прилепились к скалам высоко над дном ущелий.

Нас остановили в первом же селении общества Кала, в селении

Вигнаш, и повели в дом местных учителей Мушни и Екатерины Хардзиани. Я не очень огорчился задержкой, ибо высоко на скале над самым селением была видна главная церковь Верхней Сванетии — церковь Квирика и Юлиты, самая чтимая святыня сванов, куда я давно мечтал попасть. Выглядит она эффектно, стоит на краю скалы, в 300 метрах над рекой. Подойти к ней можно лишь по одной тропе, вьющейся среди обросших мхом пихт и елей. О ней потом. Сейчас же, пока Миша вел разговоры с родственниками, я прошелся по селению Вигнаш.

Облик селений в верховьях Ингури заметно отличается от Местии одной характерной чертой: селения этих обществ построены не из серого сланца, а из черного. В других селениях Вольной Сванетии дома и башни белили, лишь здесь, в Ушгуле, их не штукатурили, строили из черного шифера да так и оставляли. Это придает домам и башням более мрачный вид. Крыши тут также выложены черной чешуей закругленных сланцевых плит и маслянисто-матово поблескивают на солнце. По краям они тронуты оранжевым лишайником.

Чуть выше над селением я обнаружил деревянную церковь Ламарии и развалины старинного двора с башней. Вокруг паслись коровы, у одной из которых вместо колокольчика висел на шее цилиндр от мотоцикла.

Сруб церкви, покрытый теми же черными плитами сланца, был пуст. Только лавки из бревен возле стен, очаг посередине и на рогульке возле него болтаются разноцветные тряпочки и несколько бусинок, оставленных женщинами. Рядом, как всегда, священное дерево, метров до трех в диаметре, прогнившее и пустое, но еще живое и зеленеющее. Оно как бы символизирует умирающую, но все еще живую религию.

Развалины, как мне показалось, скрывали какую-то романтическую историю. От камней, скрепленных крепким, словно алмаз, цементом, веяло легендой. Интуиция не обманула меня.

Здесь, в самом первом селении общества Кала, стоял двор некоего дворянина Гуштилиани. В Вольной Сванетии хоть и не бывало никогда князей, но часть населения считалась азнаури, то есть дворянами. Правда, их хозяйства мало чем отличались от остальных, часто они бывали даже беднее других. Однако, несмотря на всю демократичность правления в этой своеобразной республике, они пользовались некоторыми привилегиями. Азнаури по установленному традицией закону имел право раз в год пообедать в каждом доме селения. Помимо того, за каждого убитого «благородного» азнаури кровная месть предписывала убить двух простых сванов. Вот, пожалуй, и все их привилегии. Но многие дворяне держали себя с людьми свысока, заносчиво и спесиво. Таким был как раз и этот Гуштилиани. Вел он себя разнузданно, всячески притеснял сванов селения, требовал себе больше положенного и обнаглел до того, что доил коров селения Вигнаш, когда они возвращались домой мимо его замка. Гордые и горячие сваны не смогли, конечно, такого стерпеть, один из предков Хардзиани взял ружье и стал подкарауливать Гуштилиани. В первый раз ему удалось прострелить руку дворянину. Началась охота друг за другом. Пока азнаури сидел в башне, рука у него отсохла. Он стал уже неполноценным про-

тивником, и Хардзиани удалось убить его.

Ожидалась длительная кровная месть. Тогда люди селения, и без того измученные постоянной лихорадкой, решили уничтожить всю семью дворянина. Попросили Хардзиани возглавить налет на его дом, предложив за это часть земли азнаури в размере цора. Хардзиани отказался. Мужчины селения без него овладели ночью домом-крепостью Гуштилиани и перебили всю его семью, пощадив лишь одну беременную женщину. Но когда она увидела, что осталась одна из всей семьи, эта женщина поднялась на башню и на глазах своих врагов бросилась вниз на камни. Это произвело такое впечатление на людей, что сваны отдали роду самоубийцы всю захваченную землю. Большой цор прекратил кровную месть. Дом же дворянина доведенные до отчаяния сваны разрушили. Сейчас тут можно видеть только остатки башни.

Опять стол, непонятные для меня застольные беседы, тосты. После длительного пребывания в Сванетии любой начнет уставать от всего этого, особенно от речей в его честь и от необходимости отвечать на них. От еды и питья тоже. Но не обижать же этих славных людей, приходится держаться. Я стал рассматривать накрытый стол и приводить в систему застольные обычаи.

На сванском столе можно видеть в первую очередь хачапури — лепешки с мясом или с сыром. Слгин — соленый сыр и сыр пресный. Мясо. Баранину, телятину и свинину. На праздничном столе часто появляется маленький поросенок, запеченный целиком. Холодная закуска из курицы — сациви, с острой приправой. Сванская соль, перемешанная с перцем и ароматной толченой травкой. Изредка делают шурпу, то есть мясной бульон, остро перченный, иногда с картофелем. Почти каждый день едят мацони — кислое молоко, что-то вроде простокваши. Бывают на столе мед и орехи. На свадьбе в селении Кичкилдаш пробовал домашнее печенье. Были там и торты в виде гриба. На ножке и обтянутые папиросной бумагой. Верно, не такое уж и типичное блюдо сванов. Консервы и другие покупные продукты, так же как вино из магазина, в сванском доме увидишь редко.

Собравшись за столом, прежде всего выбирают тамаду. На предусмотренных праздниках тамада известен заранее, но все равно выбирают. Перед столом он отдыхает, поскольку дело нелегкое: надо и выпить больше всех, и тосты интересно произносить, и за порядком следить. Тамада отвечает за стол до конца, иной раз до утра. Если произойдет ссора или, не дай бог, драка, тамада за это в ответе. Иной раз для помощи ему выбирают заместителя тамады, тоже из пожилых и авторитетных людей.

После выборов тамады первый тост за него. Он благодарит за доверие. Затем тамада поднимает сразу три стакана. Подозреваю, тост этот за святую троицу, за бога — отца, сына и святого духа. Потом уже пьют за причину образовавшейся компании — за жениха и невесту, коли свадьба, за гостя, за какое-либо другое событие или за тему праздника. Ну, а дальше — за родителей, за дом, за всех присутствующих. Тут уже возможно некоторое разнообразие.

Разливают араку за специальным столиком, стоящим посередине комнаты. Тут орудуют молодые ребята — меркибе. В их обязанности входит следить, чтоб у всех

было налито вовремя, без перебоя. Сами они трезвые, дело тоже ответственное. Если вы увидите, что произносящий тост наклоняет свой стакан и проливает несколько капель на пол, знайте, делает он это в подтверждение своих слов, как бы клянется в том, что говорит.

Тосты, тосты, тосты... Тосты за всех присутствующих, тосты самые приятные, хвалебные, доброжелательные, превозносящие. Почему здесь люди говорят за столом друг другу так много приятного? У русских ведь не так: «Ваше здоровье!» — «Ваше здоровье!» — и все. Видимо, это исторически сложившаяся традиция сванов. Она в какой-то степени результат многовековой кровной мести. Попробуй сказать о человеке плохо, попробуй за столом покритиковать свана, сказать о его недостатках! Не знаю, чем это может кончиться. Я высказал эту мысль вслух, но Миша со мной не согласился. «Просто все люди должны всегда желать другим добра, — вежливо улыбнулся он и затянул: — О Лиле!» — гимн Солнцу. Его сразу подхватил дружный хор упругих голосов. Пели здорово. На несколько голосов, слаженно, густо. Звук вставал тугой стеной, не пробьешь и колоколом. Любой хор в Верхней Сванетии, даже самый импровизированный, звучит как хорошо отрепетированный ансамбль.

Спели мою любимую. «Неужели тебе не надоели горы и ты не хочешь спуститься вниз ко мне?» — спрашивает невеста. «Нет, горы никогда не надоедают, они всегда красивее и желаннее, чем женщина».

О песнях трудно писать, их надо слушать. Но я попробую все-таки.

Сванские песни прежде всего отражают и по звучанию и по содержанию историю народа и его оригинальный быт. Многие из них сохранились точно в таком виде, какими они были пять, семь, девять столетий назад. Почти исчезла национальная одежда сванов, умерли многие обычаи и традиции, разрушились даже кое-где башни и дома — замки сванов, но песни остались жить во всей своей первобытной красоте и неприкосновенности.

До сих пор старинные сванские песни сопровождаются иногда хороводами и сольными танцами, к этому присоединяются также мимические сцены, что-то вроде театрального действия. Получается сочетание неотделимых в данном случае пения, танца и драмы. Это очень древняя форма искусства. Да и здесь-то теперь такое случается не часто: старики уходят, а молодежь не очень этим интересуется. Я уверен, придет время, и сваны будут по крупицам собирать и восстанавливать свои замечательные, неповторимые песни, танцы и хороводы. Хорошо, если удастся еще кое-что сохранить постоянно действующему сванскому ансамблю песни и пляски.

По своему характеру все сванские песни можно разделить, видимо, на бытовые, или трудовые, военные и походные, культовые песни и хороводы.

Песни походные звучат как своеобразные марши, с очень интересным, оригинальным ритмом. С ними хорошо идти через перевалы. О сохранении свободы сванов, о героях и вождях народа рассказывают песни военные. Они обычно сопровождаются хороводами. В этих песнях часто упоминается царица Тамара, воспевается ее красота, ее дорогой наряд, убранство коня царицы и т. д.

Но больше всего у сванов старинных обрядовых песен и хороводов. Чаще это гимны, воспевающие природу — солнце, горы, поля и леса Сванетии, но среди них и много песен, посвященных легендарным героям. Скажем, весьма популярен хоровод «Беткиль», развивающий и изображающий описанную уже историю молодого охотника и богини охоты Дали. В этом хороводе танцуют и поют все: и мужчины, и женщины, и дети.

Строги и печальны похоронные сванские песни, или зари. Их поют только мужчины. С этими песнями, бывало, сваны несли через перевалы тело погибшего родственника, чтобы похоронить его на родовом кладбище. Есть еще целая группа свадебных обрядовых песен, всех не перечислить.

Сванские песни обычно хоровые, поются на три, редко на четыре голоса. Мелодия у них проста, но многоголосная песня звучит удивительно гармонично. Льется она мощно, сурово и грозно, как горный поток или низвергающийся с высоты водопад, как снежная лавина.

В первый день в церковь Квирика попасть не удалось, от нас потребовали разрешения самого Сандро Чарквиани, председателя райисполкома Верхней Сванетии. Я не удивился, знал, как ревностно берегут сваны эту свою реликвию. Совсем еще недавно монастырь Квирика и Юлиты постоянно охранялся вооруженной стражей. Читал у Сергея Анисимова[1], как приехал сюда немец изучать один из древнейших списков Евангелия, относящийся к VII веку. Запасся он бумагами от губернатора и даже от министра, а в церковь его не пустили. Только спустя неделю сумел он договориться и то за большие деньги. Сидел немец над книгой, а по бокам стояли два вооруженных свана и глаз с него не спускали. Своим стражам он отдельно платил по рублю в день за то, что они его караулили.

— Спешить не будем, — сказал Миша, — мы свое возьмем, не может того быть...

Сели на лошадей и поехали в Ушгул. Узкая тропка шла высоко над рекой то через лес, то по крутым осыпающимся склонам. Время от времени приходилось сходить с лошади и вести ее в поводу. Переправлялись через бурные потоки боковых ущелий, карабкались вверх, круто спускались вниз, так что седло съезжало на шею лошади и приходилось ее заново подпруживать. Я, хоть и привык к горам, не мог наглядеться на красоту, открывающуюся путнику в верховьях Ингури.

Приблизительно на полпути Миша придержал коня и подождал меня.

— Смотри, стена Дэва, — указал он на дно ущелья.

Ущелье, почти теснина, было перегорожено с обеих сторон высокой каменной стеной. Шириной метра в два и высотой метров в тридцать. Из какой она сложена породы, не могу сказать, вниз не спускался, скорее всего из вертикально расположенных плит сланца. Выходы скал в виде ровных стен начинаются на одной стороне ущелья и продолжаются на другой. В середине эта стена прорвана пляшущим потоком Ингури.

— Стена Дэва, — повторил Миша. — Я ходил на нее смотреть, будучи мальчишкой. Мы верили, что ее построил Дэв. — И он рассказал еще одну легенду.

Дэв полюбил Ламарию и захо-

[1] С. Анисимов. Картины Кавказа. П., 1918.

тел на ней жениться. А Ламария не соглашалась. Тогда Дэв рассердился и начал перегораживать Ингур каменной стеной, чтобы затопить ущелье и сделать здесь море. Он носил камни и возводил стену сразу с двух сторон, с этого склона и навстречу — с другого. Но боги не могли допустить такого, и против Дэва выступил на этот раз сам Джграг. Когда стена была почти готова и Дэву оставалось перегородить реку, сбросив вниз огромный камень, по ущелью вдруг понесся громадный баран, выпущенный Джграгом с ледника Шхара. Ударив рогами в стену, гигант развалил ее. Остатки камней унесла река.

Полюбовавшись на добросовестную работу Дэва, мы повернули коней в сторону Ушгула. Что говорить, путь от Кали до Ушгула мы могли бы легко пройти пешком. Однако поездка наша утратила бы от этого часть прелести. Въехать в Ушгул на конях все равно что прибыть по океану в обетованную землю на парусник. Парусов над морями и океанами нынче так мало! Не больше, чем неизведанных стран. А Ушгул — один из самых таинственных уголков на земле. Я был готов к сильным и ярким впечатлениям, но то, что я увидел, ошеломило.

Перед этим мы объехали верхом общества Лахамур, Чебухев, Пар, Цхумар и Эцер — бывшие владения князей Дадешкелиани. Там было интересно, но места эти полузаброшены, башен и всякой старины немного. Разве что селение Кичкилдаш производит впечатление древнего селения сванов. Знаменитое некогда селение Таврар пустынно и лежит в развалинах. Сейчас тут живет всего шесть семей, хотя еще недавно было семнадцать. Селений Лашграш и Чебухев практически не существует, жители покинули их лет десять назад. Одни развалины. Из этих мест, расположенных вдали от основной дороги, люди перешли жить в ущелье Накра. Раньше Накра была совсем незаселенной. Тепцов так писал о ней: «Сванеты боятся селиться в этой узкой таинственной долине, и не без основания: следы весенних и зимних разрушений завалами видны здесь на каждом шагу». Теперь в Накру проведена хорошая автомобильная дорога. Лет шестьдесят назад стала она заселяться, а после войны, с образованием колхозов, сюда перебрались жители Чебухев, Лашграша, Таврара и других верхних селений. Поэтому во всем ущелье Накры вы не найдете ни одного старинного сванского дома или башни. По Накре и по Бечо как раз пролегают туристские тропы, ведущие с перевалов. Люди идут по Сванетии и не видят Сванетии. Совсем не то Ушгул.

Попадаешь в иной мир, в другой век. Это как сон наяву. Лес черных башен молчаливо стоит в окружении таких же черных и таких же древних домов-крепостей. Нет никаких пристроек или новых зданий. Все как тысячу лет назад. Живая история.

В узеньких проулочках лежал снег, в Местии давно отпахали. Толстые обуглившиеся двери со следами пуль, закопченные окна-бойницы, темные проемы входов в башни и дома, таинственные дворики... Люди встречались не часто и всё старики — молодежь на работе. Перед каждым встречным я останавливался пораженный — настолько выразительны их лица. Они спокойны и суровы. Люди смотрят твердо и прямо глазами людей, ничего не страшащихся, гордых и властных и в то же время добрых и

мудрых. Движения и все манеры неторопливые и уверенные. Передо мной вставали ушгульцы, «племя львов», гордость Вольной Сванетии, отважные и непобедимые люди, сохранившие на века свой облик, как и эти монументальные замки; люди, веками притесняемые, с одной стороны, князьями Дадешкелиани, с другой — Дадиани, но отстоявшие свою свободу.

Свобода дается нелегко. В 1830 году русский академик Броссе вывез отсюда в Париж интересный документ — примирительную запись ушгульцев с князем Верхней Рачи, который двенадцать лет не пускал сванов за солью в Рачу и Лечхум и за одного своего родича убил триста сванов. Сваны отдали по этому документу земли от Цены до Осетии и ушли с этой земли, не стали жить под властью князей. Земли опустели. В течение четырех веков князья Дадешкелиани пытались покорить ушгульцев. По сказаниям и песням можно предположить, что временами князья прорывались в Вольную Сванетию и доходили до Ушгула. Но в Ушгул не входили никогда. Ушгульцы принимали к себе всех непокорных князьям, вооружались и ударяли по врагу, отбрасывая его обратно в Бечо и Эцери. Ушгул славился своей неприступностью далеко за пределами Сванетии. Многие века совсем крохотное, но неприступное общество сванов становилось убежищем для побежденных царей, кладовой ценностей Кавказа и Закавказья. Русский царь Алексей Михайлович в 1669 году получил от сванов известие о том, что те «укрыли в своей земле царя (Багpата IV) от преследования турок и также спасли все честные иконы, кресты и мощи». Можно представить, какие исторические ценности и произведения искусства хранили в себе, да отчасти и хранят доныне, скромные сванские часовенки в верховьях Ингури. Недаром церковь Квирика постоянно охраняли шесть вооруженных стражей, а с XVIII века, после вторжения в Закавказье турок, охрана не подпускала никого на расстояние выстрела. В церкви Вольной Сванетии не имел права войти даже священник, ключи хранились не у него, а у ключарей, выбранных родом. Ключари, в свою очередь, не могли никого пустить друг без друга и без согласия общины.

Сейчас в Ушгуле семь таких церквей, но было значительно больше. Один путешественник писал восемьдесят лет назад так: «Есть много древних, полуразрушенных и разрушенных церквей, а также священных мест, где, по преданию, существовали церкви. В Ушгуле, например, таких развалин насчитывается до десяти». Далеко не полностью сохранившиеся ценности ушгульских церквей сейчас хорошо припрятаны. Многое, очень многое, к сожалению, бесследно исчезло.

Одна из самых интересных церквей Ушгула — церковь Ушгульской богородицы в Жабиани — стоит в крепостной ограде под охраной башни, возвышаясь над селением. Двери ее окованы железом. Рядом старинное и запущенное кладбище. Мы не попали внутрь церкви, не оставалось времени на длительные переговоры. Говорят, она богата коваными иконами, крестами местной работы и, кроме предметов религиозного культа, в ризнице ее хранится еще оружие. Средневековое вооружение сванов напоминает грузинское и состояло из шлема, кольчуги, наручней, кинжала и сабли. В XVI веке появи-

лись кремневые ружья и пистолеты, называвшиеся по имени одного из селения западной Грузии, где их изготавливали, — мачахела. Но наряду с огнестрельным оружием до самого недавнего времени сваны пользовались еще пращой, луком и самострелом, напоминающим арбалет. Долго не снималась с вооружения и палица — огромная дубина с железными шипами.

Я нашел здесь в одном доме несколько старых кинжалов, сабель и два кремневых ружья — оружие грузинского происхождения. Грузия — одна из классических стран производства высококачественной стали для изготовления кинжальных и сабельных клинков. Секрет изготовления грузинского булата народные металлурги тщательно берегли и передавали из поколения в поколение. В России долгое время пытались изготовить булатные клинки, подобные грузинским, но ничего из этого не получилось. Даже когда в 1826 году через знаменитого мастера Карамана Элизарашвили царскому правительству стали известны рецепт стали и технология ее изготовления, выковать клинки, равные по качеству грузинским, не удалось: оказывается, для этого необходимы были грузинская руда и умелые, привычные руки.

На свете существует два вида булата — сварочный и переплавленный. В Грузии пользовались первым способом, изготавливали сварочный булат. Делалось это так: брался кусок чистого железа и кусок стали, их сваривали и ковали, присыпая мелкий песок. Многократная перековка давала булат. Очень важно, безусловно, качество железа и стали, кроме того, многое зависело от искусства самой ковки. Ведь делалось все на глазок, без приборов устанавливались температура, степень деформации, расположение сваренных слоев, продолжительность ковки.

Из этой многослойной заготовки отковывалось оружие. Затем на его поверхность наносились зубилом клейма, насечки и надписи. (Традиция эта дает теперь возможность установить различные школы мастеров по оружию, принадлежность оружия отдельным лицам, помогает разобраться в истории.) После этого клинок обтачивали на обычном мелкозернистом точиле и закаливали в воде. Вслед за закалкой чистили наждачным порошком и полировали липовой палкой. Для выявления булатного узора оружие помещали на 15—20 минут в раствор квасцов. Этим и заканчивалось простейшее изготовление булатных клинков. Но у каждого мастера были и свои хитрости. При ковке, например, иногда посыпали заготовку чугунным порошком, закалку проводили так: возле кузницы стоял наготове всадник. Раскаленное в горне лезвие кузнец передавал ему в руки, и всадник с места пускался вскачь, летел во весь опор строго до определенного места, подняв клинок над собой. Сталь закаливалась быстрым движением воздуха.

При испытании изготовленной таким образом сабли одним ударом ее отсекали голову взрослому быку. Показывая мне такую саблю, владелец ее сгибал клинок в колесо. Страшно было смотреть, сердце екало: вот-вот сломается. И ничего. Упругая сталь выпрямлялась и, чуть дрогнув, принимала первоначальную форму.

Кинжалы были прямые и обычно обоюдоострые. Булатные клинки их я бы отнес к началу XIX века. Это было время расцвета грузинского булата, кинжалы в

то время изготавливались в Тифлисе в больших количествах. Они шли во многие страны, больше всего в Персию. Рукоятки и ножны кинжалов, виденных мной в Сванетии, имели самую разнообразную отделку, наиболее распространенные из них — чеканка, филигрань и чернение по серебру. Рукоятки иногда отделывались костью. Встречаются в Сванетии кинжалы, у которых клинки старше по возрасту на 50—100 лет, чем ножны, клинки обычно долговечнее.

Заполучить что-нибудь из оружия в Сванетии дело безнадежное, старики не отдавали его ни за какие деньги. По обычаю оружие переходит к старшему сыну, чужим его не отдают. И все-таки мне удалось раздобыть кремневое ружье. Его подарил мне молодой сван Шота Чкадуа. Ружье давно уже ржавело на чердаке его дома и состояло из трех кусков — ствол с цевьем отдельно, приклад отдельно и кремневый механизм отдельно. Я был счастлив. Удалось его собрать, починить и полностью реставрировать. Правда, стрелять из него нельзя. Восьмигранный ствол ружья изготовлен из той же кованой стали, на нем хорошо видны насечка и даже золотинки отделки. Непривычно тонкий приклад и длинное, до конца ствола, цевье сделаны из ореха с красивым рисунком. Конец приклада отделан костью. Ружье старое, очень старое. Я думаю, ему не менее чем 250 лет. Грузинские воины были вооружены кремневыми ружьями уже в XVI веке. Возможно, это ружье даже не грузинского происхождения, а местного, сванского. Ведь хранится же в краеведческом музее Местии приспособление для изготовления таких ружейных стволов! Не исключено, что какой-то сван, поучившись оружейному мастерству в Тбилиси, стал делать такие ружья в Сванетии.

В этой же церкви Ушгульской богородицы находится одежда князя Путы Дадешкелиани, весьма любопытная реликвия. Возле церкви его могила. Все это связано с одной из самых распространенных в Сванетии легенд, с легендой, имеющей историческое подтверждение.

Было это в 1547 году. Князь Пута Дадешкелиани не раз воевал с ушгульцами, но не оставлял мысли о покорении этого общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками двадцать сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества.

Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгула соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье, укрепляется у церкви и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крючку ружья привязывается веревка, за которую берутся представители всех семей.

Князь хмелеет, а они ждут условленного сигнала. Наконец тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал.

Убить гостя — величайшее преступление для сванов. Ушгульцы решились совершить его только ради своей свободы, возложив ответственность на все общество. Утверждают, это был единственный случай нарушения священного закона гостеприимства. И ушгульцы до сих пор искупают свою вину: во многих домах от Нового года до петрова дня вы не найдете на столах ни сыра, ни моло-

ка. Несмотря на столь развитую в Верхней Сванетии в былые времена кровную месть, убийство всегда считалось здесь самым тяжким грехом.

Многое в Ушгуле связывается с именем царицы Тамары, жившей на рубеже XII и XIII столетий, во времена расцвета феодальной культуры в Грузии. В Верхней Сванетии существует несколько могил царицы Тамары, хотя она никогда там не бывала. Известно, что царица не поднималась в Сванетии выше Эцера. Князья Дадешкелиани считались ее потомками. В Ушгуле тоже имеется своя могила царицы Тамары и даже ее полуразрушенный замок. Замок-крепость стоит высоко над долиной Ингура на горном выступе. Остатки стены и башен красиво смотрятся на скале, возвышающейся над Ушгулом. В легендах и песнях образ царицы Тамары слился с образами многих других Тамар и даже вовсе не Тамар — с образом ее дочери Русуданы и Тамарами вплоть до Тамары Дадиани, жившей в XVII веке. Усыпальницей царицы считается та же церковь в селении Жабиан, где хранятся одежда и оружие князя Путы Дадешкелиани.

Хоть нам и не удалось побывать в этой церкви, зато мы попали в важнейший и интереснейший из археологических памятников Верхней Сванетии — в церковь Квирика и Юлиты. Проникнуть в нее всегда было так же не просто, как и теперь. За вход в церковь взималась плата. Размер платы колебался в различные времена в пределах от овцы до быка.

Пока мы поднимались в сопровождении ключаря по петляющей в лесу серпантине тропы, ведущей к церкви, я старался вспомнить все, что знал о церкви Квирика и Юлиты. Отец Мушни Хардзиани — Григор рассказывал, как тысячу лет назад сваны выбирали место для церкви. Было много споров, предлагались самые различные места. Тогда привязали к двум молодым и необученным бычкам бревно и пустили их. Бычки долго тащили за собой бревно, пока не поднялись по склону на вершину крутого контрфорса и не легли там на ровной скальной площадке. Рядом с площадкой оказалась крохотная зеленая поляна, тоже ровная. По три стороны от них обрывались почти отвесные стены. Тут и быть церкви, решили тогда старики.

Были и еще в моей памяти легенды об этой церкви. Почти все они связывались с ее ограблением. И всегда из этого ничего не получалось. Однажды два вора все-таки ограбили церковь. Набили мешки драгоценностями и решили уйти через перевал. Но поднялась страшная буря. Воры долго блуждали по горам и, совершив круг, замерзли почти у ворот каменной стены церкви Квирика. Или вот поинтереснее.

Случилось, один сван, по фамилии Шалиани, косил у царя имеретинского. Было там сто косарей, а он лучше всех. Дошли до Гегутского луга. Большой луг, и трава на нем высокая, самый лучший царский луг. «Ну, косари, — спрашивает царь, — сколько дней вам надо, чтоб выкосить такой луг?» — «За один день я выкошу этот луг», — говорит, выступая вперед, Шалиани. «Один?» — «Да, один, без всякой помощи. Но за это мне нужна большая награда». — «Хорошо, — говорит царь имеретинский, — я дам тебе все, что ты пожелаешь. Но если не выкосишь, отрублю голову. Согласен?» — «Согласен».

Взял косу и выкосил весь луг за один день, от темна до темна.

И запросил он за это чудотворную икону Квирика и Юлиты. Что делать царю?! Отдал. Шалиани понес ее домой. Узнал о том мингрельский князь. По пути в Сванетию Шалиани проходил мимо его дома. Князь пригласил его в гости, хорошо встретил, а ночью послал к нему свою молодую и красивую жену. Застав их вдвоем, мингрельский князь должен был убить Шалиани, но он взял выкуп — икону. Когда Шалиани рассказал обо всем этом своему князю Дадешкелиани, тот собрал воинов и дерзким налетом ворвался к своему «благородному» соседу. Он отобрал чудотворную икону и увез в свой замок в Эцер. Но свободные сваны не могли примириться с тем, что их священной реликвией владеет князь. Некто Коселиани из Мулаха выкрал ее у Дадешкелиани. Князь бросился за ним в погоню и догнал Коселиани по дороге в Ушгул в одном сванском доме. Воины князя перевернули весь дом вверх дном, но иконы не нашли: сваны подложили ее под рожавшую женщину, где искать икону никому не пришло в голову.

Так чудотворная икона Квирика и Юлиты вернулась обратно в Вольную Сванетию, а роды Шалиани и Коселиани навечно получили право бесплатного допуска к Квирику. Им не надо было уже пригонять быка, чтоб помолиться, принести присягу или дать клятву.

У сванов были основания фанатически охранять свои религиозные и исторические ценности, хранящиеся в их скромных базиликах. Они действительно довольно часто исчезали или подменялись другими. В 1895 году, например, монастырь Квирика и Юлиты посетила знатная персона — графиня Уварова. Ее сопровождал один из князей Дадешкелиани. Высокая гостья писала книгу о древних иконах. Главную ценность книги составили фотографии икон, сделанные сопровождающим графиню фотографом. Так эта русская аристократка не посовестилась просто украсть кое-что. Она вывезла из церкви Квирика и Юлиты драгоценный ковчег для креста золотой византийской работы IX—XI веков. А вместо него графиня Уварова подсунула дрянной медный ковчежек, новенький и блестящий. Сваны сделали для нее исключение, доверили высокопоставленной гостье рукописное Евангелие VIII—IX столетий, которое графиня умоляла дать ей на время для научного исследования. Она даже написала своей холеной ручкой расписку. Но рукописная книга так и не вернулась в Сванетию.

Помнил я также от Ковалевского [1], что номинальная ценность сванских реликвий сильно преувеличена, что вместо золота он встречал здесь лишь позолоту,

[1] Борис Ковалевский. Страна снегов и башен. «Прибой», 1930.

вместо драгоценных камней — самоцветы и т. д. Когда в первые годы революции в Сванетии нашлись люди, предлагавшие продать все эти ценности и употребить вырученные деньги на нужды сванов, то золота и серебра оказалось в сванских церквах так мало, что не стоило и затевать такую операцию. Слава богу, она не осуществилась, вмешались советские власти Тифлиса и категорически запретили трогать эти исторические ценности. Оценивать серебряные иконы IX—XII веков по весу могло прийти в голову только людям, не имеющим ни малейшего представления об истории и культуре Сванетии.

Но и историческая ценность сванских реликвий, овеянных легендами, тоже часто бывает преувеличена. Помню, в селении Лахамул, где стоит построенная в прошлом веке церковь святого Георгия и при ней очень старая часовня, мне сказали, будто у одного старика хранится древнейшая книга, чуть ли не IV—V веков. Что в ней записана история всей Сванетии, начиная от рождества Христова. Безусловно, я заинтересовался. Вдруг обнаружу сванское «Слово о полку Игореве»! Книгу эту никому не показывали, она хранилась у старика в сундуке под пятью замками. Но благодаря председателю колхоза Владимиру Чкадуа и его сыну Омари, подобравшим нас ночью на дороге и оказавшим удивительное гостеприимство, удалось взглянуть на таинственную книгу и даже подержать ее в руках. Она была зашита в красный ситец, а по краям чехла шла белая кайма. Старик осторожно отпорол с одной стороны тесьму, расшил чехол и вынул книгу, упакованную в еще одну обертку из материи. Книга действительно была написана на воловьей коже по-старогрузински. Но даже мне, неспециалисту, с первого взгляда стало ясно, что она моложе, чем мне говорили, на 10—12 столетий. Мне подумалось, это просто псалтырь, по которому читались молитвы. Впоследствии, после консультации со специалистами, это подтвердилось. Я не стал, понятно, высказывать тогда свои соображения. Тем более что старик, показывая книгу, заявил: «Никому и никогда мы ее не отдадим». Трогательно. Нельзя не оценить столь трепетного отношения сванов к своей старине. Подобное ведь не часто увидишь.

Мне довелось объездить многие города и деревни севера европейской части России. Встречал простых людей, хранящих старинные иконы и книги, ювелирные изделия типа великоустюжских гайтанов, черненого серебра или резной кости. Но они берегли их для себя, только как свою собственность. Старые и религиозные люди, владея такими вещами, не испытывали гордости за искусство и древнюю культуру русского народа. Нет! Это было им недоступно. Если только они не были староверами, новая, литографская икона с бумажными цветами в позолоченном киоте всегда дороже для них почерневшей доски с живописью XVI—XVII веков. Серебряный гайтан — цепочка из тысячи колец величиной меньше спичечной головки, вручную согнутых и спаянных мастерами города Великий Устюг в XVI—XVII столетиях, — расценивался как дорогое украшение, и только. Ничего не стоило выменять его на портативный радиоприемник. Когда старики умирают, молодежь выбрасывает за ненадобностью древнерусские иконы и рукописные книги в реку. Так повсюду. Но только не в Верхней Сванетии. Лахамульская книга не

принадлежит старику, она есть достояние всего селения. Она гордость Лахамула и никогда не будет выброшена в Ингур.

Придерживаясь за скалы, мы выбрались наверх, и я остановился пораженный: стена крепости, две сторожевые башни и трапезная — все было новым, только что реставрированным. Вот уж чего не ожидал! Но об этом после.

Церковь Квирика и Юлиты называют часто монастырем. Когда-то, говорят, здесь жили двенадцать монахов, что является, в общем, исключением. В Верхней Сванетии не бывало монастырей и монахов, тут давно уже обходились даже без священников.

Сопровождающий нас сван открыл ключом массивный замок в не менее массивной двери, и мы, пройдя через темноватый тоннель, вышли на территорию монастыря. Весь он размером не больше теннисного корта, стоит на ровной, чуть наклоненной скале, так что пол в трапезной, в башнях и в самой церкви — естественная скала. Часть стены у трапезной и у башни — тоже скалы. Построен монастырь ступенью, на верхней — церковь, башня, видная из ущелья, навес с крючками для мясных туш и под навесом стол для разделки мяса. Тут же большие медные котлы для варки его, очаг. На нижней ступени — трапезная, башня и вот этот каменный коридор, по которому мы вошли. Между строениями зеленые лужайки. Возле церкви пристройка с очагом и скамейками и укрепленный цементом квадрат для установки знамени. За стенами с трех сторон — пропасти, жутко глянуть.

Вдруг раздались беспощадно громкие удары колокола. Это было совершенно неожиданным. Звонил наш провожатый, звонил упорно. Я не понял, в чем дело, решил, развлекается человек. Развлечение показалось неуместным, кощунственным. Но когда мы уходили, он опять взялся за веревку, колокол на пристроенной к церкви маленькой колокольне закачался, и густой звук его разнесся по горам. Оказывается, такой порядок: все должны знать, здесь находятся люди, знать, когда пришли и когда ушли. Кто были эти люди, всем уже известно.

В трапезной на скальном полу стояли медные котлы для варки араки и мяса, деревянное корыто для замешивания теста, бочки. Сложены вдоль стен заготовленные впрок березовые дрова. Возле очага — шиферная плита на подставке для изготовления лепешек, над очагом повешена, чтоб не случилось пожара, другая плита. Все, как в старинном сванском доме. Только стропила и крытый дранкой потолок совсем новые, не успевшие еще потемнеть.

Я не сомневался в том, что реставрация произведена учеными и архитекторами по программе грузинской или союзной Академии наук. Ничего подобного! Все восстановлено и приведено в прежний вид самими сванами, по собственной инициативе и на свои средства! Не было ни инженера, ни историка, ни архитектора, ни начальника с заместителем, ни завхоза, ни экспедитора — ни одного из тех должностных лиц, которыми у нас так быстро обрастает любое дело. Так же как теперь нет здесь заведующего, сторожей, штатных экскурсоводов. Этот интереснейший историко-этнографический музей, как все подобное в Верхней Сванетии, принадлежит всем сванам, народу. Народ его создал, народ его сберег, и народ его теперь реставрировал, заботится о нем и охраняет его.

Просто собрали деньги (17 тысяч рублей, немалые для сванов деньги), купили цемент и лес, все необходимые стройматериалы и восстановили свой памятник истории и культуры. Строили сообща и, понятно, бесплатно. Никого не приходилось уговаривать, агитировать, все свое свободное время отдавали. И народу-то совсем немного! Все было сделано недавно, в 1967 году, но дело не закончено. У крепости имелось четыре башни, а пока стоят только две, стена раньше была повыше. Реставрация продолжится в следующем году.

А дело нелегкое... Сторожевую башню над пропастью не каждый возьмется класть. Привязавшись к веревке, ее выкладывал Григор Хардзиани, совсем старик. Ему подавали цепочкой камни, а он их укладывал и цементировал. Камни носили снизу, от реки. Раз Григор полетел со стены, чудом остался жив. Думают строить еще две башни, одну вместо колокольни, другую для дежурного. Под сторожевую башню натаскали с реки и сложили круглые булыжники, которые служили когда-то оружием обороны. Чтоб все «как было».

А как было? В X веке как было? Кто это знает из сванов? Как ни прекрасен факт сам по себе, он таит серьезную опасность, вызывает чувство досады. Непрофессиональные реставраторы—смерть для произведения искусства, для памятника архитектуры. Ведь нет ни чертежей тех веков, ни фотографий, даже рисунка. Григор помнит, что ему рассказывал дед. Деду рассказывал его дед. Но эти предания не могут уходить в глубь десяти веков, а если кое-что и доходит оттуда до нас, то обязательно в искаженном виде. Не раз приходилось убеждаться в этом собственными глазами.

Помню, разговаривал с двумя сванами — учителями истории. Зашла речь о том, были ли в Верхней Сванетии татары (разговор шел о возникновении праздника «льва»). Были здесь татары или нет? «Это надо спросить у стариков», — говорит один. «Узнаем у такого-то, он очень старый», — решает другой. Спросили. Были татары, говорит старик. Значит, были. И никуда не денешься, бессмысленно спорить и ссылаться на литературные источники, доказывая, что татарское нашествие обошло страну и татары никогда не проникали в Верхнюю Сванетию.

Так и тут. Старики помнят, как выглядел монастырь Квирика и Юлиты 70—80 лет назад, пусть сто, пусть даже двести, но не тысячу! Таков парадокс — с одной стороны, радостно видеть, как люди, не дожидаясь решений ведающих памятниками старины организаций и ученых, сами берутся и восстанавливают памятник своей культуры; с другой стороны, этот памятник уже безнадежно загублен не поставленной на научную основу реставрацией.

Мы переступили порог церкви Квирика и Юлиты с душевным трепетом. Миша и я, оба неверующие люди, испытывали необыкновенное волнение, входя в ее низкую дверь. И, прикоснувшись к этой овеянной веками живой легенде, почувствовали радость и огромное удовлетворение. Уверен, большинство людей приходят сюда не из религиозных побуждений.

Узкий, не разойтись, коридорчик, уставленный дарами; простейший, полуцилиндром, свод церкви. Посередине огромный дубовый крест, обитый серебряными чеканными пластинками и с колпаком вроде шапки Мономаха. В перекладине креста вставлен

легендарный камень сердолик. Едва сохранившиеся фрески художника Тевдоре (XI в.). Полутьма, пыль, паутина. По углам кучи принесенных в качестве пожертвования турьих рогов. В одном из углов священное одеяние из истлевшей парчи. Под кровлей лежит большой красный флаг с крестом на древке. Новый флаг, на праздники его выносят и ставят в специально сооруженное для него место. Старинные украшения, оружие, серебряный с чеканкой кувшин, кресты поменьше и древние чеканные иконы местной работы (XI—XIII вв.).

Чеканные иконы Лагурки посвящены в основном св. Квирику. Здесь около десяти икон с его изображением. Но есть и другие, например «Спас на троне» XI века. Этот сюжет тоже типично сванский, в Грузии того времени «Спас на троне» встречен всего один раз — заказ дочери царя Дмитрия, царицы Русуданы. Все, что относится к «золотому веку», сразу привлекает внимание своей скульптурностью, декоративностью, орнаментом.

Предалтарный крест так и стоит на своем месте, где был установлен тысячу лет назад. Чеканка на нем сохранилась неплохо, но, кажется, кое-где подновлена.

С обратной стороны креста, как раз напротив окна-щели, так что ее можно хорошо рассмотреть, живописная икона Ламарии. Она завешена. Икона поздняя. Самая интересная, по описаниям, икона церкви — Квирик с Юлитой в виде маленьких запеленатых фигурок. Та самая, которую получил в награду за свою работу косец Шалиани. Я ее не нашел. Возможно, ее уже и нет. Икона тысячелетняя и местная. Приходилось видеть ее фотографию. Расспрашивать нашего провожатого в тот момент было неловко. Да и вряд ли он сказал бы о ней что-нибудь. Об этой иконе ничего не понявшая графиня Уварова писала: «...в высшей степени грубого дела и неумелой формовки». Немало загадок для искусствоведов хранила церковь. Была икона (тоже не видел), по стилю относящаяся к X—XI векам, на которой был изображен, судя по платью, европейский студент XIV—XV столетий. В камзоле, плащике и в шапочке, какие носили в ту эпоху.

Сознаюсь, мне не под силу было разобраться в возникшем предо мною разнообразии и богатстве древнейшего искусства, и так пришлось взять на себя смелость довольно много рассуждать здесь о том, чего по-настоящему не знаешь. Сванские рукописи, иконы, фрески, миниатюры и другие памятники истории, культуры и искусства много раз изучались, о них написаны тома. Академик Марр считает крупнейшим специалистом в этом деле Е. С. Такайшвили. Я воспринимал виденное лишь как гость Сванетии, человек любящий и старающийся понять загадочную страну.

В виде особого доверия нам открыли сундук, стоящий слева в алтаре, и извлекли из него несколько особо ценных реликвий. Запомнилась размером с ладонь золотая пластина с миниатюрами, выполненными эмалью. На ней было изображено распятие с четырьмя фигурами по краям. Хранилась она завернутой в вату и несколько мягких оберток. Рукописных книг я не видел. Только печатные.

Сундук этот был знаком мне по Бартоломею. Полковник разочаровался, попав в 1853 году к святому Квирику. Ну как же! Вместо 166 икон в окладах и, главное, с надписями он нашел здесь всего 20 икон, большею

частью без риз и надписей. Утешился он надписью, найденной на стенде церкви, и вот этим самым сундуком. Надпись, сделанную церковными древнегрузинскими письменами, он перевел так: «Когда землетрясение разрушило церковь сию, Святого Квирика, то я, Георгий, сын (или помощник) Антония, украсил ее вновь. Помилуй и нас, и Бог вас помилует».

Провожатые Бартоломея так долго препирались о том, кто более достоин прикоснуться к сундуку, что он потерял всякое терпение и накричал на них. «Тут лежали какие-то две вазы, похожие на японские, — пишет полковник Бартоломей, — множество стеклянной и фаянсовой посуды разных форм и веков, также медные блюдечки, разные кусочки цветного битого стекла, бусы, четки, горшочки, чашки, лоскутки шелковых и парчовых тканей. Сванеты смотрят на этот хлам как на сокровища неоцененные, и я не стал их разуверять. Я списал только греческие надписи с одного образа, хранящегося под шелковым чехлом с серебряными гремушками в том же сундуке. Образ этот действительно замечателен по древности, красоте византийской работы и богатству. Он весь в ризе из чистого золота, на нем изображено разноцветной финифтью распятие, сверху парят два ангела, и по сторонам стоят богоматерь и святой Иоанн. Над ними, тоже финифтью или чернью по золоту, надпись в одну строку; внизу же в три строки надпись.

Смысл этой искаженной надписи не может быть в точности определен.

Кругом, по золотому окладу, вставлены драгоценные камни и крупный жемчуг, также и антики, из коих самый значительный красный камень, кажется сердолик, с превосходным грудным изображением Христа. Обратная сторона иконы серебряная и представляет рельефом воскресение Христа, держащего в руке крест с надписью в одну строку. Величина образа семь вершков вышины и пять вершков ширины.

Когда нам с Мишей открыли сундук и я увидел золотую икону, то подумал было, что это та самая. Но, вернувшись домой и перечитав это описание, понял — иконы мы с полковником видели разные. Интересно, где же теперь та золотая икона, что лежала в сундуке сто пятнадцать лет назад?

Наряду со старинными чеканными иконами тысячелетней давности мы увидели, как обычно, и неумело намалеванные иконы, литографии в безвкусных киотах и с бумажными цветами. Проход в церковь выглядел, как кладовая, чулан, где скопились ненужные хозяевам вещи. Тут десятками висели на цепочках грузинские ширпотребовские рога. Пришлось поставить шкаф, чтоб сложить туда часть даров. Среди них красовались те же подстаканники, портсигары, статуэтки, посуда... Все новенькое, блестящее и ничего не стоящее. Григол Хардзиани жаловался, что эти дары переполнили помещение, мешают проходить (я тоже задел за рога, и они посыпались, как горох, на пол), но ничего с ними сделать нельзя. Хорошо бы, говорит, продать эти вещи и пустить деньги на реставрацию, но по вековой традиции выносить отсюда ничего нельзя.

Обращают на себя внимание два огромных полированных рога тура. На них, как и на всех дарах, грузинские надписи. Попросил Мишу перевести. Выяснилось, рога принесены сюда двумя бра-

тьями. Оба в Отечественную войну попали в плен и вынесли много горя. Сваны и не чаяли вернуться домой, а когда попали на родину, в знак счастливого поворота судьбы принесли сюда эти дары.

Праздник Квирика и Юлиты отмечается 28 июля. Этот праздник — торжество для всей Сванетии. Мало того, на него приезжают из Кутаиси, Тбилиси и даже из Москвы. Происходит моление, не без того, но в основном праздник выливается в песни, танцы, хороводы и игры. Даже спортивные игры — поднимают камни и колокол, борются, соревнуются в силе и ловкости. Конечно, все сопровождается обильным возлиянием. Тут же пекут лепешки, варят мясо и живут не один день.

— Бывают ли неприятности? — спросил я у Григора. — Ведь тут чуть что и лететь до самой реки.

— Нет, не случалось, — ответил старик, — все смотрят друг за другом. А чтоб скандал или драка — такого не может быть. Никто плохого слова не скажет. Знаешь наш обычай, кому захочется испортить праздник?!

Заключительный тост

Провожали нас с Мишей торжественно. Я встал и сказал:

— Предлагаю тост за будущее Верхней Сванетии!

Десять веков Верхняя Сванетия жила своей обособленной жизнью, на целое тысячелетие замкнулась она в непроходимых горах от всего света. По миру прокатывались войны, менялись общественные формации, перемещались целые народы, исчезали одни государства и возникали другие, а Верхняя Сванетия жила своей жизнью, тут ничего не менялось. Как стояли эти башни, так и стоят, как была страна свободной от власти и гнета князей и царей, так и осталась свободной, управляемой самим народом. Долго все оставалось по-старому, очень долго. Тем заметнее, разительнее перемены, происшедшие здесь в последние десятилетия, за годы Советской власти.

Старики согласятся со мной, если я скажу, что за последние тридцать-сорок лет в Сванетии произошли гораздо большие перемены, чем за прошедшие триста-четыреста лет. Особенно они стали заметны после проведения в страну автомобильной дороги. Всеобщее образование, поликлиники и больницы, радио, автомобили, кино, телефон, магазины, самолеты, которые водят сами сваны, — кто из стариков знал или хотя бы слышал обо всем этом сорок лет назад?! Жизнь меняется очень быстро, и чем дальше, тем быстрее. Надо не только поспевать за ней, но и уметь смотреть вперед.

В чем будущее Верхней Сванетии? Разные могут быть взгляды и суждения по этому поводу. Разрешите мне высказать свое мнение. Может быть, оно не очень-то и глубоко, ибо я, хоть и объехал и обошел всю страну, побывал в каждом обществе и каждом ущелье Верхней Сванетии, за исключением Адиша, все-таки не родился здесь и не прожил всю жизнь. Мне представляется ее будущее в развитии туризма и горного спорта.

Здесь не станут строить заводов и фабрик, нет для этого ни достаточного количества сырья, ни железной дороги или других дешевых путей сообщения для завоза сырья и вывоза готовой продукции. Трудно наладить в маленькой горной стране и интенсивное сельское хозяйство.

Зато здесь есть другие ценности, уникальные ценности, настоящий клад, который пока зарыт в наших горах, мы его почти не используем. Я говорю о красоте природы Верхней Сванетии, ее горах, солнце и снегах, о ее замечательных памятниках истории и культуры.

Давайте вспомним, что говорил по этому поводу первый председатель исполкома Сванетии Сильвестр Навериани. Он говорил так: «Запомните: будущее Сванетии в переходе к скотоводству, в молочном хозяйстве, в развитии туризма, в устройстве курортов, бальнеологических станций». Тогда не было еще альпинизма и горнолыжного спорта. Навериани подразумевал их под словами «туризм» и «курорт».

Развитие в Верхней Сванетии туризма и горного спорта послужит рычагом для стремительного повышения культуры вашего народа, даст занятость населению страны, прославит еще больше сванов как спортсменов. Произойдет возрождение былой славы вашей замечательной страны. Пустые и запущенные башни и замки, старинные фрески на стенах церквей и созданные много столетий назад руками предков чеканные иконы, оружие, предметы быта получат вторую жизнь, как бы проснутся от тысячелетней спячки. Они станут гордостью не только сванов, но и всех людей нашей большой, многонациональной страны. Так же как в Самарканд и Бухару, Ростов Великий и Суздаль, в Таллин и Вильнюс, сюда потянутся люди, чтоб поклониться древней культуре маленького народа.

Вот послушайте, что пишет в сегодняшней газете журналист Песков, — я взял в руки «Комсомольскую правду»: «Ощущение прошлого в прямой связи с тем, что тебя окружает, с тем, что тебя касается в жизни, всегда давало людям уверенность в будущем, давало человеку необходимое равновесие в размышлениях о смысле жизни и своем месте в ней.

...Узнавание всего прекрасного, что оставили жившие до тебя, оставляет у любого человека ощущение и твоей нужности на земле. Это великое, необходимое людям чувство». Эти слова сказаны о старинном русском городе Ростове Великом, но они в такой же степени применимы к сванским башням, ровесницам самых древних ростовских церквей.

Допустим на минутку, что всего этого не будет или случится очень не скоро. Все равно мы должны ценить и охранять памятники нашего славного прошлого. Много ли я прожил в этот раз здесь, вместе с вами? А при мне на днях рухнула башня в центре Местии. Фрешфильд сто лет назад насчитал в Местии семьдесят башен, а в Ушгуле — до пятидесяти. В 1938 году в Местии их было около пятидесяти, а в Ушгуле тридцать пять. Посчитайте, сколько башен осталось теперь! С тех пор как я стал здесь бывать, выросло много новых домов и разрушено немало старых. Правильно, новые дома надо строить. Но не следует ли при этом архитекторам и властям заботиться и о том, чтобы старинные сванские архитектурные ансамбли сохранялись в своем первозданном виде? Стоит ли заменять их новыми застройками или разбирать на камни для строительства? Разве места мало или не хватает камней в горах? Будет очень печально, например, если опустеет старинный сванский дом Николаса и Сары Хергиани, но если при этом его развалят на камни, то это уже будет пре-

ступлением. Преступлением перед народом, перед его историей. В этом доме должен быть организован музей старинного сванского быта. Он уже фактически является музеем. Спросите у Николаса и Сары, сколько туристов побывает у них за одно лето? И наконец, надо создавать артель, предприятие, мастерскую по изготовлению предметов сванской национальной одежды, искусства и быта.

Заботясь о наших детях, нам следует приложить усилия для сохранения народного фольклора — сванских песен, плясок, хороводов, игр и праздников, отделив их от религиозных обрядов и богослужений. Я испытываю глубокую признательность к учительнице из Кали Екатерине Хардзиани, собравшей часть старинных сванских песен.

Любят говорить, что у сванов еще живы некоторые родовые пережитки. А что такое род? Это совокупность семей, коллективные обычаи и традиции, коллективная ответственность.

Некоторые черты родовых отношений в наше время, оказывается, прекрасно уживаются с советской моралью. Когда у нас говорят: «человек без роду и племени», это значит, человек без дела, без определенных принципов, никчемный человек. Справедливая пословица, вот только когда начинаешь ее понимать.

Я благодарю вас, всех сванов, за доброту и сердечность, за сванское гостеприимство, за то, что вы все так любите свою родину и свой народ и так бережно относитесь к сохранению народных традиций и памятников своей культуры!

За то, чтоб так было всегда!
За будущее Сванетии!

1968 г. Местиа — Москва

Жан-Альбер ФОЭКС

●

ОГНИ ПОД ВОДОЙ

Жан-Альбер Фоэкс — известный во Франции специалист подводных исследований и подводного плавания, участник многих экспедиций в Средиземном и Карибском морях, в Атлантике и Индийском океане, Персидском заливе и Тивериадском озере; автор нескольких книг. Сейчас он издает в Париже журнал «Авантюр сумарин» («Подводные приключения»). Публикуемые отрывки взяты из его последней книги — «История людей под водой».

История человека под водой имеет мало общего с историей человека на море. Погружение и мореплавание надо рассматривать порознь. Герой кругосветного эпоса Улисс, навигаторы глубокой древности — финикийцы, испанцы — открыватели Вест-Индии и обеих Америк, смельчаки, огибавшие мыс Горн, страшились соленой воды. Смертельный вал, грозивший в любой миг ворваться через пробоину в корпусе, неотступно преследовал их. Подводный риф, выдаваемый барашком пены, вселял в них ужас. Морская дорога пугала их.

А погружение в пучину вод, добровольный шаг в чужую стихию, просто не поддавалось воображению.

Голубое и зеленое, зеркально гладкое и сморщенное ветром, ледяное и теплое, спокойное и гибельное — для мореходов древности море было чужим, изменчивым, в лучшем случае равнодушным, в худшем — превращалось в море Мрака; обманчивая поверхность скрывала бездонную преисподнюю, обрекая на муки жажды и медленную смерть.

И первые порты строились больше как цитадели Земли, противостоящие Морю, чем как связующие звенья между водой и сушей.

И потом, мореплавание — коллективный риск, а ныряние почти всегда — одиночная попытка. Чтобы решиться на нее, человеку нужен какой-нибудь мощный толчок, неодолимая тяга или безысходность, на которую обрекают страх, голод и неистовая страсть.

Мечтательные безумцы хотели украсть ключи от садов Амфитриты [1]. Корыстолюбцы и влюбленные мечтают о кораллах и жемчугах, какими усеяны лежащие под волнами острова. Однако изначально человека толкает к границам бесплодных земель щемящий голод.

«...Земля же была безвидна и пуста, и дух божий носился над водой... И сказал бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал бог сушу землею, а собрание вод назвал морями... И сказал бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую. И сотворил бог: рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их» («Бытие»).

Первобытный человек еще нетвердо стоит на двух нижних конечностях, он жует горькие водо-

[1] В греческой мифологии супруга владыки морей Посейдона. — **Прим. пер.**

росли, смотрит в воду и ловит проворных рыб.

Гомеровские герои винят в своих злоключениях не вообще водную стихию, где ветер вырывает леденящие кровь пропасти, нет, они упрекают в них «рыбье море». Приходится мириться с жестокостями моря, поскольку оно источник пищи.

Итак, человек отваживается выйти в море, чтобы добыть себе еду. Он вступает в поединок с водой. Чтобы выжить, человек пускается за горизонт, преодолевая все свои страхи. Вооруженный заостренной палкой, он редко настигает добычу. Стреляя в рыб из лука, он теряет стрелы, ибо вода искажает дистанцию. Тогда он входит в воду и, наконец, в первый раз ныряет.

Он открывает в воде глаза, и ему предстает картина фантастического зыбкого мира, сулящего столько же надежд, сколько опасностей.

Доказательства этих незапамятных попыток мы держим в руках: раковины, найденные в доисторических поселениях, губки, выловленные критскими ныряльщиками, коралловые нити, торговля которыми процветала в Египте уже в первой половине III тысячелетия, жемчуг и перламутр с западного берега Индии, появившиеся на рынках Средиземноморья за 1200 лет до н. э. В библии мы читаем: «...за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и виссонами, и кораллами...» («Иезекииль», 27, 16—23).

Могут возразить, конечно, что для того, чтобы ловить рыбу, отдирать с морского дна губки и кораллы, собирать жемчуг, вовсе не обязательно нырять: океан во время отлива оставляет на отмелях часть своих богатств. Верно, поиск даров моря на мелководье предшествует погружению. Люди изготавливают для этого инструменты, крючки и остроги. Сборщики кораллов пользовались деревянным, а затем металлическим крестом, которым разбивали кораллы и ссыпали их в специально подвязанный мешок. Так родилась традиция рыбаков, не умеющих плавать.

Однако человека, кроме голода и нужды, обуревает жажда познания, желание пробиться в таинство морской глуби. Мысль человека мечется, вопрошая, над поверхностью воды.

И наконец, война необычайно рано в Истории заставила людей освоить враждебную стихию. Командующий эскадрой, стратег и историк Фукидид (400 лет до н. э.) описывал действия боевых ныряльщиков в ходе Пелопоннесской войны:

«...Дабы помешать афинянам подвести корабли к берегу, сиракузцы вбили в дно острые столбы. Но сиракузцы напрасно пускали стрелы и метали дротики; афиняне отвечали им с судов, а в это время их ныряльщики пилили под водой сваи. Некоторые столбы, не доходившие до поверхности, были особо опасны, потому что могли разрезать ладью подобно верхушке подводной скалы».

(Эти же ныряльщики, что спиливали сваи, во время боя подбирались под водой к днищу ладьи и протыкали его; таким образом они действовали как прообраз торпеды.)

Однако каковы бы ни были их намерения — воинственные или мирные, — лишь единицы в течение двадцати четырех веков отваживались переступать пенную границу морской поверхности и совершить полет по упругому небосводу.

Нырнув, чтобы сорвать цветок,

человек ранил о него руки, ибо цветы оказывались хищными созданиями. Другие существа, которых он принимал за зверей, оказывались прожорливыми растениями. Вернувшись, ныряльщик рассказывал о своей авантюре, и его рассказы вырастали в необъятные легенды, кишащие гигантскими змеями, десятирукими чудищами, раковинами-громадинами, пожирающими несчастных моряков.

Как не поверить на слово космонавтам, вернувшимся с Марса или Венеры? Как не поверить на слово ныряльщикам, вернувшимся с морского дна?

Дерзко вторгаясь в тайны этого нового мира, погибая порой от прикосновения к неведомому, постигая еще одно измерение, где разум был не в силах одержать верх над капризами природы, ныряльщики древности первыми вышли за пределы Земли, стали первопроходцами планеты Море, первыми приняли вызов безмолвия. Они уходили во мрак.

Однако если они и были в состоянии перенести отсутствие солнечного света, то выдержать давление враждебной стихии было не под силу.

Здесь понадобились машины.

Да, чтобы сопротивляться давлению, обезопасить себя и вести наблюдения, нужны были нырятельные машины. И всепокоряющая выдумка Ренессанса, вслед за прогрессом искусств и ремесел, порождает бесконечную цепь механизмов и устройств, подводных колоколов и нырятельных кораблей. Следы их можно отыскать в старинных книгах, оставленных нам ныне забытыми батинавтами.

Сегодня во многих странах проводятся эксперименты с «подводными домами». История покорения моря повторяет историю покорения Земли. Нынешние океанографические базы — преемники фортеций, возведенных конкистадорами и землепроходцами XV и XVI веков. Сменяя друг друга, следовали пещерный, лесной, сельский, городской человек. В наше время к ним прибавился еще и подводный человек.

И между теми, для кого познание глубин стало занятием, работой, страстью, уже родилось подобие братства. Кое-кто даже поспешил окрестить «бегством от общества» их мечту найти ушедшие на дно античные острова. Но дело, очевидно, в том, что в шуме клубящихся толп сегодняшнего мира скоростей лучше слышится зов мира одиночества и глубинного спокойствия.

Кто они, пионеры подводных погружений, чьи свидетельства остались в старинных книгах, рисунках на античных вазах и фресках? Большинство их безвестно. Но отдельные имена, отрывочные истории дошли до нас.

Под ассирийскими стрелами

840 г. до н. э.

Абибал медленно отковыривал бронзовым ножом кусочки извести между кирпичами. Время от времени он приникал ухом к голой стене. Снаружи слышен плеск воды. Что, если, пробив брешь, он откроет дорогу смерти? Что, если вода ворвется в застенок? Но будь что будет. Ваал-Дагон, покровитель моряков, может, отведет на сей раз угрозу от трех финикийцев, да утонуть разом лучше, чем гнить в каменном мешке у ассирийцев.

Прислонившись спиной к стене, Гамилькар помогает Боду взобраться себе на плечи. Тот осторожно выглядывает и смотрит

на суда, снующие по Тигру, прислушивается к скрипу колес и мычанию быков по дороге в военный лагерь.

— Отплывают? — спрашивает Гамилькар.

— Нет. Везут припасы.

Гамилькара, конечно, снедает та же тревожная мысль, что и Бода. У них только один шанс убежать: если они сумеют добраться до одной из тех посудин, что лежали на берегу Тигра, когда их привезли сюда, — большущие плетеные корзины, обмазанные асфальтом. В одной из них, Гамилькар был уверен, лежали пустые мехи.

Абибал разогнулся, весь облитый потом.

— Готово. Осталось вынуть один кирпич.

Он рассыпает по полу и утрамбовывает в землю вытащенные из отверстия обломки, затем садится, прикрывая его спиной, и запахивает лохмотья, с которых солнце и непогода давно уже стерли прекрасный сиреневый оттенок финикийского пурпура.

Бод прыгает наземь. Скоро тюремщики принесут плошку прогорклой муки и вонючей рыбы. Скоро опустится ночь и настанет время действовать.

Абибал и Гамилькар, похоже, задремали, но сон бежит от Бода, думы одолевают его.

Он был ребенком, когда Ашшурнасирал простер свое иго над царями Тира и Сидона и запряг Финикию в колесницу владычицы Ассирии. Ашшурнасирал повелел записать это на глиняных табличках: «Я обложил данью царей морского берега, людей Тира и людей Сидона, и город Арвад, что лежит посреди моря. Я получил серебро, золото, тридцать пять ваз бронзовых, слоновую кость и морского зверя дельфина...»

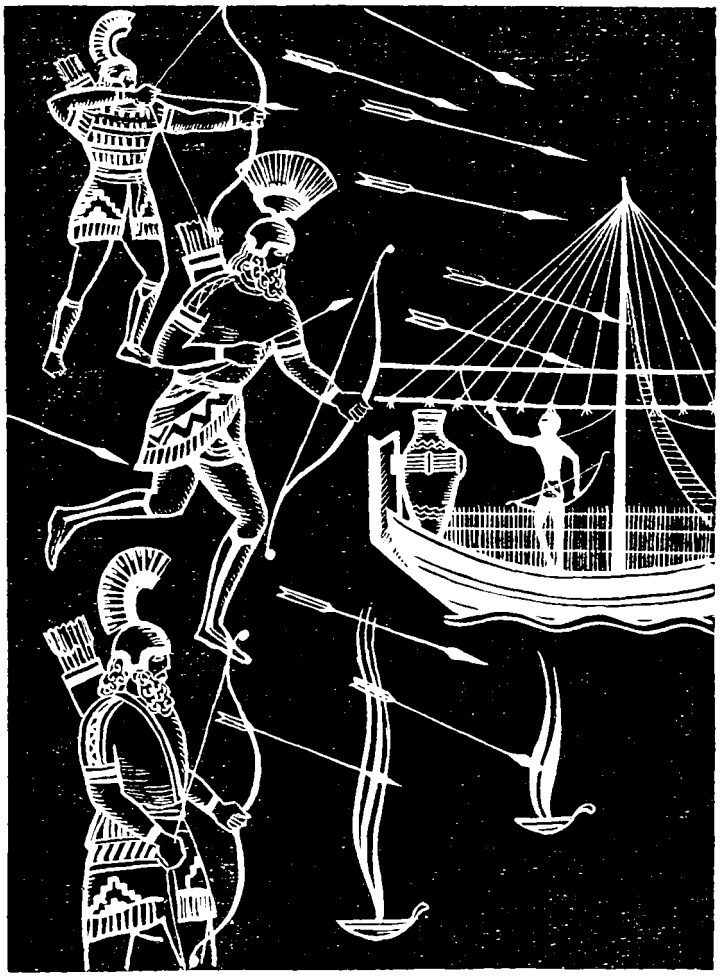
Теперь в Ассирии царствует Салманасар III, сын Ашшурнасирала; теперь он обирает Тир и Сидон. Но сидонские моряки не собираются отказываться от своей доли богатств. Финикийцы снаряжают быстроходные тарсусские корабли. На одном из них Бод со своими спутниками пускался тайными морскими путями в страну царицы Савской, страну Офир и загадочное Южное море, по берегам которого живут желтые люди.

Выйдя из Персидского залива, тарсусские корабли обращались на запад своей изогнутой кормой. Мертвые штили, бури, коралловые отмели, ярость чудовищных рыб, выпускавших порой водяные столбы и вздымавших волны вышиной с дворцы Ниневии, плутни и коварство племен, владевших драгоценными камнями и жемчугом, — все превратности судьбы, все опасности умели преодолевать финикийские мореплаватели.

Так было до того утра, когда их судно, подгоняемое дыханием ветра, подошло к Аравии. Здесь, перед самыми Красными островами, море, обезумев от собственного рева, разломало их корабль. Десятки ночей оставшиеся в живых брели, днем прячась от солнца, караванными тропами к Евфрату, пока летучий ассирийский отряд не взял их в плен и не привез в Ниневию; и вот сейчас должна решиться их участь...

Абибал толкает Бода; ему первому лезть в пролом. Он самый худой. Если вода хлынет внутрь их каменного мешка, Бод сможет вылезти назад, а Абибал или Гамилькар, сложением пошире, наверняка застрянут в узкой дыре.

Пленники затаили дыхание. Бронзовое лезвие вгрызается в



последний кирпич. И вот ступни Бода исчезают в проломе. Абибал с Гамилькаром лезут следом.

Ночь не так темна, как хотелось бы. Финикийцы, вжавшись в землю, ползут к берегу Тигра, где лежат посудины. Они забираются под одну из перевернутых корзин. Так и есть — под ней сушатся меха. Бод проверяет, целы ли они. Если мех слишком сухой, он может потрескаться или же просто оказаться с дырками.

Гамилькар и Абибал уже в воде, и Бод радуется, видя, что едва различает их. Вслед за ними он стаскивает в воду свой мех, и ленивая волна неспешно уносит троих беглецов. Она проносит их над отмелью, и Абибал первым доплывает до уходящей в воду стены дворца Крылатого быка; во тьме он цепляется за россыпь строительного камня. Настал час молить Астарту о спасении.

Впереди на тысячу локтей река плещется вдоль стен дворца; на террасах всю ночь горит в бронзовых плошках огонь, и его мятущийся отблеск освещает поверхность Тигра.

Подняв глаза, трое финикийцев смотрят на тревожные силуэты ассирийских часовых. Пленникам нечего мечтать проплыть под водой тысячу локтей, от силы одолеют двести-триста. Остается плыть по поверхности, надеясь, что боги подольше отведут от них внимание стоящих на страже лучников. Ну, а когда только поднимется тревога, придется нырять. Чтобы облегчить задачу, каждый выпускает на две трети воздух из своего меха и набивает пояс и полы хитонов камнями.

«Помоги нам, Астарта, богиня жизни, помоги сынам Сидона. А ты, Ваал-Дагон, покрой нас своим щитом...»

Стоя возле священной ограды Крылатого быка, ассирийский часовой увидел вначале, как ему показалось, какую-то падаль, которую нес поток. Но рука опытного стрелка опередила уставшее сознание. Тугой лук выпускает стрелу в тот же миг, когда часовой поднимает тревогу.

Рабы со всех ног устремляются к широкой стене первого пояса и выливают смолу в бронзовые плошки. Пламя, завихряясь, поднимается высоко к небу. Теперь река осветилась во всю свою ширь.

Абибал, пронзенный стрелой, уходит под воду. Бод поддерживает умирающего Гамилькара. Первая же стрела вонзилась ему в шею, и бронзовый наконечник вышел под подбородком. Бод так крепко сжимает в отчаянии тело товарища, что сам ощущает удар второй стрелы, вонзившейся в умирающего Гамилькара. Тот испускает дух, и тут же новая стрела вонзается в мех Бода. Он перехватывает мех, выпавший из рук Гамилькара, набирает в легкие воздуха и глубоко ныряет. Ему трудно опускаться, мех слишком раздут. Широко раскрыв глаза, Бод видит над собой мятущийся отблеск пламени, но холодная тишина уже обволакивает моряка; он выталкивает воздух, распиравший ему грудь, и делает под водой живительный вдох из меха. Глоток воздуха обновляет силы. К тому же теперь, уменьшившись в объеме, мех не стесняет погружения, и скоро надежная толща воды укрывает его от ассирийских стрел. Бод еще раз приникает к горловине меха, делает последний глоток, ждет, пока выдерживают легкие, и всплывает. Спасен!

Спасен, ибо огни дворца Крылатого быка остаются в ночи за спиной; река убыстряет бег...

Александр Великий спускается в бездну

Уставшая от тягот и невзгод, армия Александра стала лагерем в Гуадаре, на берегу Персидского залива. С тех пор как в 334 году до н. э. его армии пересекли Геллеспонт, Александр освободил греческие города в Малой Азии, покорил дикую Фригию, завладел Тиром и Газой, захватил владения Дария на берегах Средиземноморья.

Неутомимые, неподвластные отчаянию, непобедимые в бою, не поддающиеся ударам судьбы и немилостям фортуны, его солдаты прошли границы империи персов. Армии Александра стали лагерем на берегу Каспия, заняли Самарканд (Мараканда), раскинули шатры в Кашмире, у подножья Гималаев.

Переправившись через Тигр и Евфрат, македонцы научились строить «куффы», осмоленные посудины в форме круглых корзин из ветвей тамариска, и плоты из настланных на кожаные мешки с воздухом досок. С помощью этих средств отряды «бурдючников» в составе авангарда обследовали Окс (великую реку Туркестана Амударью) и верховья Ганга.

Неарк, командующий флотом и близкий друг царя, во главе армады из бирем и трирем[1] исследовал дельту Инда, выходящую в Оманское море и Индийский океан, и, пройдя вдоль берега, бросил якорь в Персидском заливе. Расставшиеся на время этой кампании Александр и Неарк вновь встретились в Гуадаре.

[1] Галеры с двумя и тремя рядами весел. — **Прим. пер.**

I

Александр, Неарк

Неарк. О государь! Твой облик повергает меня в смятение! Пурпурная туника фаланги, конечно же, уместна на плечах сына Филиппа Македонского, но что стало с изысканными тканями, которые привезли в Паталу индийские купцы?

Александр. Девять лет мы одерживали победы, и теперь, когда мое царство простирается от Нила до Инда, у меня не осталось ни одеяний, ни доспехов. Этот поход тяжко мне достался. Я умирал от жажды. А чтобы не умереть с голода, мои солдаты ели коней, разламывали повозки на костры; сундуки мои остались в ущельях Тальских гор. Но это не суть важно. Ты видел когда-нибудь, как слоны пересекают водную преграду? И помнишь, что писал мой учитель Аристотель о загадках морской пучины?

Неарк. Я видел, как слоны побежденного Дария переходили через озера и болота Вавилона. И я не забыл поучений Аристотеля... Но твои вопросы беспокоят меня. Я знаю, что, кроме подвигов воителя, Александр славен знанием. Ты позаботился взять в поход ученых спутников, и они измеряли дистанции, изучали новую фауну и флору, рисовали стадиазмы[1]. Что ты замыслил сейчас?

Александр улыбается и запускает пальцы в светло-рыжую копну волос. Потом идет к сваленным в глубине палатки подушкам и вытягивается на них.

[1] Стадиазмы — морские карты древних греков. — **Прим. авт.**

Александр. Ты только что узрел индийские воды и Ерифрейское море [1]. Что поразило там тебя?

Неарк. Я потерял два корабля и множество людей из экипажа. В плавании нам пришлось тяжелей, чем в битве, но я согласился бы на еще бóльшие муки, лишь бы вновь увидеть то, что явили нам боги в тех местах.

Что же видел Неарк в океане между устьем Инда и берегами Персидского залива? Он видел морских чудищ, которые острозубой пастью разбивали в щепы весла его галер, черепах, таких огромных, что дикари Кармании делали из их панцирей крыши для своих хижин, скользких змей, чья шкура была толщиной со стенку амфоры и которые пожирали ныряльщиков за жемчугом.

— Возле Кизы мы видели на востоке, как вода столбом поднималась из моря, будто поднятая ураганом. Моряки спросили лоцманов, что это, и те ответили, — это киты выпускают вверх морскую воду; и весла выпали у них из рук от страха. Моряки кричали во всю силу своего голоса и трубили в трубы. И тогда киты у самого носа кораблей ныряли в страхе в глубь моря и выныривали уже за кормой и вновь выпускали в небо водяные столбы.

Александр. Я созвал стратегов, чтобы подготовить поход на Персеполь и Сузы; вернусь лишь к ночи. Оставляю тебя приветствовать Аристотеля и хорошо принять его.

[1] Ерифрейское море — часть Индийского океана к востоку от берегов Аравии до западного побережья Индии. — **Прим. авт.**

II

Аристотель, Диогнет, Неарк, Александр, ныряльщики — индус и араб.

Аристотель. С каким умыслом вызвал меня Александр из моего уединения, не знаешь ли, Неарк?

Неарк. Я знаю лишь, что у царя есть тайная причина радоваться приезду твоему и Диогнета.

Диогнет. Эта причина не составляет тайны для меня. Царь жаждет видеть не мой лик, а машину, что я привез с собой. Немало пришлось мне затратить в Тире хитрости, чтобы исполнить замысел царя. Он дал мне план машины, похожей на деревянный осмоленный сундук, в которых мы на кораблях держим питьевую воду. И вот мы сделали этот громадный ящик из казимийского дуба, оковали его бронзовыми полосами и сделали в боках круглые отверстия. А сидонские умельцы вставили в них прозрачные стекла [1]. Здесь машину покроют еще несколькими слоями прочной смолы...

Александр. Что я слышу, Диогнет? Ты сеешь на площади государственные тайны?

Александр вошел в палатку в сопровождении солдат-факельщиков. За ними следом двое людей; один очень худой, с благородной осанкой и смуглой, почти черного цвета, кожей, другой — бритоголовый, геркулесова сложения. Оба они отошли в сторону и сели на корточки в затемненном углу.

Александр. Диогнет, теперь уж не молчи и продолжай свои речи.

[1] Матовые стекла знали уже древние египтяне, но лишь финикийцы освоили прозрачное стéкло. — **Прим. авт.**

Диогнет. Все готово, государь. Рабы начнут с рассветом мазать смолой корпус судна — самого странного, что доводилось когда-либо видеть Посейдону. Гераклит назвал его скафеандром [1].

Аристотель. Александр, всем сердцем хочу предостеречь тебя. Ты потомок ахейцев, коему предначертано было стать владыкой мира. Страсть толкает тебя переступить границы человеческого. Бойся, как бы построенная машина не унесла тебя в могилу. Эреб [2] ведь простирается и под морями!

Александр. Я велел привести этих людей, чтобы вы услышали о том, как ежедневно они уходят нагими под воду и по-прежнему живы. То, что я собираюсь сделать, они совершили множество раз. Более того, это сделала даже женщина! Напомни нам, Неарк.

Неарк. Статуя этой женщины сейчас находится в храме Аполлона в Дельфах, а историю ее поведал Геродот. Девушку звали Циана, а ее отца — Сциллий. Он не знал себе равных в нырянии, никто не мог так ловко извлекать сокровища из затонувших греческих и персидских кораблей. Сциллий обучил своему искусству Циану, и та преуспела в нем. Однажды ночью, когда на море бушевала буря и в клочья рвала паруса, отец с дочерью подплыли к кораблям Ксеркса, обрезали под водой пеньковые веревки, державшие якоря, и корабли персов выбросило на камни.

Александр. Ты видишь, Неарк, морская глубь не так страшна. Циана не дрогнула перед ней. Когда город Тир отказался открыть мне ворота, я решил перекрыть морской рукав, отделявший Тир от континента. Тирские лучники обстреливали наших плотников, и тогда ныряльщики под водой поставили сваи. Я наблюдал, как подручные спускали в море одного ныряльщика-киприота; голова и грудь его были спрятаны в перевернутый кверху дном долиум [1]. Вначале я думал, что его просто укрывают от вражеских стрел. Но оказалось, они прибегали к системе, которой учил Аристотель...

Аристотель. Действительно, когда ныряльщиков опускают в воду в перевернутой дном кверху вазе, это позволяет им дышать. Ваза не заполняется водой, но сохраняет внутри себя воздух. Чтобы погрузить ее в воду, требуется немалая сила, ибо ваза должна стоять прямо, так как, едва ее наклоняет, вода тут же устремляется внутрь [2].

Александр. Ныряльщик-киприот вдыхал заключенный в долиуме воздух и подолгу оставался под водой, укрепляя на дне сваи. Мне пришла в голову идея создать машину для исследования моря. Ты, Аристотель, подтверждаешь, что прицеп машины верен; ты, Диогнет, следил за ее постройкой, а ты, Неарк, займешь в ней место рядом со мной.

III

Несмотря на жару и усталость, три дня и три ночи командующий флотом не сходил с палубы финикийской тридцативесельной галеры **«Мелкарта»**. Спал он тут

---

[1] Скафе — судно; андрос — человек. Этимология слова «скафандр». — **Прим. авт.**

[2] Эреб **(греч.)** — царство мрака. — **Прим. авт.**

[1] Долиум — большой пузатый кувшин, использовавшийся для хранения зерна. — **Прим. авт.**

[2] Аристотель, Problemata, **раздел XXXII.**

же, завернувшись в плащ, на скамейке гребцов.

Построенная тирскими плотниками нырятельная машина имела форму огурца. Там, где бронзовые полосы не покрывали дубовых досок, конструкция была склепана гвоздями. Густые слои смолы покрывали ее целиком; были оставлены лишь круглые отверстия, заделанные бесцветными стеклышками, а также широкий вход снизу. Внутри машины была укреплена скамья.

Машина для ныряния была восьми локтей [1] в длину и пяти локтей в высоту. Фаламиты [2] связали кожаными ремнями в пучки несколько длинных весел и установили их перпендикулярно борту судна в виде полки. Затем эту «полку» осторожно втащили внутрь через весельные проемы, и машина осталась висеть на прочных веревках. Медленно ее опустили до самой поверхности, и так же медленно она погрузилась в воду. Веревки не давали ей крениться в стороны.

Двое ныряльщиков Александра — индус и араб — во главе отряда кипрских пловцов взялись за дело; им предстояло сквозь нижнее отверстие, находившееся уже под водой, занести внутрь тяжелые бронзовые бруски и камни.

Аристотель объяснил Неарку, что эта тяжесть не сможет увлечь машину в глубины моря. Она будет полезна в основном для устойчивости. Главный груз будет крепиться с внешней стороны. Для этой цели на круглых боках машины приделали крюки, а на них навесили мешки с камнями и медными слитками.

Наконец, на четыре наконечника толстого якоря, висевшего под днищем машины, надели большие, набитые каменьями и брусками кожаные мешки.

Закончив эти приготовления, Аристотель послал ныряльщика зажечь внутри машины лампу с двумя фитилями. Когда же и это было исполнено, Аристотель решил поднять машину над поверхностью, ибо счел, что воздух внутри ее уже испорчен дыханием пловцов, складывавших там балласт. На ночь машина осталась висеть над морем, и воздух внутри обновился.

Аристотель распорядился поудобнее разместить в машине все то, что Александр и Неарк возжелали взять с собой — вино, жареную бычью ногу, хлеб, свежие огурцы, масляные лампы, сухие туники.

Едва забрезжил свет, ныряльщики отправились на куффе обследовать то место, куда должна была спуститься машина. Привязав камень к веревке, они вымерили дно. Камень перестал натягивать веревку, после того как пловцы насчитали четырнадцать оргий [1].

По приказу келеуста [2] гребцы медленно выводят корабль к избранному месту. На палубе Александр и Неарк дают последние наказы Диогнету, остающемуся командовать. Ничто, похоже, не собирается нарушить спокойствие моря, тем не менее Диогнет решает бросить четыре якоря, буде налетит неожиданный шквал.

Солнце уже высоко в небе. Александр и Неарк снимают одежды, выходят за борт, ступая по выставленным веслам, и, взявшись за веревки, спускаются в море и исчезают в машине.

---

[1] Локоть — греческая мера длины, равная 0,46 метра. — **Прим. авт.**

[2] Фаламиты — гребцы верхнего ряда весел. — **Прим. авт.**

[1] Оргия — греческая мера, равная 1,85 метра. — **Прим. авт.**

[2] Келеуст — офицер, командующий гребцами. — **Прим. авт.**

Диогнет поднимает правую руку. Плотники начинают постепенно опускать веревки, а смазчики лишний раз намазывают их жиром. Волна накрывает машину, она превращается в темное пятно, которое расплывается и понемногу теряет свою форму, а натянутые веревки все скользят и скользят вдоль борта.

Впервые в истории двое людей дышат под водой.

IV

Аристотель установил на палубе халдейский гномон [1], подарок Александра. Стрелка гномона отбрасывает тонкую тень, показывающую прохождение времени. Теперь Хронос [2] один следит за дерзновениями Александра.

Светлое прозрачное Ерифрейское море, так восхитившее нимфу Калипсо, не вызывает тревоги. Александр взял с собой глиняные таблички, и регулярно по сигналу тонкой бечевы матросы поднимают его послания на поверхность. Пока все идет нормально в глубине стихии.

Неожиданно индус, сидевший в лодке, крикнул Диогнету, что он видит множество пузырьков и различает возле машины бурное волнение. Диогнет тотчас приказал ему немедля нырнуть к машине. Кажется, все успокоилось. Послание Александра, поднятое на борт вскоре после этого, тоже не содержит ничего тревожного.

Вечернее солнце осенило пламенем море. В седьмом часу беспокойство и страх охватили экипаж «Мелкарты». Люди готовы были к мысли о самом ужасном, но тут на поверхность всплыла сломанная табличка: сигнал к немедленному подъему машины.

Гребцы и плотники дружно взялись за веревки, и машина в облаке пузырей появилась на поверхности. Почти тотчас же выплыл Александр, стряхивая воду с волос, крайне бледный, будто пораженный страшным зрелищем. Кивком головы он указал на машину. Подручные, нырнув, вытащили из нее потерявшего сознание Неарка.

Аристотель накидывает на плечи Александру плащ верблюжьей шерсти, а Диогнет и келеуст массируют неподвижного, безгласного Неарка. Фаламиты, взбивая веслами пену, мчат галеру к берегу.

На рейде Гуадара судно бросает якорь. Его встречает на берегу стража с факелами в руках. Рабы переносят Неарка в палатку и кладут на постель. Неарк, лежа под козьими и овечьими шкурами, медленно приходит в себя.

В стадии [1] от палатки македонцев в ночи багровеет костер. Александр приказывает подложить в него дров, и к небу поднимаются черные клубы дыма в гирляндах искр. По приказу царя были зарезаны три козы и туши их брошены в огонь. Повелитель, утвердивший свою власть на земле и под водой, благодарит богов.

К жертвоприношению он добавляет необычную дань: горсть жемчужин. И некоторое время в задумчивости смотрит на пламя.

Затем, похоже, успокоившись, он плотно запахивает вокруг тела плащ и быстрым шагом уходит в свою палатку.

---

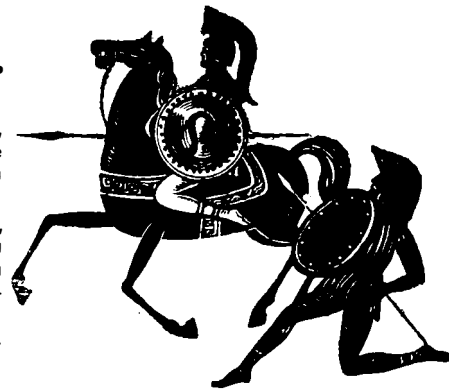
[1] Гномон (греч.) — солнечные часы с вертикальной стрелкой. — **Прим. пер.**

[2] Хронос — в греческой мифологии олицетворение времени. — **Прим. пер.**

[1] Стадия (греч.) — мера длины, равная 125 шагам. — **Прим. пер.**

V

Александр, Аристотель



Аристотель. Ты дрожишь, Александр? Наверное, все еще переживаешь злоключения в океане?

Александр. Нет, Аристотель, спокойствие вернулось ко мне, и я хочу рассказать тебе то, что ты один сможешь принять как правду.

...Когда я с авангардом подошел к Гидаспу, ночь едва кончалась; река катила свои стеклянные воды, а над ней поднимался туман, заволакивая противоположный берег. Внезапно солнце разогнало пар, и нам предстали далекие горы, покрытые снегами, дивные цветы, удивительные звери и яркие птицы нового мира. Так же было, когда мы погрузились в море. Гомер говорил о бесплодии моря! Нечестивые речи! Мореплаватели, Аристотель, доныне видели только пену и волны, они сидели лишь на крышке сундука с сокровищами. Кладовые моря ломятся от живых сокровищ, куда более удивительных, чем тысяча сокровищ Сузы.

Уверен будь, Аристотель, что однажды люди непременно спустятся за богатствами моря. Над полями водорослей там пасутся стада рыб. Дно усыпано раковинами и тварями, что кажутся цветами. Кажется, там все вершится по капризу страшных богов. Передо мной являлись демоны в сверкающих доспехах, вооруженные копьями, мечами и стрелами, а рядом плыли страшилища, которых мне не с чем и сравнить, а значит, ты не сможешь их представить. Я видел восьмиглавых змей, мерзких гидр, покрытых чешуей, собак-дельфинов и гигантских ламий[1]. Одна из ламий, что могла проглотить самого большого из моих гвардейцев, набросилась на нашу машину; она качнулась, словно бочка, и вода вошла внутрь, изгнав часть воздуха...

Аристотель. Мы видели это. Ныряльщики подняли тревогу.

Александр. Я думал уже, что навсегда отрезан от мира живых. Пораженный страхом, я принужден был протянуть руку над пламенем фитиля, чтобы ожог огня напомнил мне, что я еще не тень среди теней. Затем ночь завладела морем. Мне хотелось бы остаться, чтобы преодолеть страх, не дать дрогнуть сердцу, но Неарк, пораженный душой и телом, не подавал признаков жизни. Тогда я дал сигнал к возвращению в мир, наверх...

---

[1] Ламия — в греческой мифологии чудовище с красивой женской головой и туловищем змеи, обольщавшее юношей. — **Прим. пер.**

Слушай же мои слова, Аристотель, повтори и запиши для будущего: чудища в морской толще будут спорить за свое царство со смертными, когда те последуют по пути, который я проложил. Пусть люди будут готовы...

Фантастический парад 1583—1896 гг.

Эзра Ли покачал рукоять нагнетательной помпы и подвел свою карманную субмарину к поверхности, затем открыл верхний люк и сделал несколько глубоких вдохов. Тошнотворный запах горелого масла и гнилой пробки внутри аппарата стал более терпимым. Ли приник к смотровому окошку. Качаясь на легкой волне, впереди то возникали, то пропадали корабли английского флота. Их огни отражались в черной речной воде Делавэра. Сержант задраил воздушный клапан, погрузился и начал крутить рукой винт. Через полчаса он был под килем «Мейдстоуна». Немедля Эзра Ли начал буравить корпус судна специальным сверлом, торчавшим из подводной лодки, а затем движением рычага прицепил к сверлу мину со ста тридцатью фунтами взрывчатки. Ровно через тридцать минут должен был произойти взрыв.

Теперь сержанту Эзре Ли оставалось как можно быстрей удалиться прочь. Он начал быстро вращать винт глубины, чтобы опуститься вниз. И тут винт захватил проволоку, крепившую мину к бураву, оторвал ее от корпуса «Мейдстоуна» и прижал к подводной лодке. Часовой механизм адской машины безжалостно отстукивал время, отпущенное подводнику.

Сержант схватился за рукоять горизонтального винта; пот струился по его лицу, рубашка прилипла к телу, но американец продолжал медленно вращать рукоятку...

Когда взрыв адским грохотом раскатился в ночи, Ли был уже на приличном расстоянии. Английский флот открыл огонь. На борту «Мейдстоуна», который, сам того не ведая, едва избежал гибели, британский капитан Саймонс торопливо писал донесение контр-адмиралу сэру Питеру Паркеру: «Сэр, мне вновь приходится обратить Ваше внимание на изобретательность в действиях этих людей. Минувшей ночью под Рождество 1777 года мятежники вновь использовали одну из своих мерзких подводных машин...»

Да, это произошло в 1777-м! Знаменитая «Черепаха» конструкции Дэвида Башнелла, пилотируемая сержантом Эзрой Ли, первая карманная подлодка в истории мореплавания, вновь громогласно заявила о себе. В период американской войны за независимость Эзра Ли буквально терроризировал англичан. В августе 1776 года он пробрался на рассвете в боевые порядки эскадры адмирала Хоу, стоявшей на якоре в бухте Нью-Йорка, разбросал между ними мины и посреди оглушительных взрывов благополучно спасся, не потонул, не попал под ядро и не задохнулся.

В ночь под рождество 1777 года он спустился по Делавэру и выпустил свою «торпеду».

Лишь столетие спустя Жюль Верн опубликовал свои «Двадцать тысяч лье под водой». Его книгу слишком часто называют научно-фантастической. При этом обычно подразумевают, что литература указывала инженерам и изобретателям пути будущего, давая им

«материал для работы». В действительности же происходило обратное. Образованные писатели подхватывали идеи, выдвинутые искателями приключений в науке, и облекали их в художественные произведения. Фантастика XIX века шла по следам, уже отвоеванным пионерами-исследователями. Кстати, Жюля Верна считают «изобретателем» подводной лодки в литературе. Это не совсем так. Жюль Верн опубликовал «Двадцать тысяч лье под водой» в 1869 году, а в 1868-м уже вышло первое издание «Путешествия под волнами» Аристида Роже, не говоря о том, что «Путешествие в глубины морей» Меробера появилось в 1845-м.

Курьезная деталь: оба провозвестника подводного плавания были врачами. Доктор К.-Ж. Бриу подписывал свои научно-фантастические рассказы псевдонимом Меробер; они появились, когда Жюлю Верну было семнадцать лет. В книге «Путешествие в глубины морей» доктор Бриу описал водолаза, живущего под водой; его герой пользовался пастилками из твердого воздуха и не нуждался в скафандре.

Предвидения Аристида Роже не уходят так далеко в будущее. Под заголовком «Необыкновенные приключения Тринитуса, или Путешествие под волнами, написанное по материалам судового журнала субмарины «Молния», он пустил свою «Молнию» в плавание на год раньше «Наутилуса».

Аристид Роже — литературный псевдоним доктора Жюля Рангада. Это был романист, не обладавший жюль-верновским даром. И все же его личное видение будущего и острое чувство времени оставляют за автором «Путешествия под волнами» почетное место среди писателей-фантастов.

Воображение в поисках возможного

Книги Меробера и Аристида Роже, романы Жюля Верна свидетельствуют о коренном переломе в истории подводных погружений. В самом начале, как мы говорили, спуск под воду был одиночной попыткой, на которую человека толкал голод, страх или одержимость подводного Икара. Голые и беззащитные в чуждой человеку стихии, люди быстро поняли, что останутся слепыми и растерянными, пока на помощь их воле не придет воображение. Под водой надо было смотреть, двигаться и иметь при себе запас воздуха.

В 340 году до н. э. Аристотель описал водолазный колокол. В IV веке нашей эры Вегеций придумывает легкие-мехи. В XV веке Леонардо да Винчи делает набросок ласт-пластников и респиратора. В 1538 году в Толедо император Карл Пятый во главе десятитысячной толпы наблюдал, как громадный бронзовый колокол, под которым заняли свои места двое людей с зажженными свечами, погрузился в воды Тахо. Двадцать минут спустя колокол подняли наверх, и двое смельчаков показали остолбеневшей толпе, что их одежда суха, а свечи не погасли! Карл Пятый усмотрел в этом эксперименте лишь ловкий трюк балаганных затейников; толпа же заподозрила ныряльщиков в колдовстве и связях с дьявольскими проделками цыган.

Только приход Ренессанса и бурное развитие искусств и наук вызвали по всей Европе взрыв интереса к подводным поискам. Лихорадка изобретательства влекла умельцев по двум направлениям. Как в воздушном океане

миф о летающем человеке сосуществовал рядом с мечтой о летающей машине (самолете), так и в водном пространстве параллельно развивалась идея «человеко-рыбы» и подводной лодки.

Таинственная «квинтэссенция» Дреббеля

В 1578 году англичанин Вильям Боурн после долгих размышлений над античными текстами, где говорилось о попытках человека проникнуть под воду, дал первое описание подводной лодки:

«...Возможно сделать судно, способное опуститься до дна, а затем свободно вернуться на поверхность. Дабы достичь этого результата, в боках судна должны быть сделаны ящики с подвижной внутренней стенкой. Желая погрузить судно, нужно с помощью винтов втянуть внутрь перегородки и уменьшить общий объем, а для того, чтобы всплыть, теми же винтами следует выдвинуть стенки назад, изгнав воду из ящиков».

Одним махом Вильям Боурн изобрел все. Не только общую структуру и принципы действия подлодок будущего, но даже балласты и шноркель: британский математик подсказал кораблестроителям использование «полой мачты в качестве трубы для забора воздуха из-под воды».

Однако Боурн нигде не упоминает о каком-либо способе передвижения своего подводного ковчега. Этой проблемой задался голландский физик Корнелиус Дреббель, приглашенный ко двору короля Якова I Английского.

По его указу плотниками королевского флота в 1624 году была построена первая настоящая подводная лодка. Темзе выпала честь принять в свое лоно предка подводных кораблей. Ковчег Дреббеля приводили в движение двенадцать гребцов; после того как пассажиры занимали свои места, откидывающийся верх плотно завинчивали. Для погружения в несколько ящиков с подвижной внутренней стенкой впускали воду. Для всплытия стенки вновь вывинчивали, изгоняя воду.

Король Яков I не побоялся последовать примеру Александра Великого и занял место в подводной лодке, доставившей его без всякого ущерба из Вестминстера в Гринвич.

Дистанция этого перехода — около 15 километров — сразу же вызывает недоуменные вопросы. Если предположить, что двадцать человек — гребцы и пассажиры — в течение нескольких часов плыли под водой, необходимо было обновлять воздух внутри субмарины. Как? С помощью «полой мачты» Боурна? Нет.

Голландец восстанавливал воздух! Он очищал воздух внутри с помощью некой субстанции, о которой он ничего не пожелал сообщить, кроме названия: «квинтэссенция». Здесь-то и кроется загадка. Сумел ли Дреббель выделить кислород из воздуха раньше Лавуазье? Или же он открыл вещество, поглощавшее углекислоту в замкнутом пространстве? Это предположение возможно. Специалист по подводным исследованиям профессор Пьер Гекс замечает в своей книге (Париж, 1963), что Дреббель увлеченно занимался химией и стремился распознать природу воздуха. Он вполне мог в результате опытов открыть, например, что щелочь поглощает углекислоту, и даже найти способ, как выделить кислород из воздуха.

Уже в XV веке в шахтах удаляли углекислоту разбрызгиванием

щелочного раствора. По всей видимости, «квинтэссенция», изготовленная Корнелиусом Дреббелем, представляла щелочной раствор на базе морской водоросли фукуса. Эту гипотезу подтверждает и определение Дреббеля: «Ликер, восстанавливающий затхлый воздух».

«В ночное время коварные суда...»

Заведя речь о подводных судах, надо непременно упомянуть о суденышках-перевертышах скандинавских корсаров. Это о них писал Алус Магнус, архиепископ Упсальский, в своей «Истории северных людей» (Рим, 1555 г.):

«Корсары Грютландии владеют кожаными челнами, на которых уходят по воде и волоком посуху, и нападают на корабли проезжих негоциантов, и пробивают в них большие дыры».

Архиепископ нашел великолепное определение для подобного типа «подлодок» — «навибус инсидиозис», коварные суда, лодки-ловушки. Как же действовали они? Следующим образом.

Завидев с берега или издали, с моря, свою жертву, корсары живо переворачивали кверху килем свои обтянутые шкурами ладьи и, плывя под ними, подбирались вплотную к ничего не подозревавшему купеческому кораблю. А тут уж они могли «обратиться к своим хитростям, дабы пустить его ко дну». Ибо это было главной целью появления большинства подводных судов — от «Черепахи» Дэвида Башнелла, вплоть до «плавучих блюдец» конструкции русского инженера Древицкого, испытанных в 1881 году!

Добрый архиепископ Упсальский был прав: подводные суда были чрезвычайно коварны...

И тем не менее, как это ни парадоксально, именно военные в большинстве стран выступили противниками ранних «субмарин». Впрочем, парадоксально это лишь на первый взгляд.

Наполеон на Святой Елене ждал подводную лодку

Любуясь гордыми парусниками, несущимися по волнам, и услаждая слух канонадой фрегатов, адмиралы с презрением глядели на изобретателей с перемазанными в масле руками, просиживавших в министерских приемных с планами своих абсурдных машин на коленях. Даже Бонапарт не проявил здесь дальновидности. Когда Фультон начал строить вначале в Руане, а затем в Бресте прототип своего «Наутилуса», Первый консул пришел в неописуемую ярость при виде счета на 6820 франков 43 сантима (письмо Каффарелли министру от 26 фрюктидора IX года — 13 сентября 1801 года).

— Этот взбалмошный дурак и шарлатан хочет одного — как бы выманить у меня деньги! — вскричал Первый консул.

«Шарлатан» переехал в Англию. Там его обозвал негодяем, трусом и кровопийцей сэр Говард Дуглас в статье, появившейся в «Нэвел кроникл».

«...Итак, в будущем мы сможем сражаться под водой! Наши корветы должны будут уступить место жутким безвестным аппаратам! Наши фрегаты — уподобиться подводным машинам, наши штурманы — ныряльщикам, наши храбрые матросы — подводным убийцам!»

Однако вскоре Фультон в присутствии высших офицеров королевского флота приступил к опытам и выпустил две торпеды в стоящий на уолмерском рейде бриг «Доротея».

«Двадцать секунд спустя от корабля не осталось ничего, кроме нескольких плававших обломков», — комментировала та же «Нэвел кроникл». Вильям Питт немедля обещал поддержку Фультону и выдал ему в награду пятнадцать тысяч фунтов стерлингов. Английский премьер-министр оказался более дальновидным, чем Первый консул Франции.

Кстати, с именем Наполеона связано еще одно подводное предприятие. В 1821 году американский капитан Джонсон решил вызволить Бонапарта с острова Святой Елены с помощью подводной лодки, построенной по модели фультонского «Наутилуса».

Дело было затеяно всерьез. Трехмачтовый барк, экипаж которого имел за плечами опыт океанских переходов, должен был доставить к острову, где томился Наполеон, подводную лодку, а та — скрытно подойти к берегу. На американской верфи спешно покрывали медью корпус подводного судна, когда пришла весть, сделавшая бессмысленным это дерзкое предприятие: император умер.

Перевел с французского
М. БЕЛЕНЬКИЙ

Валерий ГУЛЯЕВ

●

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ДРЕВНЕЙ МЕКСИКИ

1. Ученые начинают спор

До открытий Колумба жители Старого Света вряд ли вообще подозревали о том, что за просторами двух океанов обитает еще значительная часть рода человеческого. Судя по всему, отдельные случаи доколумбовых связей между двумя полушариями почти не отразились на знаниях древних, так что изучение богатой и самобытной культуры американских индейцев началось лишь с европейской колонизацией Нового Света, в XVI—XVII веках. С тех пор вот уже более четырехсот лет в науке ведется ожесточенный спор по поводу происхождения наиболее развитых культур доколумбовой Америки (в Мексике и Перу). Все попытки решить этот сложный вопрос ссылкой на «благотворную» и «стимулирующую» роль религии или же с помощью влияний извне — со стороны древних цивилизованных народов Египта, Месопотамии, Индии, Греции и Рима — неизменно заканчивались неудачей.

Еще большее недоумение вызвал среди ученых тот факт, что первые индейские цивилизации достигли своего апогея без важнейших изобретений древности, которыми располагали многие культурные народы Старого Света. Выплавка металлов, домашние животные, колесный транспорт, гончарный круг, плужное земледелие и т. д. были здесь практически неизвестны. Металлы (кроме железа), появившиеся в Мексике уже на закате классических цивилизаций, использовались главным образом для изготовления украшений и ритуальных предметов.

По сути дела, наиболее развитые народы Центральной Америки жили еще в каменном веке.

Чем же объясняется тогда появление высоких индейских цивилизаций? Где искать ту животворную силу, которая породила и красочные фрески Бонампака и грандиозные теотихуаканские пирамиды?

Многие ученые, занимающиеся этой проблемой, дают на нее следующий ответ: такой животворной силой в истории древней Америки было земледелие.

И в самом деле, для прогрессивного развития человеческого общества даже самое незначительное на первый взгляд улучшение методов земледелия или усовершенствование орудий труда подчас неизмеримо важнее, чем десятки выигранных кровопролитных сражений и все хитросплетения преуспевающих царей, правителей, фараонов.

2. У истоков мексиканского земледелия

Согласно общепринятой теории предки индейцев — различные монголоидные племена — пришли на Американский континент из Северо-Восточной Азии через Берингов пролив и Аляску около 25—30 тысяч лет назад. Эти древние племена принесли с собой в западное полушарие лишь самые примитивные орудия каменного века. Не было у них и домашних животных (если не считать соба-

ки). Все ремесла, такие, как изготовление керамики, ткачество, плетение корзин и циновок, и, наконец, земледелие они освоили уже на новом месте, во время заселения бескрайних просторов гигантского материка. На территории самой Мексики наиболее ранние следы пребывания человека (в виде кратковременных стоянок бродячих охотников и собирателей) относятся к 12—10-му тысячелетию до н. э.; однако в 7 тысячелетии до н. э. здесь внезапно происходит резкое изменение климата: он становится гораздо суше и теплее, приближаясь в целом к современному. Растительный и животный мир страны постигает подлинная катастрофа.

Крупные животные эпохи позднего плейстоцена (мамонты, мастодонты, ископаемые лошади, бизоны, верблюды и т. д.) быстро вымирают, и местное население, существование которого во многом зависело прежде от охоты, вынуждено было почти целиком перейти к собирательству диких плодов и растений. Рыболовство, сбор моллюсков и охота на мелких зверьков и птиц служили важным дополнением к растительной пище. Следы таких культур собирателей и охотников обнаружены теперь во многих районах Мексики.

Затем цепь исторического развития резко нарушается, и около 2000 года до н. э. мы встречаем здесь уже вполне сложившиеся культуры ранних земледельцев. Следовательно, памятники первобытных охотников и собирателей, с одной стороны, и оседлых земледельцев — с другой — отделены друг от друга огромным отрезком времени, охватывающим почти пять тысячелетий. Что же скрывается в глубинах этого загадочного периода? Какие подспудные процессы и изменения превратили «дикие» племена с охотничье-собирательским хозяйством в «культурных» земледельцев, овладевших уже многими навыками и ремеслами? Где искать главный центр американского земледелия?

Формирование земледельческих культур не могло происходить сразу на всей территории Нового Света. Первое необходимое условие для появления земледелия — наличие полезных растений, годных для возделывания. Между тем они были далеко не везде. Подавляющее большинство растений, на которых в древности основывалось американское земледелие, происходит из сравнительно небольшого района — Мексики и Центральной Америки. Последний

занимает по площади менее $^1/_{20}$ части огромного Североамериканского континента. Именно там и следовало, по всей вероятности, искать родину первых земледельческих культур индейцев.

Первым, кто поставил и успешно решил эту сложную проблему, был наш соотечественник — выдающийся советский ученый, академик Н. И. Вавилов. После ряда экспедиций в западное полушарие он еще в начале 30-х годов пришел к выводу, что в доколумбову эпоху в Новом Свете существовали два основных очага земледелия: мексиканский (включая часть Центральной Америки) и перуанско-боливийский. Один очаг дал человечеству кукурузу, фасоль, какао, хлопчатник и т. д., другой — картофель.

Кроме того, было установлено, что все главные центры американского (и мирового) земледелия приурочены, как правило, к горным тропическим и субтропическим зонам, создававшим наиболее благоприятные условия для видообразовательного процесса растений и для жизни древнего человека. Как раз в этих районах со старыми земледельческими традициями и возникают впоследствии важнейшие цивилизации доколумбовой Америки.

3. «Сокровища» горных пещер

Все свои выводы Н. И. Вавилов строил на чисто ботаническом материале, поскольку никаких других источников по данному вопросу тогда и не было. Тем поразительнее выглядит почти полное совпадение взглядов советского ученого с результатами последних археологических работ, проводимых в настоящее время в горных районах Мексики (штаты Тамаулипас и Пузбла) под руководством канадского исследователя Ричарда Мак-Нейша. Там, в сухих высоких пещерах, хорошо защищенных от влаги, в течение многих тысячелетий жили предки современных мексиканцев. Слой за слоем откладывались на полу пещер хозяйственные отбросы: кости животных, орудия труда, остатки растений, тканей, корзин и т. д. А исключительно благоприятные климатические условия обеспечили этой своеобразной «летописи» прошлого прекрасную сохранность. В руки ученых попал, наконец, долгожданный материал в виде остатков древних растений, найденных в определенном культурном комплексе. Появилась совершенно фантастическая прежде возможность установить приблизительный возраст ряда диких и домашних растений с помощью радиоуглеродного метода. Основное значение работ Мак-Нейша в том и состоит, что ему впервые удалось поставить вопросы, связанные с происхождением мексиканского земледелия, на твердую хронологическую основу. Выяснилось, что история земледелия в западном полушарии началась гораздо раньше, чем предполагали многие серьезные исследователи.

4. Из родословной кукурузы (маиса)

Сейчас уже окончательно установлено, что до 1492 года это ценнейшее растение не было известно ни в одном из уголков Старого Света. В то же время в Америке кукуруза составляла основную пищу создателей всех развитых культур доколумбовой эпохи, включая цивилизации майя и ацтеков в Центральной Америке и инков — в Южной.

Тем не менее вопрос о времени и месте первоначальной доместикации кукурузы в пределах Нового Света долго оставался нерешенным. И вдруг — сенсационная находка! В одной из буровых скважин, заложенных на территории города Мехико, на глубине почти 70 метров была неожиданно обнаружена пыльца дикой кукурузы. Она залегла в слое, который, по определению геологов, относится к последнему межледниковому периоду и может быть датирован временем около 80 тысяч лет до н. э.

Отсюда следует, что дикая кукуруза произрастала на Американском континенте задолго до появления там человека. Как показали раскопки Р. Мак-Нейша, около 5200 года до н. э. дикая кукуруза с первыми признаками доместикации появляется на юге Мексики — в штате Пуэбла. А в 4-м тысячелетии до н. э. (радиоуглеродная дата 3600±250 г. до н. э.) здесь возникают зачатки земледелия, основанного на выращивании кукурузы, фасоли, тыквы и некоторых других растений. Но вместе с тем этот новый, только что родившийся тип хозяйства уступал еще по своему значению и собирательству и охоте. Общая доля продуктов земледелия в питании местного населения составляла тогда не более 10 процентов.

Кукуруза из пещерных стоянок Пуэблы относится к примитивному типу «Пре-Чапалоте» («Pre-Chapalote»), названному так благодаря своему сходству с кукурузой «Чапалоте», которая до сих пор выращивается в северных районах страны (Синалоа, Сонора). Початки этого типа имеют очень небольшой размер и сравнительно незначительное число рядков зерен (12 рядков, по 9 зерен в каждом). Другой вид примитивной кукурузы — «Наль-Тель» («Nal-Tel») — происходит, по мнению ботаников, из горных районов Гватемалы, где его и сейчас еще можно встретить в департаментах Чимальтенанго, Кецальтенанго и Уеуетенанго. «Наль-Тель» также имеет очень мелкие початки (до 9 сантиметров длиной, с 9—11 рядками зерен). Со временем кукуруза этого типа распространилась почти по всей Мексике. Во всяком случае, обожженные початки «Наль-Тель» найдены при раскопках древней стоянки в пещере Ла-Перра, штат Тамаулипас, в слоях 3000—2500 гг. до н. э.

Вопрос о происхождении других видов кукурузы окончательно еще не решен.

Важно другое: земледелие, основанное на возделывании этого замечательного растения, впервые появляется на Американском континенте около 4-го тысячелетия до н. э. И родиной его является мексиканский штат Пуэбла. Примерно в 3-м тысячелетии до н. э. кукуруза распространяется до северо-восточных районов Мексики (Тамаулипас) и юго-запада США (Нью-Мексико). Несколько позднее, в 1-м тысячелетии до н. э., некоторые разновидности кукурузы проникают и на юго-восток США, в бассейн реки Миссисипи.

В южной части материка (Эквадор, Боливия, Перу) кукуруза появляется внезапно, около 700—600 годов до н. э., по-видимому, как результат влияний с севера, со стороны земледельческих культур Мексики и Гватемалы.

К 2000 году до н. э. земледелие становится в Мексике уже основным видом хозяйства. Возникают первые постоянные поселки. Появляется гончарное искусство. В истории местных племен начинается новая эпоха — эпоха расцвета раннеземледельческих культур.

5. Первые земледельцы Америки

После того как человек, вооруженный самыми примитивными орудиями, смог обеспечить себя постоянными урожаями со своих полей, по всей Мексике наблюдается быстрый рост оседлых земледельческих поселений. Раскопки этих ранних памятников, в какой бы части страны они ни находились, вскрывают поразительно однообразную картину: остатки хрупких глинобитных хижин с высокими крышами из листьев или тростника, многочисленная глиняная посуда, каменные инструменты — то есть весь набор вещей, характерных для простого быта земледельцев. Их жизнь была нелегка. Она состояла, по сути дела, из бесконечных циклов изнурительных сельскохозяйственных работ. Все зыбкое равновесие нового производящего хозяйства целиком зависело от величины собранного урожая. Стоит ли поэтому удивляться, что древние мексиканцы так ревностно поклонялись небесным силам, от которых, по их глубокому убеждению, зависел урожай, а следовательно, и само их существование. Подобно всем земледельческим народам древности, они поклонялись обожествленным силам природы: солнцу, ветру, дождю и т. д. Правда, эти верования носили еще довольно примитивный характер и не вылились в какие-то осязаемые формы и образы.

Однако если верно предположение ученых о том, что многочисленные глиняные статуэтки (главным образом женские), найденные на земледельческих поселениях, связаны с культом плодородия, то мы имеем здесь дело с первым конкретным воплощением религиозных канонов в искусстве.

Эти маленькие и грубые фигурки из обожженной глины — настоящая энциклопедия древней жизни. Благодаря им мы знаем теперь, как одевались и украшали себя предки мексиканцев, каков был их внешний облик и т. д. То изящные и выразительные, то, напротив, нарочито огрубленные и схематичные, они производят тем не менее сильное впечатление, позволяя заглянуть в мир мыслей и чувств людей, живших почти 35 веков назад. Кажется невероятным, что вся эта галерея образов родилась еще в глубокой древности. Мастера, создававшие их, вложили в них столько жизненной силы и выразительности, что, несмотря на всю свою условность и схематизм, они смогли донести до нас дыхание той далекой эпохи.

Мать, нежно укачивающая на руках свое дитя; «три грации» — очень смешные и вместе с тем выразительные женские фигурки с непомерно большими головами. А вот и еще один женский портрет — молодая женщина с тонким и одухотворенным лицом. Но сделан он в совершенно иной манере, напоминая скорее европейских средневековых дам, нежели ставший уже каноническим образ «краснокожего» индейца.

Среди архаических глиняных статуэток из долины Мехико резко выделяется одна вполне реалистическая скульптура: голова молодого мужчины или юноши. Одутловатое лицо, пухлые губы, узкие пронизывающие глаза — все это исполнено настолько живо и ярко, что невольно напоминает лучшие образцы античной терракоты.

6. По ступеням прогресса

В 1-м тысячелетии до н. э. замкнутая жизнь ранних земледельческих общин претерпевает некоторые изменения. Увеличивается число возделываемых растений, совершенствуются методы земледелия, достигает значительных успехов селекция кукурузы. Успехи в хозяйственной сфере не замедлили сказаться и на других сторонах местной культуры. Расширяется торговля с соседними областями. Появляется уже и некоторое имущественное неравенство, особенно заметное в распределении вещей, сопровождавших умерших. Здесь же мы впервые встречаем изображения людей, заметно отличающихся по внешнему виду от своих соплеменников. Их лица прикрыты иногда масками; на голове — вычурный убор или же высокая коническая шапка; на плечах — длинный плащ и т. д.

Хотя эти глиняные статуэтки не имеют еще четких канонизированных форм, они отражают, повидимому, процесс зарождения жречества, которое, превратившись позднее в могучую политическую силу, оставило заметный след в истории древних цивилизаций Мексики. Примерно в то же время появляются и первые храмы, построенные из дерева и глины. Их размеры еще невелики, но они уже гордо возвышаются на своих высоких пирамидах-фундаментах над окружающими хижинами земледельцев. В наиболее засушливых районах начинают строиться первые оросительные каналы, плотины и дамбы. На склонах бесчисленных гор кропотливым трудом многих поколений земледельцев возводятся опорные стены-террасы из камня, несколько увеличившие общую площадь годной для обработки земли.

Все отчетливее и ярче проглядывают сквозь простоту старого архаического быта контуры будущих индейских цивилизаций. Все убыстряется темп общественного и культурного развития. Многие народы Мексики вплотную приближаются уже к тому невидимому и роковому рубежу, который отделяет жизнь свободных и равноправных людей первобытнообщинной эпохи от рабского удела их прямых потомков, очутившихся на самом низу гигантской социальной пирамиды, созданной раннеклассовым государством.

7. Становой хребет древних цивилизаций

К началу новой эры в Новом Свете возникают первые индейские цивилизации. Рождаются могучие империи, многолюдные города, жрецы создают новые религиозные учения, пышно расцветают науки и искусство. Народы Мексики и Центральной Америки переживают свой «золотой век». И все это великолепие было бы нежизнеспособным без земледельца, без плодов его труда и прежде всего без главной земледельческой культуры древней Америки — маиса.

Сразу же за окраинами великолепных городов, на пыльных улочках небольших деревушек и селений продолжал существовать простой и незыблемый уклад сельской жизни, проверенный тяжелым опытом многих поколений.

История мексиканских классических цивилизаций заканчивается грандиозной катастрофой, совершенно изменившей культурный облик страны. В конце 1-го тысячелетия н. э. по всей Центральной Америке, от Рио-Гранде до Панамы, свирепствовали войны,

усобицы и мятежи. Под натиском неведомых северных варваров целые народы снимались с насиженных мест и двигались на юг в поисках обетованной земли. Возникали и вновь рушились эфемерные империи тольтеков, миштеков и т. д., созданные исключительно силой оружия и погибшие от него же. Наконец, в XVI веке на страну обрушился грозный вал конкисты. Жадные руки испанских колонистов протянулись к сказочным богатствам Нового Света. Конкистадоров интересовало все: от золота в сокровищнице Монтесумы до крошечного клочка мексиканской земли, которая при надлежащем уходе могла давать по два-три урожая в год. Сразу же после завоевания Мексики католическая церковь принялась жестоко искоренять среди индейцев малейшее напоминание об их былом величии, о замечательных достижениях древней культуры и таинственных языческих богах. Но настолько прочны были традиции прежнего образа жизни, настолько сильно укоренились они в сознании народа, что ни время, ни стальные мечи и мушкеты испанских завоевателей не смогли уничтожить или изменить их.

Именно эта поразительная живучесть древних культурных традиций и позволяет нам совершить увлекательное путешествие по времени и с помощью археологов, этнографов и историков перекинуть невидимый мост в ту эпоху, когда на туманном горизонте американской доистории рождались первые индейские цивилизации.

8. Боги рассказывают

Передо мной лежит книга советского исследователя Ю. В. Кнорозова, в которой собраны все уцелевшие до наших дней рукописи древних майя. Дрезденская, Мадридская и Парижская [1]. Странные гротескные фигурки майяских богов заполняют почти все их страницы. Боги мирно беседуют между собой, сражаются, плывут на легких лодках — каноэ, ткут пряжу, совершают сложные религиозные обряды, охотятся на оленей, услаждают себя звуками музыки и т. д.

Таким образом, «царство небесное» было создано у древних майя по прямому подобию «царства земного».

На одной из страниц Дрезденской рукописи изображен бог с тонким и красивым лицом. Его голову увенчивает высокая корона из растений. В руках он держит глиняный сосуд с нежными ростками кукурузы. Это Юм Каш — юный бог кукурузы, покровитель земледелия и один из самых почитаемых богов в пантеоне майя накануне конкисты. Всего на страницах трех майяских кодексов его изображение встречается 98 раз.

А вот еще один интересный персонаж, уже из Мадридской рукописи. Одной рукой он бросает в землю горсть зерен, а другой сжимает остроконечную палку для выкапывания лунок при посадке семян. Там же встречаем мы изображение очень популярного среди земледельцев майя бога воды и дождя Чака с каменным топором в руках. Именно такими примитивными топорами майя вели упорную борьбу с джунглями, вырубая для своих посевов очередной участок леса.

Но есть здесь и такие рисунки, содержание которых сразу распознать не удается: старая сгорбленная женщина с огромной змеей на голове (это, по-видимому, Иш Чель — супруга грозного повелителя небес Ицамны и богиня плодородия) льет на землю воду из опрокинутого кувшина; какое-то божество стоит перед высоким деревом (вероятно, это символ «древа жизни», связанный с культом плодородия), сжимая в руке обезглавленную птицу, и т. д. Что хотел выразить этими странными рисунками древний художник? Кто знает? Но зато благодаря красочным картинкам старинных иероглифических кодексов мы теперь твердо знаем, что в момент расцвета своей цивилизации майя занимались земледелием, используя при этом самые примитивные орудия — заостренную палку и каменный топор. Об огромной роли земледелия в жизни древних майя красноречиво свидетельствуют многочисленные рельефы, фрески и скульптуры, изображающие юного бога кукурузы и других богов — покровителей земледельцев. Однако какими-либо определенными сведениями о характере самого земледелия и о том, какое влияние оказало оно на развитие других сторон майяской культуры, мы, к сожалению, не располагаем.

Пытаясь раздвинуть границы времени, вновь и вновь обращались исследователи к богатому и яркому искусству погибшей цивилизации. Но молчат каменные истуканы, выглядывая из зарослей вечнозеленых джунглей. Переливаясь многоцветной радугой, злорадно усмехаются вычурные лики богов на страницах пожелтевших кодексов.

---

[1] Эти названия условны и даны по названиям тех городов, в библиотеках которых хранятся в настоящее время упомянутые рукописи майя.

• Увы, подобно любой науке, археология тоже имеет свои пределы. Возможно, эта проблема так и осталась бы нерешенной, если бы на помощь археологам не пришли представители других наук.

9. Исповедь иезуита

«Прежде всего майя были земледельцами и занимались сбором кукурузы и остальных посевов... Они сеют во многих местах, чтобы в случае недорода с одного участка возместить с другого. Обрабатывая землю, они только собирают сорную траву и сжигают ее перед посевом. Они работают с половины января до апреля и сеют с началом дождей. При посеве они... делают отверстия в земле заостренной палкой и кладут туда 5—6 зерен, зарывая их затем той же палкой. Во время дождей посевы всходят изумительно».

Этот небольшой отрывок взят из манускрипта испанского епископа Диего де Ланды «Сообщение о делах на Юкатане», написанного в 1566 году. Прибыв в Мексику вскоре после ее завоевания, Ланда сразу же принялся ревностно насаждать христианство среди индейцев, одновременно уничтожая все, что напоминало о прежней языческой культуре. Именно этот фанатик и иезуит поднял руку на величайшие духовные богатства майя — огромное собрание древних иероглифических рукописей, хранившихся в городе Мани. Объявив все книги «порождением дьявола», Ланда сжег их на гигантском костре.

Уже в конце своей жизни Диего де Ланда взялся за перо, чтобы описать культуру и религиозные верования майя, против которых он сам прежде боролся с такой яростью. Возможно, он хотел этой книгой ослабить критику своих «деяний» на Юкатане. Не исключено также, что главная его цель состояла в выработке наиболее удобных способов пропаганды христианства среди индейцев.

Как бы то ни было, монументальная работа Диего де Ланды до сих пор служит основным нашим источником о культуре юкатанских майя накануне и в эпоху конкисты.

10. У потомков древних майя

Сведения Ланды хорошо дополняются этнографическими наблюдениями. Дело в том, что во многих районах Мексики и особенно на полуострове Юкатан, подсечно-огневое земледелие сохранило свое значение до сих пор.

Европейская колонизация почти не отразилась на его методах, а привела лишь к замене каменного топора различными стальными орудиями (мачете, топор, пила и т. д.). Именно поэтому изучение хозяйства, культуры и быта современных майя позволяет одновременно судить и о многих сторонах жизни их далеких предков — создателей величественных городов Древнего царства. Американский ученый Моррис Стегерда, много лет проживший среди юкатанских майя, установил, что весь цикл земледельческих работ у местных индейцев состоит из следующих ступеней: выбор будущего поля; вырубка деревьев и кустарников; выжигание; ограждение поля; сев; прополка; сгибание стеблей кукурузы; уборка урожая.

На Юкатане год подразделяется на два сезона: сухой (но-

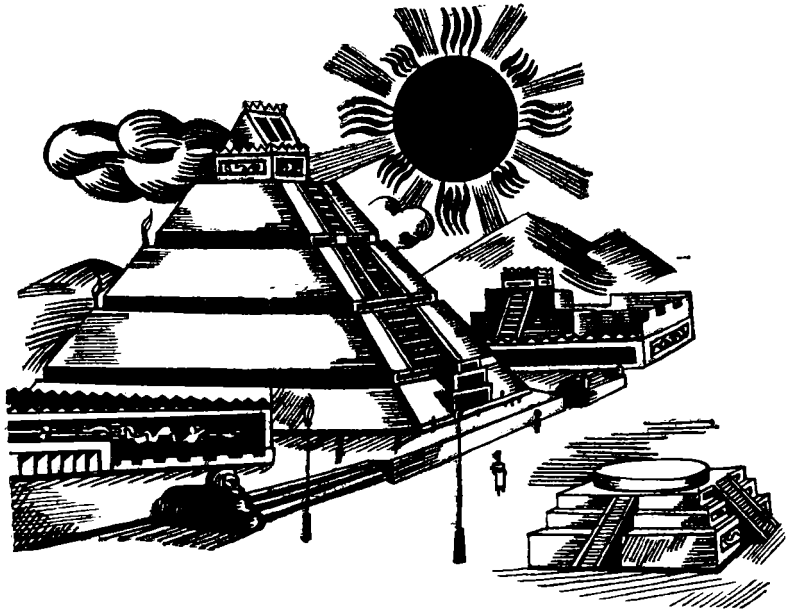
ябрь — май) и дождливый (июнь — октябрь). В конце сезона дождей земледелец отыскивает в лесу подходящий участок. Наиболее благоприятными считались места, поросшие высоким кустарником и деревьями — признак плодородной почвы. Немалую роль играла и близость к источникам воды — колодцам (сенотам), естественным водоемам и т. д. С наступлением сухого сезона, обычно в декабре или январе, начиналась вырубка лесных зарослей. Правда, трудно понять, каким образом делали это майя в доиспанскую эпоху с помощью каменных топоров. Очевидно, вырубали лишь сравнительно мелкий кустарник, а большие деревья только подрубали, сдирали с них кору и оставляли медленно высыхать на солнце. В конце марта или в апреле производилось выжигание лесного участка. А примерно во второй половине мая — в июне, вместе с началом сезона дождей, проводился сев. Посадка семян, как и в древности, осуществлялась с помощью деревянного шеста с заостренным концом (коа). Семена носят в специальной сумке, сплетенной из волокон агавы, или же в полой тыкве. Кроме нескольких зерен кукурузы, в одну и ту же ямку бросают обычно семена тыквы и черных бобов. Ямку засыпают пяткой. В течение сезона дождей один или два раза производится прополка участка для удаления сорной травы. За месяц-два до сбора урожая кукурузные стебли сгибают, с тем чтобы лишить початки лишней влаги и ускорить их созревание. Сбор урожая производится с ноября до марта, в зависимости от сорта кукурузы. Берутся только початки, стебли оставляют в поле. На следующий год земля очищается от старых стеблей и травы, выжигается и засевается вновь. Но урожай получается уже значительно меньше из-за быстрого истощения почвы. Особенно плодородный участок можно было засевать три и даже четыре года подряд, хотя это делалось в крайне редких случаях. Обычно на третий год расчищают новый участок джунглей. Старое поле бросают, и оно опять зарастает кустарником и деревьями. Для восстановления плодородия почвы на Юкатане требовалось не менее 6—10 лет.

11. Связь времен восстановлена

Во влажных тропических лесах Восточной Гватемалы и Западного Гондураса, там, где 15 веков назад находился центр Древнего царства майя, живет сейчас индейское племя чортй, насчитывающее около 35 тысяч человек. Эти забытые богом места, затерявшиеся в самой глубине джунглей, до сих пор хранят отчетливые следы исчезнувшей цивилизации.

Кажется, что даже земля окутана здесь романтической дымкой древних легенд и преданий, уводящих нас в мир великих полководцев, ученых, философов, искусных архитекторов и скульпторов — всех тех, умом и руками которых создавалось великолепие классической культуры майя.

Грандиозные руины древних городов Копана, Киригуа, Эль Наранхо и множество более мелких безымянных памятников — яркое свидетельство былого значения этой области в истории майя. Индейцы-чорти, селения которых расположены по соседству с развалинами пышных каменных дворцов и храмов, обосновались здесь еще с незапамятных времен. Во всяком случае, их культура,



физический облик, язык и верования почти не отличались от тех, которыми обладали строители древних городов. И вот однажды в эти глухие места приехал молодой гватемальский ученый Рафаэль Хирард. У него была лишь одна цель — найти в культуре и религии местных индейцев те черты, которые роднят их с древними майя. Прожив у индейцев несколько месяцев, Хирард собрал богатейший этнографический материал. И здесь выявилась поразительная вещь. Легенды, верования и весь уклад повседневной жизни чорти почти не изменились за прошедшие полторы тысячи лет.

Наблюдая за медленно текущей жизнью индейцев, гватемальский ученый без особого труда установил, что основные интересы чорти сосредоточены вокруг земледелия, дававшего средства к существованию для всей общины. Каждый цикл земледельческих работ сопровождался сложными языческими обрядами и ритуалами, которыми руководил жрец данного селения. По особому ритуальному календарю жрец устанавливает сроки сева и других сельскохозяйственных работ, производит на алтаре внутри храма освящение семян, наделяя их божественной силой и способностью к прорастанию и т. д. Наконец, именно жрец непосредственно обращается к богу плодородия и совершает в его честь различные обряды и жертвоприношения, обеспечивая тем самым высокий урожай.

Подобно алтарю в храме, мильпа[1] считается у чорти священным местом. Во время сева туда не пускают ни женщин, ни детей. Перед началом работ жрец с помощью жителей селения совершает обряд «очищения» будущего поля. По его углам кладут четыре больших камня или же ставят четыре креста, призванных обеспечить небесную защиту посевов от многочисленных враждебных сил. Во время торжественной церемонии в храме жрец и жрица кропят пол «святой» водой для того, чтобы вызвать дождь, так необходимый для прорастания семян. Точно такая же процедура производится и на мильпе. Самая красивая девушка селения выливает на землю в центре поля кувшин «святой» воды — магическое средство для вызывания дождя. Затем посреди мильпы выкапывают небольшую ямку и приносят в жертву богам земли и плодородия обезглавленных птиц и зверьков. И лишь после этого по особому сигналу жреца начинается сев.

Земледельческие обряды, описанные Хирардом, хорошо объясняют и непонятные прежде сцены из древних рукописей майя: например: богиня Иш Чель, льющая на землю воду из опрокинутого кувшина; этот эпизод можно прямо сопоставить с магическим обрядом по вызыванию дождя у современных чорти; а персонаж, стоящий перед деревом с обезглавленной птицей в руках, олицетворяет, видимо, сцену жертвоприношения в честь бога плодородия (тем более что «древо жизни» всегда считалось у майя одним из важнейших символов плодородия).

[1] Мильпа (ацтекск.) — кукурузное поле.

12. Легенды и факты

Известно, что все великие цивилизации древности возникли на базе развитого ирригационного земледелия, в долинах крупных рек с плодородными почвами. Так было в Месопотамии, Египте, Индии и Китае. Это обстоятельство и навело многих зарубежных исследователей на мысль, что древние цивилизации вообще могли существовать лишь на основе ирригации. А где ее нет — например, у майя, — там население очень редко, нет настоящих городов, а следовательно, нет и цивилизации. Но, с другой стороны, великолепие разрушенных майяских городов с монументальными каменными храмами, дворцами, обсерваториями и стадионами, с высокоразвитыми ремеслами и искусством, письменностью и календарем прямо противоречили этому выводу. Сложилось парадоксальное положение, приводившее подчас в смущение даже наиболее компетентных ученых. Тогда и родилась теория о таинственном и неповторимом характере культуры майя. Десятки и сотни раз ставился в специальной литературе вопрос о том, как могла на основе столь примитивной системы земледелия возникнуть и развиваться в течение почти полутора тысяч лет одна из наиболее ярких цивилизаций доколумбовой Америки. Однако ответа на него так и не находили. Но так ли уж примитивно было подсечно-огневое земледелие, как это иногда стараются показать?

В действительности все обстоит гораздо сложнее. Несмотря на внешне примитивный облик, мильповое земледелие отличается очень высокой продуктивностью.

Мексиканский этнограф Баррера Васкес установил, например, что

современные майя, сохранившие подсечно-огневое земледелие, получают в среднем урожай кукурузы по 7 центнеров с гектара. Чтобы прокормиться, семья из пяти человек должна засевать около 3 гектаров. Если принять суточный расход кукурузы в 4 килограмма, то в этом случае на прокормление семьи уходит в год 1460 килограммов, а 640 килограммов остается на другие нужды и на семена. Обработка поля в 1 гектар (учитывая все основные виды работ) занимает в среднем 396 рабочих часов. Следовательно, для обработки поля в 3 гектара потребуется около 150 восьмичасовых рабочих дней.

Жители селения Тепостлан в мексиканском штате Морелос с помощью подсечно-огневого земледелия собирают гораздо бóльшие урожаи, чем на соседних полях, обрабатываемых плугом. Последние исследования ботаников и этнографов США в Северной Гватемале (департамент Петен), где находился в 1-м тысячелетии н. э. центр древнего царства майя, доказали, что природные и климатические условия за последние полторы-две тысячи лет здесь почти не изменились. Местные индейцы и метисы по-прежнему повсеместно используют древние методы мильпового земледелия. После снятия одного урожая для восстановления плодородия почвы в Петене требуется в среднем около 4 лет; после двух-трех уро-

жаев — от 6 до 8 лет. При таких условиях подсечно-огневое земледелие может в среднем прокормить одного человека с участка площадью 3—4 акра, что дает плотность населения примерно 150—200 человек на одну квадратную милю. Таким образом, во влажных тропических лесах Петена, где восстановление почвы на выжженных полях происходило быстрее, чем на каменистом Юкатане, была значительно выше и плотность населения (почти в два раза). Это означает, что земледельцам майя не было нужды периодически менять места своих поселений, поскольку за сравнительно короткий срок почва истощенных участков полностью восстанавливала свое плодородие. Следует также помнить, что территория майя отличается необычайным разнообразием природных условий и там всегда имелись районы (особенно долины крупных рек — Мотагуа, Усумасинты, Улуа и др.), где плодородие почвы сохранялось постоянно благодаря ежегодному обновлению во время паводков.

Необычайно высокая продуктивность майяского земледелия объясняется и рядом других дополнительных причин: во-первых, майя еще в глубокой древности добились больших успехов в селекции полезных растений, создав урожайные и выносливые их сорта [1]; во-вторых, высокой урожайностью основной сельскохозяйственной культуры индейцев — кукурузы и, в-третьих, четким земледельческим календарем — одним из наиболее точных календарей мира.

[1] По наблюдениям Н. И. Вавилова, некоторые сорта кремнистой кукурузы у современных индейцев горной Гватемалы имеют початки длиной 40—45 сантиметров.

13. Во власти календарных циклов

Из старых документов и хроник мы знаем, что жрецы майя очень тщательно устанавливали день выжигания мильпы. Это и понятно. Если бы их расчеты оказались ошибочными, то был бы сорван важнейший этап полевых работ. Поскольку выжигание производилось в самом конце сухого сезона, смещение сроков, их затяжка стали бы роковыми. Ливневые тропические дожди, льющие здесь пять-шесть месяцев подряд, помешали бы тогда сжиганию деревьев и кустарников на мильпе.

Астрономические расчеты жрецов майя отличались поразительной точностью. Исследуя руины древнего города Копана в Западном Гондурасе, археологи обнаружили два каменных монумента (стелы 10 и 12), расположенных друг против друга на вершинах холмов, которые замыкали с запада и востока долину Копана. Их разделяет по прямой около $4^1/_8$ мили. Если смотреть от стелы 12, то можно определить, что солнце заходит прямо за стелу 10 всего два раза в году: 12 апреля и 7 сентября. Первая дата приходится почти на самый конец сухого сезона. Поэтому ученые предполагают, что 12 апреля и означает как раз начало выжигания мильп в районе Копана. Когда вечером 12 апреля солнце заходило прямо за стелу 10, по всей долине и соседним селениям рассылались в древности гонцы, извещавшие земледельцев о том, что боги приказали начать выжигание полей утром следующего дня.

То, какое значение имел календарь для земледельцев майя, лучше всего видно на примере племен, утративших его. Чешский

путешественник Норберт Фрид в своей книге «Улыбающаяся Гватемала» приводит любопытный факт: «В 1950 году многие мексиканские газеты сообщили об отчаянном положении индейцев-лакандонов в районах Хатате и Чумхуице. Им грозила голодная смерть. Но самоотверженные и бескорыстные люди сумели собрать достаточно большую сумму денег и доставили на самолетах в джунгли несколько тонн фасоли и кукурузы. Индейцы сообщили своим спасителям необыкновенную причину постигшего их бедствия: умер Панчо Вьехо — последний из лакандонов, кто разбирался в тайнах календаря и мог по звездам определять сроки основных полевых работ. После его смерти у племени было два неурожая только потому, что лесную поляну, которую они выжигали, заливало дождем и они опаздывали с севом».

14. Тайна гробницы из Паленке

День 15 июня 1952 года, видимо, запомнился мексиканскому археологу Альберто Русу на всю жизнь. После четырех лет упорного труда по расчистке руин древнего храма майя в городе Паленке (Чиапас) он обнаружил в глубине двадцатиметровой пирамиды царскую гробницу. У входа в нее в некоем подобии каменного ящика, лежали скелеты пяти юношей и одной девушки, погибших явно насильственной смертью. Искусственно деформированная лобная часть черепа и следы инкрустаций на зубах говорят о том, что это не рабы, а представители знатных майяских фамилий, принесенные в жертву по какому-то особенно важному и торжественному случаю, вероятно во время похорон правителя города — халач-виника. А потом рабочие сдвинули с места массивную каменную «дверь», и археологи с волнением вступили под своды подземного склепа, таившего в себе множество неожиданных находок и сюрпризов. Это было просторное, сложенное из камня помещение — 9 метров в длину и 4 метра в ширину. Его высокий сводчатый потолок уходил куда-то вверх, теряясь в сумраке теней, которые никак не мог рассеять слабый свет фонарей.

На стенах гробницы сквозь причудливую завесу сталактитов и сталагмитов проступали очертания девяти больших человеческих фигур, сделанных из штука. Все они облачены в пышные костюмы, удивительно похожие друг на друга: головной убор из длинных перьев птицы кецаль, причудливая маска, плащ из перьев и нефритовых пластин, юбочка или набедренная повязка с поясом, который украшен тремя человеческими головками, сандалии из кожаных ремешков. Шея, грудь, кисти рук и ноги этих персонажей буквально унизаны различными драгоценными украшениями. Все они горделиво выставляют напоказ символы и атрибуты своего высокого социального положения: скипетры с рукоятью в виде головки змеи, маска бога дождя и круглый щит с ликом бога солнца.

По мнению Альберто Руса, на стенах открытой им гробницы запечатлены девять «владык мрака» — правителей девяти подземных миров, согласно мифологии древних майя.

Посредине склепа стоял большой каменный саркофаг, закрытый сверху плоской прямоугольной плитой, сплошь испещренной какими-то скульптурными изображениями. Возле саркофага прямо на полу были найдены две але-

бастровые головы, отбитые когда-то от больших статуй, сделанных почти в человеческий рост. Тот факт, что эти головы отбили от туловищ и поместили в качестве ритуальных приношений внутри гробницы, означал, вероятно, симуляцию обряда человеческих жертвоприношений путем обезглавливания, который иногда практиковался у древних майя во время земледельческих праздников, связанных с культом маиса.

Скульптурная каменная плита, служившая верхней крышкой саркофага, имела размеры 3,8×2,2 метра и весила без малого 5 тонн. На боковых ее гранях вырезана полоса из иероглифических знаков, из которых до сих пор удалось прочесть лишь несколько календарных дат, соответствующих скорее всего середине VII века н. э. На плоской наружной поверхности плиты резцом древнего мастера запечатлена какая-то глубоко символичная сцена. В нижней части мы видим страшную маску, одним своим видом напоминающую о смерти: лишенные тканей и мышц челюсти и нос, большие клыки, огромные пустые глазницы. Это не что иное, как стилизованное изображение божества земли. У большинства народов доколумбовой Америки оно выступало как некое страшное чудовище, питающееся живыми существами, поскольку все живое возвращается в конце концов в землю. Его голову увенчивают четыре предмета, два из которых служат у майя символами смерти (раковина и знак, напоминающий наш знак %), а другие, напротив, ассоциируются с рождением и жизнью (зерно маиса и цветок или маисовый початок).

На маске чудовища сидит, слегка откинувшись назад, красивый юноша в богатой одежде. Тело юноши обвивают побеги фантастического растения, выходящие из пасти чудовища. Он пристально глядит куда-то вверх, на странный крестообразный предмет, олицетворявший собой у древних майя «древо жизни», или, еще точнее, «источник жизни», — стилизованный росток маиса. На перекладине «креста» причудливо извивается гибкое тело змеи с двумя головами. Из пасти этих голов выглядывают какие-то маленькие и смешные человечки в масках бога дождя. По поверьям майя, змея связана с небом, с небесной водой — дождем: тучи молчаливо и плавно, словно змеи, скользят по небу, а грозовая молния не что иное, как огненная змея.

На верхушке «креста»-маиса сидит священная птица кецаль, длинные изумрудные перья которой служили достойным украшением для головных уборов царей и верховных жрецов. Птица тоже облачена в маску бога дождя, а чуть ниже ее видны знаки, символизирующие воду, и два щита с личиной бога солнца.

Если бы речь шла о европейской гробнице эпохи Возрождения, то мы бы наверняка сказали, что высеченная на плите фигура юноши изображает погребенного под ней персонажа... Но в искусстве майя почти не было места изображению индивидуальной личности, индивидуального человека. Там безраздельно царили религиозная символика и условность в передаче образов. Вот почему и в нашем случае можно говорить о человеке в целом, то есть о роде человеческом, но также и о боге маиса, которого часто изображали в образе красивого юноши. И сейчас еще у индейцев чорти в Восточной Гватемале во время ритуальных танцев для исполнения роли

бога маиса — Эль Куме — всегда выбирают самого красивого и ловкого юношу селения.

С помощью автомобильных домкратов и бревен тяжелая скульптурная плита была наконец поднята, и под ней показался массивный каменный блок со странной выемкой, напоминающей на первый взгляд рыбу. Выемку плотно закрывала специальная крышка, в точности повторяющая ее форму.

Когда была удалена и эта, самая последняя, преграда, перед исследователями предстала почти фантастическая картина: внутри саркофага все было покрыто пурпурной яркой краской; на этом эффектном фоне матово желтели кости крупного человеческого скелета и зелеными пятнами выделялись бесчисленные нефритовые украшения.

Почему же в гробницу попала именно красная краска, а, скажем, не синяя, желтая, фиолетовая и т. д.? Дело в том, что восток, по верованиям майя, — это та область, где каждый день рождается солнце после своей ежедневной смерти на западе. Вследствие этого восток есть место воскрешения, рождения жизни, и красный цвет в гробнице символизирует собой идею бессмертия.

Из-за большой влажности воздуха кости были очень хрупкими, но сохранились тем не менее почти целиком. Ученым удалось определить, что скелет принадлежал сильному и рослому мужчине в возрасте около 40—50 лет (длина скелета 1,73 метра), без каких-либо патологических недостатков. Череп оказался разбитым, и поэтому решить, был ли он искусственно деформирован, сейчас просто невозможно.

Человек был погребен вместе со всеми своими украшениями из драгоценного нефрита. А одна нефритовая бусина была даже положена ему в рот — как плата для прохода в подземный мир, царство мрака и смерти. На черепе видны были остатки диадемы, сделанной из маленьких нефритовых дисков и пластин. Изящные тонкие трубочки из того же минерала служили в свое время для разделения длинных волос умершего на отдельные пряди. По обеим сторонам от черепа лежали массивные нефритовые серьги, напоминающие собой большие катушки. Вокруг шеи извивалось длинное, в несколько рядов ожерелье из нефритовых же бусинок. На запястьях каждой руки было найдено по браслету, из 200 бусинок каждый. Возле ступней ног лежала чудесная нефритовая статуэтка, изображающая бога солнца. Мельчайшие остатки мозаики из нефритовых пластинок и раковин наряду с древесным тленом, обнаруженным на черепе, позволили буквально из праха реконструировать погребальную мозаичную маску — точный портрет умершего.

Массивные каменные ножки саркофага тоже были затейливо украшены рельефными изображениями. Какие-то сказочные персонажи в богатых одеждах словно вырастали из земли, показанной символически — полосой и особым иероглифическим знаком. А рядом с ними видны побеги уже настоящих растений, увешанные плодами какао, тыквы и гуайявы.

Последней находкой явилось открытие «канала для души» — специальной полой трубы, соединяющей саркофаг почившего повелителя с алтарем храма, стоявшего на вершине пирамиды.

Можно ли расшифровать сложный ребус из скульптурных изо-

бражений, запечатленных на верхней крышке саркофага?

«Юноша, сидящий на маске чудовища земли, — писал А. Рус, — вероятно, одновременно олицетворяет собой и человека, которому суждено в один прекрасный день вернуться в лоно земли, и маис, зерно которого, чтобы прорасти, прежде должно быть погребено в земле. «Крест», на который так пристально смотрит этот человек, опять-таки символизирует маис — растение, появляющееся из земли на свет с помощью человека и природы, чтобы служить затем, в свою очередь, пищей для людей. С идеей воскрешения маиса у майя была тесно связана и идея собственного воскрешения человека...»

Кто же был погребен в подземной гробнице Храма Надписей? Кого древние жители города столь щедро наделили не только творениями своего искусства и ремесла (в виде драгоценных украшений из нефрита и изящных скульптур), но и колоссальными и явно непроизводительными затратами общественного труда?

На этот счет вряд ли могут быть какие-либо сомнения. Многочисленные атрибуты власти, положенные в гробницу вместе с умершим (скипетр, маска, щит с изображением бога солнца), определенно свидетельствуют о том, что перед нами погребение халач-виника — верховного правителя государства у древних майя, причем правителя явно обожествленного.

Дело в том, что размеры и вес каменного саркофага исключали возможность доставки его по внутренней лестнице в глубину пирамиды. Следовательно, сначала была построена гробница с саркофагом. И уже над ней майя возвели высокую восьмиярусную пирамиду и храм в честь правителя города. Вполне возможно, что халач-виник, как и египетские фараоны, сам руководил строительством своей будущей усыпальницы, наблюдая за тем, как медленно растут вверх каменные стены пирамиды. Когда работы подошли к концу, то оставалось только ждать дня смерти и похорон владыки города. И когда он наступил, жители Паленке отдали умершему самые торжественные и высокие почести.

Гробница с останками правителя и несметными сокровищами, сопровождавшими его в мир мрака и теней, была, несомненно, весьма заманчивой добычей для грабителей. Поэтому-то так тщательно была спрятана гробница в недрах пирамиды, а ход к ней плотно забит землей, щебнем и глыбами камня. Но духовная «связь» с почившим вождем тем не менее сохранялась. Жрецы во время пышных обрядов в храме, на верху пирамиды, время от времени с помощью трубы — «канала для души» вызывали дух грозного халач-виника и спрашивали у него совета и помощи.

15. В царстве кактуса и орла[1]

К западу и северо-западу от области майя лежал совершенно иной мир. Природа не была здесь столь щедра, как в тропических лесах Петена и Усумасинты. Сухие, выжженные солнцем плоскогорья Центральной Мексики,

[1] Орел, сидящий на кактусе, является частью государственного герба Мексики. Происхождение этой эмблемы связано с древней ацтекской легендой об основании столицы ацтеков — города Теночтитлана.

несмотря на свои плодородные почвы, были не в состоянии прокормить человека без дополнительных источников влаги. Бездонное голубое небо равнодушно глядело вниз на потрескавшуюся от зноя землю, над которой колючей стеной возвышались кактусы и агавы. Его лазурную глубину не бороздило ни одно облачко. Конечно, так было не везде. В ряде мест естественных осадков вполне хватало на то, чтобы собрать приличный урожай и без ирригации. Но в большинстве горных районов страны земледелие без искусственного орошения было невозможным. И человек еще в глубокой древности бросил вызов природе. Как показали археологические раскопки, первые примитивные оросительные системы (разовые, или одноактные) стали применяться в Оахаке и Южной Пуэбле еще в архаическую эпоху (1-е тысячелетие до н. э.).

Когда закованные в стальные доспехи конкистадоры вступили в 1519 году в долину Мехико, вся она была цветущим садом. Бесчисленные оросительные каналы, дамбы, плотины, да и сама «ацтекская Венеция» — островной город Теночтитлан, желтая «жемчужина», оправленная в изумрудную зелень садов и синеву каналов, — свидетельствовали об упорном труде многих поколений земледельцев, совершенно изменившем первоначальный облик этого края. Высокоразвитое ирригационное земледелие долины Мехико снабжало всем необходимым растущую империю ацтеков. За какие-то полтора-два столетия ацтеки подчинили себе множество соседних народов и государств. Известно, например, что накануне прихода испанцев император Монтесума II получал ежегодную дань с 371 города и селения Мексики.

В составе этой дани упоминаются:

военные доспехи — 625 штук,

плащи из хлопчатобумажной ткани — 123 400 штук,

перья птиц — 33 680 штук,

золотые диски — 60 штук,

серебряные диски — 60 штук,

маис — 88 «нош»,

бобы — 21 «ноша»,

копал (душистая смола) — 64 000 шариков и т. д.

О том, что означали на практике эти цифры, говорит следующий красноречивый факт. Одна «ноша» пищевых продуктов состояла примерно из 600 тысяч килограммов.

По самым скромным подсчетам, ежедневное потребление маиса каждым жителем древней Мексики составляло 400 граммов зерна в день, или 146 килограммов в год (не считая бобов и других овощей).

88 «нош» маиса равны примерно 52 800 000 килограммам зерна, что вполне достаточно для того, чтобы обеспечить пищей в течение целого года 361 641 человека. Известно, что в XVI веке все население Теночтитлана составляло 60 тысяч человек. Таким образом, ежегодная дань маиса, поступавшая в закрома Монтесумы, могла прокормить все население ацтекской столицы в течение шести лет. За несколько веков до описываемых событий богатые ресурсы Центральной Мексики были успешно использованы другим воинственным народом — тольтеками — для создания могучего государства, около двухсот лет наводившего ужас на своих соседей. Но что здесь было еще раньше, в ту эпоху, когда на заре мексиканской истории появилась первая индейская цивилизация с центром Теотихуакан?

16. «Плавучие сады» Мексики

Плодородие почвы и сухой теплый климат долины Мехико с давних пор привлекали туда людей. Не хватало только одного — воды. За каждый клочок орошаемой земли приходилось вести упорную борьбу: прокладывать каналы, строить дамбы и плотины, регулировать течение рек. Именно эта жгучая потребность в воде для орошения полей при наличии соответствующих природных условий и породила, вероятно, совершенно новую, специфическую систему интенсивного земледелия — чинампы.

По какому-то недоразумению чинампы часто называют «плавучими садами», искренне веря в то, что эти миниатюрные огороды действительно плавают по глади громадного озера Тескоко и других смежных с ним озер.

Даже такой серьезный человек, как испанский монах Акоста, поверил в эту красивую легенду. И не только поверил, но и яростно защищал ее в своем монументальном труде по истории древней Мексики.

Возможно, что Акосту ввели в заблуждение плоты из водяных растений, которые даже в наши дни местные крестьяне пригоняют к чинампам и кладут их поверх земли в качестве удобрений.

Что же в действительности представляют собой чинампы?

Чинампа — это длинный и узкий участок земли, окруженный по меньшей мере с трех сторон водой. Толстый слой растений, периодически поливаемых водой, давал прекрасный перегной. А плодородный ил, поднятый со дна окружающих чинампу каналов, довершал ее устройство. Склоны такого искусственного островка засаживались ивами или какими-нибудь стелющимися растениями с цепкими и разветвленными корнями, с тем чтобы уберечь края чинампы от разрушения и оползней. В сухое время года растения, выращиваемые на таких «огородах», поливают водой из каналов. Последние служат к тому же удобными путями сообщения для плоскодонных каноэ местных индейцев.

Обычно каждая чинампа имеет около 90 метров длины и 4,5—9 метров ширины.

Ухоженные должным образом, чинампы, несмотря на свои небольшие размеры, способны давать по нескольку урожаев в год и сохраняют свое плодородие в течение целых столетий. Практически на них выращивались все известные в Мексике полезные растения: кукуруза, тыква, фасоль, томаты, перец, магей и т. д.

Возможно, что именно необычайно высокая продуктивность этой уникальной системы земледелия позволила обеспечить пищей население таких огромных городов доиспанской эпохи, как ацтекский Теночтитлан (около 60 тысяч жителей).

И вновь исследователь сталкивается с трудной проблемой: когда же впервые появляются чинампы в долине Мехико?

17. Открытие Эдуардо Матоса Моктесумы

Со всем жаром молодости принялся за изучение этой увлекательной проблемы мексиканский археолог Эдуардо Матос Моктесума. Однажды, знакомясь с настенными росписями Теотихуакана, он обратил внимание на одну красочную фреску, укра-

шавшую стены одного из храмов мертвого города.

Древний художник изобразил на ней бога воды и дождя Тлалока, окруженного другими, менее значительными персонажами. Одна из деталей росписи представляла особый интерес: на втором (заднем) ее плане были отчетливо видны какие-то длинные, узкие участки зеленого цвета, окаймленные голубым. Причем зеленые и голубые полоски чередовались между собой в строгом порядке. Что могли они означать?

Может быть, это просто декоративный орнамент? Но странное дело, на многих зеленых участках были изображены кукуруза, фасоль, тыква и т. д., то есть все те важнейшие сельскохозяйственные культуры, которые до сих пор составляют основу питания мексиканских крестьян. Сопоставив свои наблюдения со сведениями индейских и испанских хроник, Эдуардо пришел к твердому убеждению: на фреске из Теотихуакана изображены чинампы.

А затем начались долгие и утомительные поиски материальных доказательств этого смелого предположения.

Были обследованы многие древние памятники и в самой долине Мехико и в соседних с ней районах. И вскоре выявилась интересная закономерность: в каждом городе, обычно на одной из его окраин, имеются участки земли с повышенной влажностью почвы, питаемой подземными источниками, колодцами, родниками и т. д. Эти участки, так называемые зеленые зоны, до сих пор резко выделяются на фоне окружающей выжженной солнцем местности яркой зеленью своей пышной растительности.

Зеленые зоны давали воду и для питья и для искусственного орошения полей. Здесь всегда находился основной фонд возделываемых земель, которые, как правило, никогда не застраивались. Так было заведено, по-видимому, еще с глубокой древности. Раскопки, произведенные Э. Матосом в зеленой зоне Теотихуакана, дали интересные результаты. Во всех заложенных там шурфах не было встречено никаких следов архитектурных сооружений. Уже в 40 сантиметрах от поверхности появился слой земли, насыщенный водой. Он продолжался до глубины 1,45 метра. Дальше работы пришлось прекратить из-за усиленного притока воды. Находок в шурфах почти не оказалось — всего несколько черепков глиняной посуды. Но именно они и явились тем долгожданным доказательством, которого так упорно искал молодой ученый. Наиболее древняя керамика принадлежала классической культуре Теотихуакана. Это означает, что интенсивное поливное земледелие появилось здесь еще в 1-м тысячелетии н. э.

18. Шочимилько — чинамповый город

В южной части долины Мехико, на берегу пресноводного озера Шочимилько, раскинулся небольшой городок под тем же названием. Он до сих пор остается главным центром чинампового земледелия, хотя существует скорее благодаря многочисленным иностранным туристам, чем плодам своей щедрой земли.

Бесчисленные каналы, прогулочные лодки, увитые гирляндами цветов, оркестры народных мексиканских певцов — марьячес, лавчонки, торгующие сла-

стями и прохладительными напитками, — таков Шочимилько сегодняшнего дня. Но было время, когда земледельческие ресурсы этого района вызывали к жизни цветущие многолюдные города, могучие империи, яркое и самобытное искусство. Подлинный вклад земледельцев Шочимилько в историю древней Мексики предстоит еще выяснить в будущем. И главное, что нам так необходимо узнать, — это когда появились здесь первые чинампы?

Наблюдая за чисткой старых каналов в Шочимилько, мексиканский журналист Хосе Фариас Галиндо неоднократно замечал, что крестьяне поднимают со дна вместе с илом различные древние предметы. Это и навело его на мысль собрать коллекцию местных древностей. Вскоре в его руках скопилось множество обломков керамики, глиняных статуэток, изделий из камня и т. д. Известно, что в древности берега озера Шочимилько были сильно заболочены. Поэтому человек мог обосноваться здесь лишь после строительства целой системы мелиоративных и оросительных каналов. Таким образом, появилась реальная возможность установить по находкам Фариаса Галиндо примерный возраст всей системы местных каналов. За этот труд взялся известный американский археолог Майкл Ко. Как и следовало ожидать, больше всего в коллекции было ацтекских вещей — тарелки, чаши, кувшины, статуэтки богов.

Но, пожалуй, самыми интересными находками оказались глиняные статуэтки, сделанные в Теотихуакане в первые века новой эры. Эти маленькие терракотовые фигурки, изображающие людей и богов, и позволили точно доказать, что система чинамп появилась в долине Мехико еще около 2000 лет назад. Поскольку единственной силой, способной здесь совершить столь грандиозные строительные работы, было тогда лишь теотихуаканское государство, то именно жителям этого огромного города — первой столицы Центральной Мексики — и принадлежит честь изобретения новой системы земледелия.

Вместо заключения

В одном старинном ацтекском предании говорится:

Наши предки учили,
что жизнью мы обязаны богам,
они нас создали.
Боги дают нам нашу пищу,
все, что мы пьем и едим,
то, что сохраняет жизнь, — маис
и фасоль.

Маису поклонялись как божеству.

Маисом платили дань побежденные народы. Он считался важнейшим предметом торговли. Ради захвата запасов зерна и новых плодородных земель легионы индейских воинов устилали своими костями поля сражений. И наибольший урон врагу наносили тем, что сжигали его посевы маиса.

Более двадцати лет назад известный американский археолог Сильванус Грисвольд Морли сказал: «Маис — наиболее надежный ключ к познанию цивилизации майя».

Его слова оказались пророческими. Для современных ученых маис и доколумбово земледелие в целом стали той волшебной «нитью Ариадны», с помощью которой они успешно проникают теперь в тайны становления и развития древних цивилизаций Америки.

Лев
СКРЯГИН

●

ТАЙНА «ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА»

«Летучий Голландец» [«The Flying Dutchman»] — старинная легенда, согласно которой капитан голландского судна Ван Страатен был осужден на вечное скитание по морям, никогда не приставая к берегу. В костюме XVII века Летучий Голландец, прислонясь к мачте своего судна, носится по морям, причем встреча с ним предвещает гибель морякам».

[Из морского словаря]

Английское страховое общество «Ллойд» подсчитало, что лишь с 1891 по 1893 год поступило 1828 официальных рапортов о встрече с «летучими голландцами». Беспризорные корабли стали бичом морских дорог. И дело тут вовсе не в мистике. Столкнуться ночью с полузатонувшим парусником, не несущим никаких огней, — все равно что врезаться в айсберг. Катастрофы учащались, и наконец в Америке в период президентства Кливленда была созвана международная конференция. Что делать с кораблями-призраками! Члены конференции — представители Великобритании, Германии, Франции и всех Скандинавских стран — пришли к единодушному мнению: «С «летучими голландцами» необходимо вести войну. Их нужно уничтожать!»

...Покинутые суда тонули далеко не всегда, особенно загруженные деревом или каким-либо другим нетонущим материалом... Несмотря на заполненные водой трюмы, они продолжали плавание, но уже без людей, предавших их забвению. Так начинались длительные скитания, потрясающие одиссеи без руля и ветрил.

1. «Летучий голландец» № 1

Впервые он появился в 1500 году во время шторма у мыса Торментоза, и был он не голландцем, а чистокровным португальцем. Нет, не пытайтесь отыскать Торментозу даже на самых подробных современных географических картах. Этого названия больше не существует. Вместо Торментозы на картах значится мыс Доброй Надежды — южная оконечность Африки. Он представляет собой выступ выдающегося в море скалистого полуострова, у основания которого расположен порт Кейптаун.

В XV веке, стремясь найти морской путь в Индию, португальские мореплаватели не раз пытались обогнуть Африку с юга. Но им мешали сильные встречные ветры, которые нередко переходили в длительные штормы, и господствующие в этих водах туманы.

Первым взял рубеж Торментозы португалец Бартоломео Диаш. В августе 1487 года три корабля под его командованием вышли на открытые морские дороги из Лиссабона в «Страну пряностей». Близ 33-го градуса южной широты, когда корабли находились у залива Святой Елены, поднялся сильный ветер. Боясь, что суда

разобьются о прибрежные скалы, Диаш вывел их в открытый океан. Ветер перешел в шторм, и португальцы потеряли берег из виду. Страшная буря трепала корабли, относя их к югу. Когда океан несколько успокоился, Диаш приказал взять курс на восток. На судах начался ропот: потеряв надежду на спасение, моряки требовали повернуть обратно. Но Диаш поклялся «всеми дьяволами», что, если он не обогнет этот проклятый мыс, он будет плавать до тех пор, пока с ним не случится то, что «будет угодно богу».

Несколько дней корабли шли на восток, но потерянный берег все не показывался. Отважный мореход думал, что он, вероятно, уже обогнул южную оконечность Африки. Чтобы убедиться в этом, он повернул корабли на север. И вот на третий день показались горы. Диаш повел флотилию вдоль берега на восток. Достигнув широкой, открытой в сторону океана бухты (это был залив Алгоа), он понял, что берег плавно поворачивал на северо-восток. Португалец не ошибся: его корабли все же обогнули «проклятый мыс» и находятся в Индийском океане, который ранее все считали замкнутым морем.

Но, измученные долгими скитаниями в океане, матросы взбунтовались и потребовали возвращения домой. Диаш вынужден был на этот раз уступить и повернуть обратно, так и не добравшись до Индии, не по своей вине лишившись славы быть первым европейцем, который достиг морем «Страны пряностей».

Идя обратно, на запад, вдоль южной оконечности Африки, Диаш увидел далеко выступающий в море мыс. В память о перенесенном двухнедельном шторме португальский мореход назвал его Кабо Торментозо — мысом Бурь. Пройдя его и повернув на север, Бартоломео Диаш в декабре 1488 года вернулся в Лиссабон. Король Жуан II, выслушав доклад мореплавателя, приказал переименовать Торментозу в мыс Доброй Надежды — ведь открытие Диаша дало, наконец, португальцам надежду достигнуть морским путем Индии.

Надежда эта сбылась в 1498 году, когда другой португалец — Васко да Гама — высадился в Индии. Так же как и Диашу, ему с не меньшим трудом удалось обогнуть «проклятый мыс».

Отчаянные плавания португальцев в районе мыса Бурь, невиданные ранее штормы, всевозможные лишения, испытанные мореходами, положили начало фантастическим рассказам моряков о «духе бурь» Адамасторе.

За свой подвиг Васко да Гама был воспет знаменитым португальским поэтом Луисом Камоэнсом. В его поэме «Лузиады», состоящей из десяти песен, мы находим красочное описание встречи Васко да Гамы с «духом бурь», обитавшим у мыса и вселявшим панический ужас в сердца португальских мореплавателей.

«Вдруг ночью, когда мы бодрствовали на палубе, густое облако, поднявшись над нашими головами, скрыло от нас звезды. Это была какая-то тень, страшный и мрачный призрак, один вид которого способен привести в трепет самых неустрашимых. В то же время слух наш поразил страшный шум, напоминающий грохот, который производят волны, налетающие на скалы, хотя небо и море не указывали на близость урагана.

...В воздух вытянулся призрак

необыкновенной величины; безобразие лица его соответствовало громадности роста. Знаменитый Колосс Родосский, считающийся одним из семи чудес света, высотой не мог сравниться с этим грозным привидением. Его отвратительные члены тела, казалось, были одушевлены невидимой силой: мерзость, грубость, жестокость были разлиты во всем его существе; черты лица его какие-то унылые и мрачные; голова печально опущена на грудь, борода густая, длинная, всклокоченная; глаза сверкают, точно из темного рва исходит синевато-багровое, скорее кровавое, чем сверкающее, пламя; цвет лица бледный, землистый; волосы курчавые, губы черноватые и зубы желтые... Он испускает оглушительный рев, который, казалось, исходит из глубочайших морских бездн. Волосы наши приподнялись на головах, его вид и голос леденили кровь в наших жилах».

Но отважный Васко да Гама, прерывая угрозы чудовища, спрашивает его: «Кто же ты? Нас удивляет твой рост, но угрозы твои не могут нас смутить». С яростью призрак отвечает мореплавателям:

«Я тот большой мыс, который вы, португальцы, зовете мысом Бурь... Я стою здесь на грани Африканского материка и южных стран. Имя мое Адамастор».

Легко понять, какое сильное впечатление могло произвести подобное чудище на суеверных моряков, выбившихся во время шторма из сил, окоченевших от холода... Нетрудно представить себе утлое, заливаемое волнами суденышко со сломанной мачтой, с изодранными в клочья парусами... Обступившие своего капитана моряки умоляют отступить перед Адамастором, вернуться назад. Но неустрашимый мореход клянется «всеми дьяволами» обогнуть проклятый мыс.

Если Васко да Гама, обласканный королем, дожил свои дни в величии и славе, то судьба Бартоломео Диаша поистине трагична.

По возвращении в Лиссабон пораженные его спутники шепотом передают другим мореходам рассказ о своем несчастном плавании. На набережных порта распространяются слухи, что Диаш проклят богом и обречен навечно плавать у Торментозы. Не проходит и двух лет, как эти слухи «материализуются»: 29 мая 1500 года, во время очередной экспедиции, корабль Бартоломео Диаша пропадает без вести у мыса Бурь... Молва суеверных мореплавателей, охваченных страхом перед неведомым, превращает гибель Диаша в «исполнение воли божьей». В легендах отважный мореход становится вечным скитальцем океана. Возвращающиеся из Индии португальские моряки клянутся, что видели во время шторма у мыса Доброй Надежды его корабль... Так появляется в истории первый моряк-скиталец.

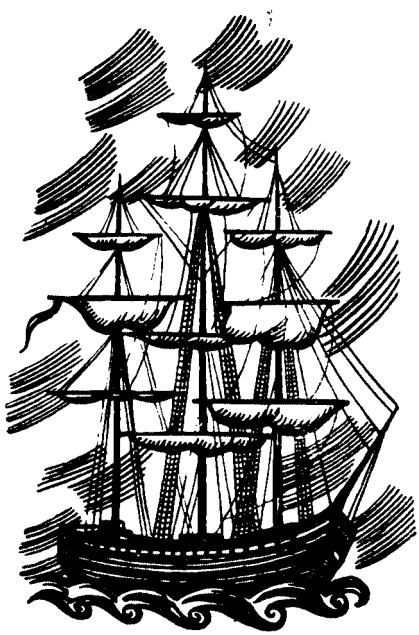
2. «Голландцы» Испании, Англии, Нидерландов и Германии

Вот испанский вариант легенды о корабле-призраке (XVII век).

Из испанского вице-королевства Перу, из порта Кальяо, плыл на корабле в Барселону молодой дон Сандовалле — сын знатного вельможи дона Лопеза Д'Аранды. Юноша возвращался домой с красавицей невестой и грудой золота. Команда корабля, не устояв перед искушением завладеть со-

кровищами, убила молодую пару. За столь тяжкое преступление всевышний превратил экипаж корабля в призраков, а судно — в вечного скитальца океана. Время от времени оно появляется в районе устья реки Ла-Платы.

Согласно английской версии легенды начала XVII века «Летучим голландцем» командовал легендарный британец Бернард Фокк — отчаянный и беззаботный моряк. Укрепив мачты и реи своего корабля железом и увеличив в несколько раз площадь парусов, Фокк стал совершать изумительно быстрые переходы из Англии в Индию. Как правило, его корабль отдавал якорь в Бомбее на девяностый день плавания. За такие сногсшибательные рейсы британец был проклят дьяволом и в наказание обречен на вечное скитание в океане между мысом Доброй Надежды и мысом Горн. На корабле Фокка, название которого в легенде не упоминается, всего четыре человека: сам капитан, штурман, боцман и кок.



В Нидерландах легенда распространилась во второй половине XVII века. Существуют целых три ее варианта. Первый: некий Фалькенбург, богатый и знатный купец, накануне свадьбы своего брата убил невесту и жениха. Бог обрек убийцу на вечное плавание в море. Мучимый угрызениями совести, Фалькенбург очутился на берегу моря, где к нему подошла лодка с гребцом, который произнес: «Expectamus te» — «Жду тебя».

Лодка доставила убийцу купца к борту странного корабля, на котором не было ни души. Как только Фалькенбург взошел на палубу судна, оно поплыло в сторону Северного моря. С тех пор оно блуждает там вечно, никогда не заходя в порт. Злой и добрый духи Фалькенбурга играют в кости на его грешную душу, а тем временем по волнам носится серый корабль-призрак с красными парусами и выцветшим флагом. Ночью над его мачтами вспыхивают огни, сулящие морякам несчастье...

Второй вариант: капитан парусника Ван Страатен, смелый моряк, не верующий ни в бога, ни в черта, вышел в море в страстную пятницу и поклялся, пробиваясь сквозь встречный шторм, обогнуть мыс Горн. За эти деяния он был осужден богом плавать в океане до страшного суда. Когда Ван Страатен встречает в океане другое судно, то он приказывает своим матросам-призракам спустить на воду

шлюпку и, подойдя к кораблю, просит принять от него пачку писем. Они адресованы людям, которых уже давно нет в живых. Суеверие предписывало, что в таких случаях лучше всего не испытывать судьбу и немедленно прибить письма к грот-мачте, в особенности если на корабле нет библии. Легенда гласила: тех, кто задумает прочитать эти письма, ждет кораблекрушение.

Третий вариант: имя «Летучего голландца» было Ван дер Декен. Он также поклялся при встречном шторме обогнуть мыс Горн. Много дней подряд ревели стихии. Команда роптала, а капитан спокойно курил трубку и пил пиво. Тех, кто пытался воспрепятствовать его затее, Ван дер Декен швырял за борт. Но вот на палубу корабля опустился святой дух. Капитан-безбожник выстрелил в него из пистолета, но ранил себя в кисть, после чего у него отнялась вся рука. Ван дер Декен проклял бога и за это был осужден на вечное скитание в бушующем океане у мыса Горн. Он стал злым духом океана. Появление его корабля предвещает шторм и кораблекрушение. Если «Летучий голландец» повстречает какое-нибудь судно, он обязательно отправится на него в своей шлюпке с призрачными гребцами. На корабле, который он посетит, скисает все вино, а пища превращается в бобы. Команда Ван дер Декена — сброд из грешников моря. Это негодяи, воры и убийцы, обреченные богом на вечное скитание в океане без запаса воды и пищи...

Немецкие моряки были уверены: печальная участь ожидает всякого, кто встретит в Северном море корабль грешников — «Либера нос» («Libera nos»). На черных его мачтах вздуты черные паруса, где изображены человеческие черепа. На корме за штурвалом стоит скелет — злой дух, правящий кораблем. Каждый грешник обязан по сто лет пребывать в одной должности, тысячелетия поднимаясь по ступенькам судовой иерархии к чину капитана.

Подобных легенд о «Летучем голландце» великое множество. Они отличаются одна от другой не только именами капитанов, но и причиной проклятья, которое на них обрушилось: то это клятва обогнуть мыс против шторма, то убийство ради богатства, то грех, то волшебство и т. д.

Конечно, легенда не исторический документ, в точности воспроизводящий какое-либо событие. Пылкая фантазия, суеверность и набожность моряков прошлых столетий рождали химеры и более жуткие, чем легенда о «Летучем голландце». Но даже в самых невероятных вымыслах всегда есть крупица истины. Неужели и «голландец» — отголосок чего-то реального и грозного?

Да, так оно и есть. В безбрежных просторах океана бывали встречи с парусниками, которые плавали без людей.

3. Страшная находка «Гренландии»

В далекие времена парусного флота, среди снежных торосистых равнин и айсбергов, под тусклым небом Арктики странствовали полярные «летучие голландцы». Обледенелые, в саване туманов, бороздили они ледяной простор по воле ветров и течений. Целыми десятилетиями дрейфовали иногда в белых пустынях вмерзшие в лед суда. Эскимосам-охотникам, китобоям и полярным исследователям не

раз случалось видеть в морозной мгле их призрачные контуры. Причудливо обросшие чешуей льда, с седыми сталагмитами мачт, корабли-отшельники ревниво и безмолвно хранили свою тайну, вселяли в души суеверных моряков неописуемый страх.

...Первыми, кто встретился с «Летучим голландцем» Арктики, были китобои с английского корабля «Гренландия». В августе 1775 года капитан Уарренс в погоне за стадом китов привел свое судно на 77-ю параллель в заливе Баффина. Пути вперед не было — море закрылось тяжелыми льдинами и множеством огромных айсбергов. С вороньего гнезда китобойца было видно, что за ледяными горами простираются необозримые белые поля вечных льдов.

Капитан Уарренс приказал лечь на обратный курс. «Гренландия» стала медленно разворачиваться. Но неожиданно ветер стих и паруса безжизненно повисли на реях судна. Оставалось лишь ждать. Ветер задул только к вечеру второго дня. К ночи он перешел в шторм. Над морем слышался ужасный грохот: льдины со скрежетом наползали одна на другую. Под утро пришли в движение и айсберги, они гулко сталкивались и переворачивались, кроша лед. В полдень стихла пурга, из-за уходящих туч выскользнуло бледное полярное солнце. Наконец-то китобои могли вывести корабль из лабиринта льдин и взять курс к родным берегам.

Вдруг все увидели, как над одним из айсбергов плавно движутся верхушки трех мачт с раздутыми парусами. «Неужели здесь, кроме нас, есть еще судно? Кто еще осмелится так далеко забрести?» — недоумевали моряки. Тем временем мачты продолжа-

ли двигаться. Вот из-за айсберга показался бушприт, потом аллегорическая фигура богини, украшающая нос корабля, потом и сам корабль... Китобоям сразу же бросилось в глаза, как странно разворочены реи незнакомца, как неестественно поставлены паруса. Корабль казался каким-то застывшим и оцепеневшим.

— «Голландец»! — с ужасом закричали моряки. — Вот он, предвестник нашей гибели.

Уже кто-то из гарпунеров начал читать молитву, кто-то побежал в кубрик за библией. Между тем неизвестный корабль ударился килем о подводную кромку плывшего перед ним айсберга. От толчка рухнула и упала за борт его фок-мачта. Судно остановилось в двухстах метрах от «Гренландии».

— Это не «Голландец», — воскликнул капитан китобойца, — они терпят бедствие, им нужна помощь. Четверо гребцов — за мной!

Вскоре на воду спустили один из вельботов, и Уарренс с матросами направился к странному кораблю. Приблизившись к паруснику, моряки увидели, что его корпус сильно поврежден льдинами и обветшал. Тщетно пытался капитан Уарренс разобрать на корме выцветшие буквы названия корабля. Палуба, покрытая толстым слоем льда и снега, была пуста.

— Эй, есть тут живые души?— крикнул капитан. Молчание. Поднимаясь с кормы на палубу, капитан мельком заглянул в иллюминатор и внутри каюты увидел сидящего за столом человека, который склонился над какими-то бумагами. Из-за плохого освещения Уарренс ничего больше увидеть не смог. Китобои поднялись на палубу и, открыв люк, вошли внутрь корабля. Сначала они направились туда, где Уарренс видел человека. Это был салон корабля. Перед глазами моряков предстала страшная картина. Сидящий за столом человек не обратил внимания на вошедших. Это был мертвец с зеленым лицом и провалившимися глазами. В руке он держал гусиное перо. Перед ним лежал раскрытый судовой журнал. На недописанной странице моряки прочитали английский текст: «14 ноября 1762 года. Семнадцатый день мы зажаты в этих льдах. Вчера погас огонь. Наш капитан пытается безуспешно разжечь его. Сегодня утром скончалась его жена. Спасения нет...»

Не говоря ни слова, Уарренс и матросы вышли из салона.

В каюте капитана на кровати они увидели труп женщины. Ее лицо хорошо сохранилось, и лишь по тому, как неестественно согнулось тело, можно было понять, что она мертва.

Рядом на полу сидел мертвец. В одной руке он зажал кресало, в другой — кремень. Неподалеку лежал еще один труп.

На баке и в кубрике китобои обнаружили несколько мертвых матросов.

Заглянули в кладовую — ящики, бочки и полки были пусты.

Ужас охватил китобоев — людей смелых, но набожных и суеверных. Матросы начали роптать, они требовали вернуться немедленно на «Гренландию».

Уарренсу удалось незаметно от матросов унести с собой часть вахтенного журнала. Именно часть, потому что журнал буквально рассыпался в его руках.

Когда «Гренландия» вернулась в Англию, Уарренс заявил о страшной встрече в Арктике лордам Адмиралтейства. Но по остаткам журнала установить название и порт приписки неведомого ко-

рабля не смогли. И до сих пор неизвестно имя этого «Летучего голландца», тринадцать лет странствовавшего по арктическим морям.

4. «Корабли чумы»

Будущий основоположник исторического романа Вальтер Скотт в молодости выступал как поэт-романтик. Одна из его поэм — «Рокеби» (1812 год) — написана на легендарный сюжет «Летучего голландца».

В поэме Скотта причина вечного скитания капитана — убийство в море. На корабле, везущем ценный груз, среди моряков начались распри, которые закончились убийством. На судно «обрушилось проклятие небес» — среди экипажа вспыхнула эпидемия страшной болезни. Кораблю нельзя войти в порт, и он блуждает в океане. Всех, кто повстречает этот призрачный корабль с мертвым экипажем, ожидает несчастье...

Что натолкнуло великого романиста написать об эпидемии на борту корабля?

Возможно, Вальтер Скотт вспомнил о суровых законах Британского адмиралтейства, касающихся «кораблей чумы».

В те времена уровень санитарного состояния на судах был крайне низким, и трудно сказать, что наносило больший урон мореплаванию — эпидемии или кораблекрушения. Начиная с 1701 года ни одно судно не могло войти в английский порт без карантина. Если после специального досмотра оказывалось, что на корабле есть заболевшие чумой, капитан должен был немедленно выйти в открытое море.

Эти законы соблюдались с твердостью, порою напоминающей жестокость.

В 1730 году в Смирне вспыхнула эпидемия чумы. Корабли «развезли» ее чуть ли не по всем портам Средиземного моря. В Лондоне каким-то образом стало известно, что из Мессины к берегам Англии направляется «чумное» голландское судно. Когда «голландец» подошел к Плимутскому заливу, вышедшая навстречу английская эскадра дала по нему залп. Получив несколько пробоин, несчастный корабль вынужден был уйти в Атлантику.

Может быть, Вальтер Скотт знал трагическую историю другого голландского судна, которое в 1773 году зашло в один из средиземноморских портов пополнить запасы воды и провизии. Когда корабль прибыл на рейд, портовые власти узнали, что на его борту от чумы умерли капитан и четырнадцать матросов. Судну приказали немедленно выйти в море. Оно взяло курс на Тунис. Но весть о страшном «голландце» уже разнеслась по всему Средиземноморью, и тунисский порт оказался для него закрытым. Тщетными оказались попытки 23 оставшихся в живых моряков войти и в Неаполитанский залив. Отверженное судно начало свои бесконечные скитания. Ни итальянцы, ни испанцы не подпускали этот корабль к берегу на пушечный выстрел. Особенно боялись его французы. У них еще свежо было воспоминание, как полвека назад от чумы, занесенной каким-то кораблем, умерла половина жителей Марселя...

Без воды, без пищи один за другим погибали голландские моряки на борту обреченного судна. Наконец оно вышло в Атлантический океан. Впоследствии «чумный корабль» не раз

Статуэтка божества, выглядывающего из водяной лилии.

Глиняная модель домика.

«Средневековая дама» (глина).

Тлатилько. Голова глиняной статуэтки.

Статуэтка женщины.
Тлатилько.

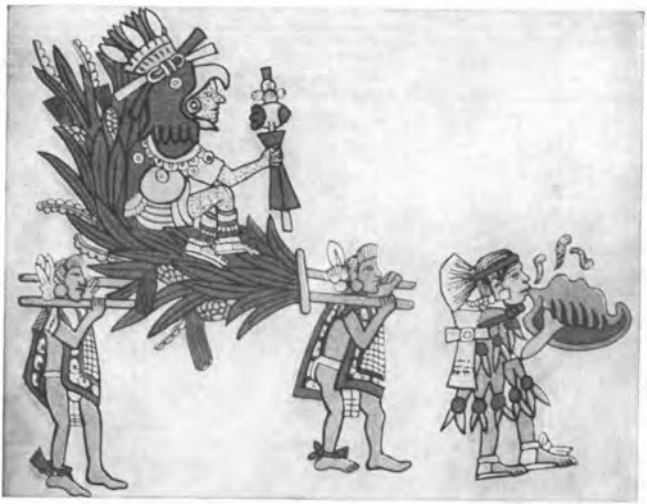
Статуэтка мужчины.
Тлатилько.

Статуэтка женщины.
Тлатилько.

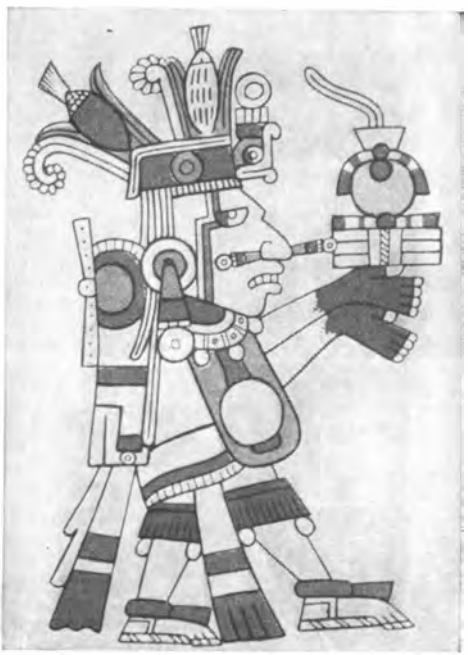
Глиняная статуэтка двуглавой богини. Тлатилько.

Шилонен — богиня молодого маиса.

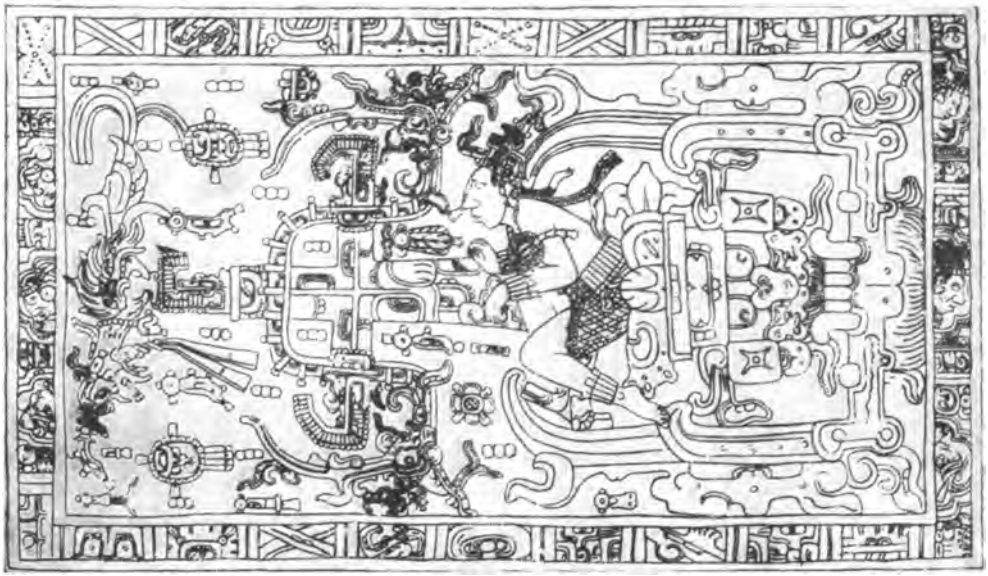
Глиняные фигурки. Тлатилько.



Шочипильк — царь цветов, покровитель весны и растительности, танцев, игр и любви.



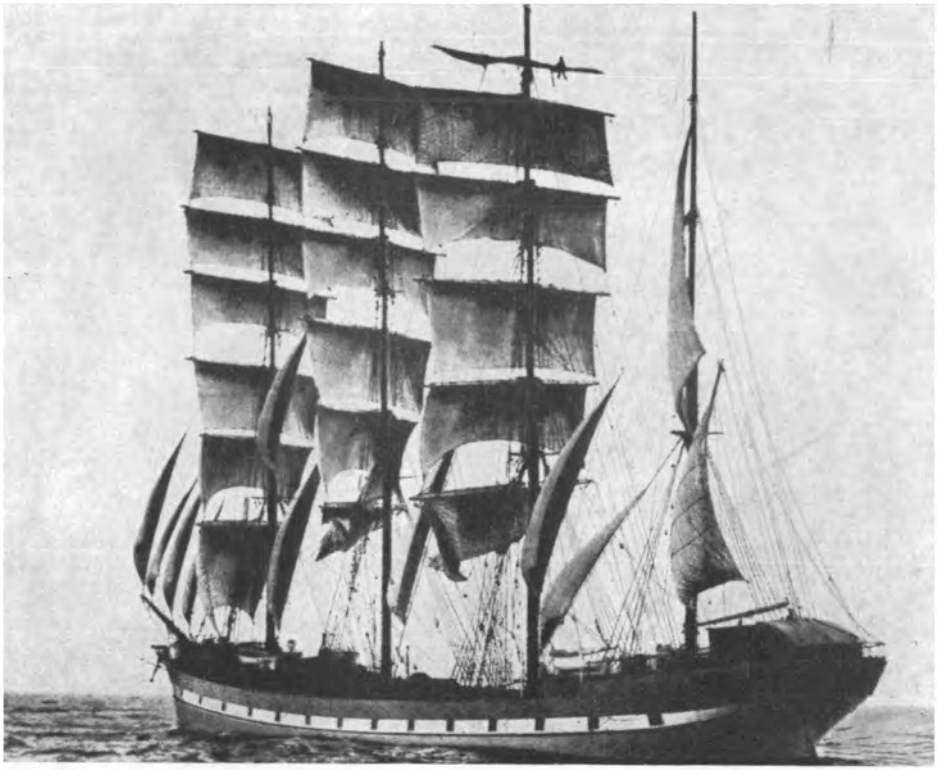
Сентеотль — ацтекский бог маиса.



Изображение на крышке саркофага. Паленке, храм надписей.

Фигурка жреца. Тлатилько (Мексика).

Конец «Летучего голландца».
Трехмачтовый барк «Алиса» без экипажа пересек Тихий океан и был найден жителями западного побережья Северной Америки в полузатопленном состоянии.

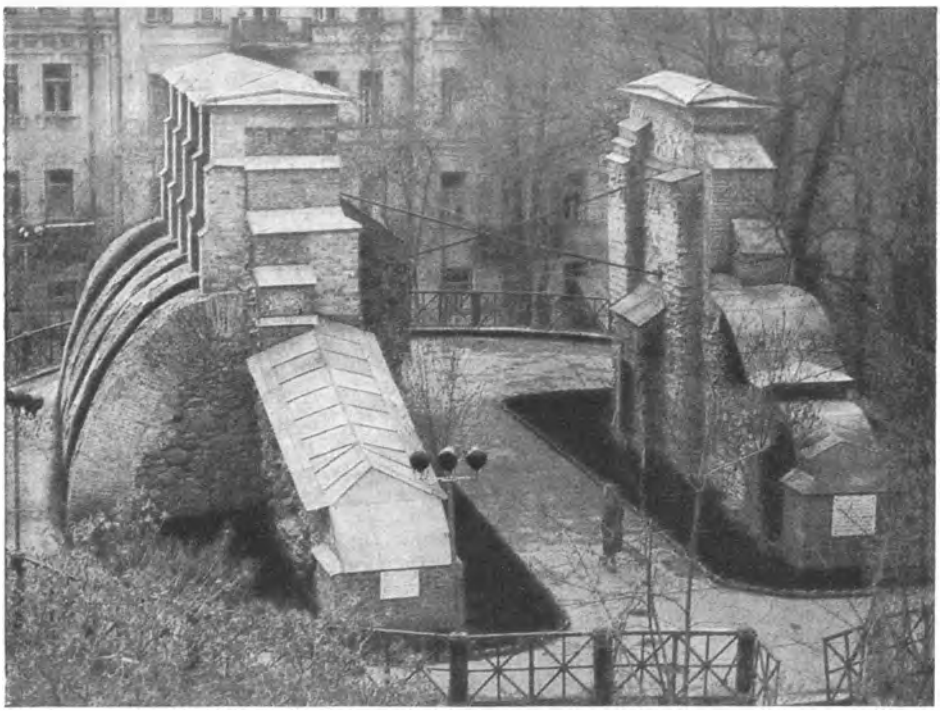


Так выглядели последние из могикан парусного флота. Английский четырехмачтовый барк «Оливбэнк» трижды принимали за корабль-призрак.

Образ «Летучего голландца» издавна вдохновлял маринистов разных стран. Репродукция известной английской картины «Барк в шторм».

Киев. Памятник Богдану Хмельницкому.

Киев. Золотые ворота.



Акрополь в Андах. Вид на город Мачу-Пикчу.

встречали у Азорских островов. Никем не управляемый, он несся под всеми парусами к своей неотвратимой судьбе «Летучего голландца».

В XVII—XVIII веках таких случаев было немало. Любой из них мог натолкнуть Вальтера Скотта на сюжет «Рокеби». Спроси он у любого старого морского волка, случалось ли тому лицезреть «Летучего голландца», и моряк готов был поклясться на библии: такого-то года и такого-то месяца и числа он в море своими глазами видел «Летучего голландца». При этом он даже назвал бы координаты того «проклятого места». И ни в чем бы не солгал: в то время из «летучих голландцев» можно было бы составить целый флот.

5. Гейне, Вагнер и другие

Голландский вариант легенды впервые использовал знаменитый немецкий писатель Генрих Гейне. В 1821 году в журнале «Вандсбекский курьер» он напечатал рассказ «Послание Ван дер Декена домой», который вскоре был переведен на английский язык и опубликован в журнале «Блэквуз Эдинбург мэгэзин».

Спустя два года английский романист и драматург Фитзболл написал мелодраму «Летучий голландец». С 1827 года она регулярно ставилась театрами Лондона и Нью-Йорка.

Генрих Гейне вторично возвращается к фабуле легенды в 1834 году. В рассказе «Из записок Шнапельвопского» появляется замечательное повествование о моряке-скитальце и о преданной любви женщины.

«...Дьявол поймал его на слове — он обречен блуждать по морям до страшного суда, освободить же его в силах только верность женщины. Дьявол, как бы глуп он ни был, не верит в женскую верность и посему разрешает заколдованному капитану раз в семь лет сходить на берег и жениться, добиваясь таким путем избавления. Бедный голландец! Он частенько радуется, избавившись от брака и своей избавительницы, и возвращается снова на борт корабля.

На этой сказке построена пьеса, которую я видел в амстердамском театре. Опять прошло семь лет, бедный голландец, утомившись более чем когда-либо от бесконечных блужданий, сходит на берег, заводит дружбу с одним шотландским купцом, продает ему алмазы по смехотворно низкой цене и, услышав, что у его клиента красавица дочь, просит отдать ее ему в жены. И эта сделка тоже заключена. Вот мы видим дом шотландца: девушка, робея душою, ожидает жениха. Она часто с тоской поглядывает на висящую в комнате большую темную картину, изображающую красивого человека в испано-голландском костюме: это старинная, доставшаяся по наследству картина, и согласно признанию бабушки на ней правдиво изображен «Летучий голландец» в том облике, в каком его видели сто лет назад в Шотландии во времена короля Вильгельма Оранского (1689—1702 гг., то есть конец XVII в. — начало XVIII в.). С этой картиной связано также переходящее из рода в род предостережение, по которому женщины этой семьи должны опасаться оригинала. Именно поэтому девушка с детства запечатлела в своем сердце черты этого опасного человека. И когда настоящий «Летучий голландец» в подлинном своем виде входит в комнату, девушка тре-

пещет, но не от страха. Однако и он смущен при виде портрета. Когда ему объясняют, кто изображен на портрете, ему все же удается отвести от себя всякие подозрения. Он смеется над суеверием, он издевается сам над «Летучим голландцем», Вечным жидом океана. Однако, непроизвольно впадая в печальный тон, он рассказывает, какие несказанные муки пришлось претерпевать «голландцу» среди безбрежной водной пустыни, он говорит — плоть его не что иное, как гроб, в котором тоскует душа; его гонит от себя жизнь и не принимает смерть; подобно пустой бочке, которую волны кидают друг другу и снова насмешливо отбрасывают, мечется бедный голландец между жизнью и смертью, и ни та, ни другая не хотят его принять; его скорбь глубока, как море, по которому он плавает; на корабле его нет якоря, а в сердце — надежды.

Мне думается, что приблизительно таковы были слова, которыми закончил жених. Невеста серьезно приглядывается к нему и бросает косые взгляды на портрет. Похоже, что она разгадала его тайну, и, когда он затем спрашивает: «Катерина, будешь ли ты мне верна?» — она решительно отвечает: «Верна до смерти».

...Придя еще раз в театр, я поспел как раз к последней сцене пьесы, когда жена «Летучего голландца», госпожа «Летучая голландка», ломает в отчаянье руки на высоком утесе, а в море на палубе страшного корабля стоит злополучный супруг. Он любит ее, но хочет покинуть, чтобы избавить от гибели, и открывает ей свою ужасную судьбу и тяготеющее над ним страшное проклятие. А она кричит громким голосом: «Я была верна тебе до этого часа и знаю надежное средство сохранить свою верность до самой смерти!»

С этими словами верная жена бросается в море, и вот наступает конец проклятью, тяготеющему над «Летучим голландцем»: он спасен, и мы видим, как корабль-призрак погружается в морскую пучину». Так писал Гейне...

Этот сюжет был использован великим немецким композитором Рихардом Вагнером в его замечательной опере «Моряк-скиталец».

Двадцатипятилетний Вагнер познакомился с рассказом Гейне летом 1838 года в Риге, где он в ту пору занимал скромное место капельмейстера театра. Молодой композитор, спасаясь от многочисленных кредиторов, угрожавших долговой тюрьмой, тайком с помощью контрабандистов переходит границу и в маленьком восточнопрусском порту Пиллау садится на парусное судно, которое направляется в Лондон. Рейс длится три недели. Корабль Вагнера попадает в жестокий шторм и находит убежище в одном из норвежских фиордов. Норвежская девушка Сента поведала композитору легенду о «Летучем голландце». Мотивы, навеянные этим рассказом, разыгравшимся штормом, плеском волн, неистовством стихии, овладевают Рихардом Вагнером. В основу либретто берется сюжет «Записок Шнапельвопского». В 1840 году опера набросана в черновике. Через семь месяцев она уже переписана начисто. За два месяца Вагнер написал к ней увертюру. Премьера «Летучего голландца» состоялась 2 января 1893 года в Дрезденском королевском театре под управлением самого композитора. В роли Сенты выступила великая

трагическая певица Вильгельмина Шредер-Девриент. Успех был потрясающим. Опера «Летучий голландец» принесла Вагнеру всемирную славу, именно с нее начался «вагнеровский этап» в истории европейской классической музыки.

В прозе и поэзии периода романтизма (да и не только романтизма) легенда о «Летучем голландце» разрабатывалась неоднократно. Ее использовали немецкий сказочник Вильгельм Гауфф («История о корабле призраков», 1830 г.), английский писатель-маринист Фредерик Марриэт («Призрачный корабль», 1839 г.), американский поэт Лонгфелло («Сказки придорожного кабачка», 1863 г.), немецкий романист и драматург Альберт Эмиль Брахфогель (роман «Летучий голландец», 1871 г.), английский писатель Кларк Расселл («Голландский корабль», 1888 г.), английский поэт и писатель Редьярд Киплинг («Баллада семи морей») и многие другие.

6. Призраки морей

Шло время. В далекое прошлое уходили парусники. Началось господство паровых судов. Но моряки конца XIX века не хотели расставаться с красивой легендой о «Летучем голландце». Его не раз видели в океане, видели, как он появляется в снежных вихрях, выходит из тумана, выплывает призрачной тенью из-за искрящейся на солнце громады айсберга, возникает из впадины между двумя огромными волнами и снова исчезает.

«11 июля 1881 года близ Сиднея в 4 часа утра мимо нас пронесся «Летучий голландец». Мы увидели странный красный свет, призрачно освещавший корабль. При этом свете совершенно ясно вырисовывались мачты и паруса брига, находящегося от нас в одном кабельтове. Когда он приблизился, мы окликнули его. Его видел также вахтенный офицер со шканцев и один из кадетов. Но когда он побежал на бак нашего корабля, бриг вдруг исчез. Море было спокойно, ночь — светлая. Тринадцать человек видели бриг. Матрос, первый заметивший «Летучего голландца», сегодня упал с реи и разбился насмерть, потом случилось несчастье и с адмиралом». Это выписка из вахтенного журнала английского военного корабля «Бакхант». Сделана она рукой английского короля Георга V, когда он, будучи еще кадетом, проходил на корабле морскую практику.

Нет никакого сомнения, что моряки «Бакханта» встретились с вполне реальным кораблем, который, по стечению обстоятельств однажды стал неуправляем.

История мореплавания XIX века и даже XX века насчитывает сотни случаев, когда командиры кораблей заносили в вахтенные журналы и рейсовые донесения сообщения о встрече с «Летучим голландцем». Причем подобные записи зачастую делались людьми, весьма далекими от суеверия и излишней набожности.

В январе 1890 года английский трехмачтовый корабль «Марлборо», имея на борту 23 моряка, несколько пассажиров, груз овечьей шерсти и мороженой баранины, совершал под командованием известного капитана Харда очередное плавание из Новой Зеландии в Англию. В порт назначения судно не пришло. Последний раз парусник видели с борта одного английского па-

рохода у мыса Горн. Расследование не пролило свет на обстоятельства его гибели: «Марлбороу» сочли жертвой многочисленных в этих опасных водах катастроф. Вскоре о корабле забыли...

Через четверть века «Марлбороу» нашелся. Он появился под парусами около Огненной Земли, близ Пунта Аренас.

Моряки одного английского барка, заметившие «Марлбороу», единогласно утверждали: корабль шел с попутным ветром, неся часть парусов. На его палубе все было на своем месте. На палубе лежали три скелета. Рангоут, такелаж и паруса были покрыты каким-то странным зеленоватым налетом, напоминающим плесень.

Когда моряки ступили на палубу «Марлбороу», доски стали проваливаться под ногами. В жилых помещениях обнаружили десять скелетов, лежавших в разных позах и прикрытых лохмотьями. В кают-компании корабля нашли еще шесть скелетов.

Судовой журнал заплесневел, и текст в нем прочитать не удалось.

Осмотр странного корабля из-за усилившегося ветра провели весьма поспешно. Погода неожиданно испортилась, и капитан счел благоразумным позаботиться о безопасности своего судна и людей.

По возвращении в Англию капитан барка представил адмиралтейству и страховому обществу Ллойда подробнейший отчет о своей необычной находке. Хотя отчет был подписан свидетелями, его текст вызвал среди экспертов недоумение.

Известно, что в районе мыса Горн около трехсот дней в году свирепствуют страшные штормы, когда волны с яростью разбиваются о неприступные скалы и рифы. Как же объяснить, что «Марлбороу», находясь столь долго среди этого кладбища кораблей, остался цел?

Может быть, парусник все это время простоял в одной из многочисленных скрытых бухт, а затем ветра и течения вынесли его в открытый океан? Такое предположение было маловероятным. Местные жители наверняка заметили бы корабль, и если бы даже не стали докладывать об этом аргентинским и чилийским властям, то уж разграбить судно они бы не преминули.

Осталась загадкой и гибель людей на «Марлбороу». Куда делись десять человек: умерли раньше других и были брошены за борт? Высажены с корабля? Смыты с палубы волнами после смерти? Пытались спастись на шлюпках?

Может быть, моряки погибли от какой-нибудь страшной болезни? Но вспышка эпидемии наверняка собрала бы людей вместе. Отравление? Но члены экипажа корабля питаются в разное время.

Одним словом, в Англии так и не раскрыли тайну «Марлбороу» — одного из «летучих голландцев» мыса Горн, и он навеки вошел в морскую антологию таинственных происшествий.

На 31 декабря 1829 года в Британском соединенном королевстве зарегистрировано 18 823 парусных судна общей вместимостью свыше 2 миллионов тонн. За этот год погибло 1305 судов — около 7 процентов!

В 1881 году, по данным госдепартамента США, погибло 2193 судна. Из них 1108 — на мели, 550 — в открытом море, 229 — сгорело, 205 — затонуло в результате столкновений и 101 пропало без вести.

Однако покинутые суда тонули далеко не всегда, особенно загруженные деревом или каким-либо другим нетонущим материалом. Приливы, волны, течения сталкивали парусники с рифов на глубокую воду, и они, несмотря на заполненные водой трюмы, продолжали плавание, но уже без людей, которые предали их забвению.

Так начинались длительные скитания, потрясающие одиссеи «без руля и без ветрил»...

13 марта 1888 года экипаж американской четырехмачтовой шхуны «Вильям Уайт» после тщетных попыток остановить сильную течь в трюме покинул судно недалеко от острова Лонг-Айленд. Однако шхуна не затонула и продолжала плавать в Северной Атлантике, близ восточного побережья США. «Вильяма Уайта» неоднократно видели с проходящих мимо судов. На гафеле судна все еще развевался сигнал бедствия — перевернутый флаг, и многие капитаны, введенные в заблуждение, посылали к судну спасательные партии. Свыше десяти месяцев плавала шхуна в океане, пока 29 января 1889 года не оказалась на камнях острова Льюис (в группе Гебридских островов). К этому времени за кормой осталось пять тысяч миль.

А вот другой пример. В начале 1895 года английский парусник «Альма Каммингс», груженный лесом, попал у восточного побережья Северной Америки в жестокий шторм и потерял все свои три мачты. Экипаж был подобран проходившим мимо пароходом. Когда команда отошла от шхуны на шлюпке, никто не сомневался, что минуты «Альмы Каммингс» сочтены: судно уже почти полностью скрылось в волнах.

Но прошло несколько недель, и капитан одного брига сообщил английским властям, что видел в Атлантике шхуну без мачт, на носу которой виднелась надпись: «Альма Каммингс».

Подобные сообщения стали поступать все чаще и чаще. Сомнений не оставалось: парусник не затонул. Сначала его несло течением Гольфстрим, потом — Северным экваториальным течением. Любой корабль, столкнувшийся в тумане с тяжело груженным «слепым» парусником, мог пойти ко дну. Чтобы устранить опасность, «Альму Каммингс» неоднократно пытались уничтожить, поджигая ее корпус, но безуспешно — судно не хотело умирать. Летом 1896 года после полуторагодичных странствий парусник, подхваченный Карибским течением, был прибит к берегу Панамского перешейка. Местные жители — индейцы — разобрали «Альму Каммингс» по частям.

Все рекорды побила американская промысловая шхуна «Стар»: сей «Летучий голландец» совершил поистине классический дрейф без экипажа — вокруг земного шара!

1 июня 1893 года шхуна (с тринадцатью членами экипажа и с грузом леса и пушнины) покинула Алеутские острова и взяла курс на Гаваи. В Тихом океане, у острова Мидуэй, она ударилась днищем о неизвестный подводный риф и оказалась на камнях. Команда покинула обреченное судно на шлюпках и вскоре была спасена английским барком «Эклефехан».

Не прошло и месяца, как капитан американского парусника «Дун», прибыв в Сан-Франциско и узнав о гибели «Стар», заявил, что видел ее, идущую под всеми парусами, в семидесяти ми-

лях к северу от Мидуэя. Этому сообщению американские чиновники поверили лишь спустя четыре месяца, когда услышали о шхуне от капитана английского судна, который обнаружил ее в четырехстах милях к западу от Сан-Франциско. Палуба «Стар» была пустынной. Шхуна стремительно пронеслась по правому борту и скрылась за горизонтом.

Потом пришло сообщение с острова Фаннинг — в начале октября 1893 года «Стар» видел смотритель маяка.

Никто не хотел верить, что никем не управляемое судно, однажды «погибшее на рифах», благополучно продолжает плавать. Американцы, потрясенные столь невероятным событием, не пожалели денег на розыски беглянки, которая стала к тому времени легендой. Однако поиски ничего не дали. Но через четыре месяца один норвежский капитан заметил таинственный парусник у острова Халл (группа островов Феникс). После этого целых четыре года о шхуне не было ни слуху ни духу. И вдруг — о чудо! — в августе 1896 года злополучную «Стар» нашли на тех же рифах острова Мидуэй, где ее бросила команда...

Но не всегда «летучим голландцам» удавалось беспрепятственно «разгуливать» в океане. Многие корабли-призраки подстерегала западня — знаменитое «Море водорослей».

На протяжении четырех веков среди мореплавателей всех стран бытовало поверье о страшном Саргассовом море — ловушке кораблей в Северной Атлантике. Говорили, что это море, без ветров и течений, заросшее густыми подводными растениями, как гидра удерживает попавший в него корабль, что за многие века цепкие водоросли поглотили тысячи кораблей; что рядом с острогрудыми челнами викингов и римскими триремами на дне лежат испанские каравеллы и английские бриги. Они придавлены грудами затонувших корпусов барков и пароходов. Именно в этом море пылкое воображение романистов и фантастов поместило «мировое кладбище кораблей».

Вплоть до 1925 года считали, что проникнуть в центральную часть Саргассова моря невозможно — водоросли, намотавшись на винт судна, остановят его. Наконец ученые определили: здешние морские растения абсолютно безобидны. Они настолько тонки и хрупки, что ни один корабль не станет их «пленником».

И все же это море — ловушка для неуправляемых кораблей. Для «летучих голландцев» условия тут самые идеальные. Достаточно такому кораблю попасть в местное замкнутое течение, движущееся по часовой стрелке, как ему обеспечены долгие годы бесцельных странствий.

В 1884 году в «Море водорослей» нашли настолько старый корабль, что никто не мог даже определить, в каком веке его построили. Хотя корпус ветерана окончательно обветшал, корабль был похож на плавающую бутылку. Поразмыслив, убеленные сединами моряки решили: эта развалина, загруженная пробкой, одно из древних голландских судов.

15 октября 1891 года полузатопленная американская шхуна «Фэнни Уолстен» была брошена командой в районе мыса Гаттерас. Подхваченная мощным потоком Гольфстрима, она почти целый год продвигалась на восток со средней скоростью тридцать шесть миль в сутки. Затем шхуна

попала в Саргассово море. Здесь «Фэнни Уолстен» прошла более восьми тысяч миль. За эти три года ее встречали сорок шесть раз, что позволило достаточно точно вычертить схему дрейфа. В последний раз шхуну видели 21 октября 1895 года, когда она вырвалась из плена Саргассова моря на просторы Атлантики...

Шесть месяцев провел в объятиях замкнутого течения английский бриг «Полли». Любопытно, что, когда через полгода его обнаружили, на борту нашли живого моряка.

Теперь древние парусники-призраки в Саргассовом море уже перевелись. Правда, после окончания второй мировой войны здесь еще плавали по замкнутой кривой «летучие» спасательные шлюпки и плоты с торпедированных судов. Но после того как их повылавливали, стихия заносит сюда только сорванные штормом буи, ограждающие мели восточного побережья Америки...

Несмотря на почти мистический ужас, внушаемый «летучими голландцами», некоторые капитаны-смельчаки отваживались заарканить корабли-скитальцы. Цель — страховое вознаграждение.

Удивительна судьба английского клипера «Арно». В декабре 1894 года этот великолепный парусник вышел из Нью-Йорка в Ливерпуль. В открытом море начался шторм, но капитан в погоне за скоростью слишком долго не убирал паруса. Налетевший шквал положил парусник на борт и сорвал люковые крышки — стало заливать трюмы. На счастье, поблизости проходил итальянский пароход «Этрурия»: его спасательная шлюпка подобрала погибающих моряков клипера. До рассвета следующего дня пароход находился рядом с тонущим парусником. Когда шторм стих, итальянские моряки перебрались на «Арно» и, поняв, что его уже ничто не спасет, пробили в борту отверстие; пусть клипер уж лучше затонет, нежели станет причиной аварии другого корабля.

«Этрурия» легла на свой прежний курс. А через несколько дней, когда океан был спокойным и ярко светило зимнее солнце, с мостика английского парохода «Пайнер Пойнт» заметили лежащее на борту парусное судно. Это был «Арно». Английские моряки поднялись на его борт, внимательно осмотрели и решили спасти. За два дня им удалось срубить мачты клипера, заделать пробоины и поставить судно в нормальное положение. Спустя две недели «Арно» благополучно привели на буксире в Куинстаун.

В конце прошлого века, когда пароходы окончательно захватили монополию на мировых торговых путях и владельцы парусного флота выжимали из своих обветшалых кораблей последний фрахт, число «летучих голландцев» резко увеличилось. На оживленных океанских трассах слонялись десятки полузатопленных, обгоревших, разбитых корпусов бригов, шхун, баркентин, барков, клиперов. Английское страховое общество «Ллойд» подсчитало, что лишь с 1891 по 1893 год поступило 1828 официальных рапортов о встрече с «летучими голландцами». Беспризорные корабли стали бичом морских дорог. Катастрофы учащались, и, наконец, в Америке в период президентства Кливленда была созвана международная конференция.

Члены конференции — представители Великобритании, Германии, Франции и всех Скандина-

навских стран — пришли к единодушному мнению: «С «летучими голландцами» необходимо вести войну. Их нужно уничтожать!»

И вот для потопления покинутых парусников в Атлантику снаряжаются эскадры военных кораблей. В океане начинается охота за призраками. Броненосцы и крейсеры день и ночь утюжат океанские просторы, обнаруживают корабли-призраки, посылают на них подрывные партии, жгут, расстреливают из орудий.

Но разделаться с призраком порою бывает не так-то легко. В те годы американский крейсер «Сан-Франциско» повстречал в океане полузатопленную шхуну без мачт. Она была загружена орегонской сосной. Подрывная партия, высадившаяся на борт этого «голландца», заложила восемь зарядов пироксилина, весом по 34 фунта каждый. Прогремел взрыв — в воздух взлетели деревянные обломки, бревна, щепки. Но шхуна продолжала держаться на плаву, она даже не осела ни на фут в воду. Не желая тратить взрывчатку, командир «Сан-Франциско» приказывает дать полный ход вперед. Таран крейсера с глухим треском вклинивается в тело «Летучего голландца» — через несколько минут судно исчезает в пучине, и на поверхности океана остаются пляшущие на волнах красноватые бревна орегонской сосны...

«Летучие голландцы» держались стойко. Достаточно сказать, что совсем недавно, за один только 1930 год военный флот США уничтожил ни много ни мало 267 «летучих голландцев»!

Михаил ПАРХОМОВ

●

МОЙ КИЕВ

...Заводных игрушечных автомашин тогда еще не было. И самолетиков тоже. И «Конструкторов»... Даже тугие резиновые мячи (синие с красным) были в то время редкостью. Я, например, мог похвастать лишь оловянным солдатиком, за которого отдал несколько кадриков из киноленты «Кин» с Мозжухиным и Лысенко в главных ролях.

Но одна ласточка, как известно, еще не делает весны. Из одного солдатика нельзя было создать две враждующие армии. Поэтому солдатика я держал на подоконнике, на котором он нес бессменную караульную службу, а сам с наступлением первых теплых дней бежал на улицу, чтобы, отрешившись от сухопутных дел, превратиться из фельдмаршала во флотоводца. Газеты в те дни печатались на жесткой бумаге, из которой нетрудно было построить самый мощный флот.

Стучала капель. На каштанах горланили мартовские грачи. С грохотом срывались с карнизов ледяные замки. Темнел ноздреватый снег. Но тени уже были синими, яркими, и все мальчишки с Заводской улицы торопились к Лыбеди.

То ли потому, что реки катастрофически мелеют (об этом стоит поговорить особо), то ли потому, что дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами и он кажется им огромнее, чем есть на самом деле, но мне наша Лыбедь казалась широкой и бурливой.

К реке мы спускались возле пивного завода Шульца (эти места описал в своей «Яме» А. И. Куприн). Наша «гавань» была чуть ниже деревянного дачного вокзальчика, стоявшего на конечной трамвайной остановке.

Известно, что в Киеве трамвай появился в конце прошлого века, раньше, чем в других городах России. Он заменил конку. Красные бельгийские вагоны, преимущественно пульманы, лет тридцать курсировали от Демиевки через Большую Васильковскую и Крещатик к бывшему Купеческому саду. Это был маршрут номер один.

Вагоны сверкали стеклом и медью. Меж кожаных кресел (кожу потом срезали на подметки) расхаживали усатые кондукторы с черными сумками через плечо и никелированными компостерами. Но билет стоил дорого, восемь копеек, и пассажиры моего возраста предпочитали ездить на подножках и на «колбасе».

Спрыгнув с подножки, я останавливался как вкопанный. В этом был особый шик. Надо было податься туловищем вперед, отпустить руки и резко откинуться, чтобы погасить инерцию движения вагона. Потом, помахав кондуктору рукой, я присоединялся к друзьям.

Петр Первый строил флот на Десне. Мы же строили его на другом притоке Днепра — на Лыбеди.

Свой самый быстроходный бумажный кораблик я смастерил из книжки-лубка «Бова-королевич» издателя Губанова, типография которого была на Подоле, возле Контрактового дома.

Мне неизвестно, что означало в глубокой древности слово «Лы-

бедь». Но до сих пор мне чудится в нем что-то лебединое, белое.

А Лыбедь была простудно-мутной. По ней плыли щепки, солома и лимонные корки.

Только щербатые льдины с грехом пополам могли сойти за лебедей.

Всем приезжающим в Киев рассказывают одну и ту же легенду. Дескать, жили-были три брата — Кий, Щек и Хорив, и была у них сестра Лыбедь. При этом обычно ссылаются на летопись, в которой якобы сказано: «...и построиша град во имя брата своего старейшего и нарекоша имя Киев». Но, насколько мне известно, этой летописи не существует. Однако улицы Щекавицкая и Хоревая есть в Киеве и по сей день.

Быстрая, торопливая вода подхватывала наши бумажные кораблики и несла их вдоль захламленных глинистых берегов.

Звенели трамваи, стучали по оголившимся булыжникам широкие копыта битюгов, старчески сипели, задыхаясь, черные лоснящиеся паровозы на «товарке» — товарной станции. А мы бежали за корабликами, скользя и падая.

Лыбедь становилась шире; она пенилась. Кораблики выходили из повиновения, скрывались из глаз. Их несло в Днепр, а может быть, и дальше — к Черному морю, туда, где Босфор, Дарданеллы и Гибралтар, в открытые просторы всех четырех океанов.

Мой кораблик превращался в шхуну, в «Летучего голландца», в «Титаника». Он несся по неспокойным водам жизни навстречу подвигам и великим открытиям. К берегам Патагонии («Дети капитана Гранта»), в лагуну длинного и узкого атолла Хикихохо («Жемчуг Парлея» Джека Лондона), в Фриско... Кем станет его капитан? Адмиралом Нельсоном? Амундсеном? Луи Пастером?..

О чем только не мечтаешь в детстве! Я был капитаном Гаттерасом, Квентином Дорвардом и даже Гулливером. Откуда мог я знать, что моему скромному кораблику не суждено войти в бухту Золотой Рог? Это было валкое суденышко. Но я благодарю судьбу за то, что мой кораблик сотни раз путешествовал по Днепру, а потом избороздил вдоль и поперек все Черное море.

Долгие годы потом я по праву носил синий китель и мичманку.

Киевская весна начиналась ночью. Дома сотрясались от мощных взрывов, которые доносились со стороны Печерска. Это саперы, освобождая путь воде, взрывали лед перед мостами.

Мостов было несколько. Но самым знаменитым, которым гордились все жители города, был цепной мост — легкий, кружевной, невесомый. Забегая вперед, скажу, что в печальном сорок первом его взорвал по приказу командования тихий киевский юноша младший лейтенант Миша Татарский.

Открытие первого киевского моста описал в своих «Печерских антиках» Н. С. Лесков, который сетовал на то, что в литературе его считают «орловцем», тогда как в действительности он киевлянин. «Густые толпы людей покрывали все огромное пространство киевского берега, откуда был виден мост, соединивший Киев с черниговскою стороною Днепра». (Через столетие я присутствовал при открытии первого в мире цельносварного моста, построенного знаменитым киевлянином академиком Е. О. Патоном.)

Точно так же тысячи людей ежегодно «покрывали все огромное пространство киевского берега», чтобы полюбоваться ледоходом. На террасах садов, на склонах Владимирской горки собирался, как тогда говорили, «весь город». А внизу глыбились, переворачиваясь и налезая друг на друга, колотые громадины, и шумела, набирая темную силу, днепровская вода. К тому же всегда находились фартовые ребята, которые просто так, за здорово живешь, готовы были доказать, что им добраться до Труханова острова — это все равно что раз плюнуть. Они вооружались баграми, поплевывали на ладони и... Женщины ахали, закрывали глаза. А им хоть бы что. Знай себе сигают с льдины на льдину.

Такое не часто можно было увидеть и в цирке.

На перекрестках голенастые девчонки продавали подснежники.

Теперь киевляне наблюдают за ледоходом с набережной. Но тогда гранитной набережной еще не было — ее построили перед самой войной.

Не было ни речного вокзала, ни дебаркадеров... И напрасно Лесков сокрушался по поводу того, что сносят «живописные надбережные хатки, которые лепились по обрывам над днепровской кручей и... придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный теплый характер». Не так-то просто было от них избавиться. Эти хибары простояли до середины XX века. Дикий хутор, по которому некогда от шинка к шинку в поисках «киевских типов» бродил А. И. Куприн, окрестили Кукушкиной дачей. Когда ее снесли, легкий летний ресторанчик назвали «Кукушкой».

Александра Ивановича Куприна я увидел после его возвращения из эмиграции. Встреча была короткой. Усталые выцветшие глаза (такие глаза бывают у старых днепровских капитанов, привыкших всматриваться в далекие дали), седая щетина... Только узнав, что я не просто журналист, но еще и киевлянин, Куприн едва заметно улыбнулся, и в его глазах появился живой блеск.

В Киеве Куприн жил в «меблирашках» на Александровском спуске, в двух шагах от реки.

Город, насчитывавший двести сорок тысяч жителей, был к тому времени уже крупным промышленным центром. Пароходы и баржи, груженные разными товарами, подходили к киевской гавани, расположенной на берегу реки Почайны, отделенной от Днепра песчаной косой. На ежегодние «Контрактовые ярмарки» съезжались купцы со всех концов России. Между прочим, Контрактовый дом действовал и в первые послереволюционные годы. Мне там покупали медовые пряники и золотисто-сладких «петушков» на палочках.

Куприн любил толкаться на пристанях среди простого люда. Там пахло пеньковыми канатами, березовым соком, дегтем и яблоками. Запахи были сырыми, пронзительными. Поленницы дров, штабеля пятидюймовых досок; дубовые бочки, туго перехваченные железными обручами; плетеные корзины; веники; тюки мануфактуры; рогожа... Чего только не было на этих пристанях!.. Напялив на головы капюшоны из грубых мешков, шаг в шаг поднимались по шатким сходням загорелые грузчики, а потом вслед за «отаманом» одним недовольным поворотом плеча сбрасыва-

ли на палубы свою поклажу. Грузчики были немногословны. От их пропитанных запахом пота сатиновых рубах шел пар. По вечерам Куприн вместе с ними пил в темных шинках «монополь-ку».

Что представляли собою киевские пристани в конце прошлого века? Послушаем очевидца. Корреспондент одной из киевских газет писал, что их длина не превышает 830 погонных саженей, из которых триста служат собственно для «выгрузки и нагрузки» судов. Вдоль набережной... «в величайшей тесноте и в несколько ярусов складываются всевозможные грузы, преимущественно же громадное количество дровяных и лесных материалов, скученность которых представляет не малую опасность...».

С этим мириться нельзя было. И вот спустя два года после того, как Куприн опубликовал в газетах свои очерки, последовало «высочайшее повеление» на сооружение киевской гавани. С этой целью был установлен сбор с судов, входящих в гавань и пользующихся причалами. Полторы копейки с кубической сажени дров, с каждого пуда груза — грош и две с половиной копейки с каждой индикаторной силы парохода.

Гавань сооружали грабари. Вручную. Землю возили на подводах. А канал прорыла небольшая землечерпалка «Днепровская-2» производительностью 25 кубических саженей грунта в час. Такие многоковшовые паровые землечерпалки, правда несколько большей производительности, честно трудились на Днепре до самого последнего времени.

Белоподкладочники, пароходные шулера, воры, певчие и босяки были героями очерков Куприна, наделавших, по свидетельству критика «Киевской мысли» Гарольда (И. М. Левинский), много шуму.

Первым делом Куприн спросил меня, не перевелись ли еще в Киеве «стрелки» и «певчие».

Их я не встречал.

— А босяки?

Жив курилка!.. «Жалкая фигура с зеленым, опухшим и лоснящимся лицом, украшенным синяками и кровоподтеками, с распухшим носом, отливающим фиолетовым цветом, с потрескавшимися синими губами... Вот внешний вид босяка, вид, к которому, для полноты картины, необходимо еще прибавить «нечто» надетое на туловище, весьма похожее на женскую кацавейку...» Это описание, как говорится, оставалось в силе. С той лишь разницей, что босяки тридцатых годов вместо вышедших из моды кацавеек пользовались протертыми ватниками, а поверх «кашкетов» по-бабьи повязывали грязные шерстяные платки и кашне. В таком живописном виде они шныряли меж рундуками на Бассейной и на знаменитом Евбазе.

Кажется, Куприн остался моим ответом доволен.

Здравствовали и пресловутые «днепровские мореходы». Те самые, которые, как вы помните, все лето совершали один и тот же рейс от Киева до «Трухашки» и называли себя штурманами дальнего плавания.

Правда, теперь они не рассказывали томным барышням о стычках с малайскими пиратами — не стало томных барышень. Да и сами днепровские мореходы были уже сыновьями и внуками описанных Куприным «швейцарских моряков» (из учебника географии известно, что в Швей-

царии нет ни одного моря, даже искусственного). Но в остальном новые мореходы полностью походили на своих предков. Днем возили пассажиров на пляж, на Черторой и к устью Десны, а по вечерам в туго накрахмаленных белых кителях и капитанках с длинными лакированными козырьками подметали своими необъятными клешами уютный Крещатик.

Мое знакомство с днепровскими мореходами началось рано. Мальчишек всегда манит река. Бедные родители!.. Напрасно они стращают свои чада водяными, русалками и позеленевшими утопленниками. Песчаные отмели еще покрыты водой, только еще устанавливают боны — дощатые плотики на пустых железных бочках, к которым швартуются катера, а пацанам уже не сидится дома.

В Киеве до сих пор считается особым шиком «открыть пляж». Иные смельчаки начинают купаться в апреле, чтобы похвастать первым загаром. Виктору Некрасову и мне уже уступают в троллейбусах место, а мы все еще из молодечества пытаемся состязаться с киевскими «первооткрывателями».

Киевлянин, влюбленный в Днепр, который он исходил на веслах, Виктор Некрасов не написал о нем ни строки. Ему суждено было прославить другую русскую реку, Волгу.

Если не ошибаюсь, впервые я переправился на Труханов остров с пристани братьев Добровольских. Это было мое первое большое плавание.

Впрочем, братья не были такими крупными судовладельцами, как Вишневские и Марголины, которым до революции принадлежал почти весь днепровский флот. (В конце сороковых годов один из братьев работал мотористом на катере Академии наук Украины.) Но в двадцатых годах он распоряжался на собственной пристани, которую вернее назвать причалом.

Через равные промежутки времени от нее отправлялись на пляж переполненные «лапти».

Это были устланные паелами железные баржи с длинной скамьей вдоль борта. Пассажиры стояли тесно, рядком. В центре возвышалась рулевая рубка, из которой потомственный днепровский мореход, татуированный от шеи до пят, командовал мотористу: «Стоп!..», «Полный!..» и «Малый!..» Матрос ударял в колокол. «Лапоть» отрабатывал задним (а может, его сносило прижимное течение?) и потом, набрав ход, шел к Труханову острову, поросшему осокорником и верболозом, чтобы привалить правым бортом.

Летом, в межень, «лапти» не успевали перевезти всех желающих насладиться солнцем и водой. Если начиналась гроза, многим приходилось заночевать тут же, на пляже.

Позднее «лапти» переоборудовали, и они получили пышное название теплоходов «Киевлянин».

Днепровские пляжи достойны того, чтобы о них написать книгу. Они ни в чем не уступают не только евпаторийским, но и болгарским Златым пясцам.

Длинные золотисто-светлые песчаные отмели тянутся вдоль всего левого пойменного берега Днепра и янтарно отражаются в прозрачной воде. Это и есть днепровские пляжи. Они как бы созданы для того, чтобы на них построили сотни пансионатов и отелей. Но до войны освое-

ны были лишь отмели Труханова острова и Черторой.

На острове, заселенном днепровскими рулевыми и шкиперами (дома были на сваях), стояла парашютная вышка, высился гардероб и несколько водных станций. Тут и там пестрели грибки и киоски. Но торговля шла плохо: холодную родниковую воду жаждущие добывали сами при помощи водопроводных колонок.

Пляжи пустовали только в зимнее время — «моржей» тогда еще не было.

Каждый киевлянин в возрасте от десяти до пятидесяти лет был завсегдатаем пляжа и дорожил своими купальными принадлежностями больше, чем обычным костюмом. Костюма у тебя могло и не быть, невелика важность, но пляжный «туалет» ты должен был иметь обязательно. У меня, например, кроме синих плавок с красной окантовкой, были еще бархатный жилет (в таких жилетах выступали в цирке партерные акробаты) и красная турецкая феска. Когда я заплывал далеко от берега (феска покачивалась на волнах), на какой-нибудь шлюпке непременно затягивали «Теперь я турок, не козак» из оперы «Запорожец за Дунаем».

Сейчас на пляжах предпочитают играть в волейбол. А тогда увлекались акробатикой. Если хочешь научиться крутить двойное сальто — лучшего места тебе не найти. В крайнем случае ты, не успев «сгруппироваться», плюхнешься в воду.

А научиться надо было, хоть тресни. Иначе какой же ты парень? Многие из нас мечтали стать циркачами, как братья Александр и Василий Яловые, которые, выполняя «копштейн без бублика», умудрялись еще играть на саксофонах.

С одним из братьев, Петром, я учился вместе. За одной партой с нами сидел и Шурка Конкин, замечательный гимнаст, чьи «кресты» на кольцах потом повторял только Альберт Азарьян. Это были мои друзья и терпеливые учителя одновременно, поскольку учеником я был неважным.

Позднее не кто иной, как Александр Конкин, увлекшийся тяжелой атлетикой, открыл для нашего спорта феноменального Григория Новака. Открыл на киевском пляже.

Григорий Новак приехал в Киев из Чернобыля. Тогда это был сонный городок с кривыми домишками, чахлыми палисадниками и подслеповатыми балагулами, поджидавшими у пристани седоков. Как и все мы, Григорий Новак поначалу увлекался гимнастикой и акробатикой.

Но у него были «короткие рычаги» — сильные руки, и он стал знаменитым тяжелоатлетом, рекордсменом мира.

Если судить хотя бы по «Печерским антикам» Лескова, то Киев всегда был городом богатырей. Лесков вспоминает о силачах, которые ходили «переворачивать камни у Владимира» и мечтали «снять крепостные ворота и отнести их к себе на Лысую гору». А в дни моей молодости в Киеве жили такие мастера «железной игры», как Яков Куценко, Григорий Новак, Ефим Хотимский, Георгий Попов, Александр Донской, Александр Конкин... Ни одна страна не могла выставить команду, равную этой.

Хочется назвать еще и абсолютного чемпиона страны по борьбе Арона Ганджу, который погиб на фронте. Вот уж действительно «великолепная семерка»!..

Правда, теперь рекорд Якова

Куценко в троеборье, равный 447,65 килограмма, выглядит почти детским рядом с достижением другого киевлянина, Леонида Жаботинского, подбирающегося к 600 килограммам. Но в спорте, как известно, тридцать лет можно приравнять к трем векам.

На этом же пляже вы почти ежедневно могли встретить и бронзовых чемпионов страны по гимнастике Евдокию Бокову, Аджата Ибадулаева и Таисию Демиденко. С ними меня связывают многие воспоминания, но беда в том, что к этим заметкам они не имеют прямого отношения.

Разумеется, я далек от мысли, что самое главное в жизни — это умение ходить на руках. Но мне кажется, что если человек чего-то не испытал, то он тем самым как бы обокрал самого себя.

Между прочим, это умение однажды пригодилось поэту Григорию Поженяну. Когда во времена его студенчества ему предложили выйти из комнаты со словами: «Чтобы вашей ноги здесь не было», Поженян вышел... на руках.

Хотя Поженян до войны жил в Харькове, который в отличие от других городов почему-то основали не на реке, а в степи (ручеек Лопань, разумеется, в счет не идет), он стал моряком, разведчиком, а потом с «этих высот» сошел в поэзию одновременно с киевлянином Семеном Гудзенко. Гудзенко мы называли Сариком. А Поженяна на Черном море ласково прозвали Угольком.

Вот и выходит, что мы напрасно смотрели на харьковчан свысока. (Рассказывали, будто бы какой-то харьковчанин, впервые увидев Днепр, воскликнул: «Ну и Лопань!..»)

После «стоек на кистях», арабских сальто и других упражнений хорошо было окунуться в прохладную днепровскую воду. Реку полагалось переплыть «туда и обратно». По Днепру шныряли лодки, шли буксирные составы и плоты. На плотах иногда удавалось и передохнуть.

Люди на плотах жили не так, как в рассказе Горького, а просто и мудро (в слове «целомудрие» тот же корень). На них дымно, облизывая черные казанки, горели костры, сушилось белье и бегали лохматые собачонки.

Плоты нередко растягивались на целый километр.

По малым рекам древесина шла свободным, молевым сплавом. Потом в верховьях Десны и Припяти, на плотбищах, сплавщики собирали баграми непокорные стада тупорылых бревен, вязали прямоугольники гребенок и, составив длинные ленты плотов, спускали их на магистраль.

На плотбище Сорокашичи я попал ночью. Казалось, что это плавучий город — сотни огней отражались в маслянисто-черной воде. Все они отбрасывали длинные отсветы, и было такое чувство, словно этот сказочный город стоит на светлых столбах-сваях.

По узким «каналам» этой «днепровской Венеции» сновали не гондолы, а катера-газоходы.

Обычно лесосплав на Днепре начинался поздней весной. В большую воду буксировка плотов считалась гиблым делом. Но самые опытные капитаны не боялись ни бога, ни черта. Это были потомки знаменитых днепровских лоцманов, которые когда-то проводили плоты через пороги. Вот уж кто никогда не носил белых перчаток и не имел

ничего общего с теми днепровскими мореходами, о которых писал Куприн.

В тот раз я ушел в рейс на буксире «Генерал Ватутин», которым командовал Михаил Осадчий.

Плот стоял на тиховоде. Лапы якорей, сброшенных с него, мертвой хваткой вцепились в грунт. С плота капитану махал рукой бородатый старшина команды, дубовик. Он крепко стоял на широко расставленных ногах, обутых в тяжелые чоботы, и приглашал капитана проверить качество сплотки.

Древесина была связана гужбой, свитой из лозы, которая, в свою очередь, крепилась к жорстям. Гребенки соединялись стальными тросами.

Осадчий взял на гак спаренный плот объемом в десять тысяч кубометров древесины. Я знаю, что по Волге и Каме буксируют плоты по восемьдесят и сто тысяч «кубов», но по Днепру и десятитысячных плотов никогда не водили. Это только со стороны кажется, будто Днепр необъятно широк. Судовой ход извилист и узок, и капитанам приходится определять фарватер не только по судоходной обстановке, а угадывать его по таким, казалось бы, неверным признакам, как цвет воды, игра бурунов и близость земли.

Мы шли ночью. Впереди буксира река расплескивала зеленые и красные огоньки бакенов.

Капитану Осадчему было уже под семьдесят. Всю свою жизнь он плавал по Днепру и знал направления всех прямых и косоструйных течений, все рукава и каменные «заборы». Осадчий только изредка оглядывался, чтобы посмотреть на караван.

Плот выгибался дугой. Волна била внахлест, и тупые лбы тяжелых бревен, уложенных в четыре наката, то и дело скрывались под водой. А далеко-далеко, в самом конце каравана, метались в неверном свете костра тени людей.

Мы прошли мимо Старого Глыбова и древнего Лютежа, о котором упоминается в летописи X века, когда показалось село Новые Петровцы.

В этом селе, в школе, 30 октября 1943 года генерал Ватутин отдал приказ об освобождении столицы Украины.

Среди частей, форсировавших Днепр выше Киева, был и тот понтонно-мостовой батальон, в котором я начинал войну. Я был тогда ПНШ, а мои институтские друзья Николай Стадничук, Сергей Клигерман и другие — командирами взводов.

И вот после долгой разлуки мы встретились в... институте. На второй день после освобождения Киева. Шагать приходилось по обрывкам наших собственных дипломных проектов. На лестнице лежал гипсовый Давид с отбитой рукой.

Николай Стадничук был уже комбатом. За форсирование Днепра ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Долгим протяжным гудком салютовал «Генерал Ватутин» старым окопам и блиндажам, поросшим чабрецом и несмелой травкой.

Через десять лет там, где был расположен командно-наблюдательный пункт генерала армии Н. Ф. Ватутина, по проекту моего институтского товарища лауреата Государственной премии А. Милецкого воздвигли памятник-музей.

О боях за Днепр написано много книг. Лучшая из них, как

мне кажется, — это повесть Юрия Бондарева «Батальоны просят огня».

Сам я переправился через Днепр в обыкновенной лодке-плоскодонке, когда в Киеве немцев уже не было. Горел подожженный университет.

Помню еще переправу через Десну. Наши части форсировали водный рубеж в районе Моровска. Старый бакенщик Павло Васильевич Дуля вместе с дочерью всю ночь просидел на веслах. Командование наградило его орденом Красной Звезды.

...Караван приближался к киевским мостам.

Ширина судоходных пролетов этих мостов превышала ширину нашего плота только на два метра. А длина плота достигала 800 метров. Таким образом, нашему капитану предстояло втянуть деревянную нитку в игольное ушко.

Разумеется, капитан Осадчий мог поступить иначе. Куда как просто было стать на якорь, развязать плот на гребенки и пропустить его вниз по частям. Но на это ушло бы много часов. Поэтому Осадчий отдал приказ спустить с плота цепь-волокушу, которая сдерживала ход каравана, а сам, нащупав струю фарватера, точно «заправил» караван в судоходный пролет. Этот же маневр он повторил и в Черкассах и в Кременчуге. До Днепропетровска мы шли восемь суток.

Еще один рейс я совершил через два года с другим плотоводом, Кузьмой Васильевичем Дороховым, который плавал на четырехсотсильном буксире «Академик Богомолец».

Навигация уже закончилась. Вода была ленивой, она как бы отяжелела. По реке плыли редкие щербатые льдины.

Днепр вот-вот должно было затянуть тонким зеленоватым ледком. Но Дорохов, рискуя зазимовать на плесе, вызвался доставить караван в Кременчуг. Там он передал его с гака на гак капитану парохода «Академик Крылов» Гурию Гурьевичу Прянишникову.

Мне посчастливилось: я был дружен со всеми последними могиканами плотосплава — с Осадчим, Дороховым и Прянишниковым. Ведь теперь плоты по Днепру уже не водят.

Святой Владимир как бы осеняет крестным знамением наш пароход, и тот медленно отваливает от дебаркадера. И сразу начинается чудо дивное: солнце занято космической плавкой, и колокольня лавры разбрызгивает во все стороны золото искр. Следом вспыхивают купола и маковки церквей Выдубецкого монастыря, где, если верить преданию, выплыл («выдубал») сброшенный в Днепр деревянный языческий идол Перун. Потом... Мосты, закусившие удила; кручи; пыльный шлях, идущий наизволок; ветряки и вербы; и синий (вода), голубой (небо), желтый и зеленый (земля) прохладный свет заливает глаза.

А слева берега стелются полого, вода бурлит и вспучивается почти до горизонта, и влажный, теплый ветер мая, пахнущий черноземом, яблоневым цветом и росной зеленью, едва касается поверхности реки. Потом ветер бессильно падает на воду, и все вокруг стихает в ожидании ночи.

А вода... Только летом она легкая и быстрая. По весне днепровская вода тяжелая, густая. И цвет ее по меньшей мере че-

тырежды меняется на дню. Густо-коричневая на рассвете, она как бы исподволь начинает свежо голубеть, потом розовеет и к ночи снова обретает какой-то глухой и темный цвет.

Весной река подмывает глинистые кручи, и те обрушиваются на нее всей своей тяжестью. Тогда вода бурлит, мечется и злится оттого, что наткнулась на новое препятствие, и набрасывается на него с яростью, отступает и снова набрасывается. Она ищет слабину и, найдя ее, штопором ввинчивается в грунт, чтобы промыть себе новый ход.

Как описать все это? Как объяснить, почему река то быстрая, звонко-стремительная, то величаво-спокойная, то лениво-медлительная? И почему так молодо и бешено клокочет она, ударяя в скулы буксира? И отчего пенятся, умирая за кормой, изжелта-зеленые валы?..

В ненастный штормовой вечер Константин Георгиевич Паустовский рассказывал в Ялте о своей поездке по Днепру с Максимом Рыльским и новеллистом Вадимом Охрименко. Спутники Паустовского везли «боеприпасы» в стеклянной таре, и легко представить себе, какими были их трофеи. Рассказывая об этом, Константин Георгиевич тихо посмеивался, и перед его слушателями как бы оживал «недвижный Днепр».

Так тонко чувствовать красоту наших рек умеет, пожалуй, лишь еще один человек, Иван Сергеевич Соколов-Микитов.

Замечательный русский писатель, он летал в первую мировую войну на «Илье Муромце», потом плавал матросом на «купцах» по Средиземному морю, ходил на ледоколе по Северному морскому пути, а теперь вот уже много лет проводит теплые месяцы в избушке на Волге. Перечитывая его рассказы, постоянно дивишься их тихой музыке. Кажется, будто слышишь, как журчит ручей, как токуют тетерева в мае и шумно срывается с земли стрепет. А заметили ли вы, как после дождя занимается бледный, водянистый рассвет?

По вечерам Иван Сергеевич иногда приглашает друзей «выкурить по трубочке». Таких чистых и мудрых глаз я больше ни у кого не видел.

Однако пароход уже приближается к Ржищеву, и давно пора познакомиться с его капитаном.

До последнего времени большинство днепровских шкиперов, капитанов и лоцманов были родом либо из Радуля, расположенного выше Киева, либо из Калиберды, что возле Кременчуга, либо, наконец, из Лоцманской Каменки на Нижнем Днепре, название которой говорит само за себя. То, что калибердянские рыбаки становились матросами и рулевыми, еще понятно. Но почему радульские староверы навсегда связали свою жизнь с этой нелегкой и опасной профессией, никто толком объяснить не может.

На Днепре работали династии Дороховых, Адамчиковых, Осадчих, Билыков... Эти фамилии слышишь там и сегодня.

Днепровские капитаны — народ особый. Кряжистый, немногословный. Так и хочется сказать: «Да, были люди в наше время...» Теперь уже плавают их внуки и правнуки.

Как тут не вспомнить старый анекдот о журналисте и долгожителе. «Неужели вам сто два года? — спрашивает журналист. — В таком случае расскажите, как вы добились таких вы-

соких показателей». — «Очень просто, — отвечает чабан. — Не пью, не курю. И опять же — горный воздух». А потом после некоторого раздумья: «Не хотите ли поговорить с моим старшим братом? Он, правда, пьяница...»

За такого «старшего брата» мог бы сойти шкипер Аким Григорьевич Мельников, проживающий в Киеве на Спасской улице почти у самого Днепра. В паспорте Акима Григорьевича в графе «Год рождения» стоит дата «1864».

Воинственные пшеничные усы старого шкипера поседели и сникли совсем недавно. Он все еще любит поиграть топором.

Аким Григорьевич плавал еще на черных просмоленных барках и берлинах, на деревянных «конях» с продольным арочным креплением (их я тоже застал на Днепре) и на железных рудовозах послевоенной постройки. Плавал по Сожу и Припяти, по Десне и Днепру, которые знает как свои пять пальцев. Быть может, он даже видел первый днепровский пароход, построенный в имении князя М. С. Воронцова под Черкассами в 1823 году, как знать?

От пароходов, которые топили деревянными чурками, до «ракет» на подводных крыльях. И все это вместила в себя жизнь одного человека!..

Иван Иванович Дорохов был одним из первых орденоносцев. На ордене Трудового Красного Знамени, который он носил на кителе, была еще изображена плотина Днепрогэса. В сорок первом, попав в окружение, капитан потопил свое судно, чтобы оно не досталось врагу, а сам ушел на село — не захотел работать на оккупантов. А орден сберег.

Когда освободили Днепр, Дорохов, которому было больше семидесяти, как бы помолодел. Сегодня он в Киеве, а завтра, глядишь, уже в Кременчуге. И так всю навигацию, до самого ледостава.

Поэтому меня не удивило, что в Днепропетровске мы очутились за одним столиком. Удивило меня другое.

Через двое суток мы снова встретились в каюте капитана парохода «Киров» Бориса Касьяновича Махини, который потчевал нас своей знаменитой «тройной» ухой. Готовилась она так. Сначала варились ерши и прочая мелюзга, потом бульон процеживался (ерши выбрасывались) и в него забрасывалась другая рыба, а затем наступал черед щуки. Борис Касьянович не доверял судовому коку и священнодействовал у плиты сам. Ну, а рыба, как известно, плавать любит.

Был с нами и капитан-наставник Павел Парамонович Адамчиков, об отце которого до сих пор ходят легенды.

С Павлом Парамоновичем я провел на капитанском мостике много ночей. «Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью», — признавался Горький. — Свидетельствую, что и по Днепру не хуже. Особливо когда твое дело — сторона, и ты занят исключительно тем, что слушаешь, как лопочет вода под железным днищем. Но каково капитану? Он запахивает тулуп, курит, отвечает на твои вопросы, а сам ни на минуту не перестает следить за рекой, за матросом, стоящим на носу с шестом-наметкой, за караваном, который тащится за буксиром... Стальной трос, сплетенный из множества тончайших нитей, пропадает за

кормой в кромешной тьме, и кажется, будто выводок тысячетонных барж, груженных бокситами и углем (так и хочется сказать, что они выступают, точно павы), не имеет к буксиру никакого касательства, а идет как бы сам по себе... Но не забрел бы он нениароком туда, куда Макар телят не гонял! Ведь впереди Триполье, Стайковские перекаты, а за ними — Канев...

Машет облака сивая
старая грива
над водой,
над горой,
над прибрежным песком,
и ведут комсомольцев
к Днепру до обрыва,
и идут комсомольцы
к обрыву гуськом.
Подошли, умирая, —
слюнявой дырой
дышит черная, злая
вода под горой.

Эти строки принадлежат Борису Корнилову, автору поэмы «Триполье».

Когда началась Великая Отечественная, Зиновий Толкачов снова — не привыкать было! — надел военную шинель. Он был одним из тех, кто открыл ворота узникам Освенцима. На бумаге со штампом лагерной администрации (другой под руками не оказалось) Толкачов сделал серию рисунков, от которых холодеет сердце.

Альбомы с рисунками З. Толкачова изданы в Польше. Они широко известны за рубежом. К сожалению, известны даже больше, чем в нашей стране.

Будучи в Киеве, известный итальянский писатель и художник Карло Леви довольно прохладно отозвался о картинах, которые видел на выставке. Тогда ему показали работы З. Толкачова. И Карло Леви заявил, что берет свои слова обратно. Он попросту не подозревал, что у нас есть такие мастера.

Точно так же спустя несколько лет удивился Ренато Гуттузо, когда увидел работы украинских художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.

Не знаю, быть может потому, что в начале войны я сам был понтонером и несколько суток не сходил с моста через Днестр — единственного моста на сотни километров, над которым все время висели пикировщики (мост охранялся только спаренными пулеметами), — но из всех стихов о войне мне дороже всего эти. Разве можно забыть: «Как плоты, пошли понтоны. Громыхнул один, другой басовым железным тоном, точно крыша под ногой»?..

Это из «книги про бойца», которой восхищался Бунин.

Одна из последних, если не самая последняя, корреспонденция Аркадия Гайдара с фронта тоже была о переправе и называлась «Мост». Военного корреспондента «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара в те жаркие августовские дни часто видели на канонерках Днепровской военной флотилии. Впрочем, канонерками их можно было назвать лишь условно. Это были наспех переоборудованные и скудно вооруженные буксирные пароходы, которые тем не менее сыграли далеко не последнюю роль в боях за Днепр.

Как не вспомнить о том, что пятнадцатилетний Аркадий Голиков окончил именно Киевские командные курсы (так началась его военная биография) и что здесь же, под Киевом, спустя двадцать два года оборвалась жизнь военного корреспондента Аркадия Гайдара.

Ему было тридцать семь лет.

Роковая цифра. Столько же было Пушкину и Маяковскому, чьи жизни тоже оборвала пуля. На это «странное совпадение» обратил внимание еще Михаил Зощенко в одной из своих книг.

Разница лишь в том, что Аркадий Гайдар погиб не как «писатель», а как рядовой пулеметчик. Но ведь настоящие писатели всегда солдаты. По сути, это одно и то же.

Аркадий Петрович часто печатался в пионерской газете, которую я редактировал до войны. В последний раз я увидел его в уже осажденном Киеве в гостинице «Континенталь», в которой жили тогда почти все военные корреспонденты — Борис Лапин, Захар Хацревин и другие, чьи имена высечены теперь золотыми буквами на мраморной доске в Доме литераторов.

Тишайшая улочка Карла Маркса была застроена четырех- и пятиэтажными домами в стиле барокко. Говорили, будто бы сам французский премьер Эдуард Эррио, приезжавший в Киев, сказал, что она напоминает ему Париж. И вот теперь эта улочка была на парижский лад перегорожена баррикадами. Прежде чем пробраться в «Континенталь», я долго лавировал между стальными противотанковыми «ежами».

На первом этаже в ресторане с роскошными лепными потолками, зеркалами и позолотой, пахло кислым борщом. Там я разыскал своего друга, киевского корреспондента «Комсомолки» Валерия Шумова. Потом этот спокойный, сугубо штатский парень, который был доброты необычайной, почти четыре месяца выбирался из окружения.

Путь этот был долог и труден. На нем пришлось хлебнуть немало горя и прозаику Борису Ямпольскому. Повесть Бориса Ямпольского «Дорога испытаний» знают многие, а мне врезался в память его большой очерк «Зеленая шинель», опубликованный в «Красной звезде». Это был, если не ошибаюсь, первый очерк о немцах. Какие они, если смотреть на них невооруженным глазом?

Жаль, что об этом не успел рассказать Аркадий Гайдар, который остался партизанить на Украине и похоронен в Каневе, там, где «Тараса Шевченко папаха лежит» (С в е т л о в).

Не знаю, есть ли другой поэт, которого весь народ — от мала до велика — чтил бы так свято, как Украина чтит своего Кобзаря. Он в каждой хате, в каждом курене — фотографией под рушниками, зачитанным томиком стихов, тягучей песней — завещанием «Як умру, то поховайте...», которую называют «Заповітом». В этом я убедился во время долгих странствий по Буковине, Закарпатью и степной Полтавщине.

Здесь, на каневских кручах, уже чувствуешь дыхание Кременчугского моря — самого крупного водохранилища в бассейне Днепра. Его объем равен тридцати миллиардам кубических метров, а ширина в иных местах достигает сорока километров — с капитанского мостика не видно берегов. А когда поднимается ветер, то не приведи вам господь очутиться на пассажирском пароходике. Здесь на просторе гуляют такие валы, что проваливается в бездну не только нос парохода — падает, обрываясь, сердце.

Но то ли еще будет, когда возникнет Каневское водохранилище! Торжественная закладка первого кубометра бетона на строи-

тельстве шестой по счету Днепровской ГЭС была произведена в ознаменование стопятидесятилетия со дня рождения Т. Г. Шевченко.

Когда состоялась закладка Днепрогэса, в злопыхателях и скептиках недостатка не было. Но уже 1 мая 1932 года он дал промышленный ток. И тогда же прозвучали слова, которые теперь знает каждый: «Днепр работает на социализм».

О подвиге строителей Днепрогэса, о том, как «ухали краны у котлована» (Безыменский), написано столько романов, повестей и поэм, что их перечень составил бы не одну страницу. Это были книги о том, как человек с лопатой и грабаркой вышел на борьбу с днепровскими порогами и в неравной борьбе победил.

Я помню пороги. Их было девять. Самым грозным был Ненасытец со скалою Гроза, на которой, как гласило предание, пал в бою с печенегами славный витязь Святослав Игоревич. Не думал я, что увижу их снова. Но привелось. Отступая, фашистские захватчики разрушили плотину, и черные, зловещие глыбы порогов вылезли из воды.

На восстановление Днепрогэса ушло еще четыре года.

И опять, как пятнадцать лет тому назад, первым через его трехкамерный шлюз провел свой пароход капитан Тихон Тихонович Леонов.

Пассажирский пароход, на котором он плавал, был не чета современным двухпалубным красавцам. Но над его гребным колесом горели золотые буквы: «Ильич».

У капитана Леонова было тонкое, аристократическое лицо. Он даже в те годы носил обручальное кольцо. На реке случается всякое, но капитан никогда не повышал голоса. В последние годы, когда Тихон Тихонович вышел на пенсию, мы с ним часто встречались у Спасского причала, на котором имеют обыкновение собираться «отставные» капитаны и шкипера.

Капитан Леонов гордился тем, что с его именем связано возникновение сквозного судоходства по Днепру. Я искренне жалею, что на Днепре нет теплохода «Капитан Леонов».

В мире найдется мало электростанций, которые были бы так дерзко красивы, как наш Днепрогэс.

Красота — это прежде всего совершенство, целесообразность деталей и целого. Дерзким был уже самый замысел соединить бетонным поясом каменные берега Днепра и сделать его судоходным от верховьев до устья. Дерзким же было и его воплощение.

Формы плотины Днепрогэса совершенны. Она подняла уровень Днепра на 37 метров, и в плотных, каменистых берегах разлилось озеро имени Ленина. Так пришел конец печально знаменитому «Волчьему горлу», в которое, истово крестясь, решались войти на плотах лишь самые отчаянные лоцманы.

В годы войны весь Днепровский флот за исключением нескольких баржонок и дубков был либо взорван, либо потоплен. Киевский затон и Осокоровая балка под Запорожьем стали кладбищами кораблей.

Первому пароходику, который удалось поднять возле Чернигова, дали громкое имя «Победа».

Суда приходилось тогда поднимать «катеринками».

Ни в одном словаре нет этого слова. Оно родилось на Днепре. «Катеринка» — это ручной деревянный ворот, на который наматывались стропы.

Но раньше, разумеется, надо было как-то подвести эти стропы под днище судна. Сделать это могли только водолазы.

Осенью и гнилой зимой сорок третьего года водолазы лейтенанта Сухарева работали по шестнадцать часов в сутки. Вода была ледяная, мутная (в полуметре ничего не видать), и водолазы надевали меховые шубники, шерстяные свитеры и фески. Отогревались они спиртом.

Расчистка авгиевых конюшен (а ее считают одним из великих подвигов Геракла) была, как говорится, «детским лепетом» по сравнению с той поистине титанической работой, которую проделали эпроновцы. В короткий срок со дна реки было поднято около тысячи судов.

В те дни инженер-капитан 3-го ранга Александр Болгов, прошедший раньше вдоль и поперек чуть ли не все дно Черного моря, изобрел «гидравлическую метлу». Нескольких минут было достаточно, чтобы она «обмела» корпус затонувшего теплохода, который засосал песок.

Тот же Александр Болгов изобрел и «гидросверло». Это был поплавок обтекаемой формы, изготовленный из листового железа. В головку сверла вставлялась водяная турбинка. Два трубопровода, воздушный и водяной, тянулись к поплавку. К нему же крепился и подкильный «конец» со стальным тросом.

Помню, как поднимали затонувшую баржу «Днепропетровск». Поплавок прижался колесиками к днищу баржи, а потом всплыл на поверхность с другого борта. Готово!.. Раньше на этой работе использовали гидроэжекторы. С ними пришлось бы возиться недели две. А сверло Болгова прорыло первый тоннель за пять минут, второй — за шесть и третий — за две с половиной минуты. Не прошло и получаса, как стропы под баржу были подведены и послышалось: «Вира помалу!..»

Суда, поднятые со дна реки и восстановленные зачастую на скорую руку (времени было в обрез), плавали еще долго. Капитан Григорий Григорьевич Лубенец, если не ошибаюсь, был ровесником своего парохода «М. В. Ломоносов» — обоим перевалило за шестьдесят. Не моложе был и пароход «Кутузов», когда-то носивший державное имя «Императрица».

Каждый город, каждая пристань на Днепре имеют свои краски, свой запах.

Над Днепродзержинском небо рыжее от огненных всполохов, которые бушуют над домнами, когда выпускают чугун. И пахнет здесь металлом. Если не ошибаюсь, в этом городе стоит единственный на нашей планете памятник легендарному Прометею, принесшему людям добрый огонь.

Когда немецкие захватчики вошли в город, комендант приказал уничтожить памятник. Колонну взорвали, но Прометей исчез. Нашлись патриоты, которые спрятали его во дворе трамвайного депо.

Над Днепропетровском небо суровое, со стальным отливом, и когда проходит реактивный самолет, за которым тянется белый след, то кажется, будто это в небе прокатывают металл.

Пристань Каменка на Нижнем

Днепре всегда, в любое время года, терпко пахнет яблоками — их здесь великое множество, и торгуют ими по гривеннику за ведро.

А Большая Лепетиха, Качкаровка, Горностаевка и Ушкалка пахнут просто хлебом — пшеницей и рожью. Высокие выжженные берега, склады «Заготзерна», эстакады с ленточными транспортерами, автомашины... И зерно, зерно, зерно — крупное, одно к одному, вобравшее в себя соки и запахи земли и неба.

Ну, а в плавнях за Голой пристанью пахнет рыбой и дичью...

Трудно перечислить все грузы, которые возят по Днепру. Тут и уголь, и бокситы, и кварциты, и металл. Трюмы теплоходов полны, а на палубах стоят контейнеры. Но больше всего, около 12 миллионов тонн, перевозится ежегодно минерально-строительных материалов — цемента, гравия и, разумеется, песка. Нужда в нем огромна. Возят его и вверх и вниз по реке. Так что Днепр иногда представляется мне гигантскими песочными часами, которые то и дело переворачивают.

Заявка на большое количество песка поступила недавно даже из Евпатории. Но пусть это не вызовет у вас улыбки. Надо радоваться, что издано постановление, запрещающее использовать золотой евпаторийский песок для строительных целей. Пусть уж лучше ребятишки строят из него свои рыцарские замки — на всех пляжах они заняты этим делом.

Речников Нижнего Днепра когда-то называли «солеными». С легкой издевкой и завистью. Все-таки не просто выходить на речных судах в лиман и в Черное море. Такие рейсы сопряжены с немалым риском.

Близость моря чувствуешь уже за Каховкой. Здесь порывисто дышит моряна. Потом она падает на выжженные степи Таврии, хотя в песне и говорится, будто «в степи под Херсоном высокие травы» (Г о л о д н ы й), на реку, на плавни... Моряну сменяет сухмень, потом снова налетает низовой, и на спорой волне покачиваются килевые скуластые суденышки (речных плоскодонок здесь не видно), отличающиеся, однако, высокой остойчивостью. Трубы пароходов стоят с наклоном, в клюзах висят тяжелые двухпалые якоря, а рулевые рубки закрыты наглухо, что, впрочем, не помогает — волна забирается и туда, о чем свидетельствуют позеленевшие медные ободки компасов.

На одном из таких буксиров, которым в ту пору командовал старый «морской волк» капитан Олейник, мне тоже довелось сходить однажды в порт Рени на Дунае.

Погода была штормовой, нордовой, и несколько суток нас болтало вверх-вниз, вверх-вниз — качка была и бортовой и килевой одновременно. Когда лопасти гребного винта пусто вертелись в воздухе, возникало такое чувство, словно мы висим между морем и небом.

Но для капитана Олейника это был всего лишь малый каботаж. В ревущих сороковых и на экваторе еще не то бывает!.. Луженое лицо капитана было невозмутимо. Только выбрит он был не так тщательно, как обычно.

Между прочим, это он, капитан Олейник, в конце войны привел с Дуная знатный трофей — прогулочную яхту бывшего румынского короля Михая, которую затем переименовали в теплоход «Дмитрий Донской».

Но теплоход этот, помнится, проплавал по Днепру года два, не больше. Тот же капитан

Олейник провел его через Черное и Азовское моря, Волго-Дон и Волгу до самой Москвы. Тем не менее в Херсоне о нем помнят и по сей день: во многих домах речников хранятся кое-какие предметы из раскулаченного королевского сервиза на сто сорок четыре персоны. Я грешным делом тоже хлебал проперченную уху из тарелок с королевскими вензелями. «Какой же ты друг всем Макарам, коль ухи не видал», — как гласит пословица.

Но что за уха без рыбы?

И тут надо сказать несколько слов о том, почему с каждым годом рыбы в Днепре становится все меньше и меньше. Речь идет о загрязнении Днепра сточными водами.

Ежегодный сброс непосредственно в Днепр неочищенных стоков достигает только в пределах Украины 800 тысяч кубометров. И это по самым скромным подсчетам. Контроль не налажен, и неизвестно, как понимать определение «средне» или «мало» загрязненные воды.

Свои стоки сбрасывают в Днепр предприятия Криворожья и других промышленных районов. Металлургические заводы Днепропетровска выбрасывают в реку даже отходы доменных печей. А в последнее время стали загрязнять минерализованными шахтными водами и приток Днепра — реку Самару. Но рыба нынче пошла несознательная. Ей это почему-то не нравится.

Правда, в Министерстве мелиорации и водного хозяйства республики заявляют, что с этим «явлением» ведется борьба. Дескать, ежегодно привлекается к ответственности несколько сот руководителей предприятий, виновных в загрязнении Днепра и его притоков, и сумма штрафов превышает уже 15 тысяч рублей. Но в министерстве почему-то избегают сравнить эту цифру с ежегодной суммой убытков, достигающих 75 миллионов.

Так и хочется воскликнуть: «Дорогие преобразователи природы! А нельзя ли поосторожнее?..»

Когда я сокрушался об исчезновении реки моего детства — Лыбеди, меня можно было упрекнуть в сентиментальности. Но здесь я должен сказать о гибели многих других рек, которые уже не годятся ни для разведения рыбы, ни даже для хозяйственного использования. Это Луганка и Баламутка в Донбассе, Лопань и Журавлевка на Харьковщине, тишайшая Стугна под Васильковом.

Как же можно оставаться безразличным к убыванию живой воды? Охрана природы и ее водных запасов затрагивает интересы не только нынешнего, но и последующих поколений.

Живая вода...

Так назвал один из своих романов замечательный украинский писатель Юрий Яновский. В его кабинете на книжном шкафу стояла модель брига, плывущего под всеми парусами навстречу опасностям. А на столе рядом с рукописями постоянно лежали старинные лоции, «Фрегат «Паллада», романы Джозефа Конрада — поляка, родившегося на Украине и ставшего английским писателем.

Для того чтобы всю жизнь хранить верность вымпелу флотской романтики, не обязательно быть «соленым парнем с обветренной грудью, с кривыми ногами» (С в е т л о в). В этом убеждают и судьба Юрия Яновского и судьба Александра Грина, чьи сказочные, праздничные моря приносят счастье вот уже скольким поколениям читателей, и судьба мо-

лодого, безвременно ушедшего от нас Марка Щеглова, который написал об алых парусах Александра Грина одну из лучших своих статей. Да и сам Жюль Верн, как известно, не был ни штурманом, ни капитаном дальнего плавания.

Марк Щеглов просил меня прислать ему флотскую тельняшку, и я до сих пор казню себя за то, что не сдержал слова.

Теперь март, и под ногами чавкает грязный снег. Грустно кричат чайки. А в кармане у меня письмо, которое мне переслали из дому. «Обретаюсь в Санкт-Петербурхе, — пишет мой друг, — стою напротив Адмиралтейства, гляжу на кораблик, венчающий иглу, и твержу поразительные строки В. Ходасевича:

Плыви, кораблик мой, плыви,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уводит вдохновенье!..

Я давно не видел Адмиралтейской иглы. Над Днепром совсем другое небо. По лужам бродят пацаны «образца 1966 года» и сосредоточенно пускают бумажные кораблики. На меня они не обращают внимания. И я им завидую. Быть может, их корабликам суждено выйти в океан, и обогнуть мыс Горн, и дойти до острова Пасхи... Я им не мешаю. В жизни их ждет не только простуда. И привыкать к этому надо смолоду.

Яков СВЕТ

●

АКРОПОЛЬ В АНДАХ

(НЕОБЫКНОВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРОФЕССОРА БИНГХЕМА)

Профессор Бингхем нарушает традиции

Профессор Йельского университета Хайрам Бингхем многим своим коллегам внушал опасения. Йельский университет был гордостью города Нью-Хевена, а Нью-Хевен с его десятью банками, семьюдесятью церквами и огромными оружейными заводами был гордостью Новой Англии. Спору нет, Хайрам Бингхем принадлежал к старинному новоанглийскому роду. Но, во-первых, на свет он появился не в Бостоне или в Нью-Хевене, а в Гонолулу, и не только детство, но и юность провел среди полуязычников-гавайцев.

Во-вторых, будучи историком, он постоянно занимался делами, которые ничего общего не имели с этой тихой наукой.

Хайрам Бингхем был страстным автомобилистом. Автомобиль в 1910 году редкостью уже не считался. Самоходные колымаги, скрипя, чихая и кашляя, носились в облаках синего дыма по Нью-Хевену. Они пугали лошадей и приводили в ярость собак. Люди в 1910 году не успели еще полюбить автоповозки.

Рахитичные колеса с велосипедными спицами, курносый радиатор, откидной извозчичий верх — все это как-то не радовало сердца. Но автомобили нахально врастали в быт. К ним уже притерпелись.

Непонятно было иное. Мистер Бингхем увлекался не только ездой на бензиновых рысаках, но и воздухоплаванием. Ведь летал он не на воздушных шарах, а на аппаратах, очень похожих на этажерку. Делали эти этажерки из металлических прутьев и грубого полотна, и они часто рассыпались в воздухе.

Конечно, даже в богословской коллегии многие восхищались полетами братьев Райт. Но братья были простыми механиками, а профессор Бингхем считался потомственным джентльменом. Недаром старая и мудрая латинская поговорка гласит: что приличествует Юпитеру, не приличествует быку...

Богословы пророками не были. Они не подозревали, что семь лет спустя майор Хайрам Бингхем будет командовать на Западном фронте американской воздушной эскадрильей.

Кое-какие сомнения возбуждали и другие обстоятельства. Было замечено, что, читая курс лекций по истории Латинской Америки, профессор Бингхем чересчур уж много внимания уделял всевозможным мятежам и революциям. Он совершил два нелегких путешествия в Южную Америку лишь для того, чтобы уточнить маршруты походов Боливара и Сан-Мартина, героев каких-то освободительных войн начала минувшего века.

Собственно говоря, для этого совершенно незачем было мерзнуть на поднебесных боливийских нагорьях и изнывать от адской жары в трясинах Венесуэлы. Но в Южной Америке нью-хевенскому

профессору дышалось гораздо легче, чем под старыми коннектикутскими вязами.

С детства он привык к горячим и звонким краскам, к густой синеве бухт, врезанных в белые коралловые берега, к буйной гавайской зелени, к огненным сполохам над неукротимыми вулканами.

Подстриженные йельские газоны и постные фасады йельских коттеджей (обязательно красный кирпич, обязательно белые дверные наличники) наводили на него лютую тоску.

В Южной Америке не было ни аккуратных цветников с чахлыми розами и якобы голландскими тюльпанами, ни садовых дорожек, присыпанных желтым гравием.

Патагонские ветры гонят пыль по широким дорогам, серебрится необозримая пампа, гаучо, щелкая бичами, гонят к водопою стада быков. Это Аргентина.

Женщина в рыжем котелке и в пестрой юбке стоит на перекрестке горных троп. За плечами у нее младенец. Ноги ее босы, а земля припорошена сухим снегом, и студеный ветер дует с вершин Анд. Это Боливия.

Черная река несет свои воды сквозь непролазные, пьяные от зноя чащи. Вопят носатые туканы, крадется по следам тапира гибкая песочно-желтая пума; мгновение — и стрела, отравленная ядом кураре, впивается в шею гигантской кошки, и из зарослей выходит старик индеец с сарбаканом в руках. Это Венесуэла.

Туда бы!

Однако летом 1910 года профессор Хайрам Бингхем безвыездно просидел в Нью-Хевене, забросив летающие этажерки и автомобили.

Надо было разобраться в гималаях южноамериканских материалов, пришла пора закончить книгу о путешествии из Буэнос-Айреса в Лиму.

Йель опустел. Коллеги на лето уехали — кто в Кэтскиллские горы, кто во Флориду или Калифорнию, студенты разбрелись по всем штатам — западным и восточным, северным и южным.

В Дайнинг-холле, суровой, как пуританский храм, трапезной, редкие посетители указывали на дока Бингхема: смотрите, скоро август, а этот бродяга все еще сидит в Нью-Хевене. Не иначе он снова латает свои летающие керосинки.

Нет, новые монопланы и бипланы не волновали профессора Хайрама Бингхема. Ему не давала покоя последняя глава новой книги. Последняя глава, последний отрезок пути — переход из Ла-Паса в Лиму.

Боливия и Перу. Чтобы описать эти страны, необходимо просмотреть сотни книг.

И вот, перелистывая старые испанские хроники — летописи кровавого века завоевания андских стран, Хайрам Бингхем неожиданно набрел на одну весьма загадочную историю.

Тайна Вилькапампы

По непонятным причинам в Перу бесследно исчезло целое царство. Нет, не великая империя инков, ту империю покорили и растоптали испанские завоеватели.

Исчезло другое индейское государство, менее грандиозное, но зато более стойкое. Оно возникло на руинах царства инков и пережило это царство ровно на сорок лет. Расположилось оно высоко в горах, в самом сердце пе-

руанского вице-королевства, обширнейшего и богатейшего испанского владения в Новом Свете.

Это государство почти полвека один на один боролось с мародержавной империей Карла V и Филиппа II.

В конце концов испанцы вторглись в это орлиное гнездо и разорили его дотла. Они поймали последнего инку, юного властителя этой заоблачной державы Тупака-Амару.

4 октября 1572 года инку обезглавили, но память о нем осталась. Тупак-Амару — Озаренный Змий — воскресал всякий раз, когда перуанские индейцы восставали против своих заморских «хозяев». Однажды — было это в 1781 году — его имя принял великий народный вождь Хосе Габриель Кондорканки, дальний потомок Озаренного Змия, и испанцам стоило больших трудов погасить пламя грозного всеперуанского восстания.

Тупака-Амару II казнили злой казнью. Ему сперва урезали язык, затем разорвали тело на части и водрузили голову на острый кол.

И все же вытравить из памяти перуанских индейцев имя последнего инки испанцам не удалось. Однако все зримые следы его оказались утерянными. Было лишь известно, что царство Тупака-Амару I и его предшественников — инки Манко и инки Титу-Куси — находилось в Вилькапампе, горной местности к северо-западу от Куско.

Вилькапампа — равнина, где растет дерево вилька. Так с незапамятных времен называли в Перу междуречье Апуримака и Урубамбы, двух стремительных истоков реки Укаяли, матери Амазонки.

Только горцы, живущие на поднебесных высотах, могли назвать пампой — равниной — этот вздыбленный, перемятый и перекрученный лоскут перуанской земли.

Перуанские боги немало потрудились, создавая каменный хаос Вилькапампы — путаный лабиринт хребтов, цепей, гряд, отрогов, рассеченных глубокими ущельями, прорезанный бесчисленными долинами горных потоков. Боги не считали, однако, свою работу завершенной. Они неустанно дробили каменные гряды, сбрасывали в бездны горы, обнажали корни древних хребтов, изменяли течение рек. Землетрясения, обвалы, оползни, камнепады, лавины, бешеные бураны, внезапные наводнения ежегодно изменяли лик этой дикой страны.

Перуанские боги презирали своих европейских собратьев. Горные вершины Греции, вулканы

Сицилии, каменные зубы Карпат, исполинские пики Альп казались им ничтожными холмиками.

Олимп — 2917 метров, Этна — 3250 метров, Монблан — 4810 метров — да разве это настоящие горы?! Могут ли они сравниться с Салкантаем — его высота 6300 метров. Даже младшая сестра Салкантая, седая Вероника, на тысячу метров выше Монблана, этого чемпиона альпийских вершин. На высоту Монблана перуанские Зевсы подняли перевалы Вилькапампы, а межгорные низины низвели до уровня Карпат и Пиренеев.

72° западной долготы, 13° южной широты — таковы координаты Вилькапампы. Тринадцатая южная пересекает жаркое нагорье Бразилии, тропические леса Анголы, сухие пустыни Австралии. Тринадцатая южная — это тропики. Но в Вилькапампе в зимние месяцы — в июне, июле и августе — свирепствуют снежные бури, а в разгар лета, в январе, в ночную пору нередко бывают заморозки.

И все же солнце здесь такое же щедрое, как в Бразилии или на Мадагаскаре. Круглый год с шести часов утра до шести часов вечера оно стоит над горами и долинами Вилькапампы, обуздывая лютую стужу высокогорий, согревая тощую, проросшую камнем землю.

На самом дне Вилькапампы, в долинах Апуримака и Урубамбы, отлично вызревают бананы и апельсины. А дно это лежит на высоте 3 тысяч метров.

Беда, однако, в том, что в Вилькапампе нет ни одного ровного местечка. Скалы, крутые склоны, расселины — на таких «дурных землях» ни пахать, ни сеять невозможно.

Люди тем не менее перехитрили своих тороватых на выдумку богов. Неведомо когда, но, во всяком случае, задолго до того, как в Перу пришли испанцы, сюда явились волшебники.

Это были индейцы кечуа, народ трудолюбивый и упорный. Они исправили ошибки природы и везде, где только можно было, нарезали на обрывистых склонах узкие, но идеально ровные террасы. На этих уступах отлично прижились неприхотливые местные культуры: маис, бобы, картофель, перуанский рис — киноа.

Кечуа вели свое немудреное хозяйство на высотах, доступных в Альпах и на Кавказе лишь птицам и мастерам альпинизма. Однако в Перу они не считались истинными горцами. Ведь кечуа селились в «теплых» долинах, и основанная ими столица древнего Перу, Куско, лежала на ничтожной высоте 3440 метров.

Иное дело — южные соседи кечуа: индейцы аймара. Те были истинными небожителями. На их родине, в Кольясуйю — «холодной стране» — на высоких нагорьях современной Боливии, города и селения лежали на уровне Монблана.

К боливийскому нагорью вели не очень тяжелые дороги, которые переползали через многочисленные перевалы. Вилькапампа же, до которой кондор мог за два-три часа долететь из Куско, была куда менее доступна, чем страна Кольясуйю.

Урубамба — река коварная и непостоянная. Ее долина широка и удобна лишь на небольшом участке, чуть пониже Куско. Но за селеньицем Ольятаинтамбо, в тридцати милях от Куско, Урубамба врезывается в скалистые горы и образует непроходимые ущелья.

В ту пору, когда в Вилькапампе отбивались от испанцев воины инки Манко и его наследников и преемников, через Урубамбу ниже Ольятаинтамбо был переброшен один-единственный висячий мост, узкий и шаткий. Стоило его убрать, и Вилькапампа оказывалась отрезанной от внешнего мира.

Испанцы знали: где-то в Вилькапампе стоит могучая крепость Виткос, резиденция властителей нового царства Солнца. Эту крепость им удалось захватить в 1572 году, но затем разоренный и опустошенный край был заброшен. Следы последнего царства Солнца затерялись.

Их искал в 1865 году перуанский географ Антонио Раймунди, который положил на карту горы и ущелья Вилькапампы. Их искал десять лет спустя французский путешественник Шарль Винер. Из Лимы и Куско в Вилькапампу

часто приезжали ученые и неученые энтузиасты. Но все их труды были напрасны. Вилькапампа строго хранила свои тайны.

Страна коварной коки

Загадка Вилькапампы чрезвычайно взволновала Хайрама Бингхема. Он заболел Вилькапампой, и болезнь эта оказалась неизлечимой.

В сентябре 1910 года Бингхем покинул Нью-Хевен. Но отправился он не в Вилькапампу, а в Нью-Йорк и Вашингтон. С утра до вечера сидел он в библиотеках, музеях, архивах. Карты, хроники, отчеты миссионеров, дневники путешественников, перуанские газеты и журналы, донесения американских консулов в Куско, труды археологических, ботанических, гидрографических экспедиций — одним словом, все, что имело хоть малейшее отношение к Вилькапампе, он изучал с лихорадочным интересом.

И мало-помалу ему все яснее и яснее стала рисоваться панорама перуанского высокогорья. Вооружившись линейкой, циркулем и лупой, он размечал на картах

отрезки будущих маршрутов. Каждый изгиб Урубамбы, каждую высотку на ее склонах он «засекал» в памяти, а память у него была отличная.

Хайрам Бингхем без труда убедился, что за триста с лишним лет Вилькапампа изменилась мало, и при этом далеко не к лучшему. Десять поколений индейцев — потомков воинов Тупака-Амару — сменилось в Вилькапампе за время, которое прошло со дня гибели последнего инки до появления в этом краю первых его исследователей.

Эти лазутчики цивилизации пришли в Вилькапампу в середине XIX века. Им открылась безотрадная картина: три сотни «диких» индейцев пасли шелудивых и тощих лам на горных кручах и в поте лица рыхлили неподатливую землю деревянным колом с железным наконечником. То была древняя таклья — орудие, в сравнении с которым соха казалась чудом техники.

Аборигены Вилькапампы говорили только на языке кечуа, католических святых путали со своими старыми богами и жили в хижинах, крытых прелой травой.

О перуанских президентах, диктаторах и министрах они не имели ни малейшего понятия. Президенты и диктаторы, зная о существовании этих детей природы, время от времени посылали в Вилькапампу сборщиков податей. На этом их заботы о жителях новообследованного края и ограничивались.

Однако вести о «теплых» долинах Вилькапампы возбудили большой и отнюдь не бескорыстный интерес у перуанских плантаторов. И в Вилькапампу вторглась кока.

Кока (ботаники называют это растение Эритоксилон кока — кокой краснокровкой) весьма невзрачный кустарник. Но перуанскому народу кока принесла, пожалуй, не меньше горя, чем меч и крест испанских завоевателей, чем чума и оспа, которыми незваные пришельцы наградили страну инков.

Сушеные листья коки истирают, смешивают с золой и жуют. Жующие испытывают неземное блаженство. Им не нужна пища, не нужен сон. Работать они могут не покладая рук в безудержном и тихом экстазе.

Испанцы кормили кокой индейцев-рабов в золотых и серебряных рудниках. Кока обходилась испанцам дешево, дешевле хлеба, а рабы, получая ее, трудились не разгибая спины. Кока убивала их медленно. «Райская жвачка» действовала как яд, постепенно отравляя мозг и тело. Рабов, загубленных кокой во цвете лет, заменяли новыми невольниками — индейцев в перуанском вице-королевстве не щадили.

В XIX и XX веках кокой снабжали не рабов — рабство в Перу торжественно было отменено после изгнания испанцев, — а пеонов. Пеоны-батраки на сахарных, кофейных и табачных плантациях потребляли очень много коки. И чтобы вволю давать жвачку пеонам, надо было изыскивать земли, на которых удобно было бы разводить коку. Кока любит горные долины, не слиш-

ком холодные и не слишком знойные. Как раз такие долины плантаторы нашли в Вилькапампе.

Кока и сахарный тростник внедрились в эти долины. Но в 1910 году не так уж много плантаций было в Вилькапампе. И располагались они в самых низовьях притоков Урубамбы. В верховьях кое-где рассеяны были мелкие индейские селения, а на междуречьях бродили лишь одинокие пастухи.

Дороги... Коку и сахарный тростник надо вывозить. И из Куско провели к рубежам Вилькапампы узкоколейку. Она дошла до Ольянтаинтамбо и оборвалась в нескольких милях от того места, где некогда был висячий мост. Дальше в глубь страны вели лишь неизведанные тропы, которые терялись на холодных нагорьях и в глубоких ущельях.

Ключ к потерянному царству

Хайрам Бингхем был человеком дела. Он знал: путь от Нью-Йорка до Вилькапампы не близок. Нужны были деньги, чтобы снарядить экспедицию и добраться до верховьев Урубамбы. И он нашел эти деньги, а затем сразу же взялся за подготовку экспедиции.

Ему нужны были смелые и сведущие помощники. Анды не Бродвей и не пляж Лонг-Айленда. В Андах грош цена человеку, который не может взобраться на отвесный склон, разжечь костер на бешеном ветру, обуздать упрямого мула. В Андах путешественник обязан быть верхолазом, следопытом, наездником и охотником. На Пятой авеню куперовский Соколиный Глаз гость очень редкий. Однако нужных людей Хайрам Бингхем нашел, и при этом довольно быстро.

К весне 1911 года экспедицию удалось полностью снарядить. В ее состав вошли четверо энтузиастов дальних путешествий — врач, геолог, ботаник и альпинист. В самом начале 1911 года экспедиция покинула Нью-Йорк и отправилась в Лиму.

В Лиме Хайраму Бингхему фантастически повезло. Почти так же, как юному герою стивенсоновского «Острова сокровищ», который обнаружил в сундуке одноглазого Билли Бонса ключ к таинственному кладу капитана Флинта.

Ветхая, пожелтевшая от старости книга монаха Каланчи, которую Хайрам Бингхем отыскал в Лиме, оказалась ключом к царству последнего инки.

Набрел на эту книгу Хайрам Бингхем совершенно случайно. Однажды он встретился в Лиме с перуанским историком Карлосом Ромеро. Ромеро никакими сведениями о Вилькапампе не располагал, но он вспомнил, что об этом крае писал какой-то Каланча и что этот Каланча жил в Лиме в первой половине XVII века.

Книга Каланчи, судя по ее титулу, к Вилькапампе не имела никакого отношения. Она называлась «Весьма назидательной хроникой, повествующей о деятельности монахов августинского ордена в Перу» и была издана в Лиме в 1639 году.

Эта «назидательная хроника» была написана нудным и шершавым языком. Автор по крупицам собрал сведения о «подвигах» августинских монахов, насаждавших на перуанской земле «истинную веру».

И Карлос Ромеро и его североамериканский коллега отлично знали, какими способами действовали в Новом Свете католические

миссионеры различных религиозных орденов. Нового по этой части Каланча решительно ничего не сообщал. Но сперва Ромеро, а затем Хайрам Бингхем набрели в этой архитоскливой книге на жемчужное зерно.

Дело в том, что незадолго до падения царства Тупака-Амару, вероятно в 1566 году, в Вилькапампу посланы были из Куско монахи-августинцы Маркос и Диего. Они обосновались в резиденции инки Титу-Куси и пытались обратить его в христианство. В Куско миссионеры направили несколько донесений, в которых довольно подробно описали негостеприимную Вилькапампу и ее достопримечательности.

Судя по этим донесениям, оба монаха в ремесле шпионажа имели изрядный опыт. Крепости и дороги Вилькапампы возбуждали у них куда больший интерес, чем прочие материи, и по этой причине они в свои отчеты внесли много чрезвычайно любопытных географических указаний.

Впрочем, эти слуги господние были не только ловкими шпионами. При случае они выполняли и более важные роли. Диего, который знал толк в искусстве врачевания, занял пост «лейб-медика» при особе его величества инки Титу-Куси. В июле 1571 года этот августинский лекарь, действуя по указке своих шефов, отравил инку, за что был сброшен в пропасть. Маркос, спасаясь от разъяренных «язычников», пытался выбраться из Вилькапампы, но утонул, переплывая один из притоков Урубамбы.

Каланча пересказал сообщения монахов-лазутчиков, и из текста этого пересказа явствовало, что, во-первых, резиденция властителей Вилькапампы находилась в глубине страны и что, во-вторых, помимо этой резиденции (а о

ней сообщалось, что расположена она близ белой скалы на одном из притоков Урубамбы), был в Вилькапампе еще один важный центр — священный город Солнца с великолепными храмами. В этом городе оба монаха побывали, и Каланча с их слов сообщил, что там Маркос и Диего обнаружили «университет идолопоклонства (I), профессоров колдовского искусства (II) и капища, в которых богомерзким идолам служило множество прекрасных дев».

Теперь Хайраму Бингхему было ясно, что и где искать. Но предстояло найти уже не один, а два города — резиденцию инков крепость Виткос и священный город Солнца (Каланча называл его Вилькапампой).

С Виткосом дело обстояло сравнительно просто. Каланча давал для его поисков отличный ориентир — большую белую скалу на одном из притоков Урубамбы. Притоков у этой реки великое множество, но белые скалы в Вилькапампе такая же редкость, как белые киты в дальних морях. Вилькапампа — край темноцветного камня — черного, бурого, сизо-серого, только вершины гор здесь белые, но Каланча писал не о снежных шапках Анд, а о белом утесе над рекой.

Хуже было со священным городом. Испанские завоеватели в 1572 году разрушили Виткос, но до таинственного города храмов и прекрасных Дев Солнца они не добрались и найти этот город не смогли. Ведь Маркоса и Диего не было уже на свете, а без них никто из испанцев не мог отыскать дорогу к резиденции «профессоров колдовского искусства».

Но, быть может, священного города не было и в заводе? Маркос и Диего в конце концов могли сочинить историю о священном городе. Нет, вряд ли они способны были, не зная старинных перуанских обычаев и обрядов, на «голом месте» составить донесение о городе Солнца и так точно описать его храмы и церемонии в «университете идолопоклонства».

Священный город явно существовал, а затем бесследно исчез. Отыскать его надо было во что бы то ни стало, и Хайрам Бингхем твердо решил это сделать.

«У меня пятьсот душ»

В начале июля 1911 года Хайрам Бингхем отправился в Куско, а оттуда вышел на поиски потерянных городов. Сперва он намерен был отыскать крепость Виткос и с этой целью «прочесать» все левые притоки Урубамбы.

В июле и августе, в сезон перуанской «зимы», удобнее всего вести поиски в дебрях Вилькапампы. Реки и ручьи ведут себя не так буйно, как в месяцы весенних и летних паводков, они реже размывают дороги и сносят хилые мосты, да и солнце милостивее к путникам, чем в жаркие декабрьские дни.

Верхом на мулах, животных очень упрямых, но весьма выносливых и неприверед ливых, путешественники направились к рубежам Вилькапампы.

Вдоль долины Урубамбы, по дороге, проложенной параллельно узкоколейке, экспедиция дошла до селения Чукисаки, близ которого шоссейный путь сменялся вьючной тропой. Тропа вилась по обрывистому склону; Урубамба, зажатая в узком каньоне, бесновалась на его дне.

С круч, местами голых, местами лесистых, стекали звонкие ручьи, а в нескольких милях от Чукисаки

Урубамба принимала два довольно больших притока. Справа в нее впадала река Лукумайо, слева — река Вилькапампа.

Всем, кто читал «Хижину дяди Тома», навеки запомнилась зловещая фигура плантатора Саймона Легри. Саймона Легри, державшего свору псов для охоты на беглых рабов, замучившего дядю Тома на своей плантации.

С такими Саймонами Легри Хайрам Бингхем и его спутники встречались в низовье реки Вилькапампа. Говорили эти господа не по-английски, а на скверном испанском языке, и на своих землях разводили не хлопок, а коку и сахарный тростник. Пожалуй, лишь этим они и отличались от мистера Саймона Легри, достойного гражданина штата Луизиана. Были на плантациях коки и собаки и надсмотрщики-капатасы с длинными бичами. Были и рабы. Правда, назывались они пеонами, но от этого им легче не становилось. Чтобы уйти с плантации, пеон должен был выплатить все долги хозяину, а как это сделать, если эти долги неоплатны? Причем чем дольше пеон работал на хозяина, тем глубже он увязал в долговой трясине.

Ему полагалась грошовая плата, но ведь даже эти деньги на руки ему не давали. У плантатора была своя лавка с дрянными товарами, которые продавались втридорога, был у него и свой кабак, где пеон в долг получал мутное пойло — каньясо — и сушеные листья коки.

Грамоте пеон был не обучен, считать он не умел, плантатор знал это отлично и опутывал своих батраков так ловко, что они за год работы на хозяина попадали в пожизненную кабалу.

Перуанские законоведы, однако, всерьез обижались, когда им говорили, что пеоны бесправные рабы. «Помилуйте, — возмущенно отвечали они, — какие же рабы эти пеоны? Они свободные люди: ведь никто не принуждает их заключать контракт с плантатором, никто не заставляет их жевать коку или пить каньясо. А долги следует платить. И работодатель вправе взыскивать свои деньги и вправе наказывать злостных нарушителей контракта...»

Впрочем, в Перу среди плантаторов попадались люди с душевным складом более тонким, чем у обычных двойников Саймона Легри. В селении Санта-Ана, чуть выше устья Вилькапампы, североамериканских путешественников радушно принял владелец огромной плантации сеньор Педро Буке.

С широкой террасы его дома, выстроенного в староиспанском стиле, открывался великолепный вид на ближние и дальние горы. У гостей слегка кружилась голова от крепкого сигарного дыма, от старых вин, французских и итальянских. Звенели бокалы, шуршали лиловые, красные и черные шелка, бесшумно скользили с подносами бои в ослепительно белых куртках.

С печальной улыбкой сеньор Буке говорил о несчастной Вилькапампе, стране упущенных возможностей. Говорил по-английски, и его речь лилась свободно и вдохновенно.

Да, этот человек с лицом художника и тонкими пальцами пианиста совсем непохож был на мистера Саймона Легри.

— У меня пятьсот душ, — так ответил он, когда его спросили, много ли пеонов работает на этой обширной плантации.

О, он превосходно знал прошлое Вилькапампы! Он читал книгу Каланчи, он на память при-

водил выдержки из старых хроник.

Улыбка сеньора Буке стала еще печальнее, когда Хайрам Бингхем спросил его, знают ли что-нибудь здешние индейцы о древних памятниках Вилькапампы.

— Увы, — сказал сеньор Буке, — индейцы — бестолковые дикари. От них вы толку не добьетесь. В стране, столь нецивилизованной, вести с их помощью какие-либо поиски — дело безнадежное.

И, пригубив янтарное «Лакрима-Кристи», он добавил:

— Да, сэр, совершенно безнадежное. Но мой долг оказать вам посильное содействие. Я вам дам записку к одному полезному человеку. Хвала богу, он не индеец, а метис. Зовут его дон Эваристо Магровехо, и живет он в соседнем селении Лукомо.

«Идите вверх по течению»

Дон Эваристо Магровехо был весьма важной персоной. Титуловал он себя вице-губернатором, хотя фактически исполнял обязанности сельского старосты. В Перу любят высокие и громкие титулы.

Дон Эваристо долго не мог понять, что, собственно, от него нужно этим назойливым гринго. Когда-то в Вилькапампе действительно рылись на всевозможных развалинах искатели кладов, но ничего ценного им так и не удалось найти, и вот уж лет двадцать, как в Лукомо и Санта-Ану не заходил ни один охотник за сокровищами.

А всяческие бесполезные древности дона Эваристо абсолютно не интересовали, и он не имел о них ни малейшего представления. Дон Эваристо так и сказал этому рыжему гринго: нет здесь ничего, ваша милость, да и не может быть.

Профессор, однако, подобрал ключ к сердцу «вице-губернатора». Он заверил дона Эваристо, что за каждую развалину будет выплачивать ему один серебряный соль. Перуанский соль по курсу 1911 года равен был пятнадцати центам. Столь щедрый посул возбудил у дона Эваристо деловые инстинкты. Он немедленно собрал старейшин-индейцев.

С индейцами дон Эваристо говорил на языке кечуа, которого его гости не понимали. Индейцы сидели на корточках вокруг костра. Сидели молча. Их иссеченные глубокими морщинами лица цвета темной бронзы были неподвижны, глаза полузакрыты.

Дон Эваристо сказал им:

— Эти чудаки гринго ищут старые развалины. Чужеземцы,

верно, люди малость тронутые — им не нужны ни клады, ни сокровища. Они ищут только старые-престарые камни, они просят показать им, где были города и храмы ваших предков.

О награде, обещанной чужеземцами, дон Эваристо не обмолвился ни звуком. Должно быть, по забывчивости...

Индейцы молча выслушали дона Эваристо и молча разошлись. Денька два они присматривались к пришельцам. Затем они сказали вождю чужеземцев: много, очень много старых камней есть выше по течению.

Предсказания сеньора Буке, владельца пятисот душ и любителя старины, не оправдались. Именно «бестолковые дикари» и указали участникам экспедиции дорогу к городу Виткосу.

«Дикари»... Триста с лишним лет индейцев Вилькапампы держали в ярме. Триста с лишним лет вытравляли из их сердец все, что связывало этих людей с далеким прошлым страны Солнца.

Им строго-настрого запретили поклоняться старым богам. Их заставляли молиться богам белых дьяволов, им твердили, что их пращуры были нечестивые язычники, что грозный бог Иисус Христос предал анафеме бесовские капища царства инков.

Многое они забыли. Забыли имена своих древних правителей, забыли слова своих древних молитв, забыли своих поверженных богов.

Но через века неволи пронесли они свой родной язык, сохранили старые обычаи, и как святыню оберегали они опаленные камни древних раз-

валин. То были руины безвестных городов, но они, исконные обитатели перуанской земли, знали: города эти стояли насмерть в борьбе с чужеземными поработителями, стояли здесь, в Вильяпампе, и воины, которые оборонялись от неумолимого и свирепого врага, говорили на их языке и умирали за их несчастную отчизну.

Высокий иноземец с голубыми глазами не знал их языка, он не мог разъяснить им, зачем ищет старые камни. Но в отличие от дона Эвариста и других белых и полубелых начальников он обращался с ними как с равными, не ругал их и не заискивал перед ними и, заглядывая в толстую книгу, отыскивал в ней слова на языке кечуа; слова эти они понимали с трудом, не так-то легко даются звуки языка инков белым людям, но они уяснили, что не ради корысти ищет этот человек их древние города.

Он, этот пришелец с далекого севера, хочет знать, какой была в давние времена Вилькапампа. Увы, мы сами этого не знаем, камни молчат. Но он и его спутники люди ученые, пусть же попытаются прочесть каменные книги, созданные в очень-очень давние времена нашим народом.

Город-боец открыт

И вот Хайрам Бингхем по совету стариков индейцев направился вверх по течению Вилькапампы. Добрый слух о нем прошел по всему краю, и, когда он остановился на ночлег в одном маленьком селении, индеец Мигель, хозяин хижины, сразу же повел речь о старых развалинах. К счастью, Мигель бойко говорил по-испански.

Гость спросил у Мигеля, есть ли где нибудь поблизости белая скала. Велика была радость всех участников экспедиции, когда Мигель ответил:

— Да, в наших местах есть большой белый камень, а неподалеку, на холме Росапата, я покажу вам старые стены; должно быть, эти стены вы и ищете.

На рассвете экспедиция вышла в путь. День выдался жаркий. Долина реки Вилькапампы, сдавленная лесистыми горами, дышала зноем. Узкая тропа цеплялась за каменные карнизы, ныряла в темные ущелья, обрывалась в руслах бурных ручьев.

Белая скала! Да, бесспорно, это она. Грязновато-белый, изъеденный временем утес, а у подошвы его источник. Холодная струйка выбивалась из замшелой трещины, теребила мокрые бороды водорослей.

Крохотный ручеек бормотал в каменном желобе. Эту «рубашку» чьи-то заботливые руки «сшили» лет четыреста назад. Четыре века бежала ключевая вода по гладко отесанным камням, четыре века она обмывала эти белые плиты.

Близ источника от дорожки отходила едва заметная тропка. Она взбегала на склон лохматой горы. Это был путь на вершину Росапаты.

Профессор шел за Мигелем. Вернее, не шел, а полз — тропинка становилась все круче и круче, приходилось карабкаться по скалам, взбираться на осыпи, перелезать через мертвые, оплетенные лианами стволы. Порой лианы сердито шипели и высовывали раздвоенные языки. И тогда оказывалось, что это вовсе не лианы, а змеи. Тропа нырнула в лес. Ходить по этому горному лесу было адски трудно. Гибкие петли лиан арканили ноги, острые

шипы впивались в тело, в клочья рвали одежду. В одном месте пришлось прорубаться топором через колючие заросли.

Попугаи ругались, как боцманы. Им явно не по душе были незваные гости, и кто знает, быть может, они подавали команды красным муравьям, клещам и москитам. Вся эта крылатая и бескрылая нечисть кусала, жалила и пила кровь, и от нее не было спасения.

В прошлом году, когда профессор испытывал новый биплан, в воздухе, на высоте пятисот футов, отказал мотор. Это было незабываемое ощущение, но, право же, сейчас Хайрам Бингхем волновался куда больше. Спотыкаясь и падая, бежал он в гору.

Мигель остановился. Он потянул за рукав своего спутника.

— Гляди, вот эти стены, — сказал он, отправляя в рот шарик коки.

Поперек всего склона, скрываясь в жесткой зеленовато-желтой поросли, шла невысокая, в рост человека, стена. Стена из серого камня, внешний обвод столицы последнего инки города Виткоса.

И какая стена! Ни следа цемента, известки, кладка «сухая», но камни пригнаны друг к другу так, что в стыки между ними не просунуть и иголки.

Через пролом в этой стене Мигель и его спутники проникли в город Виткос. Они поднялись на вершину Росапаты. Триста тридцать девять лет назад капи-

тан Окампо, участник штурма Виткоса, писал, что с вершины горы видна почти вся Вилькапампа и что на этой вершине есть площадь, застроенная зданиями, «возведенными с большим мастерством и искусством».

Да, с вершины Росапаты действительно видна была почти вся Вилькапампа, равнина, поставленная на дыбы. Темно-зеленый покров лесов вспарывали голые гребни горных цепей. На этой изумрудной глади плели свой ветвистый узор реки и ручьи. Далеко на юге в небесную синеву вонзались высокие пики, увенчанные снежными шапками.

Здания, «возведенные с большим мастерством», лежали в прахе. Разрушать испанцы умели. На это они были мастера хоть куда. Захватив Виткос, они взорвали его стены, растаскали его дома.

Испанцы стремились убить душу Виткоса. И все же стереть с лица земли этот строптивый город им не удалось. Выстояли стены дворца. Дворец этот воины инки Манко построили лет за тридцать до гибели города. Построили на века. На восемьдесят метров в длину и на двенадцать метров в ширину тянулось это массивное сооружение. Сложено оно было из гранитных блоков, тщательно отесанных и пригнанных друг к другу с ювелирной точностью.

Каждый такой блок весил килограммов восемьсот, а в основании здания покоились исполинские пятитонные плиты.

В расстрелянном и сожженном городе сохранились фундаменты каменных домов. Как раз напротив дворца, на противоположной стороне большой квадратной площади — Марсова поля столицы Вилькапампы, — стояло длинное каменное здание, где жили воины царства Солнца.

Город был невелик. Обойти его можно было за десять минут. Единственное ровное место — площадь между дворцом и казармой — не застраивалось, а на крутых склонах Росапаты возводить дома было трудно. Вероятно, в черте города и за его стенами было не больше полусотни зданий.

Храмов в Виткосе не было. Виткос — город-боец — создавали не для молитв, а для сражений...

Итак, первая победа одержана. На вершине Росапаты Хайрам Бингхем нашел руины резиденции последних инков.

Вот она, Мачу-Пикчу!

Но не Виткос был главной целью упорных поисков Хайрама Бингхема. Ведь где-то в сокровенном уголке Вилькапампы существовал священный город, до которого так и не смогли добраться испанцы, город дворцов и храмов, каменное сердце царства Солнца.

Маркос и Диего не лгали. Их донесение подтверждали факты. Не случайно в Виткосе не было ни одного храма. За инку, за его победы, за одоление жестокого врага молились в другом месте, и именно там находился священный город.

Неутомимый йельский Одиссей двинулся на его поиски. Ученый пришел к заключению, что скорее всего этот город прячется где-то над Урубамбой. Большая излучина Урубамбы ниже Чукисаки оставалась своего рода Полюсом недоступности Вилькапампы.

«В июле 1911 года, — вспоминает Хайрам Бингхем, — я приступил к розыску последней столицы инков... Я направился в умопомрачительный каньон Урубамбы... Каньон этот река прогрызла в исполинском гранитном массиве. Тропа проходит в этих местах через край несравненного очарования. Невольно вспоминаются суровые и величественные Скалистые горы и обаятельные окрестности Гонолулу. Прелесть многообразия здесь не поддается описанию; право же, ничего подобного не доводилось мне видеть на своем веку. И прежде всего бросаются в глаза снежные пики, которые прорывают пелену облаков и возносятся над ней на высоту в добрых две мили.

Над злобными, неистово ревущими водопадами встают крутые стены, обрывы огромной высоты, в которых обнажаются многоцветные граниты. На дне этих пропастей цветут гигантские орхидеи, зеленеют древовидные папоротники, справляет дикие оргии пышная растительность тропических джунглей. Джунгли с неуемной мощью штурмуют крутые склоны, вторгаются в узкое горло Урубамбы, взбираются на утесы головокружительной высоты... Слов нет, чтобы описать эту постоянно изменяющуюся панораму, это тропическое разнодеревье, эти бесчисленные, врезанные в скалы террасы, эти утесы, подобные башням, эти ледники, которые сползают в бездну прямо из облаков».

И снова, как это уже случилось в селении Лукомо, индейцы при-

шли на помощь ученому. На этот раз «гидом» экспедиции оказался индеец Мельчор Артеага, которого Хайрам Бингхем встретил на крутом берегу Урубамбы. Артеага сказал:

— Старый город стоит на высокой горе Мачу-Пикчу. Пройти туда нелегко.

Утром 24 июля 1911 года шел холодный дождь. Погода была не перуанская, а норвежская, и никто из спутников Хайрама Бингхема не пожелал в такое ненастье штурмовать неприступные вершины Мачу-Пикчу.

Тогда Хайрам Бингхем решил отправиться в путь без своих коллег. В десять часов утра он пустился в дорогу. С ним шел лишь Артеага.

«Примерно через три четверти часа, — пишет Бингхем, — Артеага свернул с главной тропы и повел меня в джунгли, которые тянулись вдоль берега Урубамбы. В этом месте через реку переброшен был шаткий мостик. Место для него выбрано было очень удачно — в самой узкой части ущелья, над белопенным речным порогом. Мостик состоял из тонких жердей, к тому же еще очень коротких. На живую нитку эти жерди были связаны лианами.

Артеага снял башмаки и, балансируя над бездной, прошел по мостику. Я отлично понимал: всякий, кто сорвется в эту холодную пучину, мгновенно разобьется о скалы. Поэтому я без малейшего стыда сознаюсь, что через мост полз на четвереньках со скоростью шести дюймов в час...

Перейдя реку, мы углубились в густые заросли и спустя несколько минут добрели до крутого склона. Полтора часа взбирались на этот склон, порой опять-таки на четвереньках... Около полудня, совершенно выбившись из сил, мы дошли до маленькой хижины, крытой травой.

В этой хижине обитали двое индейцев. Они свили здесь это орлиное гнездо в надежде, что до них не доберутся сборщики податей, и спокойно жили на склонах Мачу-Пикчу, собирая не слишком обильные урожаи маиса, сладкого картофеля, бобов и перца».

Индейцы подтвердили слова Артеаги о развалинах на Мачу-Пикчу. Они заверили Хайрама Бингхема, что до этих развалин можно дойти за полчаса.

Тем временем дождь прекратился, и скандинавская стужа сменилась африканской жарой. На этот раз даже Артеага не пожелал сопровождать чужеземца. Хозяева хижины дали искателю древностей в качестве провожатого босоногого мальчишку-индейца.

И вот какая картина открылась Хайраму Бингхему, когда он поднялся на гребень Мачу-Пикчу.

Этот фотоснимок в сто крат красноречивее любого описания. Там, за черным пиком Уаяна-Пикчу, в Урубамбу обрывается гранитная стена восьмисотметровой высоты. Слева и справа глубочайшие пропасти. Белый город, священный город последних инков стоит над этими пропастями.

И право же, Хайрам Бингхем не погрешил против истины, утверждая, что до прихода европейцев не было в Новом Свете города прекраснее священной столицы Вилькапампы.

Нельзя было выбрать лучшего места для этой перуанской Лхасы. С трех сторон — с востока, севера и запада — город защищен непреодолимыми пропастями, его оплетает глубокий каньон Урубамбы.

Он приютился в ее узкой излучине, между двумя горами — острым пиком Уаяна-Пикчу и массивной вершиной Мачу-Пикчу. Петля Урубамбы врезана в каменные бока этих гор, врезана глубоко, на восемьсот-девятьсот метров, и стены этого грандиозного каньона круты и обрывисты.

С севера, востока и запада штурмовать город могли только кондоры. И строители решили, что нет никакого смысла со всех сторон окружать город стенами. Стену они возвели лишь на юге.

Однако и здесь природа пришла им на помощь. Перемычка, соединяющая Уаяна-Пикчу и Мачу-Пикчу, — это лезвие выщербленной бритвы.

С зубца на зубец переползает узкая тропа. Других дорог нет. За стеной эта естественная перемычка расширяется. Но мы уже говорили, что перуанские боги очень не любили ровных и плоских мест. Чуть расширив межгорную дамбу, они под крутым углом прикрепили ее к подошве пика Уаяна-Пикчу, взбугрили ее, где только это было возможно, и избороздили ее не очень глубокими, но крутостенными оврагами.

Справа и слева от этой части перемычки поднимались боковые отроги пика Уаяна-Пикчу. Таким образом, с высоты птичьего полета перемычка в ее наиболее широкой части выглядела как арена огромного амфитеатра.

На склонах этой воронки жители священного города высекли множество террас. На самых нижних ступеньках этого амфитеатра и на буграх межгорной перемычки и заложен был город.

Случилось это задолго до появления испанских добытчиков на берегах Америки. Тогда в Перу правил неугомонный завоеватель, инка Пачакути. Он широко раздвинул границы своей империи и в ознаменование одержанных побед повсюду настроил множество храмов. Пачакути положил начало и священному городу на горе Мачу-Пикчу.

Переносить сюда свою резиденцию он, однако, не собирался. В те времена инки могли править, решительно никого не остерегаясь. И гораздо привольнее они себя чувствовали в той широкой долине, где стояла их столица — город Куско.

Но когда вооруженные до зубов испанские завоеватели вторглись в Перу, когда они захватили и дотла разграбили Куско, священный город в теснине Урубамбы, город, о котором не знал ни один испанец, стал расти вширь и ввысь.

На восточном откосе амфитеатра, вне стен города, возникло небольшое предместье. Здесь, подобно ласточкиным гнездам, лепились к скалам каменные домики черного люда, здесь был выстроен форт, в котором помещались воины, охраняющие подступы к священному городу.

Собственно, город располагался на трех буграх перемычки.

В Венеции, по пояс погруженной в воды Адриатики, каналы заменяют улицы. В священном же городе, разбросанном по кручам, вместо улиц были лестницы. Лестницы-проспекты и лестницы-переулки. Лестниц насчитывалось свыше сотни. Были очень странные лестницы, такие узкие, что на них не могли бы разминуться две кошки, были лестницы широкие, с парапетами и балюстрадами. Вдоль лестниц тянулись водоводы: холодная ключевая вода сбегала со склонов Уаяна-Пикчу, наполняя городские бассейны.

Прямо под черным пиком Уаяна-Пикчу, чуть влево от этой мрачной горы, на невысоком холме стоял (и стоит поныне) «кремль» этого священного города. К нему ведет самая главная, самая широкая и самая красивая лестница.

В июле 1911 года, когда Хайрам Бингхем проник в этот мертвый город, лестница была скрыта под обломками камней. Расчистили ее много позже, и тогда оказалось, что каждая ее ступенька — это брус светлого гранита. В холм врезано тринадцать нешироких террас, на террасах некогда были висячие сады. Это холм Интиуатана — гора Солнца.

Самая наисвятейшая святыня Интиуатаны — Камень Солнца, грубо обтесанная плита с выступом в виде тупого зуба. К этому камню, утверждали жрецы, привязано Солнце, и молитвы лучезарному богу Инти доходят прямо по назначению, если читают их под серым гранитным зубом.

Увы, ни в 1532 году, когда дружина испанского авантюриста Писарро вторглась в Перу, ни сорок лет спустя, когда испанские солдаты прочесывали леса Вилькапампы в поисках разгромленных соратников инки Тупака-Амару, бог Инти не помог жрецам.

Правда, он скрыл от бледнолицых дьяволов свой город так искусно, что нашли они его только через триста тридцать девять лет...

Интиуатана застраивалась тесно. Тут помещался и полукруглый храм Солнца, и дома, где жили Девы Солнца, и царское подворье — замок инки и верховного жреца.

По всей вероятности, Манко и Титу-Куси редко посещали священный город, но их дворец не пустовал. Здесь воспитывались дети царей Солнца, здесь обитали длинноухие принцы из рода инков (у всех родичей инков уши почти до самых плеч вытягивались тяжелыми серьгами).

Когда-то инка Манко вывел из Куско лучших каменщиков страны Солнца. И они завершили планы и замыслы своих предшественников, которые явились на берега Урубамбы в годы правления Пачакути.

Великие мастера достраивали храмы Интиуатаны. Особенно хорош был полукруглый храм. В его цоколь уложили могучие гранитные плиты. Выше поставили небольшие прямоугольные бруски и увенчали это сооружение светлыми каменными плитками.

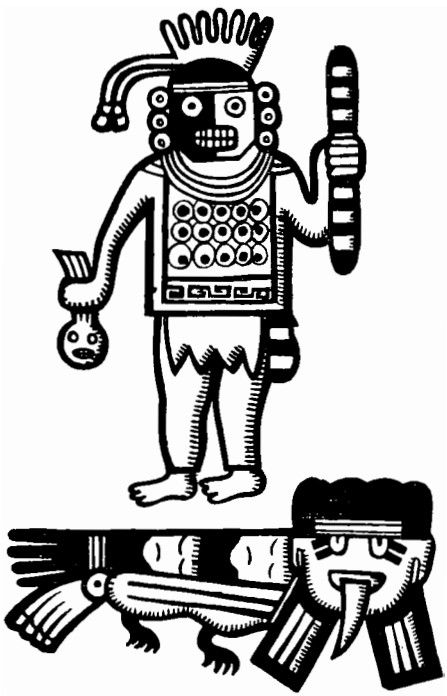
Главная лестница сбегает с вершины Интиуатаны на Священную площадь. Этот небольшой пятачок — единственное ровное место в городе Солнца. В Священную площадь едва удалось вместить два небольших храма — трехоконное святилище (памяти предков) и стройное

трехстенное здание с длинной каменной скамьей-лежанкой.

Трехстенный храм венчает полукруглый бастион, который одновременно служит и подпорной стенкой.

Хайрам Бингхем писал, что не мог он оторвать глаз от этого волшебного города. Его очаровала россыпь светлых зданий на уступах черных гор, каскады каменных террас, лестницы-поднебесницы, врезанные в гранитную плоть Мачу-Пикчу.

Он подметил неуловимое сходство Интиуатаны и вещего холма афинского Акрополя. Не удивительно, ведь лучшие зодчие Старого и Нового Света создавали Парфенон и святилища Интиуатаны.



Кто же жил в священном городе? Только Девы Солнца, жрецы и длинноухие кровники инки были «прописаны» на Интиуатане. Солдаты, каменщики, садовники, повара, слуги обитали вне городской стены, в восточном предместье. На Священную площадь и на главную лестницу, ведущую к Камню Солнца, они могли попасть лишь с дозволения верховного жреца. Волей-неволей этих короткоухих плебеев надо было допускать в священные кварталы. Если бы «отцы города» наглухо закрыли бы перед ними единственные ворота в единственной городской стене, тогда некому было бы поить висячие сады и печь кукурузные лепешки.

Однако жестокая казнь грозила всякому, кто переступал порог храма Дев Солнца...

Автомобилист, летчик и неутомимый искатель забытых городов древнего Перу, йельский профессор Хайрам Бингхем 24 июля 1911 года совершил великое открытие.

Там, где сперва с Мельчором Артеагой, а затем с босоногим мальчишкой-индейцем шел к Интиуатане йельский первооткрыватель, проложена была впоследствии широкая дорога. В наши дни гиды-полиглоты водят по крутым лестницам священного города любознательных туристов, которые съезжаются в долину Урубамбы со всех концов света.

А для археологов, влюбленных в перуанские древности, город на горе Мачу-Пикчу стал истинной Меккой, и они с успехом раскрывают последние тайны последней резиденции последних инков.

Еремей ПАРНОВ

●

ОКЕАН У БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ

Путь паломников

Когда-то вышли на сушу из первобытного океана странные рыбоподобные существа. Они унесли в чужую стихию частицу моря. Это древнее наследство все еще живет в наших телах. И не только в наших. По жилам рыб и земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих от века бежит беспокойная соленая жидкость. В ней натрий, калий и кальций смешаны в той же пропорции, что и в первозданной стихии, где зародилась жизнь. Это память о тех далеких днях, когда наши слепые простейшие предки выработали первую систему циркуляции, в которой животворной кровью была простая морская вода. Даже протоплазма совершеннейших мозговых клеток и вообще любых частиц нашего тела все еще химически подобна первозданным каплям белка. И, повторяя путь развития жизни в океане, каждый из нас проходит в материнском лоне все стадии эволюции от рыбы до человека.

Мы носим в жилах океан,
Соль первых дней творенья
носим.
И этих жил мы ловим просинь
На милом трепетном виске.
(Ах, волосы твои как осень —
Скирды соломы.)
На песке
Густая оседает пена.
Пустых костелов неуют.
Аккорды мощные Шопена
Холодными валами бьют.
Мы носим в жилах океан —
Налог за нашу жизнь на суше,
Залог за нашу жизнь и души...
(Слезами платим дань любви.)
А море ни о чем не просит!
Дорожка лунная, как проседь,
Но оглянись: ручьи в крови
Назад стремятся к океану:
Обмен соленою водой.
(Густая пена — белый гной.)
Так дань мы платим неустанно.
Восторг пред небом и росой,
Пожар в крови от звезд
и звуков —
Мы все стократ оплатим в муках,
Мы возвращаем морю соль.

* * *

Ты руки к морю протяни,
пусть в море кровь стекает.
В прохладной голубой тени
пусть рыжим дымом тает.
Она его не замутит,
журча, к нему вернется
и после трудного пути
с прародиной сольется.
Пора долги платить, долги,
обратно возвращаться.

И отпуска нам недолги,
и некогда прощаться.
Нас океан зовет назад,
и дымом тают лица.
Пора, пора, закрыв глаза,
до капли расплатиться.
Ах, что ему весна, война —
накатит и отхлынет.
Он пьян от красного вина
от века и поныне.
Он дал — он взял. Он будет
пить,
стаканов не считая.
К нему спешит живая нить,
туманом рыжим тая.

Может быть, поэтому мы начинаем любить море, еще не зная его. Беспокойная солоноватая жидкость отзывается на все вздохи и капризы Мирового океана, ловит его могучее дыхание. Создав цивилизацию, люди нашли множество способов возвратиться к морю. Одни бороздят его вдоль и поперек на больших судах, другие с помощью маски и ласт мгновенно возвращаются к стадии лягушки, третьи живут и работают в подводных домах.

Но не всем довелось так прочно связать судьбу с далекой пра-

родиной. Остальная и, увы, большая часть человечества стремится компенсировать свое отставание в отпускной сезон. В общем каждый ищет как может собственный путь паломничества к океану.

Несколько таких паломников условились встретиться в вагоне № 4 электрички Владивосток — Барановский. Среди них Владимир Александрович Николаев — начальник морской экспериментальной станции, которому удалось устроиться рядом с океаном; москвич Александр Александрович Нейфах — биохимик, сумевший быстро переквалифицироваться в «биохимика моря»; Валерий Фаворов — биохимик, но из Новосибирска, где, как и в Москве, моря нет; и автор этих строк, который тоже нашел подходящие слова, чтобы убедить тех, от кого это зависело, послать его в такую даль.

Все мы с нетерпением рвались к океану, хотя у каждого были на то свои причины. Конечный пункт наших стремлений находился в Хасанском районе, в бухте Троицы. Когда-то в этих местах жило загадочное племя, от которого остались только наскальные рисунки, обработанные кости и микролиты в золе давно погасших костров. Но, как это часто бывает, географические названия, которые племя дало своим рекам, озерам, бухтам и сопкам, пережили века. Никто не знает теперь, что означают такие слова, как Сидими или Тэми. Только перевод названия Хасан все жившие здесь народы почему-то бережно передали друг другу.

А Хасан означает «Белый лебедь». «Белый лебедь» называется то легендарное озеро, где наши пограничники вели неравный бой с самураями, «Белый лебедь» называется и вся эта узкая полоса советской земли, омываемая волнами Японского моря. И вот там, в заливе Петра Великого, в одной из глубоководных, еще не тронутых человеком бухт, построили биологическую морскую станцию.

В Барановском кончаются электричка и двойная колея. На Хасан повезет нас видавший виды паровозик, который сердито выпускает белые шипящие клубы. В небе серая пелена и рваные облачные оборки, раздуваемые ветром. В воздухе привычная морось и особый электрический привкус надвигающегося тайфуна.

— Будет непогода? — спрашиваю я Володю Николаева.

— Здесь никогда нельзя угадать. Приедем на станцию — видно будет.

— А если все же тайфун, то вода сделается мутной? — не отстаю я, мысленно рисуя грустные картины молочной, взбаламученной воды, в которой болтаются ржавые нити размочаленных водорослей. — Это очень жаль, если вода сделается мутной. Я так стремился к океану! И в первый же день никакой видимости. Только изрезал все ласты об устричное дно.

— Где это было? — спрашивает Валерий Фаворов.

— Недалеко от института. На девятнадцатом километре.

— Это же Амурский залив, — улыбнулся Володя. — Опресненные илистые воды. В бухте Троицы так не бывает.

— В большие ливни бывает, — зловеще, косясь на небо, замечает Валерий. — Пресная вода долго лежит несмешивающимся слоем.

— И вообще потоки смывают с сопок всякую дрянь, — равнодушно замечает Нейфах.

— А тайфун, кажется, все же

будет, — лениво зевает кто-то за спиной.

— Александр Александрович! — Я увлек Нейфаха в сторонку. — Вы который год уж совершаете свой хадж. В такую погоду есть смысл лезть в море?

— Своих ежей я получаю в любую погоду. Но мне кажется, что прозрачность там всегда на высоте.

Ребята окружили станционный буфет. Закупали минеральную воду «Ласточку».

Володя достал стопку картонных стаканчиков.

— В последний раз настоящей водицы? — предложил он.

— У вас плохо с водой? — спросил я.

— Такой, во всяком случае, нет.

Объявили посадку. Люди подхватили мешки и сумки, навострились на штурм.

Мы тоже побежали вдоль колеи по рыхлому, закапанному мазутом песку, который ничем не напоминал о близости океана.

Но не все стремились стать пассажирами этого поезда. Многих просто привлекал его всегда открытый буфет. Свежий хлеб, булки, жареная колбаса, «Беломор» и дешевый портвейн — все это пользовалось неизменным спросом. Местные жители смотрели на этот поезд как на передвижной продмаг. Остановки поэтому длились долго, а в проходе не прекращалась суета.

Но когда поезд, наконец, трогался и в окно врывалась свежая сырая струя, мы сразу же попадали в первобытный мир. Можно было держать пари, что до следующей остановки не увидим за окном следов человека. Если не считать, конечно, телеграфных столбов, черных штабелей шпал и игрушечных путейских домиков вдоль полотна.

А так — простор необъятный, непривычный простор. Поля без тропинок, зелень, не знающая копоти и инсектофунгицидов, дубовые рощи, заросли орешника и лещины. Как тянуло в эти ровные зеленые долины, пестреющие огненными жарками, золотыми лилиями и темно-фиолетовыми ирисами.

В вагон вошли пограничники. Неторопливо, без лишних слов, проверили документы. Вдали, за синей волнистой полосой сопок, лежала граница.

Наконец наша Андреевка. Те же груды песка. Шпалы. Запах битума и креозота. Только небо еще сильнее провисло. Резкий ветер несет острые песчинки и холодные капли. Серая, пересыщенная влагой вата вот-вот упадет на землю. Мы бодро прыгаем по шпалам. Параллельно нам ныряет в песчаных волнах зеленый кубик — микроавтобус УАЗ-254. Наконец наши пути встречаются, мы залезаем в этот несгораемый шкаф и мчимся по безумному грейдеру. Пыльные окна закрыты наглухо. Пахнет мотором и разогретым на солнце металлом.

Ребята осторожно укладывают на колени длинные тонкие свертки. Вначале я подумал, что это аккуратно обернутые бумажной лентой удочки. Оказалось — стекло, хромотографические колонки.

Машина прыгает на ухабах, гравий оглушительно стреляет в поддон, с шумом и шелестом расступаются глинистые лужи и разлившиеся от дождей реки.

— Давно у вас дожди? — спрашиваю шофера.

— Дня три.

— А море мутное?

Он пожимает плечами. Что ему море, когда приходится гонять по таким дорогам? Быстро надвигается темнота. Красноватый, как вполнакала, свет фар тоскливо

мечется по каменным грудам, вырывает из темноты медные осыпи глины. Дорога огибает сопки и змеится вдоль берега. Море у самых колес. Неподвижное, густо-синее, утопающее в ночи. Не верится, что это почти тропическое Японское море, широко и свободно уходящее в Тихий океан.

Баллада о диатомеях

Гладкое некрашеное дерево и стекло — вот и все бунгало. Раздвижная стеклянная дверь и раздвижные окна от пола до потолка. Плоская, с небольшим наклоном толевая крыша. Открытая веранда с широким навесом. Вокруг маньчжурские дубы и папоротники, поросшие алыми розетками огневиков. Внизу море. Бунгало прилепилось как раз в том месте, где кончается сравнительно пологий склон сопки и начинается обрыв.

Мы приехали уже ночью. Володя зажег свет на веранде и отпер дверь.

— А это ничего, что вы здесь, как в аквариуме, видны со всех сторон? — спросил я.

— Но ведь и мне все видно... Наконец-то я дома! Только здесь по-настоящему и могу дышать.

Потом я узнал, что Володя сам спроектировал и построил этот милый крохотный домик, состоящий из «аквариума» и миниатюрного душа (0,2 м^2) за узенькой дверцей в задней стене. Все здесь было продумано до мельчайших деталей. Просмоленная в несколько слоев крыша, выдерживающая любой тайфун. Скрытая электропроводка. Свайный, укрепленный камнями фундамент. Душевая цистерна. И широкая затененная эта веранда, куда можно вынести шезлонг, откуда сквозь узорную прорезь листвы видна вся бухта. Володя буквально вылизывал бунгало, как кошка любимого котенка.

Тонкие пластины розового дальневосточного кедра понизу стены, оленья шкура на полу и позеленевший бронзовый подсвечник в виде дельфина — вот и все украшения. Впрочем, украшения ли?

— Человек должен постоянно видеть открытую душу дерева, — как-то сказал Володя. — Дерево — лучший из материалов. Оно красиво само по себе, своей теплотой и строгой функциональностью. Нет ничего благороднее дерева.

Розовый отполированный кедр действительно притягивал взгляд. Глаза отдыхали от ярких красок моря, листвы и неба, от слепящих ленивых вспышек на расплавленной воде. А на оленью шкуру было хорошо сесть в жа-

ру, когда так раздражает натянутая ткань шезлонга. Подсвечник же становился просто необходимым после одиннадцати часов, когда выключали движок. Мутные стеариновые слезы скатывались на позеленевшую морду дельфина, и фантастические бабочки кидались на губительный огонь, пили смертельное пламя.

Я увидел этих бабочек в первые же минуты, когда Володя зажег лампочку на веранде. Казалось, что это сон. Цветастая восточная легенда.

Какие-то невероятные шелкопряды и бражники, огромные, как летучие мыши, совки с хищными желтыми глазищами на крыльях, ночной павлиний глаз и болезненно-зеленые парусники с длинными вуалевыми хвостами. Это был яростный напор, ликующий праздник.

Треск и шелест крыльев наполнили бунгало. На стенах, на полу, на наших спинах ширились разноцветные мозаики. Словно все бабочки мира слетелись сюда, чтобы принять участие в нашем маленьком торжестве.

— Вообще-то у нас на станции сухой закон, — сказал Володя. — Но сегодня по случаю приезда и знакомства — можно. Немного.

Мы пили сладкий и крепкий вьетнамский ликер и какое-то красное вино. А бабочки кружились над нами в вечно изменчивом узоре калейдоскопа, падали на головы и в стаканы с терпким вином. Там я впервые увидел индигово-изумрудную с переливчатыми, как перламутр, хвостатыми крыльями красавицу. Это был парусник Маака, огромная, как птица, восемнадцатисантиметровая бабочка. Она тоже прилетела на наш огонек.

Я осторожно поймал ее и вынес наружу. Море тихо и свободно дышало в непроницаемой темноте. Но горизонт дымился синим, как от электросварки, светом. Наполненный холодной фосфорической пылью, скользил над водой прожекторный луч. Он медленным циркулем обвел бухту, на миг залил лунным сиянием кроны дубов и наше бунгало и нестерпимой звездой ударил меня в глаза. Бабочка, как завороженная, сидела на моей ладони, крепко вцепившись мохнатыми лапками в палец. Только дрожали чуткие антенны мохнатых усиков. Я стряхнул ее. Она вспыхнула на миг, как серебряная фольга, и полетела прочь от бунгало, вдогонку за призрачным светом.

Потом я узнал, что такие бабочки столь же обычны в этих местах, как наши августовские траурницы, казавшиеся мне в детстве самыми большими и красивыми в мире.

Когда, томясь на владивостокском аэродроме, я дожидался рейса в Москву, который по неведомым причинам все откладывался и откладывался, мне вновь довелось увидеть эту великолепную бабочку. Проклятые москиты загнали меня в душный буфет, куда вдруг влетела эта царица ночи. Она заметалась под потолком и опустилась на спину какого-то выморочного гражданина, пребывавшего в одурелой нирване после двух бутылок портвейна. Я тихо снял ее с измятой его рубашки и вынес на улицу. Но она вновь устремилась к свету. Ударившись о наполненное люминесцентным сиянием стекло аэровокзала, она скользнула вниз, чтобы украсить потом коллекцию какого-то малыша, испустившего кровожадный вопль охотника за черепами.

Свет потух, и Володя зажег свечку.

— Вы давно здесь? — спросил я.

— Как вам сказать? — задумчиво и немного грустно улыбнулся он. — И давно и недавно. Раньше я работал в Ленинградском ботаническом институте и каждый сезон месяца этак на четыре ездил сюда. Теперь вот работаю здесь, а зимой буду ездить в командировку в Ленинград. Государство от такой перемены ничего не теряет. Как говорится, от перемены мест слагаемых...

— А как жена, квартира?

— Жена пока в Ленинграде. Квартира бронируется на три года. Надо будет, срок можно продлить еще на три... А там, что так далеко загадывать, видно будет. Пока живу здесь, в моем бунгало... Как хорошо, что есть Японское море!

— Володя, я в общем представляю себе, в чем заключаются ваши функции начальника станции. По сути, вы руководите небольшим научным институтом, которому предстоит стать большим. Здесь более или менее все ясно. А чем вы сами занимаетесь? Как исследователь, разумеется.

— Вы что-нибудь слышали о диатомовых водорослях?

— Только то, что они везде есть.

— Тогда я расскажу вам подробней...

Здесь и начинается баллада диатомовых водорослей.

Они действительно встречаются повсеместно, в любом, даже самом маленьком водоеме. Слизь на камнях и водорослях, скользкий налет на днище судна и сваях — все это диатомы. Простейшая живая клетка, защищенная кремниевыми створками с идеальной структурой. Володя показал мне потом увеличенные в 1250 раз снимки различных диатомей.

Что в сравнении с ними вся современная архитектура, все кольца и броши ювелиров! Это плоские чечевицы и строгие эллипсоиды, необыкновенные воздушные арки и топологические поверхности высших порядков, купола, которые и не снились Фрэнку Ллойду Райту, ажурные чаши и трубчатые спирали, о которых даже не догадывается Оскар Нимейер, города будущего, так удивительно смело сложенные из правильных ячеек, что Ле Корбюзье мог бы просто перенести их на синьку в пропорциональном масштабе.

— Вот как выглядят снимки диатомей.

— Если бы я не был биологом, я бы стал архитектором, — сказал Володя, когда мы листали альбом с фотографиями препаратов.

Снимки были наклеены лишь на одной стороне листа. Я переворачивал страницу за страницей. И все чаще мне стали попадаться карандашные наброски на чистой стороне. По ним можно было проследить всю эволюцию бунгало. От первого замысла и фантастической программы-максимум до тщательно разработанных чертежей того самого милого домика из дерева и стекла, который янтарной капелькой повис над голубым полукругом бухты.

В Володином альбоме собрано и описано около четырехсот видов диатомовых Японского моря. Это колоссальный научный труд, который выйдет когда-нибудь в виде солидной монографии. Но творчество неотделимо и от чисто механической работы. Исследователь не только отыскивает новое, уравнивает, анализирует, сопоставляет, он еще и возится с микроскопом, меняет стеклыш-

ки на предметном столике и нажимает кнопку спускового тросика, укрепленного на окуляре фотоаппарата «Зенит». А потом он вырезает из отпечатанных фотографий нужный объект и приклеивает его на страницу альбома. Одни, тихо посвистывая, думают в такие минуты о футболе или рыбной ловле, другие рассказывают анекдоты или спорят по поводу аксеновской «Бочкотары», Володя разрабатывал проект бунгало.

— Я хочу, чтобы на месте палаток появились коттеджи и бунгало, подходящие к нашим зеленым сопкам, дубам с плоской кроной и синей бухте. Наиболее интересные по архитектуре образцы диатомей я беру на заметку. Это пригодится, когда мы развернем здесь большое строительство. Если вам попадется книга по японской архитектуре, пришлите, пожалуйста.

Сверкают простотой и математической изощренностью форм диатомеи под микроскопом. Живые драгоценные ожерелья, браслеты и диадемы. Если у жены Нептуна есть свой придворный ювелир, то оному можно лишь позавидовать. Милость повелительницы всегда пребудет с ним.

— Как называется ваша специальность — микробиолог изящных искусств или диатомист?

— Альголог, или водорослевед, — отвечает Володя.

Диатомеи двигаются по принципу танковой гусеницы. Оказывается, живая природа предусмотрела и такой вариант. Вообще изощренность эволюции, ее изысканное эстетство порой прямо обескураживают. Все, что выдумал человеческий гений, давно уже разработано на испытательских полигонах природы. Впрочем, человек — это тоже часть природы, звено в одной из ее эволюционных цепей. Лишь эта банальная истина утешает исследователя, созерцающего постоянное торжество великого и слепого соперника. Слепого? Как знать... Может быть, нам лишь кажется, что у природы нет конечных целей. Мы прошли лишь ничтожный участок бесконечного пути, но судим уже о всей дороге.

Диатомеи — важнейшая составная часть органического вещества моря, первый, начальный цикл грандиозной пищевой цепи. Они дают пищу зоопланктону, который является основной пищей рыб и китов. Но, умирая, гиганты моря и его карлики становятся кормом диатомей. Это замкнутый цикл. Диатомеи с бóльшим на то основанием, чем кто-либо другой, могут сказать, что хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Весной и осенью они переживают взрывы жизни, которые отражаются на всех обитателях моря. Это важнейший момент, от которого во многом зависят урожаи океанской целины. Но изучены диатомеи очень мало. Только в Черном и Баренцевом морях удалось кое-что сделать в этом отношении, литораль же Японского моря — девственный лес альгологии. Только в южной части залива Посьета Володя выделил четыреста видов.

По-настоящему продуманный экономический подход к океану должен начинаться с диатомовых водорослей. Это же корм для рыбьей молоди и ракообразных.

Любопытно, что слизь диатомовых могла бы значительно увеличить скорость судов по меньшей мере в два раза. Она сродни той слизи, которая покрывает тело дельфина, этого пелагического

рекордсмена, который шутя обгоняет самые быстрые катера.

— А почему бы вам не покрыть этой слизью ваш бот? — как-то пошутил я. — А то стоит он себе у пирса и обрастает ракушкой.

— В этом самом обрастании вся загвоздка! Ужасно проклятая штука. Американцы выпустили патентованную краску для судов. Стоила она бешеные деньги, но зато резко уменьшала обрастание. А меньше обрастание, меньше расход топлива, выше скорость. Прямая экономическая выгода. Капитаны стали брать эту краску, тем более что фирма давала гарантию на один месяц. Все было хорошо. Но в Гонконге одно судно обросло в течение этого гарантийного месяца еще сильнее, чем суда с обычной покраской. Оказалось, что там живет вид диатомей, которым патентованная краска пришлась по вкусу. Если бы можно было остановить обрастание на стадии слизи... Но, боюсь, тут ничего не получится. Это тоже стадийный и необратимый процесс. Сначала бактерии создают тонкую пленку, потом на ней развиваются водоросли, выделяющие слизь, а там уж и ракушки поселяются. Кстати, даже киты обрастают диатомовыми. По виду водорослей можно узнать, где плавал кит. Да что там кит! Стоит только залезть в море, как тебя тут же облепят диатомы. Мы этого, конечно, не замечаем. Я как-то вылез из воды и для интереса скребнул себя стеклышком в разных местах. Потом поместил стеклышко под микроскоп. Столько диатом! Причем разных! Попался даже один новый вид... Жаль, мало приходится сейчас этим заниматься. Снабжение всякое. Новый дом под лаборатории строим... А выдается свободная минутка, бегу в главную свою лабораторию — вы ее видели рядом со столовой, — в столярную. Ребята сейчас палатки себе строят. Надо помочь сделать деревянный настил, чтобы не заливало в дожди. Обычно сами сколачивают, но выходит вкривь и вкось. А у меня опыт как-никак. Хоть доски им как следует обстругаю на электрорубанке.

— Я видел, как Валерий Фаворов таскает доски на голове. Точно муравей соломину. Целый день носил. Титанический труд. И ведь все в гору. Зачем он строит на самой вершине?

— Облюбовал местечко, значит. У нас строят где хотят. Можно даже каждому отдельную сопку отвести. Места хватит.

— Но это же чертовски трудно — носить доски на такую высоту.

— Зато ему потом будет хорошо. Мы вот с вами, идя в столовую, каждый раз лезем на сопку, а он пройдет по седловине и сразу спустится прямо на кухонный двор. И живет выше всех. Чем плохо? Ради этого стоит претерпеть. Ему ведь придется сколачивать настил прямо на месте. Такую же махину на сопку не утащишь.

— А кому сейчас ребята сколачивают настил?

— Александру Александровичу. Надо помочь профессору. Он хочет жить рядом со своим павильоном у моря. Туда можно свезти доски на грузовике.

— Он уже таскает рулоны пластика.

— Устраивается... И правильно, не на месяц приехал. Надо, чтобы все было удобно и хорошо. Завтра вроем столбы и проведем в новые палатки свет... Но палатки — дело временное. Нужно

строить бунгало. Люди не должны терпеть неудобства. Здесь ведь идеальные условия для работы. Можно работать и думать о науке все двадцать четыре часа. Но для этого необходимо обеспечить людей удобным жильем и избавить от всяких забот о еде.

— С едой уже все в порядке.

— Не совсем. Готовит у нас постоянная повариха, которой помогает очередной дежурный. Но как готовит? Конечно, сытно и довольно вкусно, но однообразно. Что там ни говори, а вермишель с мясной тушенкой хоть и хороши для водолазов, но могут осточертеть. И витаминов мало. Мы уже взяли на работу молодого выпускника кулинарного училища, остается организовать регулярное снабжение фруктами и овощами, хотя с этим труднее... У нас даже телефон будет в каждой палатке. Завтра привезут коммутатор на десять точек.

— У вас какая рабочая неделя? Пятидневка или шестидневка?

— Семидневка. Надо ловить золотые денечки моря. Да и разве работа здесь не отдых? К нам рвутся сильнее, чем на любую туристскую базу. Лучшее в мире море, богатое, рыбное, аквалангн, лодки.

— А настоящей работе это не мешает?

— Все регулируется само собой. Здесь же каждый человек на виду. Очень быстро начинается дифференциация. Мы никому не мешаем лодырничать. Просто такой «турист» уже не сможет приехать к нам на следующее лето. Наука, как и искусство, не терпит принуждения. Уже сама причастность к ней должна быть высшим вознаграждением за труд... Примерно по таким принципам за два сезона у нас сформировался коллектив. Новеньким же не остается ничего иного, как или влиться в этот коллектив, или уехать отсюда с осенними штормами навсегда. А где еще можно найти такое море, такие условия для работы? Судите сами, нужны ли нам выходные? Выходные из чего, из этого моря?

— Ну, а всякие личные дела?

— Каждый волен распоряжаться своим временем, как он хочет, если, конечно, от этого не страдает работа других. Поэтому любой день может стать выходным. Кроме того, у нас часто бывают тайфуны, к сожалению, конечно, тогда работа в море прекращается. Вот и сейчас, кажется, находит тайфун.

— Почему вы так думаете?

— Ветер переменился. Обычно, когда ветер дует с моря, погода стоит хорошая. Но если он вырвется из-за тех сопок, жди ненастья.

— Мой брат, отставной военный моряк, судит о погоде по солнцу: «Если солнце село в воду — жди хорошую погоду, если солнце село в тучу — жди к утру большую бучу».

— Где он плавал?

— На Балтике.

— Точно. У нас в Ленинграде это так. И на Баренцевом море тоже. Здесь же все иначе. Другая система течений, иной режим господствующих ветров... А ветер, кажется, вновь переменился.

— Циклон крутит.

— Похоже.

В домике водолазов ударили склянки. Где-то в море застучал лодочный мотор. Володя пошел в лабораторный корпус, где на железных дверях трансформаторной будки нарисован огромный красный кальмар, обвивающий химическую колбу, — герб станции. А я спустился наловить мидий, чтобы они успели хорошенько

протухнуть до вечера, — у нас намечалась большая охота на чилима.

Оторвать гигантскую мидию от камня очень сложно. Приходилось по два, а то и по три раза всплывать на поверхность за воздухом, прежде чем раздавался треск и облепленная морскими червями и полипами здоровенная раковина оказывалась в руках. На этих раковинах хорошо была видна работа диатомовых. Мутная зеленоватая слизь, белые и розовые лишаи вторичных обрастаний.

Диатомовые необыкновенно чувствительны к температуре и солености воды. Они массами гибнут, когда над морем проходят дожди, но их быстро замещают более пресноводные виды, которые, в свою очередь, погибают, когда прежняя соленость восстанавливается. Вместе с диатомовыми в опресненной воде погибают и морские животные.

Пресноводные диатомеи резко отличаются от солоноводных, а тропические виды не похожи на обитателей арктических вод или морей умеренных широт. В Японском море почти не встречаются тропические диатомеи. Лишь у берегов Южной Японии их становится много. И чем южнее, тем больше. Филиппины, Австралия, Новая Зеландия... Потом опять увеличивается количество холодноводных видов.

Но чуткую, почти эфемерную клетку окружают кремниевые створки. Хрустальная оболочка лелеет крохотную пылинку жизни.

Жизнь проходит, как яркий проблеск в темноте, а оболочка остается. Почти навечно. Диатомовые панцири отлично сохраняются. Они известны еще с мелового периода. По ним можно определять относительный возраст Земли, воссоздавать палеогеографию водоемов.

Вот почему прибрежные бентосные, виды этих водорослей специально изучаются геологами, которые занимаются реконструкцией древних бассейнов. По кремниевым оболочкам давно погибших организмов удается узнать всю историю водоема: температуру и соленость воды, береговую линию и как все это менялось с течением веков и тысячелетий. Для геологов-поисковиков диатомеи — тоже желанная находка. Диатомовые земли — их, кстати, много в Хасанском районе — считаются ценным ископаемым. Они незаменимы для шлифовки стекол, плавки базальта, производства столь необходимого для биохимиков и химиков-аналитиков силикагеля. Из них можно сделать легкие, плавающие в воде кирпичи, отличающиеся высокой тепло- и звукоизоляцией.

Индийский ученый Дизикачара показал, что они почти целиком состоят из альфа-кварца. Если в миоценовых залежах содержание силиция составляет 80%, то в мелу оно возрастает уже до 99%. Почти чистый кварц.

Недавно на дне Атлантического океана американские исследователи обнаружили пресноводный комплекс диатом, резко отличный от окружающих морских комплексов. Такую находку можно истолковать лишь однозначно: на этом месте затонул участок суши. Когда? Радиокарбонный анализ показывает цифру 12 000—15 000 лет.

Может быть, Атлантида?..

Сами по себе пресноводные диатомеи никак не могли очутиться на морском дне. Есть виды, живущие только в воде кристальной чистоты. Малейшая примесь солей вызывает их быструю гибель. Такие водоросли на-

селяют Севан и Байкал. Они лучшие индикаторы чистоты воды. На Байкале диатомеи первые сигнализировали о том, что озеро находится в опасности. Но диатомеи и идеальные санитары. На месте погибших видов в том же Байкале появились новые, более приспособленные к трудным условиям. И они вступили в борьбу за чистоту воды. В трудную и в конечном счете неравную борьбу с человеком, который вот уже не одну тысячу лет губит природу отходами своих производств. И с каждым веком во все большем масштабе.

Но главное значение диатомовых водорослей в том, что с их помощью мы можем резко увеличить урожаи морских продуктов, добиться быстрого восстановления запасов. Недаром всерьез обсуждаются проекты создания на дне океана мощных атомных реакторов для подогрева воды. Нагретая, богатая солями вода подымается из глубины. Это вызовет взрыв жизни диатомовых, а там пойдет разматываться привычная цепь. Ведь вся жизнь, по сути, сосредоточена на каких-нибудь пятидесяти метрах глубин. Сколько драгоценных солей пропадает даром. А восходящие теплые потоки вынесут их на поверхность, и появится пища для миллиардов новых рыб, китов и ракообразных. Такой естественный процесс выноса глубинных солей происходит у Перу. Недаром это один из самых богатых районов. Вспышки диатомовых чередуются там с удивительной регулярностью. И всегда много рыбы. Очень много рыбы.

А что наблюдается в Антарктиде? Там подо льдом буквально кипит коричневая каша. Аргентинцы, станция которых расположена на земле Грэйама, решили выяснить, кто ест эту подледную кашу, проследить весь цикл начиная с диатомовых. Австралиец Вуд обнаружил там 20 видов диатомовых водорослей. Столько же обнаружили и советские ученые. А потом выяснилось, что Вуд нашел одни виды, а наши исследователи — совсем другие. Итого, сорок видов диатомовых. Квинтэссенция подледной каши.

Как-то связаны диатомеи и с еще во многом загадочными марганцевыми конкрециями, обнаруженными на океанском дне. Но это уже совсем особая тема. Пожалуй, о диатомах стоит сказать еще только, что размеры их исключительно разнообразны. От мельчайших, видимых лишь под сильным увеличением до вполне заметных невооруженным глазом. На промысловой водоросли анфельции, которую добывают для изготовления агар-агара, поселяются довольно-таки крупные диатомовые бляшки. Некоторые виды их обладают поистине гигантской клеткой — до двух миллиметров в диаметре!

Чилим, или Этюд в алых тонах

Я положил вскрытые мидии на спиленный пень, который служил мне лабораторным столом, и уселся на линолеум веранды. Солнце уже клонилось к закату. Прямо подо мной стояла полузатопленная японская кавасаки, игравшая роль причала и базы для ловли чилима. Рядом с ней приютилась кавасаки поменьше, но вполне целая и на плаву. Это был станционный бот, окрашенный в ослепительную белую краску, с огромным черным номером на рубке. Пронумерованы были и все лодки. Таково строгое требование пограничной охраны.

По той же причине лодки находились на замке.

Водолазы, очевидно, готовили ботик к завтрашнему походу. Грузили канистры с водой, оранжевые спасательные пояса. Водолазный начальник Валерий Левин принес ящик с морским компасом. После работы все это вновь унесут на берег. Даже судовые аккумуляторы. Чтобы ни при каких условиях никто посторонний не смог воспользоваться судном.

Вообще пограничники довольны, что в уединенной бухте появилась морская станция. Они теперь более спокойны за этот участок. Ребята на станции никогда не забывают, что работают на границе. Они как бы по совместительству несут пограничную службу. И недаром из бунгало видна вся бухта. У начальника станции Володи Николаева в надежном месте лежат пистолет ТТ и ракетница.

Море под солнечным шаром сделалось сизым. Сверху отлично было видно дно: нежно-малахитовые пятна песка, грязно-зеленые пучки зостеры, желтые, как кучи осенних листьев, кусты саргассов, и черные камни, и бумажная сечка сухих водорослей — вся палитра моря, вся сказочная его мозаика.

У берега вода кажется сумрачно-изумрудной, как зеркало замшелого колодца, но чем дальше, тем она серее и голубее. У бухты Паллады она туманна, как серо-сизый флер. Черной зеленью старинных медяков выступают из этого тумана горы с ржавыми пролысинами глинистых осыпей. Там острова Таранцева, где живут веселые тюлени — ларги, и лежащий на другом берегу остров Браузера, откуда в бухту Витязя прилетают чайки, и смутная дымчатая полоса мыса Слычкова. Очень заманчивые места...

А вечером начался лов чилима — самая увлекательная охота на свете. Прямо из раздвижного окна бунгало мы выбросили вниз кабель в резиновой изоляции, который давал питание мощной лампе с огромным рефлектором. Лампу опустили в воду, и праздничный аквариумный свет ударил в висящую над дном сетку, в которой уже лежали мидии с изысканным душком. И, словно бабочки вокруг свечи, закружились в электрической воде сильфидоподобные существа. Саламандры заплясали в огне. Они носились, рыжеватые, почти красные, в сквозном свете, и глаза их сверкали, как стоп-сигналы ночных машин. Привлеченные светом и запахом мидий, спешили они из зарослей подводной травы. И этот парад был столь же красив, как и парад бабочек. Только на бабочек нам, в сущности, было наплевать. А за чилимами мы следили с напряженным ожиданием охотников, нетерпеливо и плотоядно.

Остается сказать, кто такие чилимы. Это креветки, отличные большие креветки. При дневном свете они грязно-зеленые, как зостера, с зелено-коричневыми пижамными полосами вдоль тела. Если добавить к этому, что чилимы стоят в траве почти вертикально, то становится понятно, почему их мало кому удается увидеть днем. Но зато ночью, под фонарем...

Когда в световом круге появлялось сразу несколько чилимов, мы резко дергали мокрую натянутую веревку. Тяжелый четырехугольник сетки быстро шел вверх. И вот, перегибаясь через трухлявый, обугленный борт кавасаки, мы нетерпеливо заглядываем в сеть. С нее сбегают

струйки и тяжелые капли, гулко падают в море. С застекленных ячеек неуклюже срываются присосавшиеся сиреневые звезды. А в сетке среди ржавых железяк груза и черно-перламутровых осколков раковин прыгают зеленоватые, колючие на ощупь чилимы. Будто майские жуки, бьющиеся в стекла дачной веранды, сухо щелкают чилимы о дно эмалированного ведра. И с каждым разом их все больше. Но в одиннадцать часов выключают движок, и лампа гаснет. А лов в самом разгаре. Что делать? Тогда кто-то приносит автомобильную фару. Дрожащими от нетерпения руками загибаю медную проволоку и прыгаю в черную рубку ботика. Луч карманного фонарика бьет из окошка прямо под ноги.

Путаясь и чертыхаясь, подсоединяю провод к клеммам аккумулятора. Ура! Снова свет. Охота продолжается.

— Весь улов сегодня в пользу гостей! — смеется кто-то в темноте. — Только не забудьте, что чилимов надо варить в морской воде.

Я подхватываю ведро с уловом, а Нейфах, зачерпнув за бортом воды, уже догоняет меня с другим. И мы карабкаемся вверх по заросшему травой обрыву.

Костер разводим за бунгало. Но тревожные метеорологические признаки не обманули. Резкие порывы ветра, которых мы не замечали внизу, стремятся задуть пламя. В лицо летят пыль и холодные капли. Володя бросает в огонь куски толя. Смоляное коптящее пламя малиновыми отблесками лоснится на мокрых лицах. Вырывает из темноты блестящие листья волнующихся дубов. Кое-как костер разгорается, и можно ставить ведро. Вернее, подвешивать. Но как? Я просовываю через дужку длинную палку и берусь за конец, за другой хватается Нейфах. Так, превратившись в козлы, держим мы ведро над огнем. Соленая вода долго не закипает. Я объясняю Нейфаху, почему соленая вода требует больше тепла, а он интересуется, куда девается лишняя энергия. А небу между тем не до шуток. Дождь полил в полную силу. Тайфун не тайфун, а непогода разгулялась вовсю. Но никто не уходит от костра. Мы с Александром Александровичем прямо-таки защищаем огонь своими телами, споря о том, сколько килокалорий крадет у нас дождь. Охота пуще неволи...

Вареные чилимы похожи на всех вареных креветок. Оранжевые, с красными полосами, теплые, сочные и очень вкусные. Мороженые креветки, которых мы покупаем в магазинах, не могут дать даже представления о вкусе чилимов, сваренных в морской воде. Вот блюдо, которое все съедают всегда до конца. Сколько бы ни было этих самых чилимов и как бы ни был сыт человек.

И, конечно, неистовое пиршество происходит при свече, в шатком огоньке которой потрескивают опаленные крылья бабочек... Словно в байдарку, проскальзываю я в отверстие спального мешка и зажмуриваю глаза, ощущая блаженную истому во всем теле. А сон не идет. Скользит меловой луч прожектора. На стене бунгало возникает лунный узор дубовой кроны. Уютно стучит по трижды просмоленной крыше дождь. Пахнет морем, теплым деревом и сладкой шелухой чилима, до утра оставшейся на столе.

«Завтра опять будет море», — думаю я, засыпая.

Гимн морским ежам

Когда-нибудь о морских ежах напишут поэму. Только высоким штилем можно по достоинству прославить красоту, уникальные гастрономические качества, разнообразие форм, кроткий, незлобный нрав и бескорыстную преданность науке — все те изумительные качества, которые выделяют морских ежей среди прочих обитателей моря. С чего начать повествование о морских ежах? Я бы мог, например, рассказать о том, как здорово ел их, или о Великом истребителе морских ежей, или, наконец, о подводном зиккурате, где ежи справляют тайные свои мистерии.

Впрочем, раньше надо договориться о терминах. Дело в том, что один еж другому не чета. Я лично видел четыре типа ежей: черных, зеленых, сердцевидных и плоских. А так, может, их куда больше. Ежи — родственники морским звездам и голотуриям. Родственники в том смысле, что все они являются иглокожими. Это не мешает, конечно, взаимному поеданию.

Самый красивый еж — нудус. По-латыни это означает «голый», или, говоря современным языком, «нудист». Не знаю, кто окрестил так это черное, утыканное сверкающими иглами существо. Очевидно, очень веселый человек.

Когда плывешь в воде, содрогаясь еще от утреннего холода, ежи производят странное впечатление. Они напоминают заледенелые созвездия, к которым ты приблизился неожиданно близко. «И Тамплинсон взглянул назад и увидел в ночи звезды замученной в аду кровавые лучи». Киплинг, наверное, видел нудусов. Эти живые существа похожи на неживые звезды или по меньшей мере на звезды, впавшие в спячку. Черные лакированные лучи их нельзя, строго говоря, называть иглами. Это суживающиеся к концам трубочки. Нечто вроде стволов дальнобойных орудий. Что же касается «кровавых лучей», то тут речь скорее всего идет об алых ниточках с крохотными присосками — амбулякральных ножках. Александр Александрович показал мне нудуса под микроскопом. Среди черных блестящих игл амбулякральные ножки извивались в страстном причудливом танце, образуя легкую алую дымку, которая и придает черному ежу его непередаваемый цвет. Кстати, самого нудуса по величине можно сравнить с хорошим яблоком и его вовсе не надо разглядывать в микроскоп.

Гораздо больше похож на ежа интермедиус. Иглы у него короче и тоньше. Они лежат в разных направлениях, что придает интермедиусу оголтелый ежиный вид. И цветом интермедиусы не подкачали. В одних местах они рыжевато-серые, в других — серопыльно-зеленые. Совсем как «настоящие», лесные, даже с легкой сединой.

Ежи довольно крепко присасываются к грунту и царственно сверкают, заледенелые и гордые. Но им ничего не стоит переменить место. Достаточно пошевелить иглами и встать на них, как на ходулях. Если же, сделав небольшое усилие, оторвать ежа и вытащить из воды, все иглы сразу же придут в неторопливое, почти механическое вращение. Бесполезная попытка вернуться в родную стихию.

У выброшенного прибоем ежа, когда он основательно поваляется на солнце, иглы отваливаются столь же легко, как и у сухой елки, которую оставили в комнате до «старого» нового года. А под иглами-то и скрывается на-

стоящая красота ежа — его известковый скелет, зеленоватый или нежно-сиреневый, с геометрически точными меридиональными узорами из круглых бугорочков и мельчайших дырочек. Скелет ежа — это купол мусульманской мечети или мавзолея. Безупречная, математически совершенная конструкция, которая, честно говоря, даст сто очков вперед Тадж-Махалу.

Скелеты ежей можно найти в береговых выбросах, много их и на дне. Скелет сердцевидного ежа, как легко угадать, сердцевидный. Его прелесть в том, что она преходяща, как, скажем, у ирисов. Я часто находил эти тонкие белые коробочки, но их редко удавалось даже вытащить из воды. По сравнению с ними выеденное яйцо — конструкция из армированного бетона. Хрупкие сердцевидки разрушались даже от сопротивления воды. Лишь дважды мне удалось вытащить их на берег. И оба раза ненадолго. Сердцевидные — довольно редкий вид. Поэтому Великий истребитель ежей говорил о них с особой симпатией.

Еще более пылко распространялся он о плоских ежах, белые как мел скелеты которых украшены пятилепестковым узором из крохотных дырочек и напоминают окаменевшие облатки для католического причастия. Впрочем, кто у нас видел эти самые облатки? На круглое печенье «Крокет» похожи скелеты. Я нашел целый город пластинчатых, целую страну. Оказывается, они не экзоты, а просто любители чистого и мягкого песка. Эти мохнатые, цвета крепкой марганцовки пластины в воде кажутся почти черными. Они валяются на песке, как распотрошенный автомобильный фильтр тонкой очистки.

Пластинчатых ежей не едят. Вероятно, из-за крайней скудости содержимого. Сердцевидные ежи весьма редки, и Великий истребитель очень ими дорожит. Поэтому я попробовал лишь черных и зеленых. Попробовал и остановился на зеленых — интермедиусах.

Я читал, что морской еж — высший деликатес. В ресторанах Флориды его подают за бешеные деньги. Эксцентричные супружеские пары специально проводят летние каникулы в бухтах, где есть ежи. Князь Монако однажды заказал для очередного приема все тех же ежей, которых доставили на самолете в замороженном состоянии. Одним словом, было достаточно оснований попробовать ежей.

Я вскрывал их ножом. Скелет лопался с противным фарфоровым хрустом, и глазу открывалось содержимое: черноватая жидкая масса с какими-то камушками и четыре оранжевых мазка на внутренней поверхности скелета. В мазках — вся прелесть. Это икра (или молоки, так как различить можно лишь под микроскопом) морских ежей. Как передать ее вкус? Это нечто среднее между маслянистостью лучшей стерляжьей икры и сладостью сока в крабовых банках. Это хвост лангусты, превращенный в нежнейшую эмульсию. Это знаменитый рачий соус, сгущенный в сбитые сливки. И еще нечто, о чем я просто не умею сказать.

Все же миллионеры не дураки. Морские ежи — это лучшее из всего, что может дать море. Впрочем, никто на станции ежей не пробовал. Даже самый смелый экспериментатор обычно редко пускается на эксперимент за обеденным столом. Но Великого истребителя я, кажется, убедил.

Теперь о том, как я открыл обиталище пластинчатых. Заодно это будет рассказ и о подводном зиккурате. Но я забыл рассказать об одной особенности морских ежей, которая сильнее всего

сближает их с сухопутными. Как и обитатели наших лесов, морские ежи любят нанизывать на иглы всякую всячину: почерневшие клочки морской капусты, раковинки, какие-то деревяшки и даже дырявые скелеты своих же братьев ежей. Некоторые совершенно скрываются под этой странной оболочкой. Зачем они так поступают? Скорее всего маскируются. Но от кого? Рыбы вряд ли решатся атаковать утыканное иглами сокровище, кальмары — тоже. Может быть, ежи боятся большого камчатского краба? Этот колючий броненосец может, конечно, расколоть ежа, но он не вылазит на мелководье. И осьминог тоже любит тихие местечки, где поглубже да похолоднее. Очень интересно мне было узнать, от кого прячутся ежи. Неужели они так быстро раскусили человека? Значит, это Великий истребитель за каких-нибудь три-четыре сезона воспитал в них столь интересную защитную реакцию? Понятно, что такое предположение можно было выдвинуть лишь в шутку. Кроме того, я знал, что ежами охотно лакомятся дальневосточные каланы.

И все же очень интересна эта аналогия в использовании игл у морских и сухопутных ежей. Ведь редко форма диктует содержание в столь чистом виде. Небось «коротковолосые» пластинчатые так не поступают. Попробуй наколи на себя что-нибудь, не имея достаточно длинных и острых игл!

Кстати, этих острых игл больше всего боятся водолазы. Ежовые иглы легко обламываются и прочно застревают в ранках. Такие ранки очень болезненны и долго не заживают. Я сам выковыривал заостренной спичкой остатки крошащейся иглы из пятки Володи. Причем делал это прямо на берегу, поскольку чем скорее прочистишь рану, тем скорее она зажи-

вет. Так что, очевидно, дурная слава ежей ими заслужена... Но мой микроскопический, конечно, опыт все же заставляет меня относиться к ежам с большей снисходительностью. Со смелостью неведения я отрывал их от камней голыми руками. И вскрывал, держа незащищенными пальцами. Даже случайно наступал на них в воде. Ощущение, конечно, не очень приятное, но кожа оставалась целой. Зато острые раковины японской устрицы оставили мне на память не один глубокий порез. Эти проклятые устрицы можно сравнить лишь с битыми бутылками.

Правда, в ранах они не застревают и никакого специфического яда не содержат.

Но пора вернуться к пластинчатым ежам и подводному зиккурату, который я обнаружил в прекрасной бухте Копакабана. Об этой бухте мне рассказал Володя.

— Видите вон ту сопку? — спросил он, показывая на зеленый гребень, поросший скрюченными дубками с плоскими, причесанными ветрами кронами. — К ней ведет тропинка. Она огибает сопку, спускается в небольшой распадок и вновь забирается на гору, ту, дальнюю, голубую. Оттуда видна бухта. Спускайтесь прямо по склону. Только снимайте с себя клещей...

Об этих клещах — переносчиках энцефалита — я слышал еще в Москве. Дело, конечно, не очень веселое. Но случаи энцефалита довольно редки, и я особенно не беспокоился, хотя чувствовал к клещам весьма сильное отвращение. Одним словом, я пошел в сопки. Сначала дорога была ясно видна. Черная колея со следами протекторов и оленьих копыт вела в рощу широколистного маньчжурского дуба. Мутное небо неожиданно прояснилось, и

зеленый распадок ожил. В папоротниках и высокой полыни заскрипели цикады, затрещали кузнечики и сверчки. Все засверкало, запахло буйно и остро, как в день творения. Радужными нитями обозначались фермы хитроумных паучьих конструкций. Огромные мохнатые пауки живее стали укутывать в серебристые коконы пестрых бабочек.

В тени рощи на меня накинулись мошка и какие-то рыжие широколапые мушки с недоразвитыми крыльями. Сначала я принял их за клещей и стал отдирать от шеи обеими руками. Это даже вынудило меня остановиться. Но борьба была явно неравной. Я плюнул и отправился дальше. Дорога пошла по болотцу. Я прыгал с кочки на кочку. В черных жирных ямках тускло блестела мазутоподобная вода. Вскоре я понял, что, кроме оленей, тут вряд ли кто до меня ходил. Очевидно, тропа осталась слева. Но олений путь вел на вершину сопки самым коротким путем, и я полез прямо в гору. Потом я узнал, что так ходят либо люди, всю жизнь проведшие в горах, либо беспросветные невежды. Песенку «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» можно рассматривать в качестве прямого наставления для путешествия в сопках, где котловины и седловины чередуются по закону апериодической синусоиды. Избрав путь бывалого горца и часто припадая на четвереньки, я добрался, наконец, до самого верха. Те искореженные ветрами дубки, которые я видел снизу, росли, как оказалось, на узкой террасе, метрах в пятидесяти от верхней точки. А может, я залез не на ту сопку...

Ветер дул здесь со страшной силой. Волокна тумана неслись мимо меня, гибкими прядями струились над плоскими, как на японских картинах, верхушками деревьев.

Море зеленело далеко внизу. Памятуя наставление Володи, я начал спускаться почти по отвесному склону. Ветер постепенно утих, облачный туман остался вверху, да и спуск сделался более пологим. Но тут я обнаружил, что окружавшее меня великолепное разнотравье очень напоминает болото. Огромные осокори чередовались с невидимыми ямами неизвестной глубины. Под ногами журчал ручей, который тоже никак не удавалось разглядеть.

На кочках росла гигантская осока, тускло-золотые лилии и невиданные ирисы: синие, фиолетовые, черно-лиловые.

Звук ручья говорил о том, что он прыгает по камням. Я нащупывал эти камни ногой и перескакивал с них на ближайшие кочки, которые, как я хорошо знал, единственно надежные участки на болотах. К этому времени мои иллюзии, что именно этот путь ведет к лучшей на земле бухте, которую Володя называет Копакабаной (настоящее название — Холерная), начали рассеиваться. Спуск опять сделался почти отвесным. К счастью, потому что на такой крутизне не удержится ни одно болото. Действительно, вскоре ручей обнажился во всей каменной красе, а кочки сменились привычными папоротниками и лещиной. С трех сторон меня окружали горы, а впереди бухали еще невидимые сверху валы. Это тоже внушало подозрение. На широкой песчаной полосе Копакабаны волны не могут бухать, они должны ласково и полого накатываться.

Зеленые склоны казались совершенно плюшевыми. Местами этот плюш, как и положено, лоснился, кое-где был вытерт до белизны. Стали попадаться гранит-

ные валуны, поросшие золотистыми, как засохшие чернила, лишайниками и сухим мхом. Иногда серые гранитные глыбы казались обтесанными и сложенными в простейшие фигуры. Тогда они напоминали дольмены. Небо над головой клубилось мощными, крутого замеса облаками, прорезываясь вдруг бездонной синевой холодного и пронзительного оттенка. В довершение картины в небе парила на воздушных потоках какая-то черная царственная птица, а качающиеся травы поглаживали выбеленный на солнце олений скелет. Одним словом, Рерих и Васнецов; северная мощь, друиды, скальды и викинги. Вот в какой странный распадок я попал, столь непохожий на почти тропическое великолепие окружающей природы.

За мертвым, искореженным дубом пошли каменные нагромождения. Ручей здесь вырывался на волю и как-то боком стекал в море. Гранитная стена в этом месте была черной и влажной. В трещинах росли какие-то причудливые создания с холодными мясистыми листьями голубого и розового цвета.

Две сопки сближались здесь и каменным хаосом обрывались вниз. Это там бухали и свистели волны. Карабкаясь среди гранитных, сглаженных временем валунов, я смог наконец увидеть то, что творилось внизу.

А творилось там нечто несусветное. Настоящая дьявольская крутоверть. Только тот, кто знает, что такое каменные гроты на конце выдающегося в океан мыса, может представить себе эту дикую и страшную красоту. Волны буквально врывались в этот открытый всем ветрам грот. С пушечным грохотом разбивались они об ослизлые камни и опадали в базальтовую ловушку, сгущаясь из тумана и пены, в малахитовую воронку, которая со свистом разглаживалась, превращаясь в смиренную черно-серебряную воду. Но не успевала эта вода просочиться сквозь каменные нагромождения и заплеснуть в сумрак базальтовых арок, как налетала другая, курящаяся холодным туманом, еще более яростная волна. И все опять повторялось. От начала мира и до скончания веков.

Лишь в отлив море отступало, обнажая широкую полосу литорали, и мелкие крабы с шелестом падали в каменные трещины.

В камнях я обнаружил еще один олений скелет. Солнце и соленая вода сделали его невесомым и хрупким. Он буквально рассыпался у меня в руках.

Очевидно, желанная бухта лежала или справа, или слева от грота. По воде туда ничего бы не стоило добраться. Разумеется, в отлив. Теперь же попытка уйти из грота в море могла кончиться весьма плачевно.

Однажды меня уже мытарило море в каменном мешке. Я вырвался оттуда с закрытыми глазами, так как маску мою разбило о скалы и острые осколки прилипли к лицу, комариными жалами впились в кожу. Было то на Черном море, на фоне куда менее величественных декораций.

Оставался только один путь — через сопки.

Я решил пойти направо. Тому были свои причины. Во-первых, с горы я видел там бухту с белой окантовкой пены и серой полосой песка; во-вторых, так было ближе к станции, а я сильно проголодался. Конечно, я не надеялся поспеть к обеду, но голодного человека совершенно инстинктивно тянет к дому, даже если он знает, что ничего там не получит.

Естественно, я вновь выбрал самый короткий путь. Вместо того

чтобы подняться прежней дорогой по заболоченному распадку, я, как муха на небоскреб, полез через седловину. Как только меня не сдуло в океан... Временами я совершенно распластывался на этом обдуваемом с моря склоне, обеими руками вцепляясь в траву. Отдыхал у гранитных валунов, где можно было надежно зацепиться.

По гребню седловины уже не росли дубы. Только гранитные клыки да молочные пленки летучего тумана. Был он очень узок, этот гребень, и быстро переходил в такой же, как и подъем, крутой спуск. Зато по правую руку виднелась станция, а по левую — дубовая поросль, лиловый дым болотных трав над широкой луговиной и, очевидно, желанная песчаная бухта.

Туда-то я, уже весьма поднаторевший на спусках, и побежал, тормозя излишнюю скорость каблуками. На сей раз я предпочел не самую короткую дорогу. Спустившись по склону несколько вкось, я обошел значительную часть болота.

А те тридцать-сорок метров заболоченного луга, что пришлось все же преодолеть, в расчет не идут. Уж что-что, а болота я знал хорошо. И все эти лютики, хвощи, водосборы и осоки были для меня открытой книгой. Не так уж сложно научиться «читать» болото по характеру растительности. Если хорошо знать, где что растет, можно найти почти любое болото. Может быть, только за исключением чарусы. Но чарус на Дальнем Востоке нет. Они встречаются лишь в средней полосе. Я попал в совершенно пустынную бухту. Только след от чьей-то палатки, какой-то обгорелый столб и раковины от печеных мидий напоминали о том, что на земле есть люди. В море широко и лениво вливался ручей. Справа от него берег был каменистый, слева — песчаный. Вдоль линии прибоя тянулась темная полоса выбросов. Чего только там не было! Черные скрюченные ленты высохшей морской капусты, рыжие мочалки саргассов, тонкие и белые, как обрезки папиросной бумаги, сухие полоски зостеры, ракушки, скелеты ежей и до неузнаваемости преображенный морем хлам — следы цивилизации.

Я стал рыться в выбросах, обнаруживая совершенно неожиданные предметы. Там были высушенные морские животные и стреляные гильзы, какие-то деревянные, источенные червями обломки (следы крушений?) и обрывки сетей. Все перемалывало, все нивелировало море. При желании за какой-нибудь час можно было собрать целую коллекцию поплавков. Вот правильные прямоугольники легчайшего дерева с черными японскими иероглифами (слова молитвы о рыбацком счастье), вот окисленный в морской воде пенопласт со словами «Made in...» (творение высокомолекулярной химии), вот скрепленные деревянными колышками пластины драгоценного пробкового дуба (древнейший продукт цивилизации, который, как и сотни лет назад, изготовил какой-нибудь бедняк из Полинезии), а вот и пузырь из бутылочного стекла, сработанный стеклодувом Владивостока. Где-то в открытом океане разыгрались тайфуны и штормы. Порвали сети. Разнесли по волнам эти поплавки бог знает куда. Я не видел ни одной бухты, где бы не валялись в гниющих кучах эти несчастные поплавки. Ох, не просто достается человеку рыба! Трудное это дело — лов в Тихом океане, в океане вообще.

Пористые куски пенопласта и

белые ноздреватые камни столь живо напомнили мне хлеб, что горячая спазма больно сдавила горло. Я чертовски проголодался. В камнях у самого устья ручья было много морских ежей. Я вошел в воду и набрал с полдюжины этих кактусов, содержащих внутри самую вкусную штуку в мире — оранжевую икру. Потом я наловил дальневосточных мидий. Это знаменитые гигантские мидии, мидии Грэйэна. Если черноморская мидия весит обычно граммов пятьдесят, то эти исполины бывают и в два и в три килограмма. Недаром мидия — важный промысловый объект. Конечно, дальневосточные гиганты грубее и жестче черноморских. Но за количество часто приходится платить качеством. В огромную консервную банку едва влезает пара небольших мидий. Они довольно вкусны, эти консервы, не хуже копченых мидий, которых подают во владивостокских ресторанах. Но разве это можно сравнить с нежной черноморской мидией, которую знатоки едят сырой прямо у моря?

Я всегда ел мидии сырыми и не собирался делать исключений для моллюсков Грэйэна. И тут-то я познал во всей прелести отличие океана от Черного или Балтийского морей. Черное море наполовину опреснено. Его соленость редко превышает 18 промилле. Соленость Японского моря достигает 35 промилле. Это средняя соленость Мирового океана. Поэтому содержащаяся в черноморской мидии вода лишь подчеркивает пикантность блюда, тогда как после первой же съеденной гигантской мидии я ощутил пожар в горле. Это была сладкая горечь, которая жгла, сушила, царапала гортань. Я бросился к ручью и рухнул перед ним на колени. Но сколько я ни пил пресную воду, сколько ни полоскал ею горло, жжение не проходило. Только к вечеру оно пошло на убыль. Недаром в старинных романах о потерпевших крушение моряках рассказывается, что страдающие от жажды люди принимались пить морскую воду — и сходили с ума.

Нет, в Японском море мидии надо печь или варить, на худой конец промывать в пресной воде. Люди, которые жили здесь в палатке, в основном пекли мидии. Это было ясно видно на черном пятачке от костра. Кстати, с мидиями у меня произошла любопытная штука. Раскрыв как-то в Москве банку, я чуть не сломал себе зуб о довольно крупную жемчужину. В другой раз нашел в такой же банке целую россыпь мелкого жемчуга. А здесь, на родине мидий, в их естественной среде, ни в одной раковине жемчуга не было. Не то чтобы я искал этот тусклый, совершенно непригодный в ювелирном отношении жемчуг. Просто интересно было. Но такова игра случая: на Дальнем Востоке я жемчуга не видел.

Потом уже, в порту Посьет, на

рыбокомбинате, где высятся целые терриконы пустых раковин, я спросил у директора, как часто встречается в мидиях жемчуг. «Один раз на десять тысяч примерно», — ответил он. Вот и говорите после этого о теории вероятностей!

Морскими ежами и горячими мидиями сыт не будешь. Голод властно звал меня возвратиться на станцию. Обед там с двух до трех. Уже в десять минут четвертого кухня пустеет, и лишь при очень большом везении можно найти кусок хлеба с солью. Остальное уничтожают молодые, изголодавшиеся в морских экспедициях научные сотрудники и водолазы. Закон простой, мудрый и жестокий, как жизнь. На что же я мог надеяться, когда шел уже шестой час? Только на сахар у Володи в бунгало и, конечно, на ужин в восемь часов.

И опять я тронулся в путь, конечно, по кратчайшей линии. Благо оставалось перевалить лишь одну невысокую сопку. Невесомый от голода я гораздо легче, чем раньше, достиг вершины.

Зеленые пушистые сопки лежали внизу. За ними тянулись другие, уже темно-зеленые. В бирюзовой, мигающей слепящими бликами воде играла нерпа. Синими туманными полосами дрожали в горячем воздухе дальние мысы и острова. Полукруглая бухта казалась очерченной белым рейсфедером по голубой кальке. Черный, обгорелый столб, как солнечные часы, бросал на песок четкую тень.

Потом мне сказали, что это была не та бухта, в которую я стремился. Не Копакабана (Холерная), а бухта Идола. Она называлась так потому, что с незапамятных времен стояло в ней деревянное изображение неведомого языческого бога. Лишь в прошлом году его сожгли туристы. Просто так, от нечего делать. Те самые, которые разбивали в этой бухте палатку и пекли на костре мидий Грэйэна. Теперь от идола остался только угольный столб.

А может, туристы были ярыми борцами с идолопоклонством. Вроде католических миссионеров или епископа Диего де Ланды, спалившего все кодексы майя. Грустная шутка, конечно. В бухту, которая «лучше всех в мире», я пошел уже с Володей. Но прежде чем рассказать об этом, надо покончить с поэмой морских ежей, поведать об их Великом истребителе.

Нейфах подтрунивал надо мной и вообще над всей пишущей братией. Рассказывал, как и что о нем писали, как оживляли повествование приземленными бытовыми деталями. Я, конечно, с некоторым высокомерием сказал, что у меня ничего подобного не будет. И правда, меня интересовали совсем другие вещи. Я вообще не собирался писать о Нейфахе, лишь два-три слова сказать о его работе по искусственному оплодотворению ежей. Но сам не знаю, как вышло, что, еще и словом не обмолвившись об этом видном ученом и очень остроумном человеке, я уже успел обозвать его Великим истребителем морских ежей. Очевидно, все же в каждом пишущем человеке где-то прячется стремление к тому, что называют «дешевой занимательностью». Может, конечно, дешевая занимательность тут и ни при чем. Просто так вышло. И ничего страшного в этом нет. А Нейфах действительно изводит до двух тысяч ежей в сезон. Берет он их в левую руку (защищенную брезентовой рукавицей), а правой, вооруженной хирургическими ножницами,

с хрустом взрезает дно и мигом выпотрашивает бедного нудуса или, скажем, сердцевидку. Остается лишь полукруглая чашечка с аккуратным крестообразным узором икры, которую Нейфах до меня не пробовал.

Делает он это ради важнейшей проблемы современной генетики. Сейчас я расскажу об этой проблеме, тесно связанной с одной уникальной биологической особенностью морских ежей. Так уж случилось, что для современного генетика морской еж — это то же, что горох для Менделя или мушка дрозофила для Моргана.

Величайшей победой науки нашего века явилась принципиальная расшифровка генетического кода. Нуклеиновые кислоты без преувеличения открыли новую эру. Но, несмотря на то, что в принципе ученые знают теперь, как синтезируются белки, далеко не на все «почему?» удается дать ответ. Никто, например, не может сказать сегодня, как и в какой момент клетки в организме делаются разными. Действительно, после оплодотворения клетка начинает делиться. Геометрическое удвоение как будто бы должно было привести к появлению миллионов одинаковых клеток. Но на самом деле получается совсем иное. Клетки в какой-то момент, то ли сами по себе, то ли под влиянием неизвестной команды, вдруг начинают приобретать специализацию. Одни группы клеток, грубо говоря, образуют глаза, другие — сердце, третьи — пальцы. И это несмотря на то, что в каждой клетке находится полный набор хромосом, то есть полный генетический план всего организма. Это значит, что реализуется лишь какая-то часть признаков, а остальные — подавляются. По чьему приказу, спрашивается? Один только ген, ответственный за пигментацию, работает почти везде: в волосах, глазах, коже. Остальные гены допускаются к работе лишь с большим выбором. Только небольшому числу счастливцев из огромной армии безработных (у человека, например, сто тысяч или даже миллион различных генов) удается как-то проявить себя. Остальные даже не прозябают на жалкое пособие, они просто законсервированы. Может, весь секрет здесь в особенностях строения хромосом, состоящих из многих генов? Ведь мы лишь в принципе знаем, как построена хромосома, а вторичная и третичная ее структуры пока еще тайна за семью печатями. Это же довольно большая штука, хромосома. Если толщина гена достигает полумикрона, то хромосома вместе с белком, при толщине в 100 ангстрем, вытягивается в нить вполне заметной длины: 1—10 миллиметров. Как такая длиннющая информационная лента умещается в крохотном аппаратике живой клетки, можно лишь гадать. Конечно, правы те, кто говорит, что хромосомы закручены. Конечно, закручены. Весь вопрос — как?

Есть клетки, которые обретают специализацию в первые же часы жизни, а есть такие, которые долго прозябают в сонной одури. Потом вдруг под влиянием гормонов они оживают и активно включаются в работу. Впрочем, только ли под влиянием гормонов? А что заставило другие клетки продуцировать гормоны? Сплошная цепь загадок. Отдельные звенья, конечно, ясны, но весь механизм... Да и один ли механизм включает клетки? Полагают, что один. Не знают только — прямо или косвенно. Вот, к примеру, заработал ген казеина, и молочные железы стали

продуцировать молоко. В этом отрезке цепи все ясно. Но попробуйте сказать, что заставило этот самый казеиновый ген работать и почему он сумел сформировать именно молочные железы. Или ответьте на вопрос, что определяет форму носа. Одним словом, задача сводится к тому, чтобы дать объяснение вопросу вопросов: как синтез разных белков приводит к образованию разных органов? А пока мы не знаем даже, когда гены вообще начинают работать. Сразу же после оплодотворения? После танца хромосом? Рядом остроумных опытов показали, что после оплодотворения гены еще не работают. Когда же?

Если удалить из клетки ядро, в котором хранится наследственная информация, или, говоря иначе, убить хромосомы, клетка все равно будет работать. Как магнитофон с чистой лентой. Даже лучше. Первые стадии развития организма станут протекать вполне нормально. А потом механизм портится. Все клетки получаются одинаковыми и одинаково бесплодными. Нет специализации органов — нет организма.

Нейфах, собственно, и показал, когда начинают работать гены. Убивая гамма-излучением, или актиномицетами, клеточные ядра на разных стадиях развития, он сумел поймать тот изумительный, архиважный момент, когда начинается синтез РНК и белка, то есть когда начинают работать гены.

У морского ежа, например, синтез белка начинается через четыре часа после оплодотворения. Но, черт возьми, решение вопроса всегда рождает кучу нерешенных вопросов. Цепная реакция беспокойства. И действительно, сказать: четыре часа — это очень важно и ценно, но такова человеческая логика: почему именно через четыре часа? Где, наконец, спрятаны эти часы, которые с изумительной точностью включают в работу самый совершенный механизм природы? В каждой клетке спрятаны такие часы? Или они возникают, как новое качество, из совокупности клеток? Чтобы решить эту проблему, надо было разъять организм на отдельные клетки и потом вновь собрать его, как детский «Конструктор». Задача вроде бы немыслимая. Делать такие пертурбации с высшими животными, очевидно, мы вообще никогда не сможем. Но чем ниже стоит на эволюционной ступеньке организм, тем проще его развинтить и свинтить. Ведь механизм сцепления клеток довольно прост. Это всего лишь мостик из белка и кальциевого иона. Этот двухвалентный атом и сцепляет две отдельные белковые молекулы. Стоит убрать из организма кальций, и он разлетится на отдельные детали, как Эйфелева башня без заклепок. А убрать кальций не так уж сложно. Достаточно обработать организм версеном, который связывает кальциевые ионы, или просто хорошо выдержать его в лишенной кальция воде.

Введенный в организм версен делает чудеса. Живое существо превращается в кашу отдельных, но живых — и это очень важно — клеток. Если ввести в эту кашу кальций, клетки вновь соединятся, но беспорядочно, хаотично. Это будет уже конструкция, собранная обезьяной, а не великолепный механизм. Впрочем, постепенно клетки начинают упорядочиваться, восстанавливать старые связи и привычное местоположение. Никто не знает только, как долго надо ждать, пока из

этого хаоса вновь возникнет исходный организм. Впрочем, не в этом дело.

Ученых больше интересует ответ на вопрос, когда начинается синтез в дезагрегированных зародышах. Ведь это означает ответ на вопрос, где таятся таинственные часы: в отдельной клетке или в их совокупности?

Этим, собственно, и занимается Нейфах. Без всякого преувеличения можно сказать, что это крупнейшая проблема сегодняшней биологии. И решается она посредством простых для нашего века экспериментов. Нейфах, как и все его коллеги за рубежом, изучает синтез с помощью меченых аминокислот. Содержащий радиоактивную метку углерод-14 — уридин — легко контролировать с помощью счетчика Гейгера. Он хорошо проникает в клетки и так же хорошо уходит из них.

Остается сказать, почему для этой цели нужны именно морские ежи. По многим причинам. Во-первых, уридин особенно легко проникает в их клетки. Во-вторых, а может быть, именно это обстоятельство и явилось определяющим, еж дает до 8 миллионов икринок (все они, увы, легко умещаются на языке), а, как известно, чем больше исходных единиц, тем, как говорят, лучше статистика. По той же причине на морских ежей тратится совсем немного дорогостоящего меченого уридина. Во всяком случае, экономия уридина с лихвой окупает все затраты на командировку столичного доктора наук за 10 тысяч километров. Конечно, этот доктор наук мог бы поехать и поближе, на Баренцево море, где тоже водятся ежи. Но это тоже было бы не очень выгодно, хотя и совсем по другой причине. На Баренцевом море холодно, и ежи развиваются там гораздо медленнее. Там бы Нейфах смог поставить лишь четыре опыта в месяц, а в бухте Троицы он делает двадцать опытов. Это тоже очень большая выгода. Наконец, нельзя и такие вещи сбрасывать со счетов: ему здесь больше нравится. Я уже не говорю о том, что хорошее настроение тоже определяет эффективность исследований.

И еще одно обстоятельство. Мне кажется, что есть пределы экономии, когда речь идет о науке. У американцев одна печатная работа «стоит» 60 тысяч долларов, у нас — 2 тысячи рублей. Разница, конечно, громадная. Но не всегда она может радовать. Во многих случаях исследовательская работа в Америке поставлена пока лучше, чем у нас. Конечно, далеко не в 30 раз, но лучше. Очевидно, где-то экономическая выгода оборачивается проигрышем.

Недаром в институтах Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР не жалеют денег на оборудование. Лаборатории оснащены там так, что москвичи и ленинградцы могут лишь кусать локти от зависти. Это тоже не последнее обстоятельство, которое заставляет Нейфаха каждое лето брать командировку в бухту Троицы.

Что перед этим дальневосточные суточные и надбавка на «энцефалитную вредность» — труха, нуль без палочки! Но морским ежам все эти перечисленные обстоятельства дорого обходятся. Ведь Нейфах публикует свои работы, и уже у многих буквально руки чешутся на ежей.

Честное слово, когда я увидел, как Нейфах сидит обнаженный по пояс над ведром с ежами и потрошит их одного за другим, я не съел больше ни одного. Бы-

ло жалко. Эти прекрасные, как черные звезды, иглокожие скоро сослужат людям такую же пользу, как бесчисленные легионы лягушек, кроликов и крыс, принесенных в жертву науке.

Пожалуй, на этом можно было бы закончить «Поэму морских ежей». Если бы не один весьма существенный момент. Он заключается в том, что работа Нейфаха, как всякая большая теоретическая работа, получила совершенно непреднамеренно великолепный практический выход. Она оказалась тесно связанной с очень интересующей меня проблемой воспроизводства океанских запасов. Но об этом дальше. Сейчас настала очередь рассказать, наконец, о подводном зиккурате.

Царица звезд

Бухта Холерная, как и следовало ожидать, притаилась влево от каменных гротов. Если бы я пошел тогда в другую сторону, то непременно попал в нее. В отлив же ничего не стоило заплыть в бухту прямо из грота. Потом, когда Володя достал из сейфа морские карты залива Посьета, я быстро разобрался в обстановке. Как сопки чередовались распадками, так бухты разграничивались каменными мысами. Полукруг Троицы, каменный мыс, полукруг бухты Идола, гроты, песчаный полукруг бухты Идола, гроты, песчаный полукруг бухты Холерная, нагромождение камней, бухта Витязь и т. д.

На лодке в один день можно было бы облазить их все. Но мы пошли пешком. По тропе, которая огибала сопки. Без стремительных подъемов и головокружительных спусков. Как ходят в сопках все нормальные люди.

Солнце жгло в полную силу. Я просто оживал, когда мы входили в благодатную тень дубов и каменных берез. Мошка, клещи, даже комары, которые переносят особо опасный японский энцефалит, — все это не шло в сравнение с палящим солнцем. Ведь что там ни говори, а мы находились на той же широте, что и Корсика.

Володя указал мне на вершину ближайшей сопки. В зеленой траве мелькали оранжевые пятна. Это были олени, знаменитые пятнистые олени, которые дают драгоценные панты. В Андреевке большой олений совхоз. Пантачи живут там за проволочной сеткой. Но большие стада бродят и на свободе. То есть это олени думают, что они на свободе. На самом же деле все они на учете. Такой олень может, лишь сорвавшись с сопки, изменить предназначенную ему трагическую судьбу. Ведь у многих из них панты срезают по китайскому рецепту, вместе с черепными выростами. Грамм препарата таких пантов стоит несколько тысяч рублей золотом. Считается, что они обладают особой целебной силой.

Мы шли по кустам папоротника и жесткой осоке. Слепящее море было удивительно голубым. Синими акварельными абрисами виднелись на горизонте дальние острова, скрытые в обычное время лиловой дымкой. Мы сбежали вниз по довольно пологому склону. По сравнению с моим предыдущим походом этот оказался лишь легкой прогулкой.

А бухта действительно выглядела прекрасной. Такие смутно мерещатся в детских мечтах. И снятся ночами. За линией серебристых ив сразу же начинались камни, громадные валуны непередаваемого серо-сиренево-

го оттенка. Того теплого с влажной тенью сиреневого цвета, который так поражает всякого, кому довелось повидать стелы народа майя. Этот цвет не существует сам по себе. Он возникает из удивительного единства яркой зелени, синего неба и сверкающего песка.

Мы сбросили одежду и распластались на этом песке, одни в целом мире. Над камнями дрожали нагретые слои воздуха. Открытая ветрам Японского моря бухта эта благоухала уникальным коктейлем запахов. Сохнущие водоросли, кедровая смола, соль и почему-то ваниль — все смешивалось буквально на наших глазах в горячих слюдяных струях.

Потом мы надели снаряжение и ушли в воду. Тут-то я и увидел фиолетовые пластинки плоских ежей. Иногда на квадратный метр песчаного дна приходилось до пятидесяти животных. Потом я проболтался об этом Великому истребителю, и он сказал, что надо будет сюда заглянуть.

Но дно прекрасной бухты не было интересным. Там, где нет камней и растений, животные зарываются в песок. Поэтому я мог видеть только пластинчатых ежей и зеленых, как кузнечики, раков-отшельников с непомерно разросшейся правой клешней, которая не влезает в ракушку, а лишь прикрывает вход. Отшельник похож на боксера, прикрывающего перчаткой лицо от прямого удара левой. Мы поплыли к гротам, на самый край бухты. Там-то я и увидел, как эти гроты уходят вниз двухметровыми гладкими ступенями. Мы проплывали над затонувшими зиккуратами Лагаша и Ура. Трудно было избавиться от иллюзии, что под нами уходит в туманную синеву сотворенное человеком ступенчатое сооружение. На гладких ступенях, на светло-пепельном и теплом по цвету, даже в воде, камне блистали черно-лиловые иглы нудусов. Это были живые кометы, поднявшиеся из синих глубин ночи по зову халдейских магов и звездочетов. Но никаких магов мы не увидели. Вокруг одни лишь ежи и звезды — морские звезды. О них тоже когда-нибудь напишут стихи. Ведь океанское дно цветет звездами. Они прекрасны и коварны, вездесущи и беспощадны. Их мнимая мягкость обманчива, а красота свирепа и ядовита. Только кровавая актиния с черным, как брабантское кружево, узором может поспорить со звездами красотой. Я видел одну такую готически великолепную актинию. В справочниках я ее не нашел. Про себя же назвал Марией Стюарт.

Первые звезды я увидел в первый же вечер. Почти в полной темноте спустился я с шелестящего обрыва к воде и ступил на пружинящие мостки. Но вода была так прозрачна, а песчаные пятна среди водорослей так светлы на восходе луны, что я легко различил темные геометрические очертания звезд. Звезды лежали в одном только шаге от берега.

Я еле дождался утра. И когда вновь, взрыхляя черную землю и хватаясь за папоротники и кустики алых огневиков, сбежал к воде, звезды лежали на том же месте. Только в утренней кристальной воде, чуть курящейся солнечным туманом, они горели ядовитыми чистыми цветами, которые так искал Гоген в часы безумия.

Я плыву в холодной и тяжелой от соли воде бухты Троицы возле самого пирса. Мимо темных проломов в днище старой каравеллы, откуда китовыми ребрами торчат обломки шпангоутов. Мимо обросших ракушками и зелено-ко-

ричневой слизью свай. Мимо руля, дремлющего на приколе катера. Я раздвигаю скользкие от слизи, но жесткие ленты зостеры. Прямыми грязно-зелеными нитями тянутся они со дна, давая приют каким-то личинкам, медузам и мелким моллюскам. И всюду подо мной лежат неподвижные звезды.

Вот синие кобальтовые патирии с алой, как алая чума, мозаикой узора и оранжевыми солнцами глаз на концах лучей. Строгая безупречная геометрия, как бы бросающая вызов привычному роденовскому хаосу природы. Пятилучевые, шестилучевые, даже четырехлучевые — пентаграммы, могендовиды, мальтийские кресты. Загадочная кабалистика океана. Не оттуда ли пошли все наши древние символы? Любую звезду можно цеплять на муаровую ленту или вешать на шею. Любую генеральскую униформу или дипломатическую визитку украсит этот орден с сиамскими рубинами на синей эмали.

Патирии пухлы, как подушечки для иголок. На вид они кажутся нежными, как атлас. Но впечатление обманчиво. Это живой наждак, которым сподручней всего драить медяшку на корабле. Истинное лицо звезды, так сказать, оборотная сторона медали, обращено к грунту. Оно оранжевое, ядовито-оранжевое, беспокойно и неприятно оранжевое. Сверху звезда кажется неподвижной, снизу она шевелится хищными рядами оранжево-розовых присосков. Ряды эти сходятся в центре, в математическом центре фигуры, где расположено ротовое отверстие.

Я видел, как звезда выедала морского ежа, и понял, от кого прячутся нудусы и интермедиусы. Но еще интереснее следить за тем, как звезда атакует гигантскую мидию. Она обнимает моллюска всеми своими лучами. Сотни присосков напрягаются, пытаясь разжать сомкнутые створки. Но мидия не поддается усилиям облегающего ее разноцветного мешка. Тогда звезда начинает выделять едкий и ядовитый сок. Он разъедает известковую раковину и дурманит моллюска. Смыкающий створки мускул слабеет, и звезде удается просунуть внутрь раковины луч или даже забросить туда свой желудок. И начинается «переваривание вовне». Закончив трапезу, звезда втянет желудок обратно через ротовое отверстие. Представляете себе, что это за желудочек, которому нипочем режущие кромки устриц и мидий, их капканоподобные створки, которые можно разжать лишь ножом.

Но вот иные звезды, с удлиненными лучами, белые или светло-кремовые, забрызганные сиреневыми, фиолетовыми пятнами узора. Это амурские звезды. Они так же коварны и вездесущи, как и патирии. Они особенно лакомы до сладкого мяса мидий и чувствительны к запаху падали.

Вообще мидии по вкусу любому подводному гурману. Их наживляют на крючок, когда ловят в открытом море камбалу, им дают малость протухнуть, чтобы потом бросить в сетку для привлечения креветок. Но сколько раз вы, чертыхаясь, снимете с крючка звезду или оторвете ее от мокрого дна сетки, к которой она намертво присосалась.

Кстати, о камбале. Ребята со станции обычно выезжали на лов камбалы после работы, на закате. За какой-нибудь час они привозили ведро. Это не ужение, не спорт, а нечто вроде прогулки на склад. Но как эта камбала

украшала наш ужин! Жареная, только что пойманная камбала Японского моря! Кто хоть однажды попробовал ее, тот с искренней благодарностью воздаст должное рыбакам. Тем более что на станции свято соблюдают закон: «Принес на кухню рыбу — почисть ее». Да что там закон. Заповедь!

Очень похожи на амурских звезд малиново-красные лиза-строземы. Отдельные экземпляры достигают довольно больших размеров. Есть и напоминающие подсолнух многолучевые звезды — солнечники.

Но царица всех звезд — дистоластерия. Ей по праву принадлежит титул «Мисс Японское море». Раскрашивая дистоластерию, природа проявила себя декадентом. Как передать словами вызывающую траурную окраску этой звезды? Влажный, лоснящийся черный муар лучей, строгий узор из желтовато-белых, как лучшая слоновая кость, шипов, оранжевая пуховая, как спинка гусеницы, бахрома — вот отличительные признаки дистоластерии — полуметровой звезды, которая кичливо носит свой траур, скрывающий все те же розовые ряды червей-присосков.

Я вскрикнул, когда впервые увидел ее в отгороженном камнями от моря садке, куда водолазы складывают пойманную добычу. Начальник водолазов Валерий Левин сразу все понял и тут же подарил мне звезду. Я не стал впрыскивать в нее формалин. Промыл в пресной воде и положил под солнечные лучи на пень возле бунгало. Но даже засушенная дистоластерия осталась прекрасной. Пыльно-серым стал ее черный муар, пожелтела слоновая кость, и побелела бахрома, да и вся она опала и ссохлась. Но, как писали в романах, «на челе графини явственно читались следы былой красоты».

Я увез дистоластерию с собой в Москву. Высохшая и тусклая, лежит она за стеклом. Но без всякого усилия память прокручивает цветную кинопленку. Блестящие камни, зеленая вода, россыпи звезд, ежей, голотурий, красная, как вино, асцидия и в центре она — царица во всем своем великолепии. Моргана, Клеопатра, Лукреция.

А рядом домик водолазов, свайная постройка с плоской крышей и тенистым навесом.

Элегия трепанга

Он стоит у самой воды, к которой спускается ребристый трап. «Трап», потому что в этом доме все как на корабле. Морской телефон для связи с берегом, корабельный хронометр, барометр,

распятый на пружинах в деревянном сундучке.

— У вас все как на корабле,— сказал я Левину.

— Конечно, — улыбнулся он, — у нас все экономно и рационально. А корабль — наивысшее проявление рациональности и экономии места.

Он был явно польщен. Очевидно, я угадал тайный романтический его замысел. Недаром ведь бьют в этом домике склянки. Гул медного гонга долго летит над бухтой.

На открытой веранде сушится пестрое барахло — майки, тельняшки, плавки, полотенца, — как в неореалистском фильме. Слева огромный котел с ровными синими швами сварки, по которым уже ползут желтые потеки ржавчины. Это барокамера. Вернее, будущая барокамера. Ее хотят пустить к концу сезона. Она необходима для тренировки и для возможной декомпрессии водолазов. Ведь что там ни говори, а пора осваивать и большие глубины. Катер есть, снаряжение тоже. Причем отличное снаряжение: японские гидрокостюмы из цветной резины, японские акваланги. Они аккуратно сложены на полках в отсеке аквалангов. Слесарный стол. Верстак. Набор инструментов. Баллоны, компрессоры. А в соседнем отсеке — двухэтажные нары. Матросские койки, так сказать.

В тени, чтобы не испортить солнцем резины, сохнут зеленые, черно-белые и желто-зеленые гидрокостюмы. Словно сказочные ящеры меняли здесь кожу и ушли потом в океан, оставив лишь цветную слинявшую оболочку. Тут же маски, ласты, всевозможные гарпуны и трезубцы, пояса с набором свинцовых блях для быстрого погружения в очень соленое Японское море.

Валерий выбирает для меня акваланг и опускает его в бочку с пресной водой. Ртутная струйка пузырьков, извиваясь, спешит на поверхность. Он с некоторым сомнением качает головой.

— Травит. Все они немного травят, разболтались... Но ничего, сойдет.

Конечно, сойдет. Ведь есть еще страховочный трос. Его тугой карабин прищелкнут к брезентовым лямкам прибора, которые, как терки, дерут обгоревшие плечи. Но и это сойдет. В воде акваланг сделается невесомым, а жесткий брезент смягчит нежная смазка водяных струй.

— Если будет поступать вода, перевернитесь на левый бок и резко продуйте.

Но вот, наконец, живительная прохлада. Исчезает давящий груз акваланга и свинцовых бляшек, проходит жжение на спине и царапанье под лямками. Все проходит, все оседает. Остается только свобода в трехмерном пространстве и удивительное дно. Подальше от берега... Подальше.

Конечно, воздух поступает далеко не свободно и часто приходится ложиться на бок, чтобы избавиться от воды (потом выяснится, что в мембране была дырка), но разве в этом дело?

Сам виноват, что торопился и не проверил акваланг. Ничего, в другой раз все будет иначе! Не торопясь, на досуге подберешь себе прибор, опробуешь его да наденешь гидрокостюм, чтобы можно было подольше пробыть в холодных глубинных слоях. Все это будет потом. А сейчас это неповторимое дно, которое надо то и дело покидать, чтобы глотнуть воздух. Черт с ними, с неполадками и неудобствами! Ведь на дне трепанг. Шутка ли, трепанг!

Как поет это набатное слово!

Оно ключ к южным морям, к удивительным приключениям на море и на суше.

Узкие пироги, малайские прау и джонки под парусом, похожим на крыло летучей мыши. Вскипающий в крови азот, и человек, загорелый и тощий, падающий на розовый песок с выпученными от боли глазами. Зеленые осьминоги, как колышущиеся привидения, встающие из темных расселин. Пальмы, ребристые листья которых дрожат под пассатом над изумрудной лагуной. Уставившееся в переносицу дуло винчестера или кольта сорок восьмого калибра. Медные позеленевшие весы, освещенные красноватым огоньком, плавающим в скорлупе кокосового ореха. Золотые монеты неизвестной чеканки. Радужная пена прибоя. Огромный марлин, с черным копьем на морде и парусом на спине. Катамаран с балансиром. Литая ртутная рыба, бьющаяся на окровавленной остроге.

Все эти чудеса незримо свалены в какой-то темной кладовке памяти. Она заперта на скрипучий заржавленный замок, который почему-то отворяется словом «трепанг».

Вокруг меня синеватые, обросшие мохнатой слизью камни, белые тарелки морских гребешков, ежи и, конечно, звезды. Колышутся желтоватые пузырчатые грозди саргассов, мелкие синюшные крабики боком проваливаются в черные щели. Кусок грунта взлетает вверх и, превратившись в камбалу, улепетывает подальше. Вдруг, сделав резкий поворот, она исчезает на светлом в серых крапинках дне. Розовые и малиновые губки. Пунцовая тугая асцидия, которую называют помидором. Разнообразная рыбья мелочь, пощипывающая мохнатый ворс камней и растений.

Вот знаменитая желтобрюхая рыба-фугу, родственница тропической рыбы-шар. Она тоже способна раздуваться в минуту опасности. Белые лошадиные зубы торчат у нее во рту, который никогда не закрывается. Ее икра ядовита, а в какие-то периоды ядовито́ и мясо. Японцы считают, что ничего нет вкуснее этой уродливой рыбы. Поэтому каждый год там регистрируют до двухсот смертных случаев. Недаром японская пословица гласит: «Хочешь попробовать рыбу-фугу, напиши завещание». В старину детям военнослужащих, которые умерли от яда фугу, даже отказывали в пенсии. Но, как видно, рисковые гурманы в Японии не перевелись. Но не на коричневую пятнистую спину фугу я так неотрывно смотрю.

На песке в голубоватой тени камня лежит огромная колючая гусеница. Я хватаю ее, и она тут же сжимается в тугой резиновый комок. Точно пупырчатый теннисный мяч.

Вместе с драгоценной добычей несусь к берегу. В моих руках лежит совершенно беззащитное существо. Его грозные на вид шипы всего лишь пупырышки на коже. Мягкий известковый скелет спрятан внутри и не может защитить трепанга от врагов. Я положил находку в воду. Коричневая муфточка постепенно распрямилась и вновь выпустила свои безобидные пупырышки.

Мне приходилось есть трепанг в разных видах. Жареный с луком. Тушеный в грибном соусе. С мясом, курицей, ростками бамбука. Скоблянку из трепанга с острой томатной подливкой. Бульон из трепанга и морской капусты. Не ел я только сырого трепанга. И вот впервые увидел его в первозданном виде.

На Дальнем Востоке трепанг

добывают с незапамятных времен. За содержащиеся в нем вещества, оказывающие на человека возбуждающее действие и вызывающие прилив сил, его называют морским женьшенем. Изучение трепанга поэтому относится к прямой компетенции Института биологически активных веществ, которому и принадлежит морская станция.

— Ребята, вы когда-нибудь ели сырой трепанг? — спросил я водолазов.

— Нет, сырой не ели, — сказал Юра Волков — студент Владивостокского университета. — Скоблянку в Золотом Роге ел — вкусно. А сырой — нет.

Остальные только пожали плечами.

— А ведь японские и корейские рыбаки едят его сырым. Это и еда и лекарство почти от всех болезней.

Я взял острый обломок мидии, разрезал тугое резиновое брюхо трепанга, выпотрошил его и промыл в море.

Водолазы следили за мной со скучающим любопытством.

На вкус трепанг походил на мягкий хрящик. И консистенция у него была примерно такая же. Жевать его было не очень легко, но вполне терпимо.

— Хотите? — спросил я Левина, съев большую часть.

— А ничего, знаете ли! — сообщил он, осторожно сжевав маленький кусочек. — Даже вкусно. Как огурец!

Особенно ценятся экземпляры со слабой пигментацией. До революции за белого или голубого трепанга скупщик платил золотую пятерку. Это были большие деньги. Но тот же скупщик брал потом пять-десять тысяч рублей за унцию сухого веса. Так дорого ценился голубой, особо целебный, как полагали, трепанг. Да и обычный, темно-коричневый стоил порядочно. Его варили, потом тщательно сушили на солнце, посыпав пылью древесного угля. В таком виде он поступал на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии. Да и сейчас в магазинах продают именно такой сушеный и черный от угля трепанг. Его надо долго вымачивать и несколько раз варить, сливая черную воду. Лишь после всех этих пертурбаций к нему возвращается мягкость и первоначальные размеры. Ведь сушеный трепанг в несколько раз меньше живого.

Не так уж много осталось этого трепанга в море. Его порядком выловили. Еще бы! Ни на одном продукте моря нельзя было так заработать, как на морском женьшене. Недаром сведения о трепанговых бухтах передавались от отца к сыну.

Каждый свято хранил секрет трепанговых полей. В интересной книжке О. Хлудовой «За голубым порогом» я нашел любопытную цитату из очерков о Японском море Буссе. Вот что там говорится:

«Чтобы судить о действительных размерах этого промысла, необходимо принять во внимание, что вдоль берега с севера залива Св. Ольги и Владивостока вниз до речки Тюмень-Ула занимаются ежегодно промыслом трепанга более тысячи шлюпок. Если допустить, что каждая шлюпка выловит в течение года не более пяти пудов, то получится весьма значительная цифра ценного для китайцев товара, добываемого у русских берегов. Фунт трепанга стоит на месте 50—60 копеек; таким образом, оказывается, что китайские промышленники совершенно безвозмездно увозят ежегодно на родину наших трепангов на сумму до ста тысяч

рублей. В действительности эта цифра гораздо значительнее».

С тех пор минуло много лет. Теперь наши водолазы ловят трепангов не для перекупщиков, которые за колоссальные деньги сбывали его за границу. В любой столовке Владивостока скоблянка из трепангов — дежурное блюдо. Конечно, идет он и на экспорт. Но все дело в том, что и раньше и теперь люди были озабочены лишь тем, чтобы побольше добыть. Жили сегодняшним днем, не думая о восстановлении запасов.

И вот эта проблема, от которой все время отмахивались, встала, что называется, ребром. Спохватились, но, если и не поздно, то в самый критический момент. Тут-то и обнаружилось, что никто в мире даже не знает, с какой скоростью растет трепанг! Сколько лет надо, чтобы из икринки выросло животное кондиционных размеров!

А как без этого говорить о восстановлении запасов? Конечно, сейчас опыты в этом направлении ведутся, но размах их пока еще очень скромен. Вернее, нет никакого размаха. Только первые робкие шаги, нащупывание почвы.

Я видел аквариум во Владивостокском филиале Института океанологии, в котором рядом с жалким кустиком зостеры лежит на дне серо-бурый трепанг. Его поместили туда совсем крохотным. Теперь он подрос. Известна динамика этого роста. Вроде бы совершенно примитивное исследование, недостойное века радиационной химии и ультрацентрифуг, но тем не менее оно пролило хоть какой-то свет на совершенно неизученную область. Вот в каком запущенном состоянии находится наука о воспроизводстве этого вида морской фауны. Наука, которой, по существу, еще нет.

В Посьете, на рыбокомбинате, в лаборатории ТИНРО бьется над этой проблемой молодая энтузиастка Нина Мокрецова. Она взялась за очень важную проблему искусственного оплодотворения трепанга. Взялась горячо, жадно, но без большого опыта за плечами и без больших знаний. Да и оборудование у нее не чета тому, которое есть даже в прибрежном павильончике Нейфаха. Но все это дело, конечно, наживное. Было бы желание, было бы понимание, что бережное отношение к океану — может быть единственная возможность победить голод на земле. Как символы отчаянной этой борьбы висят на стенах лаборатории японские поплавки с черными иероглифами молитвы.

Раз уж речь зашла о павильончике Великого истребителя, придется поподробнее рассказать, чем он там занимается. Это действительно нужно сделать, потому что, во-первых, надо, наконец, покончить с ежами, а во-вторых, без этого трудно рассказывать о работе Нины. Ведь ежи и трепанг — родственники, об этом уже говорилось.

Итак, синий павильончик, стоящий тоже, как и домик водолазов, на самом берегу. У окон, которые смотрят на бухту, длинный лабораторный стол. Там стоят микроскопы, баки, чашки Петри и прочее стекло. У противоположной стены стол поменьше. К нему привинчены ручные центрифуги (они могут дать до 2500 об/сек), рядом компрессоры для подачи воздуха и тоже всевозможное стекло. Под столом знаменитое эмалированное ведро с ежами. Два таких же зеленых ведра Нейфах вез из Москвы,

хотя их можно в любых количествах закупить во Владивостоке. Но дело не в этом.

Меж столов узкая полоса дощатого пола. На ней Александр Александрович спал три ночи, пока не построил себе палатку рядом с павильоном. Сложное оборудование: ультрацентрифуги, термостаты (тоже ультра), спектрографы и гейгеры — находится за сопкой, в лабораторном корпусе.

В павильоне, кроме профессора, молодой человек и две девушки — помощники и лаборанты. Работа буквально кипит, несмотря на старания Нейфаха придать ей еще более высокий темп. Но возвратимся к остановленному в начале повествования кадру, когда Нейфах взрезает хирургическими ножницами скелет ежа.

Он делает это, чтобы добыть икру. Под микроскопом взрезанные ежи-самки отделяются от ежей-самцов. Потом выбираются лучшие производители. Созревшая икра помещается в центрифугу, где она отделяется от прочей ненужной для эксперимента ткани. Так же поступают и со сперматозоидами. Потом в чашке Петри, на которую нацелен тубус микроскопа, совершается таинство оплодотворения. Зачем? Об этом уже шла речь. Здесь мы не будем больше говорить о теоретических вопросах генетики. Поговорим о самом оплодотворении.

Прежде всего вероятность оплодотворения. Очевидно, она наиболее высока, когда на одну икринку приходится один сперматозоид. Если сперматозоидов мало, часть икры остается неоплодотворенной, много — наблюдается полиспермия, когда два или несколько сперматозоидов одновременно атакуют одну икринку.

Итак, икра помещается в чашку Петри, куда непрерывно поступает из компрессора воздух, чтобы она не загнила. В микроскоп икра похожа на прозрачную сеть из круглых ячеек. Икринки ежей довольно велики, порядка 100 микрон. Но вот в поле зрения появляется огромная труба с черными полосами, оттеняющими сверкающий канал. Это пипетка со сперматозоидами. И тут с прозрачными икринками начинают происходить загадочные превращения. Прямо на глазах, в какие-то секунды у них образуются крохотные выступы, которые быстро разглаживаются, после чего вокруг икринки появляется нечто вроде нимба. Это защитная оболочка. Она оберегает оплодотворенную икринку от второго сперматозоида. Но если сперматозоидов много, то второй претендент может успеть прорваться к оплодотворенной, но еще не облачившейся в защитный нимб икринке. Это и будет полиспермия.

Для природы достаточно, чтобы оплодотворились, развились, и, превратившись во взрослых ежей, дали потомство всего две икринки. Нейфаху, чтобы добиться в исследовательской работе хорошей статистики, нужно, чтобы оплодотворилось как можно больше икры. По счастью, это же нужно и тем, кто работает над воспроизводством морской фауны. Чем выше процент оплодотворения, тем, естественно, быстрее восполняется убыль выловленных животных.

В море этот процент низок. Природа слепа. Ей неведомо, что человек превратился в промышленного пожирателя ее детей. Поэтому она работает по старинке, по принципу «двух икринок».

У Нейфаха этот процент высок. Он следит за температурой и химизмом воды, продувает икру воздухом. Ему нужна хорошая статистика, и он нашел способы ее получить.

Эпос крабов

Мы проплывали над синими расселинами, куда солнечные лучи добираются в виде едва светящегося тумана. Оттуда по вертикальной стене зиккурата медленно выползали звезды. Начинался прилив. В ушах шумела заплескивающая в гроты волна. Море перетряхивало песчинки, перемалывало в пыль известковые скелеты. Это был многоголосый концерт прилива, сопровождаемый пощелкиванием раков альфеусов и свистом воронок в пещерах.

Володя сделал мне знак, что пора уматывать. Я видел, как мечутся в каменных промоинах загнанные течением маленькие пестрые рыбки, как уходит по косой трассе к подводным причалам молочно-фиолетовый аэростат медузы. Мы тоже покинули гроты и поплыли назад. Над пологим песчаным ложем бухты волна уже не ощущалась. Здесь царили мир и покой. Волнистые солнечные блики ласково перебегали по песчаной стране плоских ежей.

И вдруг я увидел на дне раковину. Обычную створку небольшого моллюска, под которой скорее угадывались, чем виднелись, паучьи лапки краба. Я нырнул. Глубина в этом месте была довольно значительной. Холодные придонные потоки сдавили наполненную воздухом грудь. Тупая боль холодным свинцом залила уши. Я схватил раковину с крабом и рванулся вверх, где бултыхалось зеленоватое ртутное зеркало.

На берегу я понял, что поймал необычного краба. Небольшие клещи он плотно прижимал к телу, даже не пытаясь, как это принято у крабов, ущипнуть похитителя. Две пары длинных передних ног были снабжены острыми загнутыми косами, а две пары задних, крохотных и бледных, почти недоразвитых, крепко сжимали пустую створку с круглой дыркой посредине. Раковина, как щит, прикрывала лиловую спинку краба.

— Это краб-самурай, — сказал Володя. — Дориппе. Видите узор на спине? Точь-в-точь лицо самурая, каким его рисуют на старинных японских масках. Он стыдливо прячет эту свирепую рожу под раковиной или травой. Поэтому его называют еще и стыдливым крабом. Конечно, он не столько скрывает маску, сколько сам прячется под пустой скорлупкой от врагов. Биологическая целесообразность.

Конечно, лицо самурая на теле японского краба всего лишь случайное сходство, прихотливая игра вероятностей. Этот узор не нужен крабу, или, вернее, мы не знаем, зачем он ему нужен. Ведь под раковиной можно прятать и вовсе неразрисованную спину. Природе свойственно отвечать далеко не на все наши вопросы. Может быть, на них просто нет ответа, а может быть, мы просто не умеем спрашивать.

В самом деле, почему на голове японской рыбы Salanx «выгравирован» герб клана Токугава? Зачем бабочка мертвая голова носит зловещую эмблему черепа со скрещенными костями? Отчего рыба Apius proops так удивительно похожа на распятие? Как объяснить, что на хвосте шипоглава

арабской вязью «написаны» заклинания «ля илла иль алла» (нет бога, кроме аллаха) и «шани алла» (бойся аллаха)?

Бессмысленность, вернее бессильная тщета, подобных вопросов очевидна. Все эти животные существовали задолго до Христа и Магомета, задолго до появления письменности, задолго до человека, наконец. Природа многообразна, и она может позволить себе такую роскошь, как случайное сходство. Именно роскошь, поскольку это сходство, сколь бы удивительным оно ни казалось, не обусловлено какой-либо биологической целесообразностью.

Я долго держал в руках странного лилового крабика. Он так и не расстался со своей раковиной, которая уже не могла спасти его под раскаленным солнцем. Разглядывая круглую дырку на раковине, я решил, что краб проделал ее сам для того, чтобы уследить за опасностью сверху.

Но таких раковин с круглой дыркой в центре в выбросах можно найти сколько угодно, а краб-самурай довольно редок. В чем же здесь дело? Потом я прочел, что дырки в раковинах сверлят другие моллюски, и «самурайчик» тут ни при чем. Он просто подобрал уже готовую раковину.

Собственно, с рассказа о крабе и ракушке начинается наше почти эпическое повествование о дальневосточных крабах. Не очень веселое, в общем, повествование. Я присутствовал на любопытном мероприятии, которое называлось «дегустацией крабов из новых районов». Директор ТИНРО Игорь Владимирович Кизеветтер провел меня по узким и длинным коридорам к винтовой лестнице, ведущей глубоко вниз (институт занимает помещение, в котором был когда-то Русско-Китайский банк). В лаборатории, на месте которой раньше была золотая кладовая, стоял длинный стол, заставленный банками крабов. Я впервые в жизни видел такое изобилие. Правда, недаром здесь была именно золотая кладовая. За столом сидели люди с блокнотами и карандашами. Перед каждым обеденный прибор с айсбергом-салфеткой и несколько раскрытых банок. Очень веселая работа. Жаль только, что вместо вина стояли химические стаканы, в которых светился коньячным янтарем крепкий холодный чай для «снятия вкуса». Красно-белое крабье мясо лежало на чашках весов, упоительный крабий сок мутным опалом поблескивал в мерных колбах. Речь шла о том, пускать ли консервы на экспорт. Тут нужно было оценить вкус и букет, содержание «лапши» и «мяса», твердых и жидких частей.

Кизеветтер подвинул мне тарелку с крабами. И... — я знаю, мне никто не поверит, но что было, то было, — я так и не попробовал тех крабов. Пришлось все время писать. Разговор был очень интересный, и я не хотел ничего упустить.

А потом Кизеветтер, наклонившись ко мне, шепнул, что, дескать, есть смысл незаметно ускользнуть и продолжить беседу у него в кабинете. Я обернулся, чтобы взглянуть в последний раз на сокровища золотой кладовой. Жаркий спор был в самом разгаре. Кто-то лениво ковырял вилкой белую крабью лапшу, кто-то брезгливо прополаскивал рот чаем. Я вздохнул и вышел вслед за Кизеветтером.

Теперь, перелистывая свой блокнот, где каждая страница эквивалентна упущенной банке, я вновь и вновь возвращаюсь памятью к тому разговору. Дело не в том, что я узнал тогда много нового о жизни камчатского краба, о методах его лова и консервации. В конце концов все эти сведения можно было получить, не выезжая из Москвы. Не в них, совсем не в них дело. Главное, на мой взгляд, в том, что тогда я со всей ясностью понял, какое это сложное дело воспроизводство запасов. Члены комиссии говорили об увеличении лова крабов, о японских одноразовых сетях. Они делали свое дело, важное, нужное дело, и план будущего года волновал их гораздо больше, чем перспективы на ближайшее десятилетие.

Но походя, между прочим речь шла и о том, сколь медленно растет краб и как сложны и малоизвестны метаморфозы его личинок. Именно эти случайные, обрывочные фразы вдруг сами собой сформировались в моем мозгу в четкую и беспощадную мысль: даже если уже

сегодня мы со всей серьезностью возьмемся решать проблему воспроизводства, то дай бог пожать нам плоды трудов рук своих через десять-пятнадцать лет!

Именно так. Не надо надеяться на чудо. Непредвиденных чудес в наш век не бывает. Воспроизводство запасов океана — это задача на долгие годы, кропотливый труд, который потребует колоссальных затрат. Конечно, он окупится, причем окупится с лихвой, но очень не скоро.

Вся сложность проблемы может быть проиллюстрирована на примере камчатского краба. Но это будет разговор и о рыбе, и о трепанге, и о гребешке — о морских запасах вообще. Просто в качестве конкретного примера берется краб.

Начнем с того, что обитатели океана непрерывно мигрируют. Размножаются они в одном месте, питаются — в другом, а только появившиеся на свет мальки увлекаются морскими течениями за тысячи миль от родных берегов. И почти никогда нельзя сказать, когда они возвратятся обратно.

Возьмем такой традиционный район крабового лова, как западный шельф Камчатки. Промысел здесь идет по всему побережью — от мыса Южного до мыса Лопатки. Но никто там ни разу не видел мальков. Только в последние годы к северу от мыса Южного и далее, вдоль восточного побережья залива Шелихова до самой Пенжинской губы, обнаружили, наконец, этих мальков. Оказалось, что они обитают там, где нет взрослых крабов. Вот и решайте после этого проблему охраны! Не говоря уже о том, что раздельное существование отцов и детей резко расширяет границы крабьей территории. А чем больше район, тем серьезнее трудности, связанные с учетом и охраной.

Но причуды малька — это только полбеды. До того, как стать мальком, краб должен пройти еще стадию личинки (зоэа). Это значит, что краб имеет планктонную личинку, что во многом и определяет структуру его стад, место их обитания, механизм воспроизводства. Волей-неволей человек, занятый воспроизводством крабов, превратится в игрушку волн. Ведь планктон целиком зависит от направления течений, их температуры, погоды на земле и хромосферных вспышек на Солнце, то есть от всех тех факторов, которыми мы пока не научились управлять. Вот и выходит, что колоссальные затраты могут в один непрекрасный день развеяться по ветру в самом буквальном смысле этого слова.

Течения — это реки без берегов. Жизнь планктона в таких реках подобна жизни пассажиров в поезде очень дальнего следования, идущего без остановок. Планктон уже никогда не возвратится к истокам несущей его реки. А ведь в пути его ожидают сотни неведомых опасностей. Резкое изменение температуры, взрывообразное размножение враждебной микрофлоры, внезапное изменение солености — да мало ли что! Киты и китовые акулы, которые пожирают планктон миллионами тонн, — это самое легкое испытание, нечто вроде небольшого подоходного налога.

Только теперь, благодаря новейшим океанографическим исследованиям мы обрели надежду связать поведение планктона с системами циркуляции воды в океанах.

Некоторые исследователи считают, что в открытой части Тихого, Атлантического и Индий-

ского океанов существуют всего несколько огромных планктонных сообществ — биоценозов, границы которых определяются той или иной зоной циркуляции. Кстати, одним из важнейших поставщиков планктона является океанское дно. Примерно 70 процентов видов морских донных животных обладают планктонными личинками. Это очень важная цифра! Ведь планктон не просто подвержен всем случайностям жизни в толще воды. Он покорный раб этих случайностей. Вот и получается, что непредвиденные изменения в атмосфере или в гидросфере могут роковым образом сказаться на численности многих и многих видов морских обитателей. Отсюда и неожиданное для нас исчезновение тех или иных животных или внезапная (опять же для нас) вспышка их жизни.

Кроме зон постоянного воспроизводства планктона, установлены, увы, и зоны его безвозвратного выноса. Их называют еще стерильными зонами выселения. Так, к примеру, колония омаров в северо-восточной части залива Лаврентия существует только за счет приноса личинок из южной части залива. Выходит, что не омары облюбовали для себя этот район, а морские течения просто-напросто распорядились за них.

И это далеко не единичный пример. И не только планктона он касается. Даже взрослые угри, которым вроде самим богом положено идти на нерест в Саргассово море, не всегда могут исполнить свой почти мистический обет. Стерильные области выселения оказываются более могущественными, чем инстинкт.

Поэтому совершенно прав доктор биологических наук Л. Г. Виноградов, говоря, что принципы охраны запасов в стерильной зоне выселения должны отличаться от принятых в основной области обитания.

Но вернемся к проблеме камчатского краба. Подобно «классическому» планктону, то есть организмам, постоянно находящимся в планктонной реке, планктон-сезонник, вроде крабьих личинок, будет испытывать все превратности своего принудительного путешествия. Его количество будет сильно колебаться год от году. Богатые урожаи будут сменяться неурожаями. Но тем личинкам, которых минуют все превратности судьбы, будет, наконец, дана возможность покинуть летящий без остановок поезд. Мальки могут осесть на дно, взрослые животные — даже возвратиться к родным берегам. Но вся область обитания животных и структура их стад во многом определяются той личиночной стадией жизни. А от годовых изменений разноса личинок полностью зависит урожай. Это целиком относится к камчатскому крабу.

Конечно, пока человек мало что может тут сделать. Могучим течениям плевать, простите за грубость, на все наши надежды и чаяния. Но не только они стоят на нашем пути к изобилию. В отличие от большинства видов рыб краб растет очень и очень медленно.

Подобно нашим речным ракам, самка камчатского краба носит оплодотворенную икру под брюшком. Инкубация продолжается 11 месяцев! Это намного дольше, чем у рыб, большинства наземных животных, даже у человека. Но главное, что 11 месяцев судьба многих будущих крабов зависит от одной лишь судьбы. А крабу не так-то просто прожить целый год в море.

Мясо его лакомо не только для нас с вами.

Но, допустим, все складывается благополучно, и самка с созревшей икрой может в одно прекрасное весеннее утро подойти к берегу. Из икринок вылупляются крохотные стеклянные мушки — зоэа, скорее похожие на креветок, чем на крабов. С этого момента зоэа предоставлены самим себе.

Освобожденная от всяких домашних забот самка продолжает свой путь к прибрежным камням, а личинки, если они не осядут на губительное для них дно, пускаются в океанические странствия. За те два месяца, которые им предстоит прожить в планктонной реке, они смогут побывать в Японии, на Аляске или даже на Филиппинах. Никто не знает, куда их занесет течение. В таком путешествии, когда сегодня не знаешь, где окажешься завтра, конечно, есть своя прелесть. Но только не для планктона.

Впрочем, личинки времени даром не теряют. За время своего отчаянного путешествия, о котором и не мечтал Рембо, создавая свой «Пьяный корабль», они несколько раз линяют и довольно заметно растут. К началу третьего месяца они обзаводятся всеми положенными крабам по штату конечностями и колючим панцирем. Такая личинка производится уже в более высокий ранг — глаукотон — и получает право безбоязненно опуститься на дно. Там глаукотон недельки через три превратится в малька. Это уже точная модель взрослого краба в масштабе 1 : 50. Ширина щита такого игрушечного крабика всего 2 миллиметра. И как долго ему, если опять-таки повезет, предстоит расти! Только через год его щит увеличится до 8 миллиметров. А потом понадобится еще десять лет, чтобы краб достиг 10 сантиметров, и пятнадцать лет — 15 сантиметров.

Столь же медленно растет камчатский краб и у острова Хоккайдо и у берегов нашего Приморья. Я ловил крохотных крабиков, покрытых длинными и острыми шипами, которым было, наверное, два или три года. Потом я отпускал их, мысленно желая им не попасть в консервную банку, и они боком сердито уходили в зеленую глубину. Только у теплых берегов Америки камчатский краб растет быстрее. Но и там проходит не меньше 5—6 лет, пока он достигает разрешенных для лова размеров.

Самка камчатского краба начинает метать икру, достигнув 9 сантиметров по ширине щита, а зрелый самец должен быть еще больше [1]. Средний размер крабов-самцов, выловленных на Камчатке (самок ловить запрещено), достигает 15—17 сантиметров. Это значит, что их возраст 15—17 лет! Наиболее крупные самцы, пойманные у наших берегов, достигали 25 сантиметров, на Аляске — 28 сантиметров.

Это уже ветераны! Волосатые и когтистые ноги их, в которых и скрываются самые изысканные куски мяса, будут с добрый метр. Из каждой такой ноги выйдет две банки консервов класса «экстра», содержащих только красные столбики мяса и сок, без всякой лапши.

Зимой крабы уходят подальше от берегов. Не покидая западнокамчатского шельфа, они следуют вдоль двухсотметровой изо-

[1] По данным проф. Л. Г. Виноградова.

баты, где глубинные тихоокеанские воды, проникающие в Охотское море через курильские проливы, обеспечивают им хорошее питание и приятный климат +1, +2°.

Зато с усилением напора глубинных вод, которое происходит весной, крабы устремляются к мелководьям, где после взлома и выноса льдов начинается прогрев воды. По пути им предстоит пересечь очень неприятную для них зону, где температура падает до —1,7°. Они всегда стараются преодолеть этот холодный район по мостикам более теплой весенней воды, либо пересекают его в самом узком месте. По сути, полосы холодной воды являются естественными границами между отдельными стадами камчатского краба.

Но подводные границы — это не границы на суше. Они текучи и переменчивы. Год назад в данном районе обнаружены холодные воды, год спустя от них не осталось и следа. Так же непостоянны и подводные пути крабов. Осенью на всем шельфе температура выравнивается до +1, +3° и холодные слои исчезают совсем. Теперь ничто не мешает соединению отдельных стад. И крабы уходят на зимовку единым строем, позабыв о недавних племенных различиях.

Так мигрируют в течение года промысловые самцы.

Примерно так же ведут себя в зимний и весенний периоды самки и молодые самцы. Но в отличие от взрослых самцов они все лето проводят в теплых прибрежных водах, а не отступают в глубины вслед за изотермой +2°.

Недаром я встречал в заливе Петра Великого молодых крабов, но ни разу не видел взрослого.

Такое разделение очень удобно для лова. Лови себе пожалуйста кондиционных самцов, не затрагивая непромысловую молодь и самок. И действительно, теперь районы с преобладанием молоди закрыты для лова. Сейчас таким запретным участком считается вся акватория шельфа от 56°20′ до 57° северной широты.

Но, конечно, далеко не всегда крабы делают то, что от них ожидают люди. И если период и районы спаривания, когда самки соединяются с самцами, еще как-то можно предугадать, то совершенно неизвестно, где и когда молодые самцы проникнут на территорию взрослых. А такое случается часто. Дорого обходится молоди раннее знакомство с путиной! Сколько их погибает, сколько уходит калеками... А потом года два-три спустя капитаны краболовов будут почесывать затылки: «И куда девались крабы?»

Вот почему столь важно до конца раскрыть все секреты сложного механизма возобновления крабовых стад. И конечно, надо совершенствовать, а может, даже вовсе менять методы лова. К счастью, мясо самок не столь вкусно, как у самцов, и, следовательно, не пройдет высшим сортом. Это лучше всяких запретов оберегает крабов от поголовного истребления.

Надо учесть, что у нас законы одни, у американцев или японцев — другие. А краб государственных границ не признает. Конечно, в последние годы удалось достигнуть договоренности и в международном масштабе, установить некоторые важные запреты. Но все это пока лишь минимально необходимые меры, способные в лучшем случае лишь отдалить полный облов.

Надо думать о главном, о возобновлении, может, даже приумножении запасов.

Раньше крабов ловили, что называется, подчистую, полагая, что каждое стадо живет само по себе. Выловил одно, начинай вылавливать другое, а уж в третьем подрастет к тому времени молодь. Но, как это обычно бывает, оказалось, что природа намного сложнее.

Японский океанограф Марукава и наш гидробиолог Ю. И. Галкин показали, что планктонные личинки краба сносятся у западного побережья Камчатки к северу. И все, без исключения, стада снабжаются этой северной молодью. Чтобы прояснить это первоочередной важности явление, советские и японские исследователи пометили 100 000(!) крабов. К настоящему времени в разных местах выловлено уже более 5000 таких меченых крабов. Все они тщательно изучаются в наших и японских исследовательских институтах.

Первые предварительные результаты этого грандиозного эксперимента позволили японцу Сато высказать предположение, что миграция крабов еще сложнее, чем это полагают его коллеги Марукава и Галкин. Сато считает, что крабы в основном движутся с юга на север, а их воспроизводство наиболее интенсивно протекает в Ичинском и южной части Хайрюзовского районов, где уловы молоди и самок в японских промысловых сетях особенно велики.

Но биостатистические материалы, полученные за шесть лет работы советских исследовательских судов, подтвердили гипотезу Марукавы — Галкина.

Выяснилось, что большая часть молодых самцов сосредоточена в северном — Хайрюзовском районе и к югу число их уменьшается. Ю. И. Галкин показал даже, как влияет распределение слоев с отрицательной температурой воды на пополнение более южных стад хайрюзовской молодью.

В своей последней (1968) работе о камчатском крабе Л. Г. Виноградов писал: «Хотя в целом в пределах всего западнокамчатского шельфа самцы и самки представлены поровну, большинство самок, подобно молодым самцам, также встречаются в северном — Хайрюзовском районе, а в самом южном — Озерновском — их почти нет. Если мы примем во внимание, что, судя по опытам в аквариумах, один самец способен оплодотворить до пяти самок и что часть самцов размером менее 13 сантиметров способна к оплодотворению, становится очевидным, что в северном районе имеются все условия для производства большой массы личинок. В центральных районах личинок может быть произведено гораздо меньше, а в самом южном районе почти некому их производить».

Этот важнейший вывод был подтвержден В. Е. Родиным и Р. Р. Макаровым, которые исследовали распределение планктонных личинок вдоль всего шельфа. Личинки были обнаружены главным образом лишь в северной части. Большая часть этих беззащитных, подобных капелькам цветного стекла, организмов гибнет, а те, что остаются, сносятся течением к северу.

Теперь попробуем проследить за судьбой образовавшихся из этих уцелевших личинок мальков. Мальков в богатейших районах западного шельфа, как уже говорилось, нет. Эти мальки и юные крабы младшего школьного воз-

раста (до шести лет) в изобилии встречаются у берегов Хоккайдо, на Аляске, в заливе Петра Великого, только в промысловых районах Камчатки их долгое время не могли найти.

Решили предпринять тщательные поиски мальков. В район шельфа снарядили экспедицию аквалангистов, суда снабдили специальным зоологическом тралом Сигсби, которому не страшен самый тяжелый режим работы на каменистом дне. Только ценой таких усилий сумели добыть небольшое количество мальков. Год, а то и два года подряд они вообще не попадались, потом обнаружились вдруг у острова Птичьего, что в центре Хайрюзовского района. К северу число мальков возросло, а в заливе Шелихова, как уже говорилось, пошли одни мальки. Так и установили, что дети живут отдельно от взрослых. Мальки обычно держатся прибрежной зоны на средней глубине 40 м среди камней и обрастаний. Больше всего им по нраву колонии гидроидных полипов, кристаллоподобные друзы морских желудей, чахлые кустики красных водорослей. В некоторых местах аквалангисты находили мальков сидящими на крупных шестилучевых звездах — полярной лентасерии. Океан подобен единому живому организму. Все звенья, все механизмы здесь одинаково важны.

Где живут, чем питаются крабы?

Разве от ответов на эти вопросы не зависит вся наша проблема? В заливе Петра Великого, в частности у нас в бухте Троицы, мальки питаются полипами, живущими в чашечках обелии. В желудках камчатских мальков обнаружили педициллярии — мелкие придатки со спины морской звезды, которыми она чистит кожу. Вот и замкнулся круг, возвративший нас к морским звездам. Вроде бы абсолютно бесполезные для человека, хотя и красивые, морские хищники! А удалите из океанского цикла это звено, и исчезнут крабы. Сколько еще таких и куда более сложных связей в море! О многих из них мы даже не подозреваем.

Но близится к концу баллада о крабах. Пора подвести некоторые итоги.

Пожалуй, самым важным в рассказанной здесь истории является то, что все стада камчатского краба образуют, как говорят биологи, единую сложную популяцию. Воспроизводство же этой популяции — это квинтэссенция наших рассуждений — почти целиком лежит на плечах только одного стада — хайрюзовского. Более южные стада: ичинское, колпаковское и кихичское, хотя и производят какое-то количество личинок, но никак не могут обойтись без притока молоди с севера. Если закрыть этот приток, стада постепенно вымрут.

Вот и получается, что для разведения больших промысловых стад мало создать условия, целиком удовлетворяющие и личинок, и мальков, и производителей. Необходимо еще и удачное взаиморасположение районов, в которых обитают животные, находящиеся на разных стадиях своего жизненного цикла. Очевидно, многие неудачные попытки увеличить запасы промысловых животных как раз и объясняются тем, что не было соблюдено последнее условие. Вроде бы все благоприятствует размножению и росту: богатый корм, растительность, температура и соленость воды, подходящий грунт, наконец, отсутствует лишь «мелочь» —

подходящая система течений, и эта мелочь оказывается роковой.

Вот почему так далеко от успешных опытов в аквариумах до подводных ферм.

Много трудов затратит Нина Мокрецова, пока найдет оптимальный режим размножения трепанга. Но еще больше трудов потребует переход от лабораторных условий к природным. Мы очень мало еще знаем породившее нас море...

Но для охраны существующих стад морских животных найденные закономерности взаиморасположения и воспроизводства уже сегодня играют исключительную роль. Раскрыв эту тайну природы, человек получил как бы руководство к лову. И руководство это надо неукоснительно соблюдать. Иначе беда. Иначе океан быстро оскудеет.

Последнее десятилетие действует и совершенствуется сложная система мер по охране запасов и упорядочению промысла краба. Вот важнейшие из них: 1) строгое соблюдение установленного размера вылова, 2) запрет лова в южной части Хайрюзовского района, 3) обязательный выпуск самок и молоди из сетей.

Все это очень правильно, но отнюдь не достаточно и, к сожалению, не всегда эффективно. Первый пункт должен обеспечить равномерность добычи взрослых самцов. Здесь более или менее все в порядке. Вопрос лишь в том, насколько правильна плановая цифра. Пункт второй «защищает» самок в местах максимального вылупления личинок. Это необходимая, но тоже лишь минимальная мера. Минимальная потому, что защищает только самок и молодь, тогда как в защите нуждаются и молодые самцы. А они, к сожалению, покидают заповедный район, не достигнув еще минимального промыслового размера. За границами же района они могут легко попасть в сеть. Можно возразить, правда, что в этом случае они подпадают под защиту пункта № 3. Но этого недостаточно, так как даже при наличии строгих правил могут быть потери. Надо переходить на добычу ловушками.

Нужны селективные орудия лова, которые бы «сами» отличали кондиционных крабов от непромысловых. Даже такая простейшая вещь, как сеть с толстой нитью, смогла бы принести здесь неоценимую пользу. Ведь молодому крабу гораздо легче уйти из нее самому. Конечно, такие сети не выход из положения. Необходимо разработать качественно иные методы и орудия лова. Лишь тогда три пункта сумеют защитить крабов от постепенного истребления.

Наконец, еще одно. Кроме камчатского краба, в дальневосточных морях обитают и другие виды: краб-стригун, волосатый, голубой. Они не менее вкусны, чем камчатский краб. Просто в них меньше пищевых частей, и лов их более сложен. Естественно, что добыча таких крабов менее выгодна. Но это ведь не причина игнорировать запасы некамчатского краба. А так оно и происходит.

Пора понять, что мгновенная грошовая выгода со временем оборачивается огромными убытками.

Апофеоз гребешков

Мы оставляем Копакабану уже под вечер. Одеваясь, я обнаружил присосавшегося к ноге клеща.

— Непостижимо! — сказал я Володе. — Мы же несколько раз погружались!

— Они такие цепкие... А может, его принесло ветром с сопки. Ну, нам пора.

Я в последний раз напился воды из «колодца», который вырыли прямо в песке — стекающие с сопки воды, встречая подпор океана, скапливаются под песчаной подушкой, — и мы полезли на сопку. Володя, как всегда, шел быстро, сосредоточенно думая о каких-то своих делах. А я поминутно оборачивался, чтобы еще раз взглянуть на бухту. Я знал, что скорее всего уже никогда не увижу ее. Завтра мне предстояло возвратиться во Владивосток, откуда раз в день ходит катер на остров Попов. И на Путятин не худо бы съездить... Вряд ли я так скоро опять попаду сюда. Но, даже если попаду, разве можно позволить себе роскошь возвращаться на круги своя, когда есть столько других, еще невиданных, властно манящих к себе мест. Курилы, Командоры, Южный Сахалин — да мало ли!

Почему нам свойственно привязываться к мимолетному, глупо грустить о преходящем? Мы и сами-то не вечны, а хотим где-то остаться почти навечно! И не в одном месте, а в нескольких сразу. Это ужасно нелогично. Мы не делаем выбора. Всей душой хотим быть сразу везде и всегда, хотя отлично знаем, как это смешно и нелепо. Но нам совсем не смешно. Нам очень грустно. И мы долго смотрим на то, что покидаем, словно хотим унести в себе нематериальный отпечаток всего. И чем совершеннее окружающая красота, тем грустнее становится. Ну, бросай, бросай в море монетки, как будто это тебе хоть чем-нибудь может помочь.

А тут по упавшему стволу шныряет парочка дымчатых, в коричневую полоску бурундучков. Словно приглашают сыграть с ними в прятки. Вспорхнул золотой с зеленым фазан. И совсем розовые на закате олени что-то такое насвистывают тебе.

— Ну ладно...

Когда мы, уже миновав столовую и лаборатории, поднимались на свою сопку, Володя указал мне на стоявший на дороге «газик».

— Секретарь райкома приехал. Это по вашу душу. Будет разговор.

— А откуда он узнал?

— Я ему позвонил.

На сопке нас действительно ожидал немолодой, но, как говорится, в самом соку мужчина, поджарый, с красным, обветренным лицом и выгоревшими волосами.

Потом в бунгало состоялся разговор «под чилима».

— Значит, план такой, — сказал секретарь, — завтра вы прибываете ко мне в Краскино, и мы отправляемся в Посьет. Потом переночуем и с утра поедем по району, до самой границы.

— Спасибо, Александр Ильич, это очень заманчиво, но меня ждут на острове Попов.

— А чего ты там не видал, на Попова? Рыбокомбинат? Так у нас их здесь много. И в Посьете и тут, рядом.

Действительно, с того берега бухты доносилась музыка. На рыбокомбинате справляли День рыбака. Александр Ильич приехал прямо оттуда.

— Не в том дело. На Попова приступают к изучению воспроизводства морских продуктов...

— Они там только приступают, а мы уже делаем. В Посьете есть

лаборатория ТИНРО. Все и посмотрим.

— Да, ТИНРО там давно работает. Хотя и без особого успеха, — сказал Нейфах. — Ведь в плане института искусственное разведение какой-то там мидии занимает скромное место.

— Во! Он знает, — оживился Александр Ильич, — мы же были там в тот год. Вас тоже прошу поехать с нами, — обратился он к Нейфаху. — Ты, конечно, само собой, поедешь, — кивнул он Володе.

— Я завтра хотел начать с ежами...

— Да подождут твои ежи! Разве они быстро ходят или плавают? Сидят ведь на месте.

Нейфах, таким образом, был обезврежен.

— Мне некого оставить вместо себя на станции, — покачал головой Володя. — Мой заместитель уехал, а...

— Зато приехал твой начальник, Васьковский. Он и останется. Мы уже обо всем договорились.

— Совершенно верно. Здравствуйте, — сказал Виталий Евгеньевич, раздвигая дверь бунгало.

— Значит, все устроилось? — Александр Ильич прищурился, и веселая хитрость так и брызнула из глаз.

— Как будто у тебя когда-нибудь что-то не устраивалось, — проворчал Нейфах, выбирая себе чилим покрупнее.

— А уж чилимами угостим тебя, Александр Александрович, каких ты и не видел. С ладонь!

— Ну, уговорились? — теперь он обращался только ко мне.

— Я бы всей душой, но... Так много надо еще увидеть.

— Где же еще смотреть, как не у нас, в Хасанском районе? Во-первых, олени. Одного молодняка 170 тысяч голов. А сколько пантачей? Кроме того, норка. Белая, черная, каштановая. Это ж красота, норка! Я уж не говорю про море. Недаром они здесь свою станцию построили. Знали, где строить, хитрецы. Через год-другой ее и не узнаешь. Вон новый корпус построили.

— Окна застеклить не можем, — сказал Володя, — стекла нет.

— После поездки обсудим это дело, — кивнул ему Александр Ильич. — Будет стекло.

— Вот теперь у меня есть все основания ехать, — рассмеялся Володя.

— Я считаю, что тебе просто необходимо ехать, — сказал Васьковский.

— Значит, море. — Александр Ильич гнул свою линию. — У нас условия просто уникальные. Одна беда — людей не хватает. Считаем каждую семью. И строительство ведем медленнее, чем хотелось бы. Вот даже пришлось поставить корабль, «Азия» называется, на прикол под общежитие. Много надо строить. Порт в бухте Славянка для международной торговли и здесь, в Троице, нужна стоянка судов на сто. Незамерзающая же глубоководная бухта. Судоремонтный завод нужен, техникум для подготовки кадров, плавучий док для современных кораблей. Все это у нас запланировано. Двести километров берега в Хасанском районе. Надо осваивать. Завод по сушке кальмара уже строится. Такой сушеный полуфабрикат не теряет своих качеств, и приготовить его легко. Будем выпускать в красивых целлофановых мешочках, как жареную картошку у вас в Москве. А то, я погляжу, замороженный кальмар не очень покупают.

— Не привыкли, не знают, как приготовить, — сказал я.

— Верно. Я как-то был в магазине. Нарочно зашел посмотреть, как идет продажа мускула гребешка. Подходит покупатель и спрашивает, что это за мускул и с чем его едят. А продавщица, бойкая такая дивчина, ему отвечает: «Кто его знает, какая-то морская дрянь. Мало кто берет». И так одному, другому, третьему. Я послушал, послушал и говорю: «Милая девушка! Давайте я поведу вас после работы к себе и покажу, как готовить мускул. Вкуснейшая же вещь!» Она фыркнула, мол, вот еще чего старый хрыч захотел. «Ладно, — говорю, — не хотите ко мне, не надо. Тогда я сам к вам приду, если не возражаете, вместе с женой. Сметану и масло с собой принесем, надеюсь, сковородка у вас найдется?» Одним словом, был я у нее. И варил и жарил. Она после сказала, что вкуснее крабов и палтуса. Обещала больше покупателей не отпугивать.

— Тут во многом наши торговые организации виноваты, — сказал я. — Новый, непривычный продукт требует хорошо продуманной рекламы. Нельзя сразу заваливать магазины мороженым кальмаром или гребешком, которых раньше никто и в глаза-то не видел. Конечно, народ не берет. А товар между тем портится. Потом торговые организации и заявляют Министерству рыбного хозяйства: «Не ловите вы этих кальмаров, спроса нет». Разве так можно относиться к делу жизненной важности? Консервная промышленность тоже далеко не на высоте. Купил я во Владивостоке банку с осьминогом. «Сюрприз океана» называется. Отличное название. Оно бы могло постепенно завоевать покупателя. Но содержимое, увы, никак этикетке не соответствует. Какое-то неприятное желтое масло, томат и овощи. Зачем к такому деликатесу, как осьминог, томат? Они бы еще крабы в томате выпускали. Это же как в анекдоте о рябчиковой колбасе, которую готовят из равных частей рябчика и конины: один конь и один рябчик. Конечно, овощи добавляют, чтобы удешевить консервы. Но это самообман. Такие консервы не найдут сбыта. Люди могут относиться с недоверием, даже с предубеждением к незнакомому продукту, но они прекрасно разбираются, что вкусно, что — нет. «Мускул морского гребешка в укропном соусе» днем с огнем в магазине не сыщешь, потому что вкусно. Как видите, быстро разобрались. «Мидии в собственном соку» тоже отлично берут, а «фарш из мидий», или, извините, «плов с мидиями», навсегда останется в ржавеющих банках. Консервированный кальмар в общем берут, хотя далеко не все...

— Не знают, как готовить, — сказал Александр Ильич. — Едят прямо из банки. Вкусно, конечно, но не шибко. А вот, если поджарить с маслицем на сковородке, совсем другое дело!

— Вот видите! Допустим на минуту, что у нас все благополучно с ловом. Ловят то, что надо, и ровно столько, сколько требуется. Но что с того, когда мороженый продукт не берут потому, что не умеют его приготовить, а консервы остаются в магазине исключительно из-за «высоких» вкусовых качеств? Это и государству большой убыток и... В общем ясно, что нужны радикальные перемены. Ведь даже сушеный трепанг москвичей так и не научили есть.

— Мало трепанга осталось, — вздохнул Александр Ильич. —

И гребешка мало. Вот мы поедем, я покажу вам гору гребешковых раковин. Все, что осталось от богатейшей банки. Ну, мне пора собираться. Надо в совхоз заехать, наш парторг в отпуск просится. Значит, до завтра?

— Вообще-то...

— А под конец прямо к границе поедем. Побываем на знаменитом озере Хасан, даже пообедать можно будет прямо там, у воды.

Назавтра мы были уже в Посьете, рыбацком городке, утопающем в пыльной зелени. Дорога ныряла с холма на холм. Встречные машины оставляли за собой белые клубы едкой пыли, словно самолеты-распылители над колхозными полями. Сонно гудели пароходы, скрежетали огромные портальные краны, визжали лебедки. Над замшелыми черепичными крышами кружились чайки и голуби. Пронзительно пахло соленой рыбой.

Мы въехали на узкую косу, на которой находился рыбокомбинат. Рабочий день уже кончился. По опустевшему двору бродили куры и кошки. У сушильного цеха высились груды угля, за ними сверкали перламутровые горы раковин, которые перемалывают на известковую муку. Ее охотно едят куры. По обе стороны блестела и переливалась в огне заката неподвижная вода. У недостроенного барака лежали длинные полиэтиленовые трубы. Внутри уже были забетонированы прямоугольные ванны для аквариумов с проточной водой.

Как нужны биологам моря такие аквариумы! У нас в стране только в Севастополе и Батуми есть такое сооружение. Но океан — это не Черное море. Разве удастся создать для животных хоть какое-то подобие естественной среды без проточной циркуляции? Лишь в таких условиях можно всерьез говорить об искусственном оплодотворении или о скорости роста молоди. Очень ждут этих аквариумов владивостокские ученые.

Лаборатория ТИНРО оказалась единственным обитаемым в это вечернее время помещением на комбинате. Там работа была в самом разгаре. Пока Нейфах консультировал Нину Мокрецову, я прошел на причал, где стояли аквариумы с трепангом. К почерневшим дубовым сваям были привязаны толстые веревки, уходившие в воду. Я вытянул одну из них. Она оказалась похожей на ожерелье из ракушек для великана. Это древний японский способ выращивания моллюсков на соломенных канатах.

Бухта сделалась розовой и бирюзовой. Вдали затарахтел мотор. Вскоре на воде появилась пенная борозда. Баркас шел прямо к рыбозаводу. Вероятно, за нами. Мы должны были идти в гребешковую бухту Тэми.

Раковина гребешка напоминает неглубокую пиалу и китайский веер одновременно. Она кругла, и в то же время у нее есть «ручка». Изнутри пара таких ручек скреплена черным лакированным сухожилием, что делает гребешки удивительно похожими еще и на испанские кастаньеты. Но когда они лежат на дне, а вы плывете над ними, то трудно избавиться от впечатления, что кто-то рассыпал здесь обеденный сервиз. Впрочем, фарфоровая белизна присуща только внутренней поверхности большого приморского гребешка. Снаружи разбегающиеся веером ребра окрашены в нежнейшие оттенки самых разных цветов: розового, сирене-

вого, желтого, коричневого. А гребешки Свифта окрашены и внутри. Говорят, тоже очень разнообразно. Я нашел одного такого в бухте Троицы. Он оказался фиолетовым. Вернее, раковина оказалась фиолетовой, моллюск был оранжевым. Но если уж говорить об окраске самих моллюсков, то здесь пальма первенства принадлежит гребешкам Фаррера. Какие-то люциферы и баалзебубы, а не гребешки. Ярко-черные с желтым, огненно-красные, кровавые с черными точками, желтые с красными змейками и т. п. Дьявольский карнавал.

Но у всех гребешков есть одно общее — белый с целлофановым отблеском столбик между створок, знаменитый запирающий мускул, за который они расплачиваются почти поголовным истреблением. Промысловыми считаются лишь приморские гребешки величиной с небольшую тарелку, а свифты и фарреры (маленькие блюдечки) добываются от случая к случаю. Они встречаются реже и слишком малы по сравнению с приморскими, хотя мускул их куда более лаком. Мясо краба или лангуста можно, конечно, сравнить с мускулом гребешка. Вроде бы те же самые качества: нежность, сладость, изысканность. Но так же ведь можно сказать о манго или дыне. Слова подобны крупноячеечной сети, которая способна задержать лишь большую и грубую рыбу, тогда как неуловимые оттенки мелкой сардинкой уходят на волю.

Вот и остается сомнительный путь аналогий. Поджаренный на сливочном масле гребешок похож на запеченных в голландском соусе крабов. Это по вкусу. А по консистенции он отличается от крабов, как мякоть кокосового ореха от молока, которые тоже близки по вкусу.

Вот куда может завести стремление передать непередаваемое! Правда, можно впасть и в другую крайность. Часто читаешь в книгах об Африке и Южной Америке, что мясо игуаны или, скажем, молодого боа-констриктора «ничем не уступает куриному». Так и хочется сказать автору: «Вот и ел бы ты себе, дорогой товарищ, цыплят табака. Если нет у тебя других слов, чтобы рассказать о неведомом, то уж лучше молчи».

Но мне молчать нельзя. У меня особая задача. Экваториальные путешественники не ратуют за то, чтобы в магазинах было побольше игуанины, а боа-констрикторов разводили на фермах, как бройлеров. И правильно делают. Экзотика, она останется экзотикой. Другое дело — океан. При правильном подходе он сможет обеспечить нас и крабами, и лангустами, и гребешками. Не из любви к роскоши должны мы думать об умножении этих богатств, не только потому, что сегодня крабов продают лишь на валюту. Просто нет у человечества другого выхода, как освоить океанские запасы.

Старый моторный баркас ПТ-512 подошел к причалу, ведя на буксире шлюпку с мачтой. На одном борту шлюпки было написано «Теща», на другом «Кума». Мотор чихнул и замолк, выбросив последнее синее облако пережженной солярки.

— А, Юра — водяной человек! — обрадовался Володя. — Знакомьтесь. Целый день под водой или в лодке, больше ему ничего в жизни не надо.

Мы познакомились с водяным человеком, который оказался студентом, поступившим на лето в водолазы посьетской лаборатории

ТИНРО. Да и у нас на станции большинство аквалангистов составляли такие вот студенты-сезонники. Что может быть лучше для будущего океанолога или биолога моря? Конечно, Юра был очень доволен своей жизнью.

На дне баркаса лежали заряженный акваланг, пояс с грузом, два здоровых таза и старинный чугунный якорь. Не иначе как времен капитана Посьета. Юра запустил мотор, и мы взяли курс на бухту Тэми. Мы шли вдоль берега заросшего лесом и высокой травой полуострова Краббе, прямо на чернеющие вдали скалы. На одной из них, плоской как камбала, стояли маяк и метеостанция.

— Необитаемый остров, — сказал Володя. — Японцы разрабатывают проекты искусственных островов. Нам пока это не грозит. Есть необитаемые.

Оставив слева бухту Новгородскую, мы взяли чуть мористее. Посьет отсюда выглядел каким-нибудь Зурбаганом или Гель-Гью. Показалась еще одна скала, зазубренная, как лезвие бритвы под микроскопом. Она господствовала над бухтой, и маяк на ней стоял большой.

Вода посерела и пошла рябью. Сделалось заметно свежо. Баркас приятно подбрасывало. Ветер срывал холодную злую пену и относил слова. Да еще мотор тарахтел, как у гоночного автомобиля, так что разговаривать было невозможно.

В бухте Рейд Паллады стало малость потише. Здесь у мыса Пемзовый притаился потухший вулкан. На воде все еще плавала ноздреватая разноцветная пемза. Совершенно пустынный край. Только фазаны бродят там меж папоротников и ив да чайки сс́орятся на серых галечных пляжах. Слева серый складчатый, как слоновая кожа, скальный берег, агатово-черные рифы, острые, как обломанные ребра. Справа, за Пемзовым мысом, остров Фуругельма. Он совсем близко, этот нєобитаемый остров, с двумя крошечными «фудзиямами» в центре.

Ветер дует теперь прямо в лицо, остервенело швыряет лопающуюся в воздухе пену.

Травы на Фуругельме такие, что хочется стать коровой. Там отличная пресная вода, глубокие бухты и обширные уединенные пляжи. Как вспомнишь перенаселенный Крым, даже смешно становится. Прав Александр Ильич, очень нужны здесь люди, как нигде в другом месте нужны.

Вдруг что-то завизжало, залязгало, и мы резко сбавили ход.

— Пробуксовывает сцепление,— сказал Володя и протянул Юре три копейки.

Юра наклонился над мотором и, улучив удобный момент, сунул монету в муфту. Но ее тут же стерло и выбросило с диким, пронзительным воем. Володя достал пятак. Эту жертву мотор принял более охотно.

— Как автомат с газировкой,— ответил Володя.

Ветер размазал облака по всему небу. Размытыми перьями улетали они от остывающего солнца.

Осторожно обогнув наклонный частокол рифов, мы вошли в гребешковую бухту.

Желтовато-белая осыпь раковин напоминала глыбу черепов на картине Верещагина «Апофеоз войны».

Заросший ивами мыс и две похожие на гребенчатых крокодилов полосы рифов надежно защищали бухту от ветра.

Но странным показался внезапный этот переход от ветра и легкой качки к абсолютному спокойствию и тишине. Это было колдовство, и все здесь казалось заколдованным: зеленеющая стеклянная толща необыкновенно прозрачной воды, ленты зостеры и неподвижные заезды на битых черепках гребешков, жуткая костяная груда на берегу.

Дно быстро повышалось, и мы шли самым малым ходом, все время промеряя багром глубину. Не знаю только, зачем мы это делали, когда на дне была видна самая малая песчинка.

— Стоп, — сказал Володя и бросил якорь. — Теперь чуть назад.

Но якорь не зацепился за грунт, а пополз по песку, разгребая раковины. Только после третьей попытки он зарылся куда-то в траву, и канат натянулся. Мы попрыгали в шлюпку и на веслах пошли к берегу. Но и «Теща-Кума» не смогла довести нас до места. Ее просмоленное днище заскрипело о гребешковую груду и остановилось. Пришлось Юре, благо он был босиком, прыгать в воду и подтаскивать шлюпку к берегу.

Мы бродили по этой тарелочной горе, инстинктивно стараясь не раздавить вымытые дождями и солнцем раковины. Но они лопались под ногами с жалобным скрежетом. Миллионы тарелочек, пепельниц, ламповых абажуров.

Юра, сидя на вершине горы, запускал их в море, считая, сколько раз гребешок подпрыгнет на воде. Личный рекорд его, кажется, был девять.

— Между прочим, — сказал я, — в московских зоомагазинах гребешки идут по пятьдесят две копейки за штуку.

— А тут сидит парень и швыряет в море полтинники! — обрадовался Александр Ильич.

Все засмеялись.

— Смейтесь, смейтесь, — сказал Нейфах, — у вас во Владивостоке они еще дороже. Я видел в ГУМе, в отделе сувениров.

— А что, Александр Ильич, может, наладим совместными усилиями сбыт гребешков по Союзу? — предложил Володя. — Вам деньги пойдут на строительство, мы пустим их на закупку оборудования.

— Эх, ребята! — Александр Ильич тоже швырнул гребешок в воду. — Ракушки — это мелочь. Тут у нас столько богатств, столько богатств, что только успевай поворачиваться.

На нашем фарфоровом камне работает Ленинград, а скоро и весь Советский Союз будет, всю, значит, фарфоровую промышленность мы снабдим сырьем. Видели бы вы эту гору! Белая как снег, без единой травинки. Прямо экскаватором ее разрабатываем. А Гусевское месторождение кварцевого песчаника? Наше стекло золотую медаль в Монреале получило. Такого кварца больше нигде нет. Мы и дома из стекла строить будем. Я уже архитекторам задание дал. Пусть люди уже сегодня живут в домах коммунистического типа. Не только же квадратные метры важны, но и красота. Глаз радоваться должен. А еще у нас тут...

— Есть малахит, — сказал я, показывая большой сине-зеленый камень, который нашел на берегу.

— А ну-ка? — Володя взял его из моих рук и отбил кусочек. — Действительно настоящий малахит, причем отличный, хотя и много породы.

— Вот видите, — Александр Ильич развел руками, — и малахит есть, и уголь, и газ! Люди нам нужны. Люди прежде всего. Среди всей этой красоты надо построить такие дома, чтобы человек как увидел, так прямо и ахнул. Тогда он навсегда останется здесь... Я сейчас нам кое-что к ужину раздобуду.

Он ушел в травы, а мы стали выбирать раковины в подарок друзьям и знакомым. Из этой груды гребешков всех цветов и калибров можно в полном смысле слова составить целые сервизы. Большие раковины не только заменяют тарелки в походных условиях, ими можно украсить и любой званый вечер. Подать, к примеру, рыбную закуску.

Вернулся Александр Ильич с пучком отличного горного лука.

— Прямо тут растет? — удивился Нейфах.

— Да! Мы его едим. И молодые побеги папоротника тоже. Только их надо знать, как приготовить.

Мутная плесень затянула небо. Холодным овалом сверкало вверху затуманенное солнце. Хмурые желтые полосы появились над светлой линией горизонта.

Пора было возвращаться на комбинат. Володя взял румпель и повел баркас. Мы сидели притихшие, задумчивые. Грустной свежестью тянуло с посуровевших берегов.

— Можно, я поведу лодку? — попросил я.

— Пожалуйста. Держите на правую скалу. Нам надо пройти между ней и берегом.

Темнеющая скала с выемкой посредине походила на ружейный целик. Я постарался совместить с ним мушку — крамбол на носу баркаса. После некоторых усилий это удалось. Потом я добился того, чтобы мушка не ходила, но, взглянув за корму, увидел волнистый виляющий след. Впрочем, проход оказался достаточно широким.

На комбинате уже дожидалась серая райкомовская «Волга». Шофер просигналил нам и, когда все собрались, широким жестом открыл багажник. Там дымился молочным паром отборный огненный чилим. Александр Ильич принимал нас по-царски.

С этого момента рассказ о поездке по Хасану, по сути, только начинается. Озеро, потом заповедник «Кедровая падь», где я фотографировал всех желающих со шкурой леопарда, горнотаежная станция, где растут женьшень и элеутерококк, служба солнца.

Но настало время всерьез поговорить о проблемах океана. О том, что он может дать людям, и о том, как люди должны принимать его дары. Вот почему я не стану рассказывать о леопардах и тиграх, ядовитых щитомордниках, женьшене, таежной форели и даже о густом молоке и душистом меде, которыми меня угощали в «Кедровой пади». Как ни жаль, но теперь пойдут сухие цифры и прочая статистика, кропотливо собранная в ТИНРО и Владивостокском филиале Института океанологии АН СССР.

Итак, пора подвести некоторые итоги.

Не случайно главы этого очерка носят названия беспозвоночных животных. Одна даже озаглавлена «Балладой о диатомеях» и рассказывает о микроскопических водорослях, планктоне по сути. Все это, повторяю, сделано не случайно. Если раньше, говоря о богатствах океана, люди прежде всего имели в виду рыбу, те-

перь пришло время отказаться от этого узкого взгляда. И чем раньше, тем лучше. Прежде всего потому, что океан един и все живое связано в нем гораздо теснее, чем на суше, и еще потому, что беспозвоночные с каждым годом будут играть для нас все более важную роль.

Реестр беспозвоночных

Вот как сейчас обстоят дела у наших берегов с беспозвоночными.

Краб. Тихоокеанская комиссия, регулирующая квоты вылова, определила Советскому Союзу на 1970 год около 300 тысяч центнеров. Очевидно, ровно столько и будет выловлено. В ТИНРО считают, что эту цифру можно даже превысить за счет отлова стригуна и волосатого краба. Это обеспечит, во-первых, воспроизводство камчатского краба, а во-вторых, предотвратит его замещение стадами стригунов и волосатых, запасы которых явно недоиспользуются.

Креветка. Мы берем примерно 100 тысяч центнеров в год, тогда как могли бы свободно увеличить улов в два раза. Виной тому диспропорция между ловом, технологией и сбытом. Консервы, которых производится, очевидно, недостаточно, расхватываются в одно мгновение, а пласты замороженной креветки часто залеживаются в магазине. А мелкую креветку из Берингова моря, которую замораживают в блоках по 2,5 килограмма, надо расфасовывать в небольшие коробки и быстрее доставлять в магазины. Огромный блок никому не нужен.

Гребешок. В заливе Петра Великого он выловлен подчистую. Надо срочно создавать новые подводные плантации. В районе Сахалина и Курильских островов еще добывают 10 тысяч центнеров ежегодно. Это, как говорится, на пределе. Если количество улова не уменьшится, гребешок окончательно исчезнет из наших морей.

Мидия. В Приморье ее добывают около 5 тысяч центнеров. Это оптимальное количество. Если в ближайшие годы удастся создать подводные плантации, добычу мидии можно будет удвоить и утроить.

Кальмар. Его ловят и в Японском море и особенно много на Сахалине. Мы берем около 100 тысяч центнеров, а японцы — свыше 5 миллионов. С успехом можно было бы добывать 2—2,5 миллиона центнеров. Но наш внутренний рынок и так насыщен кальмаром. Здесь предстоит еще очень большая работа. Нужны новые виды консервов, торгующим организациям тоже предстоит поломать голову над тем, как увеличить сбыт кальмара. Шутка ли, 2 миллиона центнеров! Это килограмм кальмара на душу населения.

Трепанг. Судьба трепанга очень схожа с судьбой гребешка. Сейчас он остался только в заливе Петра Великого. Больше 3 тысяч центнеров добывать рискованно. Тоже нужны очень срочные меры.

Голотурия. Это ближайший родич трепанга. Вкусовые качества ее несколько хуже, да и целебные свойства, очевидно, не на высоте. Поэтому она не находится, как трепанг, на грани исчезновения. Только в заливе Петра Великого можно добывать 20 тысяч центнеров, а у Сахалина и того больше.

Леда. Запасы этого малосъедоб-

ного моллюска огромны. Можно долгие годы ловить его в количествах, превышающих 5 миллионов центнеров. Почему этого не делают? Соотношение веса мяса и раковины у леды не столь высоко, как у гребешка. Почти вся выловленная леда идет сейчас на муку.

Калифорнийский рачок. Его в океане, как говорят специалисты, что грязи. 5, а то и 10 миллионов центнеров можно добывать шутя. Но соотношение мясо — хитин у него намного ниже, чем у креветки. Рачка ловят гораздо меньше, чем можно, и весь улов идет на муку.

Водоросли. Из водорослей наиболее ценные агародающая анфельция и морская капуста. Анфельцию добывают на Сахалине (лагуна Буссе), у южных берегов Курильских островов и в заливе Петра Великого. Запасы ее используются полностью — 40 тысяч центнеров в год. Очевидно, на этом уровне, обеспечивающем естественное воспроизводство, добыча анфельции останется в последующие годы. Поскольку нашей пищевой промышленности требуется все больше агар-агара, нужно создавать искусственные плантации. Зато с морской капустой, вкусовые и лечебные качества которой известны с незапамятных времен, все обстоит совершенно иначе. Японцы давным-давно культивируют эту съедобную водоросль на бамбуковых плотах. Настолько велик спрос. А у наших берегов ее можно брать сотнями тысяч центнеров (на воздушно-сухое вещество). Один миллион в год, во всяком случае, наверняка. Но у нас добывается только 8 тысяч. Салат из морской капусты — непременная закуска в любой владивостокской столовой или буфете. Но слишком медленно продвигается капуста на запад. Надо помочь ей скорее преодолеть эти 10 тысяч километров.

Рыбы пелагические и донные

Теперь поговорим о самом главном — о рыбе. Как обстоят дела с ней?

70—90 процентов рыбных акваторий уже изучено [1]. Донное рыболовство достигает своего предела. Великая эпоха донного трала переживает характерный для истории мировых империй мучительный закат. Суда, оборудования, приемы и технология лова — это не мертвый груз. Это огромная инерция большого производства со славными традициями. Тут в один день перемен не добьешься. Ученым уже давно ясно, что пора переходить на лов пелагической рыбы, обитающей в поверхностных слоях. Но для этого нужны новые суда, принципиально иная техника. А куда девать старые? Железнодорожники тоже знают, что более широкая колея куда выгоднее существующей, но разве может потенциальная выгода преодолеть могучую инерцию огромного налаженного хозяйства? Здесь нечто большее, чем простой конфликт нового со старым. Это столкновение радикальной идеи с привычным укладом, который все еще приносит большую выгоду. Это древний конфликт, в котором все-таки всегда побеждает идея.

Траловое рыболовство какое-то время может поддерживать свое существование за счет новых районов. Это на бумаге цифры

[1] По данным проф. С. В. Михайлова.

70—90 процентов выглядят подавляюще. В океане 10—30 неосвоенных процентов оборачиваются гигантскими водными пространствами, которые могут дать еще много рыбы. Недавно открытый у Гавайских островов район оказался исключительно продуктивным. Но круг все-таки неумолимо сжимается, и настанет день, когда тралы опустеют. Ведь что там ни говори, донных рыб в океане всего 23 процента, остальные 77 процентов — пелагические. А наши тихоокеанские траулеры, напротив, добывают 80 процентов донных рыб и только 20 — пелагических. Классическая обратная пропорциональность. Такова сила инерции оборудования, власть миллионов тонн металла, отлитого в некогда совершенные формы. Все нужно менять: суда, снаряжение, холодильники и даже портовые сооружения. Переход на пелагический лов для рыбной промышленности — это даже более радикальная перемена, чем расширение железнодорожной колеи для МПС.

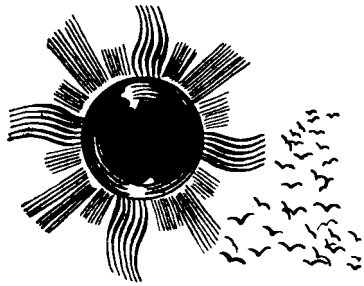
Проблема осложняется тем, что пелагические рыбы постоянно мигрируют и живут на разных глубинах. Здесь методы разведки рыбных косяков, предсказания вероятных скоплений должны отличаться особой точностью. Над этим как раз и работают сейчас исследовательские институты всего мира.

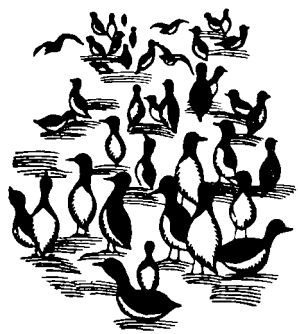
О том, насколько донное рыболовство исчерпало себя, можно судить по нашим дальневосточным морям. Еще недавно большие уловы камбалы резко пошли теперь на убыль. Даже морского окуня уже не хватает. Поэтому, чтобы поддержать общий уровень, приходится ловить больше, чем это рекомендовано, минтая. Положение, конечно, ненормальное. Во-первых, минтай не может заменить вкусную жирную камбалу, а во-вторых, запасы его тоже не беспредельны, и настанет момент, когда и минтай перестанет ловиться. А что тогда? Насколько важны действенные меры по ограничению лова, показывает пример с лососем.

Интенсивная добыча лосося на подходах к местам нереста и хищнический лов его мелкоячеистыми сетями в открытом море привели к тому, что кеты, горбуши, кижуча, чавычи, нерки стало заметно меньше. Настолько заметно, что мы уже забыли, как выглядит красная икра. Дело шло к полному уничтожению лососевых. Но Советскому Союзу удалось договориться с Японией о совместных мерах охраны, и вот уже несколько лет, как запасы лососевых по крайней мере не падают. Это колоссальный сдвиг. Теперь надо срочно принимать меры, опять-таки в международном плане, по искусственному разведению. Кстати, подобные же меры необходимы и в отношении сайры, которую явно переловили. Сейчас в Японском море плавает наше судно «Крым», которое как раз и занимается устройством искусственных нерестилищ для сайры.

Перелов отдельных видов рыб опасен не только прямыми, но и косвенными последствиями. Природа не терпит пустоты. Свободное место очень быстро замещается и, как правило, худшими в пищевом отношении рыбами. У берегов Аляски окунь уже уступил свое место минтаю, в заливе Петра Великого тот же минтай целиком выловлен. Вот почему необходимо поддерживать хотя бы минимальный уровень запасов каждого вида.

Только так мы сможем и впредь брать у берегов Приморья 20 миллионов центнеров





рыбы. О том же, чтобы увеличить добычу без перехода на пелагический лов, и мечтать нечего.

Такое же положение и у других ведущих рыболовных держав мира: Японии, Перу, Норвегии, Исландии. Япония, конечно, особенно сильно зависит от океана. По сути, она получает животный белок почти исключительно за его счет. Недаром эта островная страна обладает самым большим рыболовным флотом.

Наконец, еще одно очень важное обстоятельство, которое, как говорят, обратной связью сильно воздействует на рыболовный режим. Речь идет все о том же отставании в работе торговых организаций. Возьмем для примера историю с хеком. Мы вылавливаем этой вкусной рыбы много. Рыболовный флот, таким образом, дает стране массу превосходного продукта. Вроде бы лучшего и желать нельзя. Но не тут-то было. Транспортировка дальневосточной рыбы не налажена, не хватает вагонов-холодильников, и из-за этого бывает, что ценная пищевая рыба идет на муку. У нас до сих пор не используется печень хека и муксуна. При разделке ее просто выбрасывают за борт. А это тысячи тонн вкусного и очень богатого витамином «А» продукта.

Еще пример. Пристипома, или рыба-кабан. Ее издавна добывают в тропических водах. Во многих районах мира эта рыба, не уступающая по вкусу лососевым, пользуется большим спросом. Наши суда могли бы брать ее в районе Гавай в больших количествах. Но какой-то период эта рыба заражена паразитами — рачками, и это неуместное в данном случае слово «паразит» отрезало ей путь к потребителю. Смешно, право, морские паразиты далеко не всегда соответствуют своему названию. В данном случае паразитирующие на кабане рачки не только вполне съедобны, но и более вкусны, чем сама рыба. Куда лучше было бы говорить о выгодном соединении лососеподобной мякоти с креветками. Но сработало испугавшее несведущих людей из министерства торговли слово «паразит», и Министерство рыбной промышленности запретило лов кабана. И очень жаль...

Лишь на днях я прочел в «Правде» корреспонденцию, что на камчатские рыбокомбинаты поступила первая партия этой великолепной рыбы. Могу только присоединиться к призыву автора корреспонденции увеличить добычу.

Вообще трудно сказать, какими реальными соображениями руководствуются те, кто решает торговую судьбу рыб. Если в истории с кабанами все совершенно ясно, то судьбу минтая явно определили иррациональные силы. Долгое время минтай считали почему-то непищевой рыбой и отправляли на муку. Он до сих пор не пробился к прилавку, несмотря на то, что «заражен» рачками гораздо меньше, чем удивительно быстро ставшая популярной угольная рыба. В Беринговом море минтай вообще ничем не заражен. Почему ему так не везет? Не знаю. Может, название у него подозрительное: минтай? Такая же история со стрелозубым глубоководным палтусом, которого «не пускают» на прилавок из-за того, что его мясо разваривается. Не надо варить, надо жарить!

Вот и получается, что с рыбой дело обстоит очень неблагополучно. А в океане много хорошей рыбы. Сочетая траление с пелагическим ловом, мы сможем уже в 1970 году значительно увеличить объем вылова в новых рыболовных районах Тихого океана.

Открытые в последние годы районы отличаются высокой продуктивностью. Только Австралийский шельф и Зондский архипелаг могут дать 20 миллионов центнеров, а раньше считалось, что столько дает весь Индийский океан.

Планктон

На планктон ученые возлагают самые большие надежды. Только с его помощью мы сможем обеспечить белком быстрорастущее население. Белковая паста из планктона во многом должна заменить хлеб, рис и картофель.

Здесь тоже пора расстаться с некоторыми обывательскими догмами. Во-первых, планктон — это не только собрание микроорганизмов. В его составе много, скажем, рачков, достигающих 12 миллиметров. Этими рачками, кстати, особенно охотно питаются киты. Но людям они с успехом заменят креветок, тем более что запасы их исключительно велики. Кроме того, даже мелкие составляющие планктона, остающиеся в марлевом сачке, вполне пригодны для еды. Это богатая белками, витаминами и микроэлементами пища. И очень вкусная к тому же. Я с удовольствием ел только что выловленный отжатый планктон. Он очень напоминает крабовую лапшу.

Но к добыче планктона надо подходить с еще большей осторожностью, чем к лову рыбы, чтобы не наделать непоправимых глупостей. Планктон подвержен сильнейшим колебаниям численности. Вспышки жизни часто чередуются с массовой гибелью. Поэтому добыча его должна жестко приспособиться к таким циклам. Всякий валовый подход здесь губителен. Планктоном питаются рыбы и киты. Значит, нужно оставлять достаточное его количество и на их долю. Планктонную стадию проходят многие обитатели моря, в том числе, как уже говорилось, крабы. Следовательно, необходимо точно знать, когда, где и сколько планктона брать.

Очевидно, эта проблема тесно связана со стерильными зонами выноса. Безбоязненно можно добывать лишь такой планктон, который безвозвратно уносится течениями.

Познакомимся теперь с некоторыми цифрами мирового улова. Они весьма показательны.

Море и мир 2000 года

В 1968 году общий улов составил 640 миллионов центнеров. Из них 582 — рыбы, 33 — моллюсков, 15 — ракообразных, 7 — водорослей. Таким образом, на рыбу приходится 90 процентов мировой добычи. К концу века общий улов должен значительно увеличиться. Английский ихтиолог Д. Кушинг предсказывает, что в ближайшие 10—20 лет он удвоится. Вместе с тем среднегодовой прирост мировой добычи снижается. Если в 1955—1960 годах он составлял 33 миллиона центнеров, то в последующее пятилетие снизился до 23. Такое сокращение — дань обреченности тралового лова. Она целиком определяется неравномерным ловом. Ведь 85—90 процентов общего улова дают районы континентального шельфа. Открытый океан все еще остается целиной. Рыбы глубоководных районов, материкового склона и открытого океана или становятся жертвами хищников, или погибают естественной смертью. В обоих случаях проигрывает человек.

Только за счет этих районов и можно значительно увеличить улов. Но даже такое резкое увеличение едва поспеет за ростом народонаселения. По оценке демографов, к 2000 году население Земли достигнет 6,5 миллиарда человек, а это означает, что средние уловы на душу населения останутся на современном уровне — 15—16 килограммов. Профессор С. В. Михайлов полагает поэтому, что и к концу века место Мирового океана в продовольственном балансе человечества не изменится. Сейчас океан дает нам 13—15 процентов общего количества белков и 3—4 процента жиров, что в пересчете на калорийность составляет только 1 процент к общим пищевым ресурсам, потребляемым населением мира. Производительность же суши мы вряд ли сможем резко увеличить в ближайшее время, а синтетическое производство белков — дело весьма отдаленного будущего. Прогноз получается весьма пессимистический. Он полностью опровергает бездумных оптимистов, которые, не зная истинного положения, твердят одно: океан прокормит.

Выходит, не прокормит? Прокормит, но, во-первых, не один океан и при условии качественно иного подхода к океану человечества в целом и переоценки привычного рациона каждым человеком в отдельности. Об этом уже говорилось.

Кальмары, запасы которых в океанах составляют не менее 200 миллионов центнеров, и планктонные рачки — криль — должны во многом заменить нам рыбу. Опыты приготовления пищевых продуктов из криля, проведенные в 1966—1967 годах на научно-промысловом судне московского ВНИРО «Академик Книпович», дали очень обнадеживающие результаты.

Но есть одна реальная опасность, которая может совершенно расстроить все планы превращения Мирового океана в важнейший источник питания. Опасность

эта — нефть. Мы знаем, какие неисчислимые беды приносят аварии сверхмощных танкеров. Но еще большую угрозу таит подводное бурение. Нефть же все более интенсивно будет добываться со дна океана. К 2000 году в зоне шельфа будет добываться не менее 800—900 миллионов тонн нефти в год, примерно на 8—10 процентах площади океанского дна вырастут нефтяные вышки.

При морском бурении на южном Каспии около 10 процентов нефти уходит в море, уничтожая жизнь в глубинах, на поверхности и на берегу. Я видел мертвых, черных от нефти птиц, огромных осетров и тюленей, отравленных нефтью и выброшенных прибоем на берег. Это страшное зрелище. Каждая тонна нефти, попав в море, загрязняет 12 квадратных километров его площади. Вот и выходит, что если 10 процентов добытой со дна нефти уходит теперь в воду да 1—2 процента добавляют танкеры, то Мировой океан получает годовую порцию в 30 миллионов тонн, или 18 килограммов на каждый кубокилометр воды. К 2000 году эта порция возрастет еще в три раза, а в XXII веке весь океан будет насыщен нефтью.

Значит, борьба за пищу не должна быть изолированной. Проблему нужно решать комплексно, с учетом всех нужд человечества, с трезвой оценкой всех плюсов и минусов. Уже сегодня нужно отказаться от сейсмических взрывов, которыми буквально сотрясают весь океан суда, ищущие на дне нефть. Эти взрывы уничтожают икру, личинки, молодь, калечат взрослую рыбу. На одном только Каспии каждый взрыв стоит 15 тысяч центнеров потенциального улова! Никакая нефть не окупит такой потери! Тем более что есть иные, «бескровные» методы разведки.

И конечно, атомные взрывы, которые все еще производят некоторые страны, наносят океану непоправимый ущерб.

Таким образом, проблема превращения океана в поставщика продовольствия хотя и реальна, но исключительно сложна и многообразна. Она тесно связана со всеми сторонами жизни человеческого общества.

Теперь поговорим о том, что еще недавно казалось чистой фантастикой, — о древней и в то же время самой молодой науке, которую называют аквакультурой. О первых ростках ее в нашей стране я и рассказывал на протяжении всего повествования. Аквакультура — это удобрение морского дна минеральными солями и прогрев глубинных вод атомными реакторами, прополка растений и барьеры из электричества и ультразвука, оберегающие от хищников стада промысловых рыб, искусственное разведение мальков и создание новых продуктивных сортов; это сельское хозяйство на дне моря.

В Японии издавна морскую капусту и морской салат выращивают на плантациях в мелководных эстуариях на бамбуковых шестах, укрепленных на длинных веревках, протянутых над илистым дном уединенных бухт. Теперь это древнее производство достигло промышленных масштабов на калифорнийском побережье, где ежегодная добыча ламинарии достигает 160 тысяч тонн. Но все это робкие, детские шажки к океану. Правы те, кто подчеркивает, что растительность нашей планеты в основном сосредоточена под водой. Плотность подводных зарослей достигает 1500 тонн, как говорят в

сельском хозяйстве, «зеленой массы» на квадратный километр. Невиданные урожаи можно получать в море. Бульоны же и салаты из водорослей очень хороши. Да и в животноводстве водоросли могут совершить переворот. Так океан поможет увеличить производство мяса и на суше. Продукты, изготовленные из микроскопических водорослей, можно использовать в качестве частичных заменителей картофеля или риса.

Ацтеки употребляли сине-зеленые водоросли для приготовления вкусного блюда, напоминающего сыр, которое и сейчас распространено в Латинской Америке, японцы делают из хлореллы супы, приправы и мармелад. Очевидно, современная биохимия сможет сильно расширить ассортимент блюд.

Выращивать же водоросли не так трудно: на мелководье, в искусственных траншеях, просто в полиэтиленовых трубах, куда легко вводить удобрения. В природе насчитывается 10 тысяч видов водорослей, а путем селекции можно вывести сорта с совершенно фантастическими возможностями.

О разведении моллюсков и ракообразных я упоминал уже неоднократно. Для современной науки в этом нет ничего невозможного. Более того, воздействие повышенных температур значительно ускоряет этот процесс, увеличивает его эффективность. Пересаживая связки раковин на зиму в подогреваемые бассейны, можно заставить моллюсков размножаться круглый год.

Исключительно многообещающими оказались японские опыты по разведению креветки в прудах. Они показали, что пруды общей площадью в несколько миллионов гектаров могут давать урожаи, равные всему морскому улову креветки. Накопленный в нашей стране опыт по созданию рыбных продуктов легко позволит построить целые системы водоемов для креветки. Все затраты с лихвой окупаются первым же урожаем. Подогревая атомными реакторами прибрежные питомники, можно разводить креветок и прямо в океане.

Искусственные нерестилища в несколько лет смогут восстановить запасы лосося и камбалы. Даже речную форель, которая никогда не была промысловой рыбой, удалось развести в холодных водах океана.

В 1945 году в Японии построили первый подводный рыбоводческий завод. На глубине 20 метров установили особые клетки, обтянутые нейлоновой сеткой, в которые поместили мальков лосося и форели. Через выходящую на поверхность трубу мальков кормят сечкой из сардины, а раз в месяц завод посещает специальный инспектор-водолаз. Результаты оказались настолько блестящими, что японцы уже приступили к строительству таких заводов на глубине 30 и даже 50 метров.

Очевидно, в будущем не понадобится даже нейлоновых клеток. Заводскую территорию можно будет оградить ультразвуком или дырчатыми трубами, которые создадут «стены» из мелких пузырьков воздуха.

Можно научить и дельфинов охране рыбных стад. Такие «подводные овчарки», как показали многочисленные опыты, хорошо понимают, что хочет от них человек.

Водолазы Ива Кусто в Средиземном море, американские акванавты, построившие «Силаб-2»

в Калифорнийском заливе, наши ребята, жившие в Геленджике в подводном доме «Черномор», доказали, что человек может жить и успешно работать на глубине. Очевидно, в ближайшие десять лет мы сможем хорошо освоить прибрежные районы, ограниченные глубинами в 100 метров, и создать опорные пункты на глубине не менее 300 метров.

Такое расширение обитаемой зоны плюс аквакультура превратят океанское дно в фабрику изобилия.

Сегодня океан может дать около 100 миллионов тонн рыбы и крупных беспозвоночных. По причинам, о которых уже достаточно говорилось, люди берут лишь каких-то 60 миллионов. И то, работая, можно сказать, на последнем пределе катастрофы.

Вот почему одинаково правы те, кто говорит, что океан не сможет прокормить человечество, и те, кто считает, что он может обеспечить продовольствием 30 с лишним миллиардов людей.

Все зависит от подхода к проблеме, от всех людей и каждого отдельного человека.

Беседуя с профессором Кизеветтером, с заместителем директора филиала Института океанологии П. П. Гансоном, научными сотрудниками ТИНРО, исследователями, водолазами и лаборантами морской станции, рыбаками и капитанами рыболовных судов, я убедился, что все они хорошо понимают существо проблемы. Еще недавно подход к морю был прост: «Взять как можно больше и в минимальный срок». Одним из последствий этой немудреной простоты явилось почти поголовное истребление китов — едва ли не самое страшное преступление человека перед природой.

Теперь появляется совсем иное отношение. Люди задумываются о завтрашнем дне, может, потому, что день этот подступил вплотную. Понятно, что Япония, полностью зависящая от океана, опередила другие страны в научном подходе к воспроизводству его запасов, но занимается этой проблемой однобоко.

Наша страна с ее могучей сельскохозяйственной промышленностью достигла больших успехов в изучении океана. На берегах Белого лебедя я ясно увидел это.

* * *

Ртутным дымом скользит над морем прожекторный луч. Вся ночь полна светляков. Холодными зеленоватыми вспышками прожигают они темноту. Володя давно уже спит в бунгало, а я все не могу уйти. Прощаюсь с океаном, слежу, как вспыхивают живые огни.

Светляки медленно движутся по кругу. Взрываются фосфорической искрой и гаснут, чтобы через мгновение мигнуть уже в другом месте. И так всю ночь. Дальние размытые вспышки напоминают далекие туманности, пылевые галактические острова. Зеленые огни, которые загораются рядом, похожи на мигающие сигналы идущего на посадку лайнера. Порывы ветра из-за сопок сдувают светляков в море, начинающийся дождь прибивает их к земле. Но, улучив момент, они вновь возвещают о себе из невидимых черных кустов яростным световым взрывом. Зачем? Только затем, чтобы исполнить великое предначертание природы — оставить потомство. Ветер и дождь указывают на приближе-

ние тайфуна. Честно говоря, его на станции ждут. Потому что обмелели колодцы и воду приходится возить издалека.

Уже на аэродроме я с надеждой и тревогой следил за тем, как то начинается, то опять перестает дождь. Не знаю, что делалось в этот момент в бухте Троицы. Но недавно я прочел в газетах, что у берегов Приморья разыгрался невиданной силы тайфун с милой кличкой «Полли».

Труженики моря... Как это точно и здорово сказано у Гюго! Тружениками возвращаемся мы к далекой прародине.

Владивосток — бухта Троицы — Посьет — Москва

СОДЕРЖАНИЕ

А. Давидсон. Как на юге Африки узнали о Ленине 5
Константин Паустовский. Первая встреча 19
Белая Церковь 21
Письма с пути. Керчь 23
Бессмертное имя 24
Капитан-коммунар 26
Вадим Паустовский. Ливны, Солотча, Таруса 30
Владислав Ковалев. Тур Хейердал: «Я верю в древнего человека» 41
Василий Песков. Ростов Великий 49
Ефим Дорош. Прогулка по Ярославлю . . . 60
Владимир Морозов. Наши чумы стоят рядом 71
А. Хазанов. Путешествие Ибн-Фадлана, посла халифа Багдадского в страны тюрок, булгар и русов 86
Михаил Александров. Три кукри 105
Владимир Стеценко. Последнее плавание капитана Уиллиса (Репортаж после кораблекрушения) 126
Рудольф Бершадский. Коллекция Белых . 143
Александр Кузнецов. Сокровища Сванетии 152
Жан-Альбер Фоэкс. Огни под водой . . 205
Валерий Гуляев. Земледельцы древней Мексики 223
Лев Скрягин. Тайна «Летучего голландца» . . 248
Михаил Пархомов. Мой Киев 266
Яков Свет. Акрополь в Андах (Необыкновенное открытие профессора Бингхема) . 284
Еремей Парнов. Океан у Белого лебедя . . 305

БРИГАНТИНА, 69—70. Сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. М., «Молодая гвардия», 1970.
368 с., с илл.

Р2

Редактор **С. Митрохина**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **В. Лубкова**

Сдано в набор 12/IX 1969 г. Подписано к печати 13/VII 1970 г. А02673. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага № 2. Печ. л. 23 (усл. 21,39) + 24 вкл. Уч.-изд. л. 29,8. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 22 к. Т. П. 1969 г., № 266. Заказ 1401.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

1 р. 22 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ